

Русская литература

Русская литература

Библиотечный фонд
 Директор Л.А. [unclear]
 27. 9 2000.

3

2000

не влезет
 в шкаф
 28.09.2000
 [signature]

3

2000

Санкт-Петербург
«НАУКА»



Русская литература

№ 3

Историко-литературный журнал

2000

Издается с января 1958 года

Выходит 4 раза в год

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Е. Г. Водолазкин. О некоторых чертах ранней русской хронографии	3
Н. С. Мовнина. Идеальный тоpos русской поэзии конца XVIII—начала XIX века . . .	19
И. Зограб (<i>Новая Зеландия</i>). «Европейские гипотезы» и «русские аксиомы»: Достоевский и Джон Стюарт Милль	37
Б. Н. Тарасов. Тютчев и Паскаль (антиномии бытия и сознания в свете христианской онтологии)	53

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

О. Л. Новикова. Новгородские сборники XVI—XVII веков: летописи, сказания, жития	75
М. Д. Эльзон. О пользе чтения стихов по горизонтали (к истолкованию последнего стихотворения Г. Р. Державина)	81
А. В. Шаронова. О проблеме взаимоотношений редактора и авторов «Библиотеки для чтения»	83
Л. С. Скепнер. А. С. Пушкин в сознании поморов (конец XIX—начало XX века) . . .	96
Н. Л. Дмитриева. Роза у Пушкина и Тургенева	101
И. С. Тургенев. «Подготовительные материалы к роману «Дым»» (публикация и послесловие П. Уоддингтона)	106
Б. В. Мельгунов. «Мы вышли вместе...» (Некрасов и Тургенев на рубеже 40-х годов)	143
Н. Н. Мостовская. Memento mori у Тургенева и Некрасова	149
С. М. Балуев. К истории текста «Путевых очерков» А. Ф. Писемского	155
М. В. Михайлова. Письма кн. Петра Алексеевича Кропоткина В. П. Жуку (К истории перевода книги П. А. Кропоткина «Идеалы и действительность в русской литературе»)	157
Г. Н. Павлова. Леонид Андреев и семья Велигорских	169
Из неизданной книги Ф. Д. Батюшкова «Около талантов» «В семье Майковых» (публикация П. Р. Заборова)	177
Т. А. Ёлшина. «Философ в фельетонистах...» (В. В. Розанов)	194

Е. Р. Пономарев. Лев Толстой в литературном сознании русской эмиграции 1920—1930-х годов	202
В. В. Перхин. П. И. Лебедев-Полянский как цензор	211

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Т. Г. Иванова. Новая книга по истории российской фольклористики	222
А.-Э. Н. Тахиаос (<i>Греция</i>). Из прошлого русской византистики в С.-Петербурге ..	225
О. В. Творогов. Новые книги издательства «Алетейя»	230
Р. Ю. Данилевский. Жорж Санд в России	231

ХРОНИКА

Г. Е. Потапова. Юбилейная международная конференция «Пушкин и пушкинистика на пороге XXI века»	233
В. Ю. Вьюгин. Юбилейная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Андрея Платонова	244
Вадим Эразмович Вацуро	254

Редакционная коллегия:

Н. Н. СКАТОВ (и. о. главного редактора),
Г. Я. ГАЛАГАН (зам. главного редактора), *А. А. ГОРЕЛОВ*, *В. Я. ГРЕЧНЕВ*,
Б. Ф. ЕГОРОВ, *В. А. КОТЕЛЬНИКОВ*, *А. И. ПАВЛОВСКИЙ*, *А. М. ПАНЧЕНКО*,
В. А. ТУНИМАНОВ, *С. А. ФОМИЧЕВ*

Отв. секретарь редакции М. Д. Кондратьев

Адрес редакции: 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 4. Тел. 328-16-01

О НЕКОТОРЫХ ЧЕРТАХ РАННЕЙ РУССКОЙ ХРОНОГРАФИИ*

В основе используемого нами разделения на хронографию раннюю и позднюю лежат два принципа: хронологический и стадийный. К ранней хронографии мы относим памятники XI—XV веков, составляющие, несмотря на различия в структуре, определенное единство. Следующей ступенью развития хронографического жанра был Русский хронограф, с различными редакциями которого мы связываем понятие поздней хронографии. Среди главных отличий двух этих типов можно назвать включение в позднюю хронографию русской истории¹ и более свободное ее отношение к источникам. В то же время множество черт, характеризующих хронографию раннюю (и отличающих ее от других типов исторического повествования), осталось и в хронографии поздней. Настоящая статья не ставит своей задачей подробное рассмотрение сходства и различия этих двух периодов. Цель ее — отметить некоторые существенные для ранней хронографии качества, получившие (или не получившие) развитие в более позднее время.

В самом общем виде можно сказать, что структурной единицей хронографа является фрагмент. Ничто так ярко не демонстрирует этого обстоятельства, как пофрагментное описание состава хронографов, помещенное в приложении к монографии О. В. Творогова.² Соотносимость фрагментов разных хронографов при не всегда сходном их местоположении внутри этих памятников создает стойкий образ мозаик, собираемых хоть и разными людьми, но из одних и тех же камешков. Фрагментарность хронографов проявляется на двух основных уровнях.

Первый тип фрагмента условно определим как «единицу повествования». Это — царствование, то, что, подобно году в древнерусском летописании, определяет ритм истории. Череда царствований обеспечивает непрерывность истории, она непоколебимо подчинена хронологическому принципу и не зависит от взглядов и вкусов компилятора.

Второй тип фрагмента можно было бы обозначить как «единицу текста», он может совпадать, а может и не совпадать с первым типом. Порой такого рода фрагменты захватывают несколько царствований,³ порой же сводятся к одной фразе. Хронограф никогда не заимствует «в чистом виде» факт или

* Статья написана при поддержке Гумбольдтовского фонда (Германия).

¹ О взаимоотношениях ранней русской хронографии и летописания см.: *Водолазкин Е. Г. От тождества к единству: (К вопросу о взаимоотношениях хронографии и летописания)* // *Die Welt der Slaven*. 2000. Bd 45. S. 133—152.

² *Творогов О. В. Древнерусские хронографы*. Л., 1975. С. 237—304. О фрагментарной структуре летописи см.: *Еремин И. П. Литература Древней Руси: (Этюды и характеристики)*. М.; Л., 1966. С. 72—85.

³ В таких памятниках, как Летописец еллинский и римский Первой редакции или Иудейский хронограф, текст зачастую заимствуется огромными блоками без стремления изменить по крайней мере его структуру.

идею, он всегда заимствует *текст*. Текст может дробиться, менять свое место по отношению к другим фрагментам, но он никогда не пересказывается. За каждым явлением закреплен его текст, потому что он — часть его сути. Можно использовать не весь текст, но это подразумевает, что описывается соответственно лишь часть явления.

Важно следующее. Ни в первом, ни во втором из выделенных типов фрагментом не является *событие*. Каузальный подход к истории предполагает, что фрагментом истории является *событие*, а не царствование (год, олимпиада, консульство и т. д.), способное установить лишь хронологическую связь. Не будучи единицей повествования, события не подлежат сопоставлению, не следуют друг из друга, они просто находятся рядом. Здесь мы подходим к вопросу: а что, собственно, составитель хронографа считал событием? Ответ на этот вопрос связан опять-таки со средневековым восприятием любого явления как трансцендентного.

Если попытаться выразить в одной фразе позицию по этому вопросу современной историографии, то можно сказать, что в качестве исторических событий она рассматривает те явления, которые оказали влияние на тот или иной социум. Это могут быть и явления духовной жизни — при условии, что они имели социальное выражение (так, историческим событием первостепенной важности была деятельность преподобного Сергия Радонежского). Для историографа же средневекового всякое событие, заключающее в себе нравственную проблематику, является достойным упоминания — вне зависимости от его социального резонанса. В качестве примера приведем один из рассказов Летописца еллинского и римского Второй редакции, восходящей к Хронике Георгия Амартола. Какой-то человек шел по дороге со своей собакой, встретившийся ему разбойник его убил. Разбойник скрылся, а собака осталась сторожить тело своего хозяина. Другой человек (корчмарь), проходивший по той же дороге, решил похоронить убитого. Видя его добросердечие, собака пошла за ним и осталась в его корчме, где встречала и провожала посетителей. Будучи пьян, как-то раз в корчму зашел убийца. Собака узнала его, «лая и скача на лице его, и внити възбраняше челоуѣку тому».⁴ Так происходило много раз. Убийца был схвачен и после его признания на суде предан казни. В завершение этого рассказа, существующего, по сути, вне времени и пространства, добавим, что помещен он в статье о царствовании Льва IV и занимает две трети этой статьи.

Для средневекового историографа, игнорировавшего причинно-следственную связь событий, не существовало принципиальной разницы между событиями «историческими» и «неисторическими». Этим объясняется то, что хронографы изобилуют притчами, нравоучительными историями и «случаями из жизни». Более того, если в историографии нового времени объем текста, посвященного тому или иному событию, отражает степень важности этого события, то в средневековье эти пропорции соблюдались далеко не всегда. Объем хронографических сообщений не в последнюю очередь определялся объемом сведений источника. В свое время (на материале преимущественно Хроники Амартола) мы пытались продемонстрировать особенности отношения авторов хронографических компиляций к своим источникам,⁵ сейчас же попытаемся взглянуть на эту проблему с точки зрения развития жанра.

⁴ Летописец еллинский и римский / Текст подг. О. В. Твороговым и С. А. Давыдовой. Вступ. ст., комм. и археогр. обзор О. В. Творогова. СПб., 1999. Т. 1. С. 428. Ср.: *Истрин В. М.* Хроника Георгия Амартола. Пг., 1920. Т. 1. С. 482.

⁵ См.: *Водолазкин Е. Г.* Всемирная история в духовном мире древнерусского книжника // Русская литература. 1990. № 1. С. 144—148.

Первым хронографом Древней Руси был Хронограф по великому изложению (под «великим изложением» понималась Хроника Амартола), гипотетический памятник XI века. На отрезке начиная с царствования Ровоама, благодаря параллельным местам дошедших до нас хронографов, текст Хронографа по великому изложению восстанавливается с высокой степенью надежности.⁶ Это был текст с удивительно четкой структурой и ясными принципами отношения к источникам. Если, закрыв глаза на хронологию, сопоставлять этот хронограф с другими, трудно избавиться от впечатления, что он является вершиной эволюции жанра. Но факт очевиден: Хронограф по великому изложению был началом. Позднейшие хронографы нарушали его пропорции, добавляя обширные фрагменты житий, сказаний, поучений и т. д. (в меньшей степени это, пожалуй, относится к хронографическим палеям).

Пытаясь на основании разницы в структуре этих памятников говорить о каких-либо тенденциях, мы вступаем в деликатную сферу. Полагать, что средневековые представления о структуре исторического сочинения соответствуют нашим, было бы по меньшей мере модернизацией. Например, принцип полноты сведений был зачастую более важен, чем стремление выдерживать пропорции в повествовании. Кроме того, в нашем случае «образцовый» вид имеет как раз самое первое сочинение, и этот факт вроде бы заведомо отвергает всякие рассуждения о структуре как критерии развития жанра.

Для объяснения этого обстоятельства существует несколько возможностей. Первая — свести дело к уровню индивидуального мастерства человека, составившего первый хронограф. Этот путь не очень продуктивен, потому что он вводит нас в область случайностей. Другую возможность можно обосновывать, связывая объяснение с догадками о болгарском происхождении хронографии.⁷ Но и этот путь не так уж убедителен: почему, собственно, авторство болгарских книжников времен царя Симеона могло бы считаться предпочтительнее авторства русских книжников XIII—XIV веков, имевших к тому времени уже гораздо больший опыт работы с хронографическими текстами, но продолжавших создавать «нестройные» компиляции? Вернее же всего, очевидно, и на русском материале говорить о чертах, аналогичных отмеченным Я. Н. Любарским на материале византийском: «Уже в ранней византийской хронистике существуют на равных правах две противоположно направленные тенденции — жесткая хронологизация событий и стремление к повествовательности. Выражением последней являются многочисленные вставные новеллы, например, у Иоанна Малалы и Георгия Монаха. Даже у единственного строгого анналиста в византийской литературе Феофана Исповедника можно обнаружить определенную тенденцию к созданию цельных повествовательных эпизодов».⁸ Хронограф по великому изложению и хронограф Софийский принадлежат к разному времени и разным хронографическим семьям, но они обнаруживают значительное структурное сходство, в то время как генетически связанные между собой Хронограф по великому изложению и хронограф Троицкий следуют разным принципам построения.

Итак, с одной стороны, Хронограф по великому изложению, хронографические палеи, Софийский хронограф; с другой — Троицкий хронограф и

⁶ См.: *Истрин В. М.* Редакции Толковой Палеи. СПб., 1907. С. 165; *Творогов О. В.* Древнерусские хронографы. С. 54.

⁷ См.: *Шахматов А. А.* Древнеболгарская энциклопедия X века // *Византийский временник*. СПб., 1900. Т. 7. Вып. 1—2. С. 1—35. Ср.: *Истрин В. М.* Один только перевод Псевдокаллистефа, а древнеболгарская энциклопедия X века — мнимая // *Византийский временник*. СПб., 1903. Т. 10. Вып. 1—2. С. 1—30.

⁸ *Любарский Я. Н.* Византийская историография как жанр художественной литературы // *Российское византиноведение. Итоги и перспективы: Тезисы конференции*. М., 1994. С. 88.

Летописец еллинский и римский обеих редакций, представляющие соответственно два типа отношения к материалу. Несмотря на длительное сосуществование обоих типов, следует сказать, что в дальнейшем преобладала все же тенденция «пропорционального» освещения событий. Это мы можем наблюдать на примере определившего всю позднюю хронографию Русского хронографа: стремление сделать статьи соразмерными там очевидно.⁹

Рассматривая русскую хронографию с точки зрения стадияльной, следует отметить еще один существенный момент: появление заглавий. Впервые названия глав как система появляются в Летописце еллинском и римском Второй редакции (далее — ЕЛ-2). Там можно выделить три основных типа заглавий. Первый тип лишь несколько распространяет традиционное обозначение царствования: «Царство 20 Фоки мучителя, иже царствова в Костянтинѣ-градѣ».¹⁰ Тип второй определяет основную тему озаглавленного фрагмента: «О Аврамѣ», «О плачи Дарьевѣ», «О крещении Господа нашего Исуа Христа».¹¹ К третьему типу можно отнести заглавия, объявляющие не только тему, но и краткое содержание текста:¹² «О Пики Дии, како отца своего Круна в тимении утопивъ, сам царствова», «Повѣсть въкратцѣ полезна о латынех, когда отлучишися от грекъ и святыха Божия церкви, яко изьобрѣтоша собѣ ереси, иже опрѣсночная служити и хулу, еже на Святаго Духа». Знакомый нам фрагмент об убийце и собаке озаглавлен: «Како уби гриць убилицю господина своего».¹³

Если опять-таки пытаться говорить о тенденциях в истории русской хронографии, то можно сказать, что начиная с ЕЛ-2 заглавия использовались в большинстве хронографов. Главное, о чем свидетельствует появление заглавий: повествование стало дробиться на отдельные сюжеты. Речь идет именно о *сюжетах*, далеко не всегда имеющих отношение к *событиям*. Заглавиями выделялись и поучения, и разного рода описания — т. е. тексты, не повествующие о действиях, которое и лежит в основе всякого исторического события. Наименование фрагментов делало их в еще большей степени фрагментами, это способствовало дехронологизации истории и превращало повествование в цепь больших и малых новелл. Иными словами, эта дорога не вела к причинно-следственному восприятию истории. Можно даже предположить, что вела она в противоположную сторону или, по крайней мере, находилась в стороне от магистрали, связавшей историографию средневековую с историографией нового времени. Эволюционируя, хронограф придавал своим фрагментам все более притчеобразный характер, да и сама история до некоторой степени воспринималась как одна большая притча, чей основной смысл (как смысл всякой притчи) располагается гораздо глубже событийного ряда. Все это привело к тому, что при переходе к новому времени хронограф как жанр исторического повествования исчезает. Предмет его повествования становится исключительным достоянием богословия.

Иудео-христианская история — это прежде всего история выполнения пророчеств, и в этом ее отличие от других типов истории. Сравнивая библейскую историографическую традицию с историографией Древней Греции,

⁹ См.: Творогов О. В. К истории жанра Хронографа // ТОДРЛ. 1972. Т. 27. С. 212; Водолазкин Е. Г. К вопросу об источниках Русского хронографа // ТОДРЛ. 1993. Т. 47. С. 213.

¹⁰ Летописец еллинский и римский. С. 388.

¹¹ Там же. С. 12, 124, 204.

¹² В таком типе заглавия титрология (дисциплина, изучающая заглавия) подчеркивает наличие субъекта и предиката (см.: Кржижановский С. Поэтика на заглавие // Язык и литература. 1997. № 5—6. С. 20—39. Менее благозвучным нам представляется выделение «тематической» и «рематической» части заглавия. См.: Genette G. Structure and Functions of the Title in Literature // Critical Inquiry. Summer 1987. Volume 14. N 4. P. 692—720).

¹³ Летописец еллинский и римский. С. 9, 456, 428.

А. Момильяно писал, что если рядом с греческим историком стоял философ, то историк ветхозаветный был связан в первую очередь с пророком.¹⁴ Разумеется, сама идея предсказания не была чем-то специфически библейским. Вряд ли можно найти культуру, в которой прорицатели не играли бы той или иной роли. Но пророчество в библейском смысле качественно отличается от других видов предсказания. Его не стремятся избежать подобно тому, как уходил от своей судьбы Эдип, потому что такое пророчество с идеей судьбы не связано. Это пророчество *не-обходимо* — и в смысле неизбежности, и в смысле долженствования. Предсказание в античном понимании — даже если оно касается целых народов — носит частный характер, оно не соотносится ни с какой общей целью, ни с каким общим планом в отношении рода человеческого. Библейское пророчество — даже самого частного порядка — существует в традиции телеологического восприятия истории и рассматривается на фоне более общих явлений и задач.

Наконец, предсказание (акт, стоящий, как правило, вне событийного ряда) не было единственной функцией библейского пророка. Не менее важным было непосредственное (чаще всего в форме обличения) влияние пророка на историю. Это лишний раз подчеркивает императивный характер библейского пророчества.

По степени влияния на русскую хронографию ничто не может сравниться с «самыми историческими» из пророчеств — пророчествами Даниила. Важную роль они играют в Троицком хронографе (далее — ТХ) и в ЕЛ-2. Относительно небольшое место занимают пророчества Даниила в хронографических паляях. И в ТХ, и в ЕЛ-2 пророчества сопровождаются толкованиями Ипполита Римского. По предположению О. В. Творогова, пророчества с толкованиями входили в конвой Хронографа по великому изложению (далее — ХВИ), откуда впоследствии попали в текст хронографов.¹⁵ В некоторых случаях (фрагменты о дубе, а также об овне и о козле) толкования Ипполита приводятся без библейского текста (соответственно главы четвертая и восьмая Книги пророка Даниила). Порядок следования фрагментов книги Даниила в ЕЛ-2 иной.¹⁶

За исключением нескольких пророчеств Иеремии, ряд обширных фрагментов ТХ и ЕЛ-2 рассматриваются как иллюстрация к пророчествам Даниила. Вместе с тем даже в этом явно небезразличном для составителей хронографов случае они не дают никаких собственных комментариев, предпочитая для этих целей использовать находившиеся в их распоряжении источники. Чаще всего это комментарии Хроники Амартола, взятые из ХВИ. Так, в период правления Селевкидов «церки осквернися по Данилову прорицанию. Рече бо, глаголавъ к нему, архангелъ о 3 лѣа и пол полона сего: и во время измѣнения безъпрестани дасться мерзосте заступѣнию, имъ днии 1000 и 200 и 90. Таче раздрушение злomu благовъстуета наводити глаголя: „Блаженъ стертѣвьи дошедъ во дни 1000 и 300 и 30 и 5”». ¹⁷ По Амартолу

¹⁴ Momigliano A. Time in Ancient Historiography // History and Theory. Studies in the Philosophy of History. Beiheft 6. Middletown, 1966. P. 10—14.

¹⁵ Творогов О. В. Древнерусские хронографы. С. 67—68.

¹⁶ К этому можно добавить, что в Академическом виде ЕЛ-2 корпус текстов о Данииле открывается 13-й главой Книги Даниила (рассказом о Сусанне). По мнению И. Евсева, такая очередность является характерной особенностью так называемого Симеоновского перевода Книги Даниила (см.: Евсев И. Книга пр. Даниила в древнеславянском переводе. Введение и тексты. М., 1905. С. 2). В Чудовском виде сюжеты, связанные с Даниилом, начинаются с первой главы Книги Даниила. Очевидно, объясняется это не столько желанием восстановить первоначальную последовательность текста, сколько естественной логикой изложения: первая глава является вводной и сообщает предысторию событий.

¹⁷ Творогов О. В. Материалы к истории русских хронографов. 3. Троицкий хронограф // ТОДРЛ. 1989. Т. 42. С. 291.

же приводится хронографами расчет седмины, указанных в девятой главе Книги Даниила. На апокалиптических годо-неделях, отражающих позднеиудейскую систему счета,¹⁸ подробно останавливаться мы не будем, потому что, в отличие от других хронологических проблем, данная проблема составителями хронографов не решалась: в этом случае они полностью полагались на Амартола. Заметим лишь, что широко используемые в хронографах комментарии Ипполита Римского в отношении седмины с Амартолом расходятся. Георгий Амартол основывался преимущественно на расчетах Евсевия и Феодорита.¹⁹ Фрагмент, посвященный царствованию Августа, также приводит мнение Амартола: «Оттолѣ въ правду начинается четвертое царство, егоже Даниль уже на 4 звѣрьхъ видѣние, четвертому звѣри болѣ инѣхъ образно именуеть».²⁰

Здесь мы вплотную подходим к знаменитой схеме сменяющих друг друга четырех царств и вопросу ее влияния на русскую историографию. По этому поводу можно сказать только то, что в ранних русских хронографах она присутствует. В числе прочих рассуждений и историографических схем (например, уже упомянутого расчета седмины) идея четырех царств была почерпнута хронографами из Хроники Амартола. Утверждать какое-то особое ее влияние на хронографию было бы преувеличением. В рассматриваемый период учение о четырех царствах принадлежало, надо полагать, к области идей известных, но не актуальных, идей, «ждавших своего часа». Подтверждением этому может служить Повесть временных лет, не проявляющая к проблеме четырех царств никакого интереса. Строго говоря, и Георгий Амартол, впервые в византийской историографии объявивший Римское царство четвертым и последним, не внес в эту идею особой исторической детализации.²¹ В области теории четырех царств мы имеем дело с одним из тех научных положений, которые, будучи в целом верны, приукрашивают до некоторой степени реальность, контуры которой далеко не так ярки. Попытка Р. Воэна беспристрастно разобраться в проблеме влияния богословских схем на историографию показывает, что структура исторических сочинений далеко не всегда отражала эти схемы.²²

В заключение темы Даниила можно добавить, что упоминания о нем в русских хронографах связаны не только с канонической литературой или Хроникой Амартола. Так, в вошедшей в ЕЛ-2 Александрии (фрагмент восходит к Иосиппону) иудеи знакомят Александра Македонского с пророчеством Даниила, говоря, «яко подобаетъ нѣкому макидонянину царствие Прѣское пряти».²³ Можно также вспомнить и вошедший в ЕЛ-2 фрагмент Иосиппона, где Иосиф напоминает осажденным иудеям об исполнении пророчества Даниила.

Отмечая, что пророчество — способ преодоления времени, следует иметь в виду, что преодоление это не всегда направлено из прошлого в будущее: множество неканонических текстов содержит, так сказать, пророчества апос-

¹⁸ См.: *Ginzel F. K. Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie. Leipzig, 1911. Bd 2. S. 63.*

¹⁹ См.: *Fraidl F. Die Exegese der siebenzig Wochen Daniels in der alten und mittleren Zeit. Graz, 1883. S. 106.*

²⁰ *Творогов О. В. Материалы к истории русских хронографов. 3. Троицкий хронограф. С. 297.*

²¹ См.: *Podskalsky G. Byzantinische Reicheschatologie. München, 1972. S. 58—59.* Вместе с тем, как справедливо отмечает Г. Подскальски, эсхатологическая направленность идеи позволяла конкретизировать ее в духе «Reichsideologie» (там же. S. 59).

²² *Vaughan R. The Past in the Middle Ages // Journal of Medieval History. V. 12. N 1. March, 1986. P. 4—5.*

²³ *Летописец еллинский и римский. С. 108. Ср.: Повесть временных лет / Подг. текста Д. С. Лихачева. М.; Л., 1950. Ч. 1. С. 189.*

териори, описание уже известных событий, облаченное в пророческую форму. Так, в ТХ помещен неизвестного происхождения фрагмент «От елиньскаго хронографа пророчества о Христе историка», где предопределенность рождения Христа подтверждается, среди прочего, пророчествами сивилл.²⁴ Здесь не место рассуждать об условиях и механике создания апокрифических текстов в целом, ограничимся несколькими замечаниями относительно средневековой историографии, где пророчество и его выполнение — едва ли не главный предмет повествования.

Связь факта предсказания с предсказанным событием была настолько прочной, что позволяла не только не сомневаться в неизбежности события при наличии предсказания, но допускала и обратное заключение: всякое известное событие могло иметь свое (пусть до поры и неизвестное) предсказание, которое можно восстановить на основании знания о событии. Известность или неизвестность предсказания была делом второстепенным на фоне общей предопределенности истории и полного отсутствия времени там, где она предопределялась. Об этом отсутствии времени напоминали сходные события, то и дело происходившие в направленной, казалось бы, вперед истории.²⁵ Возможность ретроспективного движения от события к пророчеству была прямым следствием их равноположенности в средневековом сознании. Интересно, что в заглавии Летописца еллинского и римского, сохранившемся в Первой его редакции, сказано, что, среди прочего, хронограф этот составлен «и от пророчества Георгиева».²⁶ Это, впрочем, не отменяло понимания специфики пророчества как предсказания о будущем (так, Толковая Палея говорит о разнице между пророком и «сказателем бытию»²⁷). Ведь даже в случае «восстановления» пророчества по событию направленность пророчества в будущее, разумеется, оставалась.

«Проходимость» исторического времени в обоих направлениях иллюстрирует ту особенность средневекового сознания, которую можно условно определить как отождествление должного с имевшим место. Именно этот эффект послужил причиной христологических вставок в текст Истории Иудейской войны Иосифа Флавия, некоторыми исследователями до сих пор легкомысленно называемых подделкой. С точки зрения средневековья, вопроса здесь даже не возникало: будучи почти современником Христа, Флавий не мог о нем не писать, удивительным было, скорее, отсутствие таких сведений. Оставалось сделать только один шаг — включить недостающие сведения, что в отсутствие авторского сознания не составляло большой проблемы. В этой связи весьма вероятным нам кажется предположение Д. М. Буланина о том, что включение христологического текста вероятнее всего могло произойти в одном из хронографов.²⁸

²⁴ *Творогов О. В.* Материалы к истории русских хронографов. 3. Троицкий хронограф. С. 294—295. Этот фрагмент представляет особый интерес. Любопытно, что параллель к нему мы находим в Послании Климента Смолятича, что же касается отсылки к «еллинскому хронографу», то не очень ясно, о чем, собственно, идет речь (см.: *Никольский Н. К.* О литературных трудах митрополита Климента Смолятича, писателя XII в. СПб., 1892. С. 13; *Шахматов А. А.* Указ. соч. С. 29; *Истрин В. М.* Редакции Толковой палеи. С. 113—114; *Творогов О. В.* Древнерусские хронографы. С. 96). С нашей точки зрения, особенности данного фрагмента в ТХ (повторы текста) свидетельствуют о существовании некоей не дошедшей до нас хронографической компиляции, связанной с Хронографом по великому изложению, которая, возможно, и называлась «еллинским хронографом».

²⁵ См.: *Водолазкин Е. Г.* Особенности времяисчисления русской хронографии // *Славянские литературы. Культура и фольклор славянских народов: XII Международный съезд славистов (Краков, 1998)*. Доклады российской делегации. Москва, 1998. С. 67.

²⁶ Летописец еллинский и римский. С. 3.

²⁷ Палея Толковая ... 1406 г. Стб. 282.

²⁸ *Буланин Д. М.* Античные традиции в древнерусской литературе XI—XVI веков // *Slavistische Beiträge*. Bd 278. München, 1991. С. 53.

Но вернемся к теме пророчеств. Пророчество является знанием о том, чего еще нет, но что неизбежно должно возникнуть. Знание о пока несуществующем, но уже мыслимом предполагает некую предопределенность событий, называемую порой Божественным планом. Присутствие понятия Божественного плана во множестве работ по средневековой историографии побуждает нас кратко коснуться также и этой темы. Хотя такого термина мы не встретим ни в одном русском средневековом сочинении, сама идея неслучайности произошедших событий, безусловно, существовала. Для ее обозначения мы и будем использовать указанный термин.

Наряду с некоторыми рассматривавшимися нами понятиями мысль о Божественном плане как оси христианской историографии нуждается в ряде уточнений. Первое из них связано с пророчествами, на которых в основном и базируется идея Божественного плана. При том, что большинство пророчеств связано с Ветхим Заветом и не выходит за пределы первого века нашей эры, даже в этих хронологических рамках нет ни одного универсального пророчества, которое можно было бы определить как единый для всей ветхозаветной истории Божественный план. Как отмечает Б. Альберктсон, в Ветхом Завете много различных «планов», касающихся фрагментов всемирной истории, но не ее общего,²⁹ и историография это вполне отражает. Так, несмотря на явное пристрастие ТХ к пророчествам Даниила, эти тексты и комментарии к ним используются на ограниченном отрезке повествования.

Далее, говоря о Божественном плане, следует полагать, что непосредственное и детальное соприкосновение с историей он имеет только в ветхозаветный период, что период новозаветный предусматривает не столько исторические, сколько эсхатологические перспективы и что в конечном счете речь идет о не совсем историческом плане, поскольку цель его лежит вне истории, она располагается после «конца времен». Иными словами, будучи обоснованной богословски (по емкой формуле Х. Балтазара, «история — движение от Бога к Богу»³⁰), идея Божественного плана не могла в равной степени иллюстрироваться разными периодами всемирной истории.

Более того, ни в хронографах, ни в доступных на Руси византийских историографических сочинениях мы не найдем подробных размышлений о смысле истории как целого, хотя о связи отдельных (нередко — нескольких) событий говорится много. История там — это механический перечень фактов, с их оценкой, указанием дат или временной дистанции между ними, это собрание отдельных «случаев», организованных по хронологическому принципу.³¹ То, что в древнерусских исторических сочинениях редко формулируются общие идеи относительно течения истории, безусловно, связано с фрагментарной структурой этих сочинений — связано как причина со следствием. Собственно говоря, само слово «течение» здесь не вполне уместно, поскольку отсутствие причинно-следственной связи между событиями лишает представляемый в хронографах исторический ряд динамики. Причина как истории в целом, так и каждого отдельного события находится вне исторического ряда.

²⁹ *Alberktson B. History and the Gods. Lund, 1967. P. 89.*

³⁰ *Balthasar H. Das Ganze im Fragment: Aspekte der Geschichtstheologie. Einsiedeln, 1963. S. 134.*

³¹ Последовательно проводить принцип причинно-следственности может лишь историография, не имеющая цели ни в истории, ни вне ее. Х. Райхенбах указывает на противоречие причинного и телеологического принципов следующим образом: «В действительности телеология противоречит каузальности. Если прошлое определяет будущее, то будущее не определяет прошлого» (см.: *Reichenbach H. Gesammelte Werke. Braunschweig, 1977. Bd 1. S. 303*).

Поэтому, в частности, вряд ли можно найти что-то более этой истории чуждое, чем понятие развития³² как чего-то внутренне ей присущего (а тем более имеющего отношение к прогрессу). Слово «развитие» в отношении средневековья применимо, пожалуй, только в одном своем значении — этимологическом: как развитие чего-то заранее свитого, предуготованного.³³ Такое значение предполагает не более чем уход от первоначального состояния, не имеющий ни малейшей положительной окраски. Как раз наоборот: близость к первоначалу казалась богословски настолько важной, что даже реформы, проводившиеся на исходе или после средневековья, в церковной среде обосновывались возвращением к прошлому. Здесь можно вспомнить споры Никона с Аввакумом или реформу календаря папой Григорием XIII, аргументировавшим свои нововведения опасностью превращения Пасхи в летний праздник, вопреки евангельским указаниям.³⁴ История ветхозаветная предстает в хронографах как непрерывная деградация, ведущая свое начало со дня грехопадения. Уменьшение количества лет жизни, смерть сына прежде отца (апокриф о сожжении Авраамом идолов Фары), череда больших и малых катастроф — все это выглядит некой скорбной закономерностью, хотя и в этом случае историограф прежде всего оценивает отдельные события, а не их совокупность. Небольшой по объему комментарий к ветхозаветной истории в целом дает Хроника Амартола (составителями хронографов этот фрагмент включен не был). Размышляя о причинах пришествия Христа как врача человеческих недугов, Амартол упоминает грехопадение, убийство Каином Авеля, потоп, Содом и Гоморру, попытки пророков исправить погрязший в грехе народ. То, к чему пришло человечество в результате своей ранней истории, в хронике оценивается как «струпь челоуѣчеству от ногу доже и до главы, и не бѣ како врачѣба приложити ни олъѣ, ни приузы».³⁵ Архаичная по своей природе идея деградации истории поддерживается в историографии и активным использованием Книги пророка Даниила, где «тѣло, егоже глава от злата чиста, руцѣ и перси и мышцы его сребряны, чрево и стегна мѣдяна, / голени желѣзны, нозѣ, часть убо нѣкая желѣзна и часть нѣкая скудельна» (Дан. 2:32 — 33), символизирует смену царств (ср., например, золотые, серебряные, стальные и железные ветви дерева в иранской мифологии).³⁶

В новозаветной части хронографической истории нет отрицательной тенденции в построении исторического ряда, как, впрочем, нет и попыток дать развернутый комментарий. Можно упомянуть лишь несколько толкований в Хронике Амартола, из которых особый интерес представляет апология империи. Это один из немногих случаев, когда оценивается не поступок, а явление. Кроме того, здесь содержится редкая для средневековой историографии оценка события, в которой прогресс духовный совпадает с историческим. Создание Римской империи рассматривается как историческая подготовка к пришествию Мессии: «Ромѣиское царствие раздѣленныхъ царствиин, якоже глаголахъ, разоривъ крамолы, и миръ истовыи всюду бысть и въ

³² Само это понятие в эпоху Просвещения заимствовано историософией из биолого-антропологической сферы и является, по сути, метафорой (см.: *Cezana A. Geschichte als Entwicklung? : Zur Kritik des geschichtsplosophischen Entwicklungsdenkens.* Berlin; N. Y., 1988. S. 22—23, 32).

³³ Русское слово «развитие», будучи калькой нем. *Entwicklung*, а в конечном счете лат. *evolutio* (см.: *Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. Т. 3. (Муза — Сят) / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. 2-е изд. М., 1987. С. 433*), копирует их структуру довольно точно.

³⁴ См.: *Vodolazhin E. La polemica sul calendario tra XIX e XX secolo. Premessa e sviluppi // La grande Vigilia. A cura di A. Mainardi. Bose. 1998. P. 393—407.*

³⁵ *Истрин В. М. Хроника Георгия Амартола. С. 214.*

³⁶ См.: *Bultmann R. History and Eschatology. Edinburgh, 1957. P. 26—27.*

человѣчьскыя уши добрѣ уготова проповѣдана миру подателя (...) и паки противу мыслящей царствия поклониша выю и спасеное иго прияша».³⁷ Этот фрагмент также не вошел ни в один из рассматриваемых нами хронографов, из чего следует, что рассуждения об особенностях исторического процесса интересовали их составителей в весьма небольшой степени.

Отношение известных на Руси историографов к истории после Христа неоднозначно. В этой истории средневековыми историографами одобряется многое, хотя и движется она зигзагообразно. Период гонений на христиан сменяется эпохой распространения христианства, но при этом борьба с врагом внешним уступает место не менее жесткой борьбе с врагом внутренним, ересями. Описанию ересей и хронографы, и их источники уделяют большое место. Ереси и вселенские соборы как средство их преодоления становятся в центре повествования о всемирной истории. В отношении того, какие из описываемых событий являются историей «священной», не остается ни малейших сомнений: хронологические выкладки (сопоставляющие между собой самые значительные события) византийского периода связаны с Константином Великим и Вселенскими соборами. И если уместно говорить о своего рода «прогрессе» в глазах средневекового историографа, то «прогрессом», несомненно, являлось движение назад. Так, о Седьмом соборе, последнем в многовековой борьбе православия с ересями, в Краткой хронографической палее сказано: «и бывшу святыя вселенныя собору, и приять церкви старую свою и первую красоту».³⁸

Ни в тексте, ни в структуре рассматриваемых памятников не содержится ничего такого, что дало бы повод переоценивать исторический оптимизм их составителей. Одобрительное отношение ко многим событиям прошлого и настоящего никак не поощряет аналогичного отношения к перспективе. Иногда создается впечатление, что будущего (исторического будущего) для историографов просто не существует: оно не упоминается.

Показательно окончание этих сочинений, в котором уместно, казалось бы, подведение итогов или предположения о будущем. Хронографические палеи, подобно славянскому тексту Хроники Амартола, оканчиваются описанием бесславной смерти Романа Лакапина. Событийный ряд ЕЛ-2 завершается рассказом о взятии Константинополя крестоносцами. В конце не предлагается никаких обобщений, как нет и попыток найти для завершения более радостный сюжет. В отличие от этих сочинений ТХ оканчивается сообщением о крещении Владимира, хотя и здесь дело обходится без исторического комментария.

Определенный оптимизм в отношении будущего возникнет позже, в рамках идеи *translatio imperii*. В заключительном фрагменте Русского хронографа, качественно иного по отношению к рассматриваемым нами сочинениям, говорится: «Сиа убо вся благочестиваа царствия Греческое и Серпское, Басанское и Арбаназское и инии мнози грѣхъ ради нашихъ Божиимъ попущениемъ безбожнии Турци поплениша и въ запустѣние положиша подѣ свою власть, наша же Росиская земля Божиею милостию и молитвами пречистыа Богородица и всѣхъ святыхъ чудотворецъ растеть и младѣть и возвышается, ейже, Христе милостивый, дажь расти и младѣти и разширятся и до скончания вѣка».³⁹ Нетрудно, впрочем, заметить, что и этот оптимизм является в конечном счете оптимизмом эсхатологического свойства.

³⁷ *Истрин В. М.* Хроника Георгия Амартола. С. 208.

³⁸ БАН. 24.5.8. Л. 209. Ср.: *Истрин В. М.* Хроника Георгия Амартола. С. 484.

³⁹ Полное собрание русских летописей. СПб., 1911. Т. 22. Ч. 1. С. 439—440. Знаменательно, что наряду с Российской землей данный текст применялся и к Тырнову; восходит же он к посвящению Хронике Константина Манассии императору Михаилу Комнину: «И сиа убо приключишу ся Старому Риму. Нашъ же Новыи Цариградъ доить и растить, крѣпит ся и умлажда-

Отсутствие внутренней динамики средневековой истории, рассмотрение ее как механической совокупности событий не рождало у историографа искушения занять позицию «с высоты своего времени». Стоять последним в череде каузально не связанных событий вовсе не значило иметь преимущественное право суждения об истории. Используя аналогию с древнерусской иконой, такой подход можно было бы назвать «обратной перспективой» средневековой историографии: новые события не закрывали старых. В отличие от современного исторического сознания, базирующегося на идеях причинно-следственности и прогресса, настоящее средневековья не «сняло» прошедшего, оно существовало рядом с ним.

В этой связи обратимся к характерным для хронографа вставным новеллам, не имеющим вроде бы отношения к историческому процессу, но весьма существенным для понимания жанровой специфики хронографа. Удобнее всего рассмотреть это на примере ЕЛ-2: из всей ранней хронографии именно этот памятник проявляет к такого рода рассказам наибольшее пристрастие.

Новеллы, о которых идет речь, вполне укладываются в жанровое определение *exemplum* (небольшой нравоучительный рассказ, приводимый обычно в подтверждение того или иного положения. Освоив античную традицию *exemplum*, христианство широко ее использовало — в первую очередь в проповеди). Попытки исследователей охарактеризовать *exemplum* предпринимались в двух основных сферах — формальной и функциональной.⁴⁰ Говоря о допустимости указанного термина в отношении рассматриваемых новелл, мы имеем в виду прежде всего формальное сходство — вплоть до установки на достоверность, отличающей их от *fabula* (о функциональном соответствии будет сказано ниже).

Большинство такого рода новелл заимствовано из Хроники Амартола. В одной из них («О Евагри философе, егоже крести Сунесии епискупъ и дасть ему рукописание») рассказывается о том, как александрийский епископ Синесий крестил еллинского «философа» Евагрия. Евагрий пожертвовал 300 литр золота, но попросил у епископа расписку в том, что на том свете он это «сторичею съ житием вѣчным примет».⁴¹ После своей смерти Евагрий является во сне епископу и просит раскопать его могилу. Вместо расписки епископа в руке Евагрия находят его собственную расписку, подтверждающую, что он получил все сполна. В другом рассказе («О Тязиоте, въскресшемъ от мертвыхъ въ 3 часъ») речь идет об опыте человека, умершего сразу после прелюбодеяния. Этот нераскаянный грех и определяет его посмертную судьбу: Ад. Но, увидев двух ангелов, Тязиот просит их вернуть его к земной жизни, поскольку он не знал, что его ждет. Услышав эту мольбу, «глагола аггелъ къ другу своему: „Поручиши ли ся за него?“. И рече други аггелъ: „Поручюся“».⁴² Тязиота отправляют на землю, где он предупреждает всех о грядущем наказании (до определенной степени этот сюжет напоминает помещенный далее рассказ «О мужи, иже милостыню творяше, а блуда не оставяше»⁴³). Будучи основаны на переводе Хроники Амартола, оба указанных текста значительно распространены — очевидно, по одному из флорилегиев. Нетрудно предположить, что такого же типа сборник еще на греческой почве

ет ся. Буди же ему и до конца расти...». См.: Мещерский Н. А. Источники и состав древней славяно-русской переводной письменности XI—XV веков. Л., 1978. С. 91—93.

⁴⁰ Критический их обзор см.: Moos P. von. Geschichte als Topik: Das rhetorische Exemplum von der Antike zur Neuzeit und die *historiae* im «Policraticus» Johannis von Salisbury. Hildesheim; Zürich; New York, 1988. S. 22—69.

⁴¹ Летописец еллинский и римский. С. 394.

⁴² Там же. С. 397.

⁴³ Там же. С. 421.

послужил источником и самому Георгию Амартолу. Каноническую параллель подобным преданиям можно видеть прежде всего в евангельском повествовании о бедном Лазаре (Лк., 16:19—31) — с той разницей, что Лазарь не был отпущен на землю.

Появление в исторических сочинениях сюжетов такого рода не случайно. Средневековая историография с ее напряженным вниманием к эсхатологии обрела еще один путь проникновения в эту сферу. Наряду с исторической (общей для всех) эсхатологической перспективой существовала, так сказать, персональная эсхатология. Если общеэсхатологические задачи историю и эсхатологию противопоставляли (для достижения общей эсхатологической цели история должна была прекратиться), то эсхатология персональная их объединяла. Это была эсхатология не после «конца времен», в известном смысле это была эсхатология в пределах истории, своего рода вертикальные линии, уходящие вверх от горизонтали исторического процесса. С точки зрения Ж. ле Гоффа, функцией *exemplum* как раз и было связать историческую реальность с эсхатологией; «время *exemplum* подчинено диалектическим отношениям между временем истории и временем спасения». ⁴⁴

У нас нет возможности подробно рассматривать хронографические *exempla*, но еще на одном сюжете, иллюстрирующем соотношение истории и истории спасения, мы остановимся. Интерес этого рассказа состоит в том, что он не является *exemplum* в строгом смысле слова. В отличие от многих вставных новелл, героями его являются исторические лица, действующие в историческом времени. ⁴⁵ Это рассказ ЕЛ-2 о посмертном прощении императора Феофила. Сюжет вкратце сводится к следующему. Императору-иконоборцу Феофилу случилось заболеть: «уста его отврзюшася и ращезнуста ему челюсти. И бѣ видити страшно и грозно». Царица Феодора приложила ему к губам икону Богородицы, и «абие сведостася устнѣ его и бысть взоръ чловѣчскыи на нем». Происшедшее чудо убеждает Феофила в необходимости иконопочитания. Спустя небольшое время «ищезает от житія сего Феофил», и Феодору охватывает страх, что муж ее с прочими еретиками будет предан вечной муке. Вняв мольбам царицы, патриарх наказывает всему клиру и мирянам молиться о прощении Феофила. Вскоре царице во сне было явлено, что Феофил прощен, к патриарху же обратился ангел: «Услышася моление твое, о епискупе, и милость получи царь Феофил, не уже бо ктому достужаи о сем Божеству». ⁴⁶ Сюжет этот помещен в разделе, посвященном царствованию Михаила, сына Феофила. Излагается он дважды (!) — в кратком и пространном вариантах, причем первый, как следует полагать, является сокращением второго. Эти рассказы озаглавлены соответственно «Слово на сборъ въ 1-ю недѣлю поста. О Феофилѣ царѣ, како по смерти прощенъ бысть» и «Слово събраиение еже естъ православная вѣра въ 1 недѣлю святого поста. О Феофилѣ царѣ, како по смерти прощенъ бысть от муки». ⁴⁷ Жанровые особенности заглавий («Слово») придают историческому в основе своей (и помещенному в соответствующем месте исторического ряда) повествованию

⁴⁴ *Le Goff J. Phantasie und Realität des Mittelalters. Stuttgart, 1990. S. 124.*

⁴⁵ Аисторичность *exemplum* состоит не столько в преобладании «неисторических» персонажей, сколько в несоотносимости самих сюжетов с историческим рядом. Так, говоря о феноменологичности и аисторичности *exemplum*, К. Даксельмюллер особо подчеркивает отсутствие восприятия жанром временного начала истории. См.: *Daxelmüller C. Zum Beispiel: Eine exemplarische Bibliographie. Teil 1 // Jahrbuch für Volkskunde. Würzburg; Innsbruck; Fribourg, 1990. N 13. S. 222.* Здесь же (включая N 14 и 16 этого издания) содержится подробнейшая библиография по *exemplum*.

⁴⁶ Летописец еллинский и римский. С. 449—452.

⁴⁷ Там же. С. 446, 448.

дополнительное измерение. Историческое событие становится *exemplum*. Именно в таком качестве этот сюжет будет впоследствии упомянут в Житии Юлиании Лазаревской — как параллель молитве Юлиании за ее умершего мужа («Добрая жена и по смерти мужа своего спасает»).⁴⁸

Обладая всеми формальными признаками *exemplum*, эти аисторические в большинстве своем рассказы кажутся совершенно нелогичными в историческом повествовании. Вероятно, как раз в этом и заключается их особая важность для понимания специфики жанра. Они сигнализируют о том, что и сама средневековая история до определенной степени рассматривалась как набор *exempla*, подтверждавших Божественное мироустройство. Такого рода взгляд на события делал разделение на «историческое» и «неисторическое» более чем второстепенным. Столь же несущественным, с точки зрения средневекового историографа, было выявлять отношения между событиями: связь земного и небесного в рамках каждого отдельного события была гораздо важнее связи событий друг с другом. Потому только на первый взгляд может показаться парадоксальным выявление общих черт хронографа и такого памятника, как, скажем, Пролог. Последний также представляет хронологически организованное повествование с той лишь разницей, что, в отличие от линейного времени хронографии, время календарных сборников циклично и тем самым напрямую соотносимо с вечностью. Это — заключенная во всемирной истории священная история, не испытывающая уже нужды во времени. Потому и общие сюжеты (в том числе и «неисторические»: например, рассказ Летописца еллинского и римского Второй редакции «О Феодоръ жидовинъ») этих разных жанров не случайны, как не случаен их общий интерес к житиям, мартирологам и т. д.

Приведенные выше рассказы помогают лучше понять задачи исторического процесса с точки зрения средневековья. В отсутствие видимых *общих* исторических целей *персональная* работа каждого над спасением становилась едва ли не главным обоснованием истории как таковой. Эта работа может проводиться только при жизни, а значит — в рамках истории. И хотя в исключительных случаях — а о них как раз идет речь — удается что-то поправить после смерти, эта исключительность подчеркивается недвусмысленно: «Кто же в животь своем и о спасении своем скорбите. Одина ти есть душа и одно житью время. И не уповайте чужими приносы спастися». ⁴⁹ И покаяться душе нельзя иначе, чем находясь в теле. В упоминавшемся рассказе о Тязиоте ангелы заставляют его вернуться на землю, вопреки его желанию, *телесно*: «Не мощно ти покаятися, аще не тълоть, имъже съгрѣшил еси». ⁵⁰

Переключка жизни исторической с жизнью потусторонней — одна из важных хронографических тем (здесь можно вспомнить еще такой сюжет, как «О черноризци, егоже связа Григории, папа римьскыи, и, пославъ на гробъ диакона, раздрѣши и»⁵¹). Возможности (пусть и в исключительных случаях) получать сведения *оттуда* лишали границу между двумя мирами той непроницаемости, которая позволила бы вывести мысли о потустороннем за пределы повседневной жизни. Говоря же о повседневности применительно к рассматриваемой историографии, не будем забывать, что речь в данном случае идет о повседневности, как ее видело монашество (чьими трудами и на византийской, и на русской почве эта историография создавалась), и это

⁴⁸ Житие Юлиании Лазаревской / Исслед. и подг. текстов Т. Р. Руди. СПб., 1996. С. 134. За помощь в анализе этого сюжета я благодарен Т. Р. Руди.

⁴⁹ Летописец еллинский и римский. С. 452.

⁵⁰ Там же. С. 397.

⁵¹ Там же. С. 422.

также весьма существенно для понимания того, почему и хроники, и хронографы так много говорят о смерти.⁵² Не случайно вслед за Хроникой Амартола ЕЛ-2 помещает большую подборку цитат «о умерших».⁵³

От темы потустороннего перейдем к такой существенной для средневековой историографии теме, как чудесное. Собственно, все рассмотренные нами в ехемпра события также входят в категорию чудесного, но это чудесное в особом, христианском смысле. В классификации Ж. ле Гоффа, основывающейся на материале западного средневековья (и вполне, на наш взгляд, соотносимой со средневековым русским), такого рода чудеса подходят под определение *miraculosus*. Помимо этого Ж. ле Гофф выделяет еще два типа: *magicus* и *mirabilis*.⁵⁴ Первый из терминов применен к сверхъестественному бесовского происхождения, второй — к чудесному хоть и с дохристианскими корнями, но не имеющему прямого антихристианского содержания.⁵⁵

Говоря о *magicus*, в первую очередь следует, несомненно, упомянуть апокрифическое прение апостола Петра с Сионом волхвом, сюжет, весьма распространенный в древнерусской литературе.⁵⁶ Что касается хронографии, то в ЕЛ-2 этот рассказ имеет источниками Хронику Амартола и Хронику Малалы, в составе же ТХ также использована Хроника Амартола, но повествование значительно расширено на основании апокрифических Деяний. Примечательно в этом сюжете то, что апостол Петр, победив Симона в словесном споре, не отказывается от соперничества и в области чудес — той сфере, где Симон чувствует себя более чем уверенно. Основная часть борьбы Петра и Симона состоит в демонстрации чудес, но обратившийся к Божьей помощи Петр и в этом оказывается сильнее. Несмотря на сходство некоторых чудес с обеих сторон, и в данном случае текст дает возможность отделять *miraculosus* от *magicus*, подчеркивая разное их качество: «Въроваху же Симанови, дивящесе знаменемъ его, творяше бо змиѣ мѣдяньи двизатися самои, яко живѣ, и каменымъ телцемъ смиятися и двизатися самѣмъ. Самому же потещи и внезапно въсхищену быти на иерь. Противу же Сианомовимъ знаменемъ Петръ болящяа исцѣляя словомъ и слѣпыя зрѣти творяше молитвами, бѣсы именемъ Исусъ Христовымъ прогоняше и мертвеца въставляше».⁵⁷

Чудеса христианских подвижников зачастую предстают в такого рода сюжетах в качестве «нейтрализации» чудес их оппонентов. Так, по молитве апостола Петра бесы бросают носимого по воздуху Симона. После умерщвления быка Сионом (Симон говорит быку что-то на ухо) Петр его оживляет. Последний сюжет любопытен, так как в несколько измененном виде он присутствует во фрагменте Жития св. Сильвестра, заимствованном ЕЛ-2 из Хроники Амартола. Сходство с Житием св. Сильвестра состоит и в том, что эпизод с быком соседствует с описанием словесного спора, который ведет св. Сильвестр (в данном случае с иудеями). Подобное сходство (вплоть до

⁵² См.: *Podskalsky G. Mönch und Tod in Byzanz* // Монастырская культура: Восток и Запад / Сост. Е. Г. Водолазкин. СПб., 1999. С. 221—227.

⁵³ Летописец еллинский и римский. С. 397—401. Ср.: *Истрин В. М.* Хроника Георгия Амартола. С. 441—448.

⁵⁴ Этот тип чудесного подробно рассмотрен нами на материале хронографических рассказов о монастрах. См.: *Водолазкин Е. Г.* О «людѣхъ дивинихъ» древнерусских хронографов // Русская литература. 1998. № 3. С. 131—148.

⁵⁵ *Le Goff J.* Op. cit. S. 44.

⁵⁶ В версии Великих Миней Четых данный сюжет см.: Деяния апостолов Петра и Павла / Подг. текста, перевод и комм. Е. Г. Водолазкина // Библиотека литературы Древней Руси (в печати).

⁵⁷ См.: *Творогов О. В.* Материалы к истории русских хронографов. 3. Троицкий хронограф. С. 304.

сюжетных параллелей) не случайно. Речь в данном случае идет о миссионерских по первоначальным своим задачам сюжетах. Как отмечает Б. Вэрд, рассматривавшая эту проблему на материале Жития св. Катберта, миссионеры старались подчеркнуть скорее сходство чудес и магии, чем их различие.⁵⁸ Для убеждения людей, пребывавших вне понятийной системы христианства, догматических рассуждений было по меньшей мере недостаточно. Миссионеры вынуждены были работать в семантической поле обращаемых ими людей, поскольку это было понятной и действенной мерой.⁵⁹ Апостол Петр воскрешает быка, «людие же, видѣвше, дивишася, глаголюще: „Въистину еже оживити паче умренья вяще есть чудо“». ⁶⁰ Хронографический фрагмент о св. Сильвестре открывается рассказом о том, как в Капитолии поселился змей, губивший своим дыханием горожан. В этом сюжете св. Сильвестру прямо предлагается: «Иди, епископе, къ змиеви, створи въ имя Бога своего, да ся упразднить любо на едино время от пагубы челоувѣческыя, вѣруемъ вси и крестимся». ⁶¹ Чудеса «миссионерского» типа имеют и более внутренний характер. Таково, например, чудо епископа Спиридона Тримифунтского при обращении еллинского философа, заимствованное из Хроники Амартола всеми рассматриваемыми хронографами. Видя, что никто из присутствующих не может победить в споре с философом, Спиридон «прошааше вѣрмени, да дадять ему глаголати къ философу. Отцы же, вѣдуще простество его, яко некнижну ему суцу, прѣщахуть ему, да не от грѣшникъ поругани будут» (Краткая хронографическая палея). ⁶² Но, произнеся краткий символ веры, именно Спиридон убеждает и обращает философа.

Такого рода чудеса, вопреки своей первоначальной «полемиической» направленности, в хронографах уже не столько опровергали, сколько подтверждали, они были не полемикой, а апологией. Разумеется также, что ни византийские, ни русские историографы не включали эти тексты с миссионерской целью; хронографы были чтением для христиан. Чудеса подтверждали истинность христианского учения (как в житиях они подтверждали святость святого). Подобная роль чудес в хронографии соответствует их роли в других средневековых жанрах — на Востоке и на Западе. Так, используя тексты Григория Великого, о необходимости чудес в период юности церкви писал Беда Достопочтенный.⁶³

Если подтверждающая функция чудес не вызывает сомнений, то вопрос об их месте в историческом повествовании до сих пор не решается однозначно. Попытки расценивать это место с точки зрения современных представлений о причинно-следственности приводят порой к заявлениям столь же радикальным, сколь и необоснованным: «Христианский историк согласится с чудесным объяснением события, только если ни одно другое не кажется возможным; агиограф предпочтет чудесное объяснение даже в случае неизбежности объяснения естественного». ⁶⁴ Вопреки приведенному мнению можно заметить, что, во-первых, для средневекового историка объяснения трансцендентного характера были не менее естественны и уж во всяком

⁵⁸ Ward B. *Miracles and the Medieval Mind*. Pennsylvania, 1982. P. 10.

⁵⁹ Одним из наиболее ярких примеров тому на русской почве (хотя и без чуда в традиционном смысле) является согласие св. Стефана Пермского пройти с волхвом сквозь огонь и подо льдом.

⁶⁰ *Истрин В. М.* Хроника Георгия Амартола. С. 253. В ЕЛ-2 эта фраза сокращена. См.: *Летописец еллинский и римский*. С. 218.

⁶¹ *Летописец еллинский и римский*. С. 284.

⁶² БАН. 24.5.8. Л. 186, об. Ср.: *Истрин В. М.* Хроника Георгия Амартола. С. 342—343.

⁶³ См.: *McCready W.* *Miracles and the Venerable Bede*. Toronto, 1994. P. 80—84.

⁶⁴ См.: *Woolf R.* «*Saints' Lives*» // *Continuations and Beginnings: Studies in Old English Literature* / Ed. E. Stanley. London, 1966. P. 42—43.

случае более убедительны, чем «естественные». Здесь достаточно вспомнить объяснение Повестью временных лет победы над половцами ангельской помощью (1111 год): это совсем не тот исторический случай, когда при желании нельзя найти «реалистического» объяснения. Во-вторых, было бы весьма странным представлять себе историка и агиографа в виде средневековых «узких специалистов», погруженных исключительно в историю или агиографию. Это были люди примерно одного сознания (слово «со-знание» оказывается здесь весьма кстати, намекая и на общность средневекового знания, и на его синкретичность), которое даже в различных жанрах проявляло себя сходным образом. Более того: зачастую это были одни и те же люди. В древнерусской литературе можно назвать Нестора-летописца и Нестора-агиографа, или уже упомянутого Беду Достопочтенного — в литературе древнеанглийской, бывшего одновременно и историографом, и агиографом, и богословом. Разумеется, работая в разных жанрах, и Нестор, и Беда хорошо понимали разницу между историографией и агиографией. Но жанровое их отношение к материалу сказывалось на уровне структурном, не мировоззренческом. Характерно, что, по мнению В. Маккриди, именно великий историк Беда в сравнении с другими раннесредневековыми мыслителями был наделен наибольшей восприимчивостью к чудесам.⁶⁵ Среди того многого, что объединяет восточно- и западноевропейские историографические традиции, можно назвать и отношение к чудесам как полноправному составляющему исторического ряда. Будучи исключением из правил, чудеса вместе с тем рассматривались как проявление истинного миропорядка, нарушаемого хаосом повседневных «естественных» событий.

Сюжетом об отношении к чудесному мы завершаем рассмотрение некоторых черт ранней русской хронографии — исторического повествования, не включающего русский материал, основанного на восприятии истории как механической совокупности событий, причины которых провиденциальны, а последовательность предсказана в пророчествах.

⁶⁵ *McCready W.* Op. cit. P. 230.

ИДЕАЛЬНЫЙ ТОПОС РУССКОЙ ПОЭЗИИ КОНЦА XVIII—НАЧАЛА XIX ВЕКА

Литература сентиментализма, впервые воспринявшая «естественное чувство» человека как главную ценность культуры, в то же время помещает «чувствительного» героя за пределы социума — прежде всего в сферу природы и близкой к ней семейной жизни. Противоположение мира «естественных чувств» и социального «цивилизованного» мира, имеющее в сентиментализме универсальный характер, проникает в самые различные жанры — в частности, в анакреонтическую поэзию, буколику, элегию — и по-новому освещает традиционные мотивы (например, гораціанское противопоставление сельской и городской жизни). Для сентименталистской поэзии оказывается характерной соотнесенность внесоциального мира «чувствительности» с идиллией, которая «становится одним из важнейших компонентов всей идейно-эстетической системы нового направления».¹

Будучи частью сентименталистской утопии, «естественный» (т. е. прежде всего «сельский») домашний уклад появляется в литературе в традиционно-идиллических формах. Таковы распространенные в этот период «гораціанские» мотивы, которые организуют «сельские картины» по законам идиллии, т. е. в «органической прикреплённости (...) жизни и ее событий к месту», в «сочетании человеческой жизни с жизнью природы», в «строгой ограниченности только основными немногочисленными реальностями жизни».² В контексте, соединяющем «гораціанскую» патриархальную идилличность и дидактические, рационально-моралистические установки, «сельская жизнь» предстает вычлененной из «большого» пространства и противопоставленной социальному («городскому») миру с его порочностью и гибельностью. Она замкнута в самой себе, неизменна в сменяющих друг друга поколениях, протекает на лоне природы или под «мирным кровом» «отеческого» жилища — вблизи могил праотцев. Эта жизнь ограничена семейным и соседским кругом; ее наполняют вольный труд, веселый досуг, семейная любовь, покойная старость и т. д.

Черты такого мира, разумеется, крайне условны, «отвлеченны», ориентированы на общий «тон» литературной традиции. Однако в ряде произведений намечается их соотнесение с реальным биографическим контекстом: тради-

¹ Кочеткова Н. Д. Литература русского сентиментализма: (Эстетические и художественные искания). СПб., 1994. С. 210. О жанре идиллии в литературе русского сентиментализма и романтизма см.: Кросс А. Разновидности идиллии в творчестве Карамзина // XVIII век: Сб. 8. Державин и Карамзин в литературном движении XVIII и XIX века. Л., 1969. С. 210—228; Кочеткова Н. Д. Тема «золотого века» в литературе русского сентиментализма // XVIII век: Сб. 18. СПб., 1993. С. 172—186; Вацуро В. Э. Русская идиллия в эпоху романтизма // Русский романтизм. Л., 1978. С. 118—138; Кукулевич А. М. Русская идиллия Н. И. Гнедича «Рыбаки» // Учен. зап. ЛГУ. 1939. Вып. 3. № 46. С. 284—320.

² Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М., 1975. С. 374.

ционные мотивы организуют эстетически актуальные для автора фрагменты его биографии. Соотнесенность двух контекстов («литературного» и биографического) ведет к созданию новых значений, поскольку мир сельско-домашнего жития оказывается уже не только сентименталистским вариантом «естественного», но и репрезентирует индивидуальное, исторически укорененное бытие. «Домашнее» пространство утрачивает «однотонность», конкретизируется, повышая значимость отдельных деталей и высвечивая новые. Его организация в итоге разворачивает такой «идеально-биографический» мир, который выстраивается поэтической личностью «по своему подобию», т. е. сообразно эстетической концепции «я» и его внутренней истории. Мы постараемся проследить этот процесс поэтапно, выделив его основные вехи.

* * *

В поэзии Державина идеально-гармонический мир «домашней жизни» возникает как соотнесение традиционно-поэтических элементов, заданных анакреонтическими и, в особенности, горацянскими мотивами, с чертами исторически определенного домашнего уклада.³ Литературная традиция пролагает здесь пути для выстраивания нового поэтического пространства: на ее основе в область поэтической гармонизации попадает сфера частной дворянской жизни — домашний (семейный и дружеский) быт, негородской, т. е. окруженный природой и автономный, независимый от придворной жизни.

Противонаправленность «граду», «столице», «жизни дворской» в первую очередь определяет домашнюю (особенно «сельскую», «деревенскую») жизнь в стихотворениях Державина «К Н. А. Львову» (1792), «Капнисту» (1797), «О удовольствии» (1798), «Похвала сельской жизни» (1798), «Деревенская жизнь» (1802), «Евгению. Жизнь Званская» (1807) и др. Основанием для этого часто оказывается традиционное для анакреонтики противопоставление наслаждения настоящей минутой и растраты настоящего в заботе о будущем (как, например, в стихотворении «Деревенская жизнь»). Соответственно «градские» ценности — чины, слава, богатство — отвергаются, так как ведут к потере «способной минуты» «в печали и скуке злобной», а «счастливая» жизнь в деревне связывается, как и подсказывает традиция, с «вином» и «любовью» (в обличе «славянских божеств»: «Богат, коль Лель и Лада / Мне дружны, и Услад»),⁴ а также «здравием» и «обилием», сближающимися уже с горацянскими мотивами.

«Похвала» «сельской», «деревенской» жизни у Державина восходит к традиции «русского горацянства, с особенным интересом „склонявшего на наши нравы“ второй эпод Горация».⁵ У Державина на основе горацянских мотивов (и, в частности, варьирования первых строк II эпода) «сельская» и «градская» жизнь разграничиваются в целом ряде стихотворений — например, в «Жизни Званской»:

Блажен, кто менее зависит от людей,
Свободен от долгов и от хлопот приказных,

³ Об анакреонтике Державина и горацянских мотивах в его поэзии см.: Пинчук А. Л. Гораций в творчестве Г. Р. Державина // Учен. зап. Томского ун-та. 1955. № 24. С. 71—86; Запдов А. В. Мастерство Державина. М., 1958. С. 142—167; Ионин Г. Н. Анакреонтические стихи Карамзина и Державина // XVIII век: Сб. 8. Л., 1969. С. 162—178; Макогоненко Г. П. Анакреонтика Державина и ее место в поэзии начала XIX века // Державин Г. Р. Анакреонтические песни. М., 1986. С. 251—295.

⁴ Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1957. С. 289. В дальнейшем произведении Державина цитируются по этому изданию с указанием страниц в тексте.

⁵ Серман И. З. Державин. Л., 1967. С. 76.

Не ищет при дворе ни злата, ни честей
И чужд сует разнообразных!

(326)

Противопоставление «домашнего покоя» и «разнообразных сует», обременительных столичных «благ», оборачивающихся тревогами и бедствиями, строится у Державина на горацианском мотиве довольства жизнью умеренной, независимой — вдали от превратностей «большого» мира, на собственной, унаследованной от дедов земле.

Наиболее важной при этом является у Державина «независимость», «вольность золотая», которая обретается лишь вне «столичной» жизни — в удаленности, недостижимости, «сокрытости»:

Сокрыта жизнь твоя в деревне
Течет теперь, о милый Львов!
Как светлый меж цветов источник
В лесу дремучем...

(«К Н. А. Львову», 194)

«Сокрытость» (в тени глуши — «в лесу дремучем»), непроницаемость для враждебного взгляда извне, противостоит «столичной» выставленности напоказ — «пред вельможи пышны взоры». Она сопутствует «уединению» — уходу от людей, «ослепленных жизнью дворской», и царящих между ними отношений враждебности:

О! коль доволен я, оставил что людей
И честолюбия избег от жала!

(«Евгению. Жизнь Званская», 327)

«Уединение» сопровождается также «тишина»,⁶ которая противоположна «плескам мира», «звукам славы», «гласу трубы», «возбуждающему на брань»... «Вольность», таким образом, подразумевает высвобождение особого — уединенного от внешнего — пространства, существующего по собственным законам. Именно внешнюю ограниченность подчеркивают «уединение и тишина» как характеристики «сельского» мира, который изнутри оказывается «населенным», открытым (и даже предназначенным) для обозрения, «звучащим» на разные лады.

«Вольность» определяется не только через «сокрытость», «уединение», другой ее атрибут — «пространство», которое, с одной стороны, противостоит «тесноте», «теремам», «затворам» «столицы», а с другой — характеризует «сельский мир» изнутри. «Малый» мир внутри себя разворачивается как свободный, неограниченный простор — неисчерпаемый и многообразный. В более ранних стихотворениях, предшествовавших «Жизни Званской», соотношение этого внутреннего пространства с реалиями усадебного быта имеет еще полностью условный характер. Существенными здесь являются «аналогии» пространственной организации с миром горацианской идиллии.

Все пространство «сельского» мира у Державина предстает освоенным каждодневной «домашней» деятельностью («хозяйствованием») «поселянина», в роли которого выступает сам лирический субъект или адресат лирического послания. Эта деятельность вписана в окружающую природу и взаимодействует с ней — преобразует ее в источник всех жизненных благ («труды», «работы»), использует ее дары (например, «трапеза»), состоит в

⁶ В литературном языке XVIII века «тишина» прежде всего имеет устойчивое значение «мира», «покоя».

обозревании «красот» и наслаждении ими («сельские забавы» и «утехи»). Причем каждый момент этой деятельности имеет как «практическую», так и «эстетическую» значимость (и «труды», и «забавы» одновременно «полезны» и «приятны»), подобно тому как в самой природе все существует «ко благу» и является «прекрасным».

Пространство, таким образом, состоит здесь из ряда сменяющихся «картин», каждая из которых намечает сферу, связанную с определенным видом деятельности, определенным «занятием», фрагментом «домашней» жизни и характеризующую некоторыми устойчивыми чертами.

В этом ряду прежде всего выделяется «сад», существующий как бы в двух модификациях. Это «сад», который возделывают, — сфера «трудо», где «салятся» и «растятся» «полезные» («плоды дающи») и «приятные» («тенистые») деревья (овощи и т. д.), — и «сад», в котором наслаждаются, — место гулянья, любованья природой, дружественных «пиров» и «забав»:

Но садит он в саду своем
Кусты и овощи цветущи;
Иль диких древ, кривым ножом,
Обрезав пни, и плод дающи
Череня прививает к ним...

(«Похвала сельской жизни», 271)

Связь «сада» с «трудом» выявляется в нескольких аспектах. Помимо значения идиллической «простой» жизни и «мирного» труда, ориентированных на гораццианский образец, возделывание «сада» подразумевает пространственное воплощение эстетических установок «милого» круга («душевно») близких людей, совместное устройство ими идеального внутреннего, «своего» пространства «сердечности», «дружества» — таков смысл участия в «труде» (создании «сада») «милых друзей» и «подруг сердец своих» («Другу», 1795(?)). «Сад», являясь со-творением мира прекрасных «чувств», восходит к Эдему и — как место дружеского «пира» (где подается «нектар с пламенным сверканьем») — к «аркадским» садам. «Тень», «тенистость» — основная черта «приятного» «сада». К ней (как в стихотворении «Другу») могут прибавиться «благовоновый воздух», «поток», «густые купы» деревьев («вязов светлых», «сосен темных»).

Совокупность этих признаков организует особую сферу, *locus amoenus*,⁷ для которой характерна концентрация элементов идиллического пейзажа: «шумок потока» (журчанье ручья, веяние, сень ветвей дуба, густые / благоухающие травы, свистанье соловья, гам птиц). Доминантой «картины» (и родом «домашней» деятельности) является «сон» («И все наводит сладкий сон»). Причем в стихотворении «К Н. А. Львову» «сон» у «потока» соединяется с «воспеванием»:

Но ты умен — ты постигаешь,
Что тот любимец лишь небес,
Который под шумком потока
Иль сладко спит, иль воспевает
О боге, дружбе и любви.

(«К Н. А. Львову», 194)

«Сон», сближающийся здесь с «воспеванием», поэтическим «уединением», связан с уподоблением идиллической обстановки «сада» (с аналогами кас-

⁷ См.: Curtius E. R. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern, 1954. S. 202.

тальского источника и священной сени (дубов) «обиталищу муз», которое оказывается внутри «домашнего» пространства. Таким образом, отмеченная сфера «сна», фантазий, «воспеваний», исходно располагающаяся в «саду» (муз), становится частью «домашней» жизни и формирует затем (в «Жизни Званской») особый (соприкасающийся уже с «реальным» бытом) мир поэтической углубленности, вбирающей образы внешнего мира, дремотных раздумий и мечтаний.

«Сад», наконец, представляет неистошимую (библейскую, мифологическую) плодоносность патриархального «хозяйства».

Внутри самого «сельского» дома жизнь сосредоточена вокруг «обеда», «трапезы», особенно окрашенной в тона старинно-русской «патриархальности». «Трапеза» акцентирует «самоопределяемость» «домашней» жизни, опирающейся на старый обычай, и во всем скрыто противопоставляет «древнее обыкновенье» столичному. Прежде всего это относится к «семье», где осваиваются роли «хозяйина» и «хозяйки», «господина» семьи, окруженного, «обсаженного» ею (как дуб порослью) за «обеденным столом», и «домовитой», «пекущейся» о детях «жены», не позволяющей «забыть» и о «любви» с ее «прелестями» («Похвала сельской жизни»).

Соответственно возникает и противопоставление «домашней», «русской» еды («горшок горячих добрых щей») с ее красочным многообразием и «обильностью» всему «заморскому» («чем окормляют нас французы»), принятому, разумеется, в «столице».

* * *

В стихотворении 1807 года «Евгению. Жизнь Званская» пространство заполняется многочисленными подробностями «реального» быта. Хотя «горацианские» аналогии и отходят при этом на второй план, множество разнородных деталей по-прежнему организуется в «хозяйство», где все имеет свое место и предназначение. Каждая черта идиллического «домашнего» мира, принадлежащая даже к самым обыденным («низким») бытовым сферам, служит для пользы и удовольствия и является «чудом», достойным любованья и удивленья. В «домашнем» раю все естественно и уместно, все дышит «невинностью» и близостью к «правителю вселенной». «Хозяину» же («первородному» в раю) мир «красот» и изобилия дан для «обзора» и «учета». Он разворачивается как целый перечень «домашних» сфер со множеством «дикушин», детально описываемых по виду и назначению. Перечислим некоторые из них.

«Утреннее» («библейское») уединение (в «саду», над «чашей вод», среди птиц и домашних животных, наполняющих разноголосицей «близь» и «даль») предшествует переходу в «дом» — центральную «сферу», где сосредоточен повседневный быт и куда стекается вся «сельская» деятельность. Здесь в «светлице» даются «отчеты» по хозяйству, демонстрируются образцы всех видов «работ» («для похвалы гостей»); здесь же устраиваются игры, беседы, чтения. Многообразность и многолюдность «дневного» мира Званки составляют также обед, совмещающий черты «трапезы» («хозяйка», «припас домашний, свежий, здравый» (329)) и дружеского «пира» («вино», «беседа»), охота и рыбная ловля, прогулки («иль в лодке, вдоль реки, по берегу пеш, верхом» (331)), любованье «красотами», крестьянским и домашним (детским) празднествами, музицирование и т. д.

Особой домашней сферой является «святилище муз», кабинет, где воображение расширяет границы домашнего мира. Настоящая минута «блаженной

жизни», вписанная в домашний распорядок, позволяет охватить любое (мысленное) пространство⁸ — прежде всего в поэтических «воспеваниях»:

И с Флакком, Пиндаром, богов восседши в пире,
К царям, к друзьям моим, иль к небу возношусь,
Иль славлю сельску жизнь на лире.

(328)

Рядом с поэзией оказываются и раздумья над историей. Вообще, «история» в «Жизни Званской» может принадлежать совершенно разным сферам.

Домашний покой по-особому сообщается с «внешним» миром: из «светлицы» обозреваются и современность, и история, но и то и другое относится здесь к роду «баснословного». О них повествует «молва» (соседствующая с толкованием «снов»), газеты и журналы с рассказами о «славных подвигах», портреты «великих мужей» былого, блистающие в «златых рамах» по стенам

Для вспоминанья их деяний, славных дней
И для прикрас моей светлицы.

(327)

Однако в «святилище муз» и вечернем уединении «история» выступает в ином качестве. В разных преломлениях она являет потенциальную возможность выхода за пределы цикличности — в «вечность», уже не принадлежащую всецело «идиллии», а подключающую темы и мотивы оды. «Мрак вечности», открывающийся в размышлениях «над зеркалом времен» или же в «мечтах» о бренности «века», хотя и не затмевает «блеск светила полуднева», но создает особый контраст, усиливающийся тем, что «умильные мечты» рисуют картины запустения самой Званки. Воображаемое запустение не имеет здесь самостоятельной (элегической) ценности, но важно в другом отношении. Перенос настоящей идиллии в прошедшее, выход в перспективу «большого» времени и привлечение тем славы, бессмертия, признания потомков позволяют явить законченную модель бытия поэта (Державина) — «Жизнь Званскую». В основе этой модели лежит взаимосвязь домашнего мира и мира поэтического вдохновения. Ее исходный момент — покидание «града», «столицы», а итоговый — обретение поэтического бессмертия, «возвращение» к потомкам и запечатление в веках музой истории:

Так, в мраке вечности она своей трубой
Удобна лишь явить то место, где отзвывы
От лиры моя шумящую рекой
Неслись чрез холмы, доли, нивы.

(334)

В пространстве «сельской жизни» Державина уже наметилась сфера, в которой элементы идиллического пейзажа («сень ветвей», «поток» и т. д.) соотнесены с мотивами «сна» — «воспевания», «пения на лире» (поэзии). В стихотворении М. Н. Муравьева «Итак опять убежище готово» (1780) идиллический уголок сада («охрана древ», «падающие воды») располагается, как и у Державина, в ряду сельских бытовых «картин», но сам не принадлежит сфере «каждодневного». Сельский уголок преобразуется в пространство поэ-

⁸ Просторы, открывающиеся мысли и воображению, являют также диковинные приборы (волшебный фонарь, камера-обскура), «свитки», изображающие «грады, царства, моря, леса», — «Лежит всея мира красота / В глазах, искусств через коварства» (330).

тических грез, открывающее соприсутствие идеального («невидимого») мира «мечтаний» и «снов»:

Летайте вокруг, мечтания, отрады,
В охране древ, у падающих вод.
Зачем стеснять пределы воображенья?

Нам мал тот мир, что видим каждый день...⁹

Пространство сельского уединения в оде «К Хемницеру» (1776) не только определяется мотивом «сна» — «мечты» — «поэзии» / «пенья», но и выступает как сфера самой грезы — «вожделенная страна», куда из суетного мира в мечтах устремляется поэт:

О, кто меня в страну восхитит вожделенну,
Где на руку главу склонил бы утомленну,
В древесной сени скрыт!¹⁰

В атрибутах сельского мира («кровы» селян, «древесная сень», «священная волна») здесь воплощается идеальный край «мечтания» — пространство, ограждающее мир поэтической души и с этим миром совпадающее.

Такое пространство входит у Муравьева в «проект» поэтической автобиографии, развертываемой как уход от превратностей «света» в сельское уединение (в сферу «мечты» / «поэзии», к другу) и предвосхищение мирного конца, оплакиваемого друзьями. «Уход» от света в оде «К Хемницеру» подключает традиционный (горацианский) мотив «стремления к покою», а пребывание во «внешнем» мире соотносится с бурным плаванием («Спокойствия пловец желает, бурю видя»), т. е. планом устойчивых аллегорий (плавание — пристань, скитание — приют, обитель), противопоставляющих внутреннее, «укрытое» пространство — внешнему, динамическому, изменчивому. Предыстория «странствий» в житейском мире (у Муравьева только намечающаяся и имеющая еще «полуаллегорический» характер) становится между тем значимым (углубляющим «перспективу») элементом в посланиях Дмитриева и Карамзина.

Так в «Стансах к Н. М. Карамзину» (1793) Дмитриева «возвращению» в пределы отеческого края («домашние древа», «отеческие воды», где «тень» домашних древ соотносится с вечным «цветением») предшествует «увядание» блудных сыновей — «пришлецов» из «большого» мира, в котором была растрачена их молодость:

С нами то же, что со цветом:
Был — и нет его чрез день.
Ах, уклонимся ж хоть летом
Древ домашних мы под тень.¹¹

Создание «тихого крова» и дружеского круга в «Послании к Дмитриеву» (1794) Карамзина, «мрачной сению лесов» огражденных от остального («ложного», суетного) мира, предварено «разочарованием в свете», обретением «опыта», причем узнавание «света» (уподобленное «странствиям» Отелло)

⁹ Муравьев М. Н. Стихотворения. Л., 1967. С. 201.

¹⁰ Там же. С. 154.

¹¹ Дмитриев И. И. Полн. собр. стихотворений. Л., 1967. С. 124—125. Как отмечает Е. Н. Купрянова, стихотворения Дмитриева, «являющиеся чем-то средним между посланием и элегией», в наибольшей степени подготовили распространенный в поэзии 1810-х годов жанр послания. См.: Купрянова Е. Н. Дмитриев и поэты карамзинской школы // История русской литературы. М.; Л., 1941. Т. 5. С. 136.

трансформируется в важный элемент домашней жизни — «рассказывание» милой подруге «басней, повестей и былей».¹²

В предромантической традиции, таким образом, «ядром» поэтической биографии становится идиллическое (сельское) пространство мечтания, соположенное с аллегорической парой странствия / приюта. На этой основе возникает модель «домашне-сельского» мира в произведениях Батюшкова.

В ранних стихотворениях Батюшкова организуется пространство, «сокрытое» под «древесной» («густой», «прохлаждающей») «сенью», «тенью» и связанное (как и у Муравьева) с комплексом «нега» / «лень» — «сон» — «мечта» (ср. ряд «мечта» — «сладость жизни» — «прохлада» в «Мечте» (1802—1803), где говорится о безрадостных «мудрецах» — «Для них прохлады нет и в роскоши природы»).¹³ Такое пространство «сладостного» бытия у Батюшкова включает элементы анакреонтического пир (любовь, дружбу, вино), отсылающие к «саду» как сфере «дружества» и дружеских пиров у Державина.¹⁴ При этом возможны буквальные переключки «садовых» пейзажей, как например в стихотворениях «Веселый час» Батюшкова и «Другу» Державина, поддержанные общим для этих стихотворений мотивом «чаши» («нектара»), «наливаемой» («подаваемого») сельской «нимфой».

В послании Батюшкова «Мои пенаты» (1811—1812) возникает такая условно-игровая модель «дома», в которой черты уклада представляют не бытовые реалии, а образы «внутреннего» бытия, «укрытого» и «укромного» мира, в котором объединяются сферы «мечты» / «поэзии» и «сердечна наслажденья».¹⁵

Оппозиция «свет» («град») — домашний мир («поэта») в «Моих пенатах» разворачивается в соединении гораианских мотивов («вольность» и «спокойствие» вдали от светских сует и превратностей судьбы) и пар аллегорий «ненастья» — «пристани», «странствия» — «приюта»:

Я в пристань от ненастья
Челнок мой проводил
И вас, любимцы счастья,
Навеки позабыл...

(140)

«Приют» странника-поэта в «Моих пенатах», укрытый «в тени лесов густых» (в «безвестности», в забвении для света), обладает заповедностью, уберегающей избранный домашний круг от «постороннего» вторжения. Отсюда же значимость «посещения» (пересечения «границы») — прихода под домашний кров гостя, друзей (на пир), возлюбленной, — напоминающего о «бурном» мире, с «оглядкой» на который и возникает само укрывающее пространство «приюта» («Как сладко тишину по буре нам вкушать» (61) — «Послание к Хлое», 1804—1805).

Так, значение «любовного приюта» (блаженства в «сени беспечной») в «Моих пенатах» усиливается напоминанием о «ненастье» и «военным нарядом» возлюбленной, скрывающим «пастушку». В этом же ряду — приход

¹² Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1966. С. 138—139.

¹³ Батюшков К. Н. Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1964. С. 56. В дальнейшем произведения Батюшкова цитируются по этому изданию с указанием страниц в тексте.

¹⁴ Сопоставление анакреонтических мотивов у Державина и Батюшкова см. в кн.: Кошелев В. А. В предчувствии Пушкина. К. Н. Батюшков в русской словесности начала XIX века. Псков, 1995. С. 5—35.

¹⁵ Ю. В. Манн отмечает, что в дружеском послании, обосновывающем бегство от света «программно, как необходимый шаг», аналогом идеального ландшафта элегии выступает особая «идеальная обстановка, в которую стремится поэт-отшельник». См.: Манн Ю. Поэтика русского романтизма. М., 1976. С. 145—147.

старца «воина», связанного со «славной» древностью (военными походами) и повествующего о ней «у яркого огня», в сфере домашней идиллии.¹⁶

Домашний «кров» в послании, удаленный (или, как у Карамзина, декларативно устраненный) от пространства «истории» / мира социальных коллизий, сопрягается с «обезоруженной», воображаемой «историей», ставшей историей-рассказом, историей-небылицей, историей-«мечтой».¹⁷

Память о «славе и суете мирской» содержат и домашние предметы, овеянные «мирностью» (утратившие былое предназначение), но причастные «баснословному» (легендарному) прошлому:

В углу, свидетель славы
И суеты мирской,
Висит полузаржавый
Меч прадедов тупой...

(134—135)

При этом и ветхость домашней утвари («рухляя скудель»), и бедность старого «воина» соотносятся с простотой («убожеством») домашнего, «смирненного», уголка, противостоящей «богатству» и «злату». С тем же значением — с оттенком игровой пасторальности — связаны именованья «дома» — «хижина», «смирненная хата», «шалаш простой» (где прелесть возлюбленной заменяет все «дары Фортуны»).¹⁸ Разумеется, «простота» (и хрупкость, «скудельность» вещей, навевающих грезы) здесь атрибут «поэтического», «сладостного» бытия, укрывающегося в «хижине», чтобы в мечтании (и в «небесном вдохновении») обрести весь мир:

Так хижину свою поэт дворцом считает
И счастлив!.. Он мечтает.

(«Мечта», I ред., 57)

Ряд мотивов, организующих пространство домашнего уголка в послании, воспроизводится в финале «Элегии из Тибулла» (1814), в которой в «естественный» порядок вещей (как бы царивший в Золотом веке) вторгается «история», предъявляющая права на тотальное обладание миром. Отношения «дом»—«мир» как пространство «истории» здесь буквально тождественны антитезе «жизнь»—«смерть». Жизнь (любовь) сохраняется у «домашних алтарей» — «внешнее» пространство (сфера скитаний) смертоносно:

Война, везде война, и глад, и мор ужасный,
Повсюду рыщет смерть, на суше, на водах...

(166)

Выход за границы домашнего удела оборачивается гибелью, но нарушается и целостность внутреннего пространства: оно попадает в зависимость от «большого» мира, его пронизывает тревога, оно досягаемо для времени и судьбы.¹⁹

¹⁶ Фигура «воина» становится традиционной для дружеского послания. «...Воин непременно отставной, чьи подвиги и деятельная жизнь — в прошлом. Его сегодняшней удел — лишь воспоминания. Мир дружеского послания непременно отъединен и обособлен» (Манн Ю. В. Указ. соч. С. 147).

¹⁷ Державинская модель внутри себя тоже имеет дело лишь с «легендой» (фантазией на «историческую» тему), однако в конечном счете апеллирует именно к всеобщей Истории как высшей инстанции, призванной санкционировать ее частное существование.

¹⁸ Образ «хижины» занимает «одно из центральных мест в стихотворениях Батюшкова» (Фридман Н. В. Поэзия Батюшкова. М., 1971. С. 87).

¹⁹ «Реальность» смерти в «Элегии...» — в ее всевластности, посягающей на самую границу между «внутренним» и «внешним», тогда как в «анакреонтическом» своем варианте «смерть» —

И только в финале «Элегии» — не в осуществившемся настоящем, а в мечтании, стремлении, призыве к возлюбленной — выстраивается образ, напоминающий о домашнем «приюте» послания («Моих пенатов») в ситуации неполноты, разлученности, гибельности. Здесь появляется «мирная хижина» возлюбленной — «дом», соприкасающийся с «бурным» миром (вьюги, ночи) и недоступный для него, укрытый «под сенью безопасной», «сокровенный» от взоров и включающий как центр сферу «света» / «огня». Сохраняется рассказывание (подругой) «повестей» и «былей», заключающее в себе «отраженное», «сказочное» приближение «внешнего» мира²⁰ и погружающее в «сон» — мечту, в которой предвосхищаются «возвращение» и «встреча», как бы преодолевающие исходную «неполноту».

В «Элегии из Тибулла» нам также представляется важным отметить топос «Золотого века» (вариант распространенной в сентиментализме патриархальной идиллии)²¹ — вынесенное за пределы современной «истории» пространство покоя, беспечности, мира, не потревоженное человеческим «дерзанием» и «войной». Здесь, как и в «сельской жизни» Державина, возникают мотивы вольного (не встречающего границ) «простора» и самопорождающегося, мифологического «изобилия».

Простор, свободный от людской вражды (ср. «свободу», «безмолвность», «пустыню» с «вольностью златой, уединением и тишиной» у Державина в «Жизни Званской»), сближается с идиллическим пространством в другой элегии Батюшкова — «Таврида» (1815). Здесь, правда, сфера идиллии создается в «поврежденном» (полном социальной несправедливости) мире — как бы на самой его периферии, в идеальной («кроткие волны», любовные «Фебовы лучи», «сладостное небо»), почти мифологической области.²² Во-первых, это «пустынный», просторный, вольный край окружающей (и «сокрывающей») природы (деревья, воды, луга, птицы, табуны). А в его центре — малое домашнее пространство, которое, сближаясь с горацанской идиллией, включает «хозяйствование» (пользование дарами природы) — «труды, заботы и обед», разделяемые с подругой, — и определяется небольшим набором элементов: хижина, ключ, огород, цветы.²³

Там, там нас хижина простая ожидает,
Домашний ключ, цветы и сельский огород.

(194)

это внешняя сила, внеположная сфере «наслаждения», приходящая в свой черед, а в «Моих пенатах» смерть словно введена в неразмыкающийся круг «блаженного» бытия («могилы» усеиваются цветами и эмблематическими изображениями мирной домашней жизни («богов домашний лик»), вина («чаши»), поэзии («цвилицы»)). О мотиве «счастливой смерти» у Батюшкова см.: Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры. С. 98—104.

²⁰ Рассказывание также сопровождается «кружением вретена», прядением, которое соотносится с мотивом «судьбы» — «прядением нити жизни» (ср. в начале «Элегии»: «Здесь Парка бледная конец готовит мне» (164)).

²¹ См. об этом топосе: Кочеткова Н. Д. Тема «золотого века» в литературе русского сентиментализма.

²² Таврида, «священные места» древней Греции — это почти Древняя Греция (Золотой век), однако мотивы отверженности, подвластности року (изгнаничества-бегства) свидетельствуют об утрате совершенного, «райского» состояния мира.

²³ Ср. у Муравьева перевод начала VI сатиры Горація (II кн.):

Хотелось мне иметь землицы уголок
И садик, и вблизи прозрачный ручеек,
Лесочек сверх того...

(Муравьев М. Н. Стихотворения. С. 267)

Такое «ближайшее» пространство (дом, ключ, сад / огород), располагающееся среди укрывающего простора, является как бы «свернутым», «тесным», соразмерным «личному» бытию — в отличие от державинской «сельской жизни», которая разворачивается в просторе как целый ряд многообразных («хозяйственных») примет. В элегии Батюшкова домашнее пространство, наоборот, «интенсивно». Знаки идиллического «хозяйства» организуют сферу любовного чувства, в них как бы сконцентрировано идеальное «внутреннее» бытие. В этом смысле «домашний» мир, возникающий в «Тавриде» и укрывающий от «внешнего» мира, аналогичен «смиренному уголку» послания — «интенсивной» сфере «мечтания».

Наконец, мы можем говорить о том, что круг мотивов, разворачивающихся — на основе «горацианства» — пространство «домашне-сельского» бытия «поэта» (в первую очередь у Державина и Батюшкова), отражается и находит свое завершение в дружеских посланиях Пушкина, прежде всего таких, как «Городок» и «Послание к Юдину» (1815).²⁴

Почти все мотивы, организующие «домашнее» пространство в этих посланиях, цитатны, что, разумеется, соответствует установкам самого (сформировавшегося уже) жанра, предполагающего обмен поэтическими репликами между «посвященными» — единомышленниками, в обиходе которых имеется одна и та же «игровая» модель — «уютного уединения» поэта.

Такая модель как бы по самому своему «заданию» цитатна и по отношению к поэтической традиции, о чем свидетельствует уже стилистическое разнообразие в пушкинском послании, где свободно сочетаются «прозрачность» бытовых черт (подготовленная «Жизнью Званской»), элегизм уединенного мечтания, «легкий привкус риторики» (по выражению В. А. Грехнева)²⁵ в изложении поэтической «философии» жанра, обыгрывающей горацианские антитезы: «столица» — «деревня», «заботы» — «покой души», искусственная «пышность» — «природная простота» («скромность»), «шум» / «гром» — «тишина», «слава» — «забвенье»... и т. д.

Остановимся на сопряжении «простора» и «укромного уголка» («Городок»), в который трансформировалась «хозяйственная» вселенная Державина — вольное «пространство», противопоставленное у него «тесноте» и «завторам» «града».

* * *

«Укромный уголок» у Пушкина, разумеется, связан с противопоставлением «сокрытого», «малого» домашнего мира «целому свету». Причем «укромность» не только возникает на уровне поэтических формул (ср. «смиренный уголок» Батюшкова), но и проявляется в самой организации «сельско-домашнего» пространства, все элементы²⁶ которого как бы сближены друг с другом, сведены в «тесный» круг, и к тому же «малость», «огражденность» подчеркивают прозаические (намеренно «простые») детали: «калитка», «заборы»:

Мне видится мое селенье,
Мое Захарово; оно

²⁴ О влиянии державинской «Жизни Званской» на эти послания Пушкина см.: Макогоненко Г. П. Указ. соч. С. 288—289. О параллелях с Батюшковым см.: там же, с. 290; Кошелев В. А. Указ. соч. С. 102—115.

²⁵ Грехнев В. А. Мир пушкинской лирики. Н. Новгород, 1994. С. 59.

²⁶ Это устойчиво «домик», «сад» / «огород», «ручей» — «река» / «пруд» / «озеро», «роща», «луга».

С заборами в реке волнистой
 С мостом и роцею тенистой
 Зерцалом вод отражено.
 На холме домик мой; с балкона
 Могу сойти в веселый сад...²⁷

(«Послание к Юдину»)

Соотнесение «укромности» и «простора» в домашнем мире пушкинского послания вызвано обращением к двум поэтическим линиям: это «горацианские», патриархально-идиллические мотивы, как они формируются прежде всего в поэзии Державина, и мотивы, организующие «идеальную» область «мечты», «неги», «вдохновения» в поэзии Муравьева и Батюшкова, причем в мире пушкинского послания эти линии оказываются тесно взаимосвязаны. Таким образом, сельско-домашнее пространство (которое может напрямую соотноситься с реальной усадьбой, как например «мое Захарово» в «Послании к Юдину») развертывается изнутри как ряд сфер, создающих широкое поле ассоциаций с предшествующей поэтической традицией (подключаемых «намеренно», в соответствии с примеряемой «ролью»). И при этом разнообразные «просторные», «дневные» признаки патриархально-идиллического мира в пушкинском послании соприкасаются (и часто пересекаются) со сферами «укромного» бытия.

«Просторный» мир идиллического «хозяйства» в послании — это прежде всего обширный свод «обращений» к державинским текстам (являющимся «исходными»). Так, «сад» — это место «утренних трудов», природного «изобилия», «отдыха»-«чтения»-«мечтания» под дубом или «в прохладной тени», «под темными сводами», причем «мечтание» и «сень», «темные своды» и «старых кленов темный ряд» — все эти элементы «дневного» сада подготавливают внутри него «укромную», «ночную» сферу, окрашенную в элегические тона, которая появится в финале стихотворения.

В «светлой зале» соседи собираются на «патриархальный» (русский, изобильный) «обед»-«пир». Патриархальный мир в «Городке» — «добренькая старушка», «отставной майор» (старик-воин из «Моих пенатов»), повествующие о придуманной (молвой, газетами) современности и «легендарной» «древности». Эти рассказы, как и разговоры о «вестях» и «славных подвигах» у Державина, связаны с застольем («чайком» и «дедовской кружкой»). И в то же время атмосфера патриархального уюта в значительной мере оказывается фоном,²⁸ позволяющим «углубиться в мечтания».

При этом центром домашнего круга и по-настоящему «укромной» является «ночная» сфера «мечты-поэзии» (как она задана у Батюшкова), возникающая внутри «дневной», безмятежной патриархальной идиллии. У Пушкина интенсивная область «мечтания», «внутреннего» напряжения — это «каби-

²⁷ Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1949. Т. 1. С. 169. В дальнейшем произведении Пушкина цитируются по этому изданию с указанием страниц в тексте.

Важно, что в «Послании к Юдину» (наиболее показательном для нас) образы домашнего мира переводятся в план внутреннего видения (интроспекции), они создаются мечтанием или воссоздаются воспоминанием, причем сельско-домашнее пространство предстает «сжатым» в тесный укромный «уголок» при таком «панорамном» взгляде (издалека), который всякий раз актуализирует «воображаемый» характер этого пространства («Мне видится / мое Захарово», «Уж вижу в сумрачной дали»). В связи с этим отметим, что Захарово возникает в послании через свое отражение в «зерцале вод».

²⁸ Ср. также «вязание» старушки в «Городке» и «прядение» в «Элегии из Тибулла», обнаруживающие связь этой «мирной», «равномерной» работы с «рассказыванием» небылиц — «мечтанием». Здесь угадывается игра с мотивом «судьбы» (ведь старушка, как и Парка, ведет чужие (все на свете) судьбы).

нет» (ср. державинское «святилище муз»²⁹), где «целый свет» забывается и заново воссоздается по прихоти воображения. В центре здесь «камин» («камелек») — значимая деталь, соединяющая два пг этивонаправленных мотива: «огонь» связан с домашним «приютом», укрывающим от «бурного» мира, но у «моего камина» создается «поэзия» и «мечтание» о «мире», бурном, воинственном, грозном.³⁰

Наконец, в пушкинском послании возникает еще одна сфера, которая формируется на основе элегических мотивов и обладает особым потенциалом. В «Послании к Юдину» в «усадебное» пространство включается обстановка «любовного свидания» («ночная роща», «темная аллея» (ива), «спящая волна», «луна», «белоснежный покров»). Вся картина «свидания»³¹ (в послании — лишь порождение мечты) оказывается как бы фрагментом, скрывающим «историю», подразумевающим сюжет, развернуть который не позволяют границы жанра:

То на конце аллеи темной
Вечерней, тихую порой,
Одну, в задумчивости томной,
Тебя я вижу пред собой,
[...]
Одна ты в рощице со мною,
На костыли мои склонясь,
Стоишь под ивою густою...

(172)

Соединение «простора» и «укромного уголка» в строках пушкинского «Городка» можно расшифровать и еще в одном ключе. Совершенно правомерно замечание В. А. Грехнева: «Угол анахоретствующего поэта и „обширная вселенная“ духовной культуры — вот те пределы, которые пыталось сблизить послание».³² Можно сказать и иначе. В пушкинском послании домашний «уголок» поэта, устроенный по его вкусу, это прежде всего «обширный» простор литературы, поэтической традиции, предоставляющей ему те ассоциации, те связи, из которых он выстраивается, которые он притягивает и пускает в «игру».

* * *

Обращаясь к «сельско-домашнему» миру в поэзии Жуковского, мы будем говорить о взаимопритяжении некоторых устойчивых комплексов мотивов (включенных в системы разных поэтических жанров и приобретающих семантику также из соотношения с другими элементами этих систем), которое возникает в связи с поэтической (и нравственно-философской) концепцией

²⁹ «Отголоском» державинского «кабинета», места поэтических занятий, включающего «собеседование с поэтами» («И с Флакком, Пиндаром, богов восседши в пире»), является также характерный элемент послания 10-х годов: «библиотечный перечень» (у Батюшкова — «перечень» поэтов-собеседников, созываемых с берегов Леты...).

³⁰ В то же время мечтания о битвах и подвигах в «Послании к Юдину» (причем возможна ассоциативная связь мерцающего «камина» и «волшебного фонаря» воображения) — это «отголосок» той «патриархальной» сферы у Батюшкова, где «воин» у «огня» повествует о битвах и походах (и, соответственно, «воспоминания» о славных деяниях былого в кругу «патриархальности» у Державина).

³¹ Здесь игровой мир послания включает отсылку к «Воспоминанию» Батюшкова. Пушкин «заимствует» чужую биографию — см. об этом: *Макогоненко Г. П.* Указ. соч. С. 290. Таким образом уточняются «примеряемая роль» и сюжет.

³² *Грехнев В. А.* Указ. соч. С. 59.

жизни и судьбы у Жуковского (прежде всего проецируемой им на личную биографию)³³ — и основной для нее темой «счастливой молодости».

Рассмотрим вначале мотивы «патриархальности», неоднократно появляющиеся в произведениях Жуковского. Так, в стихотворение «К Поэзии» (1805), где «чувствительным» к «божественному влиянию» поэзии полагается именно «патриархальный» человек, включены картины мирного сельского труда и отдыха в семейном кругу. «Завершение мирного труда» входит в состав экспозиции «кладбищенской» и «медитативной» элегий Жуковского «Сельское кладбище» (1802) и «Вечер» (1806), где возникает «суггестивный» пейзаж, «имплицитный» понятие „успокоение” и подготавливающий элегическую ситуацию меланхолического размышления и уединенного созерцания».³⁴

Уже бледнеет день, скрываясь за горою;
Шумящие стада толпятся над рекой;
Усталый селянин медлительной стоюю
Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой.³⁵

(«Сельское кладбище», 66)

В 1805 году написан еще один поэтический текст Жуковского (переводной, как и «Сельское кладбище») — «Опустевшая деревня», где в центре вновь оказывается сельский патриархальный быт — мирный (тяжелый) труд и веселый досуг («игры поселян», «И живость стариков за чашей круговой» (74) и т. д.). Соответственно, и «природы пышный сад» разворачивается здесь именно как «сельское» пространство, мир «поселян», принадлежащий их «труду» или «досугу»: «нивы», «поля», «стада», «скромны сельски дома» — «хижины», «крылатых мельниц ряд», «рощи и холмы» («стадами оглашены»), «дуб»³⁶ —

Густой согбенный дуб с дерновою скамьей.
Любимый старцами, любовникам знакомый...

(74)

Предполагаемая развитием самой темы «Опустевшей деревни» оживляющая населенность «сельского пространства» оказывается при этом связана с чрезвычайно существенным мотивом «одушевленности» края, где пребывают «счастье» и «любовь». И здесь как раз подключается другой круг мотивов, помещающий сельский мир в перспективу личной «истории», жизненного «пути» героя «Опустевшей деревни».

С мотивом «жизни как странствия»³⁷ патриархальный мир превращается в «отчий уголок», неизменность которого должна противостоять внешним «заботам и волнениям» и в котором должны совместиться начало и конец «пути».³⁸ Таким образом, сельский край, с одной стороны, реконструируется

³³ О «биографических обобщениях» («заповедях сердца») Жуковского см.: *Веселовский А. Н.* В. А. Жуковский. Поэзия чувства и сердечного воображения. СПб., 1904.

³⁴ Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры. С. 56.

³⁵ Жуковский В. А. Стихотворения. Л., 1956. С. 66. В дальнейшем произведении Жуковского цитируются по этому изданию с указанием страниц в тексте.

³⁶ См. о «пейзажном инвентаре» «Опустевшей деревни» (в его близости с «Деревней» Пушкина) в кн.: *Топоров В. Н.* Пушкин и Голдсмит в контексте русской Goldsmithiana'ы (к постановке вопроса). Wiener Slawistischer Almanach. Sond. 29. Wien, 1992. С. 60.

³⁷ Усиление темы странничества в переводе «The Deserted Village» Голдсмита (в «Опустевшей деревне») по сравнению с оригинальным текстом В. Н. Топоров объясняет обращением Жуковского к другому тексту Голдсмита «The Traveller». См.: *Топоров В. Н.* Указ. соч. С. 27.

³⁸ Ср. с «Посланием к Н. М. Карамзину» Дмитриева, где неизменность «отческого мира» противопоставлено изменению («увяданию») самих возвращающихся сыновей.

как «воспоминание» о «волшебных райских днях» молодости, а с другой — связывается с обретением обетованного «приюта» как итога «странствий». Отсюда постоянно возникающий мотив утраченного и желанного «рая» («райского» сада — ср. «природы пышный сад») —

... Где вы, луга, цветущий рай?
 <...>
 Где пышность и краса полей одушевленных?
 Где счастье, где любовь?..

(74)

Точно так же картины «запустения» у Жуковского соотносимы не столько с социальной тематикой «The Deserted Village» (которая в переводе почти устранена), сколько с субъективным планом.

Ландшафт «запустения» организуется здесь как замирание былой жизни («одушевленности») и исчезновение ее следов, т. е. отсутствие (не-существование) элементов былого «рая». ³⁹ При этом «запустение» сводит два значения — «пустыни», которая в положительном контексте означает благотворную «пустынность», уединение, а здесь (в отрицательном) — «пустоту» (пустырь), и «зарастание» (глушь, заглохшее место) — так ручей исчезает «в густоте болотных трав», исчезают «тропки», «следы» «под сенями дубрав» и т. д. Замирание жизни знаменуют также мертвая тишина, «унылость», «виды скорбные развалин», обращающие нас к «кладбищенской» элегии. ⁴⁰

Остановимся на одной детали. Ручей, источник, поток (исчезающий в пейзаже «запустения») — всегда значимый элемент сельского ландшафта, скрытая аллегория «сельской жизни». ⁴¹ Если этот фрагмент картины «запустения» сопоставить с гораздо более поздним стихотворением Жуковского «Песня» (1820, перевод из Байрона), то выявится еще один смысл, потенциально присутствующий в «Опустевшей деревне»:

Оживите сердце вялое;
 Дайте быть по старине;
 Иль оплакивать *бывалое*
 Слез *бывалых* дайте мне.
 Сладко, сладко появление
 Ручейка в пустой глуши;
 Так и слезы — освежение
 Запустевших души.

(248)

Разумеется, в переводе «The Deserted Village» «запустение» — прежде всего пейзажный мотив, но оно также оказывается связанным с самыми

³⁹ Ср. у Державина в «Жизни Званской», где одическое «разрушение» иллюстрирует всеуничтожающую силу времени.

⁴⁰ В. Н. Топоров (Указ. соч. С. 78) указал здесь на переключки с «Сельским кладбищем»: «Все тихо! все мертво!.. тихий сон!» (ОД) — «Повсюду тишина, повсюду мертвый сон» (СК). «Лишь тихий вдалеке звонков овечьих звон» (ОД) — «Лишь слышится вдали рогов унылый звон» (СК).

⁴¹ Ср., например, у Державина в стихотворении «К Н. А. Львову»: «Сокрыта жизнь твоя в деревне течет... как светлый меж цветов источник» (194). У Пушкина ручей тоже сохраняет традиционную связь с «сокрытостью» и «цветами»:

И быстрый ручеек
 В струях неся цветков
 Невидимый для зора
 Лепечет у забора.

(«Городок», 91)

важными темами поэзии Жуковского, в которой «утрата бывалого» синтезирует целый ряд смыслов. В аллегорическом плане из этой «утраты» разворачивается вся человеческая судьба, предстающая как трудное (печальное...) странствие к обетованному, в «молодости» «блаженному» краю («приюту»), проецируемому в «неведомое» будущее. Но помимо аллегорического (и позже символического) значения, край «счастливой молодости» соотносится с теми «истоками», которые питают душу, к которым она обращается в «воспоминании» и которые стремятся «оживить».

Это подтверждает и другое стихотворение Жуковского — послание «Тургеневу, в ответ на его письмо» (1813), где невозвратимость минувшего как раз порождается «запустением» души:

Сравни, сравни себя с самим собой:
Где прежний ты, цветущий, жизни полный?
(...)
Природа та ж... но где очарованье?
Ах! с нами, друг, и прежний мир пропал...
(135—136)

И именно душевному состоянию приводится в качестве аналогии разрушение, «запустение» «отчего дома»:

Пред кем сей мир, столь некогда веселый,
Как отчий дом, ужасно опустелый...
(136)

В послании «Тургеневу» также намечается связь комплекса «счастливой молодости» с концепцией «невыразимого» в природе, в котором соединяются «стремление к далекому» и «привет миновавшего» (акцент переносится на «нематериальные» элементы ландшафта — «запах», «шум», «шорох», «струение»). Отсюда особенность «идиллического топоса» у Жуковского. Так, например, в стихотворении «Там небеса и воды ясны!» (1816) — подражании романсу Шатобриана (из его романа «Последний из Абенсерагов»), помимо переключек с французскими и немецкими текстами (в том числе с гетевской «Миньонной»), отражаются, по свидетельствам современников, русские реалии усадьбы Мишенское. «Реальный» ландшафт, действительно, можно реконструировать («гора», «лес», «пруд», «ивы», «стадо», «село»). И в то же время это идиллический край с его атрибутами («заря» / «луч», пенье птиц, ясные «воды», «тень» ив и т. д.), где многократно отражаются и растворяются друг в друге «небесное» и «земное». ⁴²

⁴² Отметим дополнительно трансформацию традиционного мотива дружеского круга и застолья («пира»), появляющегося уже в элегии «Вечер» (где он восходит к значимому моменту биографии Жуковского) и обнаруживающего свое «горацианское» происхождение в послании «К Батюшкову» (1812) и стихотворении «К Делию» (1809) (варьирующем мотивы III оды Горация). Как вариант «невозвратно минувшего» дружеские «пиры» всегда выступают в противостоянии «вьюгам» и «хладу». Ср. в том же послании «Тургеневу»:

(...) Исчезло все — и сад
И ветхий дом, где мы в осенний хлад
Святой союз любви торжествовали
И звоном чаш шум ветров заглушали.

(134)

О горацианстве Жуковского в контексте русского сентиментализма см.: Жилякова Э. М. К вопросу о традициях сентиментализма в творчестве В. А. Жуковского // Проблемы метода и жанра. Вып. 12. Томск, 1986. С. 31—36.

* * *

Итак, возникновение в русской поэзии идеального топоса, «развернутого» в рамках оппозиций внутреннее—внешнее (дом—мир) и природа—социум (деревня—город), исходно, как мы убедились, связано с обращением к идиллической традиции. На ее основе формируется модель поэтической биографии, в центре которой — ситуация «ухода» в сферу, адекватную внутреннему миру поэта. Такое идеальное пространство имеет особый статус внеположности обычному миру: оно недостижимо для внешнего («сокрыто» от него), неподвластно внешним законам (несет «покой» и «вольность»), учреждает собственный, независимый «порядок» существования. Формирование этой модели имеет определенную логику.

В поэзии Державина идеальный «сельский» мир связан не с природой как таковой, но с «сотворенной» поэтом «копией» высшего (но не внешнего) мифологического порядка, с пространством, упорядоченным по образцу гоцианской идиллии, «райского» бытия. Подобие исходному образцу (и в этом смысле подбор соответствий среди сельских, иногда реально-биографических, деталей в определенной мере уже создает игровую традицию) актуализируется неизменным упорядочением природы в «хозяйство», обладающее «райской» неисчерпаемостью — пространственной (безграничность простора, многообразие форм, изобилие хозяйства) и временной (бесконечность настоящего, воспроизводящегося в цикле).

Совпадение идеального топоса в поэзии Державина с идиллическим «хозяйством» определяет его максимальную явленность в «наличном» пространстве идиллического быта, его тождество себе. Однако дифференциация «хозяйственных» сфер намечает уже некоторое напряжение, которое задает развитие последующей традиции. Оно возникает между патриархальным кругом семейно-соседских занятий (например, сельские «труды», «пиры» / «трапезы») и уединенным покоем, в котором «сон» соседствует с «мечтанием» и поэтическим вдохновением. Вписанное в «хозяйственный» порядок, пространство поэтического уединения (кастальский «уголок сада», «кабинет») несет момент отвлеченности от непосредственно данного, возможность расширения ограниченного в себе мира.

Однако притяжение отдаленных пространств и времен «в мечтах» в финале «Жизни Званской» оказывается затруднительным для системы идиллии и ведет у Державина к подключению «внешней» системы (оды), которая уже за границами идиллического мира определяет его место в Истории и Мироздании.

Притяжение «отдаленного», раскрывающееся внутри «обустроенного» домашнего, пространства возникает с последующей трансформацией идеального топоса в поэзии Муравьева и Батюшкова. При этом от окружающего социума идеальный мир отграничен все тем же «сотворенным» («хозяйственным») порядком, включающим «милую подругу», дружеский круг, «пиры» и т. д. Но его природа существенно меняется.

«Бытовое», «наличное», вещественное максимально сворачивается, утесняется до пределов «поэтической хижины», и внутреннее пространство удерживает материальную плотность с помощью лишь нескольких деталей (домашний кров / сень домашних древ, огонь очага, предметы старины), намечающих его границы и основные «параметры» — «сокрытость» / «укромность», «покой», неизменность «райского» («древнего», «отческого») порядка.

Но одновременно те же детали связывают укромное пространство дома с перспективой отдаленного мира, вне которой теперь невозможна сама кри-

таллизация домашних границ. Так, «кровь», «приют» напоминает о «странствии», «огонь» о «непогоде», мирная «старина» о былой «битве» — и малое пространство дома оборачивается необъятным пространством мира, отраженным в поэтическом грезении (сне). Таким образом, мифологическая неисчерпаемость «наличного» идеального «хозяина» делает неисчерпаемым «повествование» о «дали», которую скрывает в себе «укромный уголок».

Как игра с уже установившейся традицией разворачивается идеальный топос в пушкинском послании. «Укромный уголок» поэта (модель Батюшкова) здесь вновь обретает бытовую протяженность, устроенную по образцу идиллического «хозяйства» Державина. При этом, правда, подключается ряд конкретных «прозаических» деталей, разрешенных в «игре» и по существу не меняющих условной (игровой) природы «быта».

Только прихотливая игра литературных ассоциаций управляет здесь построением пространства, в котором объединяются две поэтические модели — державинская и батюшковская. Благодаря ей домашний «приют» («тесный домик» и сад, обнесенный «заборами») может наполниться самыми разнообразными сферами, почерпнутыми в традиции. Причем внутри «просторного» патриархально-идиллического круга (трудоу, застолий, бесед) — и именно под его «защитой» — скрывается «уголок» уединенного «покою» — сна, неги, мечтания о мирских бурях и страстях, которое отыскивает «ночную» (элегическую) сферу внутри безмятежного мира, размыкающего свои границы.

Принципиально важным моментом в формировании идеального топоса в русской поэзии явились элегии Жуковского, в которых (с преобразованием устойчивой оппозиции: домашний приют—жизненное странствие) возникает новая «ситуация» — разъединенности с идеальным миром, порождающая и новую «биографическую» концепцию.

При этом устанавливается тончайший, мерцающий аллегорическими и символическими смыслами параллелизм идеального пространства и пространства души, существующий в перспективе времени. История души и судьбы находит в идеальном топосе свою высшую ценностную точку, из которой и разворачивается путь во внешний мир, жизненное странствие, устремленное к конечному «приюту», который просвечивает и призраками утраченного былого — первоначально «рая», патриархальной идиллии (отцовский дом, круг друзей и т. д.), и символической неведомой «дали» («небесного» приюта). Отсюда возникают параллельные ряды, постоянно взаимодействующие друг с другом, первый из которых имеет «пространственный» характер: от «одушевленного» (слитого с «невыразимым») ландшафта (или жизни родного дома) к его утрате (запустению и чаемому возвращению, обретению). Ему соответствует ряд состояний (этапов жизни): от одушевления молодости (переживания идеала в исходном топосе) к охлаждению, запусению души в жизненных странствиях и к «освежающему» (воскрешающему) воспоминанию.

Таким образом, идеальный топос здесь как бы не совпадает с ограниченной областью пространства, всегда притягивая смысл «отдаленного» — будь то обещание неведомой «дали» или стремление к недостижимой цели, к невозвратимому прошедшему. Соответственно размываются временные границы, так как отдаленная во времени точка проступает в настоящем. Идеальный мир возникает из перспективы всего цикла («одушевления» — «запустения» — вторичного обретения в «воспоминании»), в котором каждый момент получает свое значение только через связь с другим, «отдаленным».

«ЕВРОПЕЙСКИЕ ГИПОТЕЗЫ» И «РУССКИЕ АКСИОМЫ»: ДОСТОЕВСКИЙ И ДЖОН СТЮАРТ МИЛЛЬ

Тема «Россия и Запад» является одной из постоянных у Достоевского. Укоренилось мнение, спровоцированное, вероятно, известными взглядами писателя на Запад,¹ что Достоевский якобы враждебно относился к большинству течений европейской философской мысли середины XIX века. В подтверждение этому совершенно обоснованно приводятся его многочисленные критические высказывания о современных западных философах, рассеянные в основном на страницах «Дневника писателя». Такая упрощенная точка зрения не может быть принята без существенных оговорок.

Действительно, социально-философская концепция Достоевского была сформулирована им в значительной степени благодаря полемическому осмыслению идей современной западноевропейской философии. Еще в начале 1860-х годов в известной полемике по поводу почвеннического направления журнала «Время» М. А. Антонович, который воспринимался современниками как идейный преемник Н. Г. Чернышевского, упрекал это издание в чрезмерно критическом отношении к Западу и язвительно напоминал, что русский прогресс обязан своим развитием западноевропейскому влиянию.² В статьях, помещенных в журнале «Время», Достоевский формулировал свое новое почвенническое мировоззрение периода после каторги, пытаясь осмыслить и примирить европейские идеи применительно к России. В статьях Ап. Григорьева, Н. Н. Страхова, самого Достоевского анализировалась трагическая духовная ситуация, сложившаяся в русском обществе 1860-х годов как следствие петровской прививки Западом; образованный «русский европеец», не сделавшись европейцем, отрешился от реального бытия, утратил связь с «почвой», т. е. с народом, и обрел тем самым нравственную несостоятельность «лишнего человека».

В статье «Два лагеря теоретиков» (1862) Достоевский писал: «если (...) общечеловеческий идеал (...) выработан *одним только* Западом, то можно ли назвать его настолько совершенным, что решительно всякий другой народ должен отказаться от попыток принести что-нибудь от себя в дело выработки совершенного человеческого идеала и ограничиться только пассивным усвоением себе идеала по западным книжкам? Нет, тогда только человечество и будет жить полною жизнью, когда всякий народ разовьется на своих началах и принесет от себя в общую сумму жизни какую-нибудь особенно развитую

¹ См. например: *Ward Bruce K. Dostoyevsky's critique of the West. The Quest for the Earthly Paradise. Canada, 1986*; *Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа. М., 1997. С. 114—126* (Глава IX. Ф. М. Достоевский. Владимир Соловьев. Н. А. Бердяев).

² *Антонович М. А.* 1) О почве (не в агрономическом смысле, а в духе «Времени») // *Современник*. 1861. № 12; 2) О духе «Времени» и о г. Косице как наилучшем его выражении // *Современник*. 1862. № 4.

сторону. Может быть, тогда только и можно будет мечтать нам о полном общечеловеческом идеале».³

В характерном для начала 1860-х годов противостоянии материализма и идеализма в философии журнал «Время», издательская концепция которого отражала «почвенничество» писателя, занял определенную позицию. Теоретическая платформа «Времени», охарактеризованная публицистом «Современника» Антоновичем как бессодержательная утопия, позволяла обосновать потенциальные возможности «почвы». Одна из главных идей Достоевского о Христе как народной святыне берет свое начало в публицистике этого периода. Основанием будущего идеального братства людей, по мысли писателя, могла быть только религиозная вера, включающая страдание, сострадание и добровольное самопожертвование, что ставило «русский почвенный идеал несравненно выше европейского», но именно «он-то и возродит всё человечество» (20, 202).

Вместе с тем «Время» стремилось ориентировать читателя в ведущих философских направлениях европейской мысли (Жуно Фишер, Дарвин, Льюис, Миль, Прудон, Энгельс). В меньшей степени этот жанр — вклад в популяризацию научных достижений — культивировался в «Эпохе» (Ренан, Фейербах, Вундт).⁴ Изложение и толкование философских систем принадлежало перу главным образом ведущего критика журнала Страхова, естествовика по образованию, правого гегельянца и одновременно православно-церковного ортодокса по убеждениям.

Главная для Достоевского тема России была неотделима от темы Европы, частью которой стало освоение писателем опыта ведущих представителей западноевропейской философской мысли. «Помню, — писал Страхов о Достоевском, — как его забавляло, когда я подводил его рассуждения под различные взгляды философов, известные из истории философии. Оказывалось, что новое придумать трудно, и он, шутя, утешался тем, что совпадает в своих мыслях с тем или другим великим мыслителем».⁵

Философские теории героев Достоевского, — восходят ли они к определенным первоисточникам или соотносятся типологически, — являются оригинальными и самобытными построениями, созданными художником. Философия каждого героя-идеолога Достоевского, даже имея определенный «прототип», едва ли ему идентична; выверенный эмпирически через художественный образ, «подлинник» как отвлеченная система испытывается «на прочность». Известное замечание писателя, обращенное к тому же Страхову: «Шваховат я в философии (но не в любви к ней; в любви к ней я силен)» (291, 125), — подразумевает не общую начитанность в области мировой философской мысли, а неизбежное расхождение с воззрениями школьной философии. В историю русской философии Достоевский, по мнению Г. В. Флоровского, «входит не потому, что он построил философскую систему, но потому, что он широко раздвинул и углубил самый *метафизический опыт*»;⁶ гений его «был достаточно мощен, чтобы раскрыть философские теоремы в образах, и его образы не сохли, не мертвели, оставались яркими, живыми и естественными».⁷

³ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1980. Т. 20. С. 6—7. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием номера тома и страницы.

⁴ Нечаева В. С. 1) Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время»: 1861—1863. М., 1972. С. 189; 2) Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха»: 1864—1865. М., 1975. С. 98 и др.

⁵ Страхов Н. Н. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. СПб., 1883. Т. 1. С. 225; см. также: Белопольский В. Н. Достоевский и позитивизм. Ростов-на-Дону, 1985. С. 5—6.

⁶ Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Париж, 1988. С. 300.

⁷ Флоровский Г. Блаженство страждущей любви. К 100-летию со дня рождения Достоевского // Из прошлого русской мысли. М., 1998. С. 68.

Корень зла Достоевский видит не в самой западной цивилизации (за исключением «Зимних заметок о летних впечатлениях»), а в том, что ее модели и философские построения, механически перенесенные на русскую почву, не могут быть использованы в России, не приводя при этом к отрицательным последствиям. Одним из таких философских явлений, «идей времени», присутствующих современному русскому мировоззрению, стала для Достоевского апология утилитаризма и позитивизма, своего рода антитезы христианству. Остановлюсь на отношении писателя к философским наблюдениям английского эмпирика и логика Джона Стюарта Милля, которые стали объектом полемики Достоевского.⁸

Особое место в ряду «европейских высших учителей наших», «свете и надежде», «всех этих Миллей, Дарвинов и Штраусов», занимает Джон Стюарт Милль (1806—1873), чьи идеи получили необычайно широкое распространение в России второй половины XIX века. Хотя Милль называл себя «философом жизненного опыта» и, соответственно, получил известность как эмпирик, в России его имя прочно связывалось с позитивизмом (вплоть до настоящего времени) и «религией гуманизма».⁹

Как философское течение позитивизм заявил о себе во Франции публикацией знаменитого труда его основателя Огюста Конта «Курс позитивной философии» (1830—1842).¹⁰ Основной тезис позитивизма (и утилитаризма) как способа познания мира заключается в его принципиальной оппозиции метафизической немецкой классической философии (Бог сменяется апофеозом Человечества, теизм — антропотеизмом) и в противопоставлении ей положительных знаний точных наук, главным образом экспериментального естествознания и социологии, основанных на анализе фактов.

Милль как популяризатор идей Огюста Конта, философские и социологические взгляды которого оказали на него сильнейшее влияние, в 1865 году вместе с Д. Г. Льюисом издал в Англии книгу «Огюст Конт и положительная философия» (в переводе Н. Неклюдова и Н. Тиблена она была опубликована в России в 1867 году). Однако ко многим положениям французского коллеги

⁸ Теме «Достоевский и идеи британских социальных философов» посвящены следующие мои работы: 1) Dostoevsky and Herbert Spenser // Dostoevsky Studies. 1986. № 7. P. 45—72; 2) Dostoevsky and British Social Philosophers // Dostoevsky and Britain / Ed. W. J. Leatherbarrow. Oxford / Providence. 1995. P. 177—206 и др. Влияние позитивистской философии О. Конта на творчество Достоевского подробно анализируется в работе В. Н. Белопольского «Достоевский и позитивизм» (Ростов-на-Дону, 1985); см. также главу «Отношение к позитивизму Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого» в монографии П. С. Шкуринова «Позитивизм в России XIX века» (М., 1980. С. 227—241) и работу М. Г. Ярошевского «Достоевский и идейно-философские искания русских естествоиспытателей» (Вопросы философии. 1982. № 2. С. 103—112).

⁹ Необходимо отметить, что применительно к Миллю, этика которого лишь перекликается с этикой позитивизма, более уместен термин утилитаризм, имеющий своим источником название организованного им в 1822 году кружка последователей И. Бентама («утилитарное общество»). В западной традиции, в отличие от русской, Милль считается не позитивистом, а «эмпириком», «логиком», философом «по теории науки», иногда «утилитаристом». Сам Милль называл себя «философом опыта» («philosopher of experience»). К английским позитивистам в чистом виде следует отнести Р. Конгрева, Ф. Харрисона, Дж. Бриджеса и др. В русской традиции термин «позитивизм» закрепился за Миллем, вероятно, не только вследствие сходства этики утилитаризма и позитивизма, но и как за популяризатором идей О. Конта, что, на мой взгляд, не вполне правомерно, учитывая отнюдь не апологетический характер осмысления им философии французского позитивиста. К логикам совершенно справедливо относит Милля в своей монографии «От натурфилософии к теории науки» современный русский исследователь А. П. Огурцов (М., 1995. С. 284—291; глава «Логика и теория науки: Дживонс и Милль»). Достоевский нигде не называл Милля позитивистом и, скорее всего, осознавал эту разницу, хотя, вероятно, особого значения для него это не имело.

¹⁰ Достоевский, по воспоминаниям П. П. Семенова-Тян-Шанского, еще в кружке М. В. Петрашевского «перечитал (...) „Курс позитивной философии“ Огюста Конта» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 1. С. 208—209).

Милль отнесся критически, о чем свидетельствует их переписка. К примеру, он отверг мысль Конта о физиологической обусловленности неравноправия женщины. А учение о новой церкви, которую возглавит как первосвященник сам Конт, Милль считал нелепым. Изложение философии Конта в книге Льюиса и Милля вызвало оживленную полемику в русской периодике, главным образом о том, применимы ли математические методы к наукам нравственным, экономическим и социальным. «Научный» взгляд подразумевал, что человек — существо, определяемое «законами природы», «средой» и сводимое к набору физиологических и социальных фактов, подвластных законам математики.¹¹

Наиболее значительные труды британского утилитариста были переведены в России и также стали предметом жаркого обсуждения в русской периодической печати.¹² Чернышевский перевел его «Принципы политической экономии» (1848), снабдив собственным комментарием («Основания политической экономии с некоторыми из их применений к общественной философии»; опубл.: Современник. 1860—1861); Ф. Резенер сделал перевод «Системы логики силлогистической и индуктивной» (1843). К концу столетия, пожалуй, только два произведения Милля — «Главы о социализме» (1872) и «Три эссе о религии: Природа. Польза религии. Теизм» (1874) — остались непереверденными.¹³ Основные труды Милля обсуждались и на страницах журналов «Время» и «Гражданин», в основном Страховым.

В русле этой полемики популярные утилитаристские и позитивистские идеи и их трагическое влияние на русское общество были осмыслены Достоевским в публицистических и художественных произведениях, таких как «Зимние заметки о летних впечатлениях», «Записки из подполья», «Крокодил», «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Кроткая», «Братья Карамазовы». То есть в течение двадцати лет эта мысль занимала писателя, постоянно развивалась им, постепенно обретая свою окончательную форму. Каждый персонаж — Подпольный человек, Раскольников, Ипполит, Кириллов, Смердяков, Иван Карамазов — эмпирически выверяет своей жизнью дилемму существования Бога и бессмертия души.

Одной из первых публикаций во «Времени», посвященных разбору философии Милля, стала статья И. Тэна «Современная английская философия. Джон Стюарт Милль и его система логики», снабженная комментарием Страхова и, вероятно, им же переведенная. В комментарии читаем: «Милль уже очень известен русским читателям как один из передовых мыслителей Англии, и потому читатели без сомнения поинтересуются его логикой. Она замечательна в высшей степени, как крайнее выражение известного мирозерцания. А мысль, развитая до конца, вполне, необходимо сама обличает свою истину или свою ложь». Хорошо известная в России «система Милля ведет прямо к отрицанию мышления, то есть к полному скептицизму. Он

¹¹ См.: *Ватсон Э. Г.* Огюст Конт и позитивная философия // *Современник*. 1865. № 8, 11—12; *Писарев Д. И.* Исторические идеи Огюста Конта // *Русское слово*. 1865. № 9—10 и мн. др.

¹² См.: *Б-в Е.* Мысли Джона Стюарта Милля о позитивной философии. Позднейшие умозрения Огюста Конта // *Отечественные записки*. 1865. № 9; *Гусев А. Ф.* Джон Стюарт Милль // *Православное обозрение*. 1875. № 1, 3, 8, 9; 1876. № 6; ряд статей в «Вестнике Европы» за 1874 год.

¹³ См.: *Милль Д. С.* 1) О свободе. Лейпциг, 1861; 2) Система логики. СПб., 1865—1867. Т. 1—2. 3) Подчиненность женщины. Предисл. Н. Михайловского и приложение писем О. Конта к Д. С. Миллю по женскому вопросу. СПб., 1869; 4) Обзор философии сэра Гамильтона и главных философских вопросов, обсужденных в его творениях. СПб., 1869; 5) Автобиография Джона Стюарта Милля. Под ред. Е. Г. Благосветлова. СПб., 1874. Подробнее о Милле и его произведениях см. в статье М. Туган-Барановского для Словаря Брокгауза и Ефрона, а также: *Рождественский М. Н.* О значении Милля. СПб., 1867; *Зенгер С. Дж.* Ст. Милль, его жизнь и произведения. СПб., 1903.

почти жалеет, что мы имеем мышление, а не одну память, то есть, что мы соединяем и согласуем все, что содержится в нашем уме, а не оставляем каждого элемента в его частности и отдельности. Так как мышление есть начало, служащее для понимания мира, то, отказываясь от мышления, Милль необходимо должен был отказаться и от понимания мира». Этот скептицизм, по мысли Страхова, порождает видение мира как хаоса, набора отдельных, случайных фактов, в котором невозможно найти ни порядка, ни связующих нитей, ни гармонии.¹⁴

Необходимо, однако, учитывать, что отношение Достоевского к теориям «европейских высших учителей наших» во многом определялось контекстом — характером их осмысления русским обществом. «Разве может русский юноша, — говорится в «Дневнике писателя» за 1873 год, — остаться индифферентным к влиянию этих предводителей европейской прогрессивной мысли и других им подобных, и особенно к русской стороне их учений? Это смешное слово о „русской стороне их учений“ пусть мне простят, единственно потому, что эта русская сторона этих учений существует действительно. Состоит она в тех выводах из учений этих в виде несокрушимейших аксиом, которые делаются только в России; в Европе же возможность выводов этих, говорят, даже и не подозреваема» (21, 132). И далее в «Дневнике писателя» за 1876 год: «То-то и есть, что у нас ни в чем нет мерки. На западе Дарвинова теория — гениальная гипотеза, а у нас давно уже аксиома» (23, 8). Впоследствии эта мысль будет художественно оформлена в «Братьях Карамазовых» и отдана Ивану: «я давно уже положил не думать о том: человек ли создал Бога или Бог человека? — говорит он в своей исповеди брату. — Не стану я, разумеется, перебирать на этот счет все современные аксиомы русских мальчиков, все сплошь выведенные из европейских гипотез; потому что что там гипотеза, то у русского мальчика тотчас же аксиома, и не только у мальчиков, но, пожалуй, и у ихних профессоров, потому что и профессора русские весьма часто у нас теперь те же русские мальчики. А потому обхожу все гипотезы» (14, 214).

Неприятие писателя вызывали не столько сами идеи европейской философии, сколько их современная русская интерпретация, выполнявшая «посредническую» роль. Достоевский считал, что, истолковывая и применяя идеи европейских и, в частности, британских социальных философов (Юм, Бентам, Гамильтон, Милль, Спенсер), радикальная русская критика искажала их и что, с точки зрения национального исторического развития, такой подход был чреват зловещими последствиями. Только в России, по мнению писателя, идеи, витающие в воздухе, имеют свойство жить своей собственной жизнью. И апология оборачивается «русской стороной этих учений» и становится действительностью.

В одной из рецензий, опубликованных в «Гражданине» в период, когда его редактировал Достоевский, Страхов писал: «Дарвин у нас популярный писатель, он читается не только специалистами, а массою публики, людьми, питающими притязание на образованность и просвещение (...). Нынешняя страсть к Дарвину есть явление глубоко фальшивое, чрезвычайно уродливое (...). Естественно, что в массе публики вопросы ставятся грубо, резко, господствуют предрассудки, действует авторитет — и вот учение нетвердое и одностороннее возводится на степень доказанной истины и набирает множество приверженцев, которые верят даже не тому, что им доказано и что заключается в словах их авторитета, а собственным своим выдумкам».¹⁵ До-

¹⁴ Тэн И. Джон Стюарт Милль и его система логики // Время. 1861. № 6. Т. 3. Отд. 1. С. 391—392 (комментарии Страхова).

¹⁵ Гражданин. 1873. № 29. 16 июля. С. 810.

стоевского смущали не столько определенные воззрения европейских учителей, сколько их механическое перенесение на русскую почву, а также сама форма изложения этих идей, подаваемых русскими интерпретаторами в виде прорицаний и аксиом.

Безусловно, Достоевский имел в виду таких прогрессистов, «молодых штурманов будущей бури» (Герцен), как Н. Г. Чернышевский, М. Л. Михайлов, Д. И. Писарев, В. А. Зайцев, П. Л. Лавров, отчасти Н. К. Михайловский и др., связанных с журналом «Современник» (в котором Милль был наиболее почитаемым философом в 1860—1861 годах),¹⁶ «Русское слово» и «Отечественные записки». С точки зрения писателя, эти критики радикального направления, популяризируя и пропагандируя атеистические и социалистические выводы из утилитарных, позитивистских и эволюционистских теорий, склоняли интеллектуально незрелую читающую публику к признанию этих идей в качестве абсолютных истин и применению их ко всем сферам жизни.¹⁷ «Чернышевский на Руси, — вспоминал 1860-е годы Н. Костомаров, — можно сказать, был Моисеем-пророком наших социалистов (...), как бы играл из себя настоящего беса. Так, например: обративши к своему учению какого-нибудь юношу, он потом за глаза смеялся над ним и с веселостью указывал на легкость своей победы. А таких жертв у него было несть числа (...). Никто в России не имел такого огромного влияния в области революционных идей на молодежь, как Чернышевский».¹⁸

С другой стороны, студенчество обладало какой-то стадной склонностью рабски поклоняться всяческому авторитетам. По воспоминаниям Вл. Соловьева, С. М. Соловьев, встречавшийся с Чернышевским дважды, в последний раз (в начале 1862 года) «нашел в нем большую перемену, которую объяснял установившимся идолопоклонническим отношением к Чернышевскому окружающей его литературной и общественной среды. (...) слова отца, помню, были сказаны не столько в упрек Чернышевскому, сколько в обличение незрелости, несерьезности и холопского духа в русском обществе. „Ну, какой тут может быть правильный рост образованности? Третьего дня ты принял за серьезное дело в науке и в литературе, вчера тебя потащили на дельфийский треножник: не нужно, мол, нам твоего умственного труда, давай нам только прорицания; а сегодня, еще не прочхавшись от фимиама, ты уж на каторге: зачем прорицательствовал с разрешения предварительной цензуры”».¹⁹

¹⁶ См.: *Нечаева В. С.* Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время»: 1861—1863. М., 1972. С. 179.

¹⁷ Известный историк Н. Кареев в своих воспоминаниях приводит интересные подробности о проникновении в Россию позитивистской литературы (см.: Новое слово. 1895. № 2. С. 10). О влиянии позитивизма на русскую философскую мысль см.: *Уткина Н. Ф.* Позитивизм, антропологический материализм и наука в России (вторая половина XIX века). М., 1975; *Шкурин П. С.* Позитивизм в России XIX века. М., 1980; *Журавлев Л. А.* Позитивизм и проблема исторического процесса. М., 1980, и др.

¹⁸ *Костомаров Н.* Петербургский университет начала 1860-х годов // Юбилейный сборник Литературного фонда. СПб., 1909. С. 135, 137. Соратник Чернышевского Н. В. Шелгунов писал: «Молодежи нужно давать готовое, а у Чернышевского оно было. Чернышевский отличался ехидством языка, и чуткая молодежь умела отлично читать между строками его революционное отрицание всякой власти» (*Шелгунов Н. В.* Воспоминания. М.; Пг., 1923. С. 29). По мнению В. В. Розанова, не использовать «кипучую энергию, как у Чернышевского, для государственного строительства — было преступлением (...). Нелепое положение полного *практического бессилия* выбросило его в литературу, публицистику, философствующие оттенки, и даже в беллетристику: где, не имея никакого *собственного к этому призвания*, (...) он переломал все стулья (...) и вообще совершил *нигилизм* (...) с выходом его *в практику* (дать департамент. — *И. З.*) — мы не имели бы *теоретического нигилизма*» (см.: *Розанов В. В.* Уединенное // *Розанов В. В.* Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 207—208).

¹⁹ *Соловьев В. С.* Из литературных воспоминаний. Н. Г. Чернышевский // *Соловьев В. С.* Сочинения: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 643. Студенческая молодежь, надо полагать, легко поддавалась

По устойчивому убеждению Достоевского, социальная программа шестидесятников, «белая Арапия» (термин Ап. Григорьева), — это барская затея, «остатки прежнего либерализма (...) ходячих трупов, свободных от земли» (20, 187). Унаследованный от «отцов» (поколения 1840-х годов) европеизм «детей»-шестидесятников стал, несмотря на непримиримые идеологические противоречия, точкой соприкосновения, позволяющей установить связь между враждующими поколениями. Эта мысль неоднократно высказывалась Достоевским. Наиболее полно она сформулирована в главе «Одна из современных фальшей» «Дневника писателя» за 1873 год, где говорится, что именно «отцы» воспитали в «детях» «отвержение Христа», «абсентизм» и циническое отношение к «делу России» (21, 125).²⁰

Имя Милля, упомянутое здесь, соседствует с именами модных философов Дарвина и Д. Штрауса (автора весьма популярной в России философской критики Библии «Жизнь Иисуса», видевшего в Христе не воплощение божества, а историческую личность; учение о Его божественной природе Штраус рассматривал как миф). «Очень может быть, (...) что цели всех современных предводителей европейской прогрессивной мысли человеколюбивы и величественны. Но зато мне вот что кажется несомненным: дай всем этим современным высшим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново — то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое и бесчеловечное, что всё здание рухнет, под проклятиями человечества, прежде чем будет завершено. Раз отвергнув Христа, ум человеческий может до удивительных результатов. Эта аксиома. Европа, по крайней мере в высших представителях своей мысли, отвергает Христа, мы же, как известно, обязаны подражать Европе» (21, 132—133).²¹ Вера в Запад обретала все признаки религиозной веры. А. И. Герцен, который хорошо это чувствовал, говорил: «Мы верим в Европу, как христиане верят в рай». ²² Не исключено, что подпоручик из «Бесов», разложивший в виде трех

вливания не только революционных идей. А. Ф. Кони приводит любопытные воспоминания очевидца о реакции аудитории на первую лекцию о Богочеловечестве Вл. Соловьева в Петербургском университете в конце 1870-х годов: «Аудитория на этот раз состояла почти исключительно из естественников, относившихся к Соловьеву весьма настороженно», и, «вопреки обычаю встречать нового профессора аплодисментами, хранила грубое молчание. (...) Соловьев с той же мягкой улыбкой начал лекцию. Начал он говорить тихо, но чем далее, тем голос его более и более становился звучным, вдохновенным: он говорил о христианских идеалах, о непобедимости любви, переживающей смерть и время, о презрении к миру, который „во зле лежит“; говорил о жизни как о подвиге, цель которого — в возможной для смертного степени приблизиться к той „полноте совершенства“, которая явлена Христом, которая делает возможным „обожествление человечества“ и обещает царство „мировой любви“ и „вселенского братства“... (...)». Он кончил и по-прежнему опустил голову на грудь. Несколько секунд молчания, и вдруг — бешеный взрыв рукоплесканий. Аплодировала вся аудитория (...) он уже овладел своей аудиторией, он загипнотизировал ее... „Я хочу сообщить вам, господа, — сказал Соловьев, — или, лучше, я прошу вас, чтобы каждый, несогласный (...) возражал мне по окончании лекции“. Снова взрыв рукоплесканий» (Кони А. Ф. Очерки и воспоминания. СПб., 1906. С. 217—218). Попутно отмечу, что содержание магистерской диссертации Вл. Соловьева «Кризис западной философии (Против позитивистов)» (М., 1874), имевшейся в библиотеке писателя, было, безусловно, известно Достоевскому.

²⁰ Гражданин. 1873. 10 дек. № 50. С. 1349—1353.

²¹ Причину падения Парижской Коммуны (1871) Достоевский усматривал в ложности ее нравственных идей: «Нравственное основание общества (взятое из позитивизма) не только не дает результатов, но и не может само определить себя, путается в желаниях и в идеалах. Неужели, наконец, мало теперь фактов для доказательства, что не так создается общество, не те пути ведут к счастью и не оттуда происходит оно, как до сих пор думали. (...) главное упустят: на Западе Христа потеряли» (Из письма Страхову от 18 мая 1871 года — 291, 214). О несостоятельности теории и практики Коммуны вслед за Достоевским писал Страхов, соотнося ее опыт с идеями и стремлениями русских революционеров (Заря. 1871. Кн. 10—11).

²² Цит. по: Булаков С. Н. Душевная драма Герцена. СПб., 1903. С. 13.

налов «сочинения Фохта, Мошотта и Бюхнера» с затепленными перед ними церковными свечками (10, 269), имел вполне конкретных прототипов.

В статье «Одна из современных фальшей» (Гражданин. 1873. № 50) Достоевский обеспокоен не столько взглядами перечисленных философов, вероятно, в метафизическом плане неоднозначными, сколько атеистическими выводами из их учений в виде насаждаемых в среде учащейся молодежи аксиом.²³ Не случайно, именно здесь он публично кается в политических взглядах своей юности («*Нечаевым*, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но *нечаевцем*, не ручаюсь, может, и мог бы... во дни моей юности» — 21, 129), влиянии европейского атеистического мировоззрения В. Г. Белинского.²⁴

Характеризуя начало 1870-х годов в одной из статей, опубликованных в «Гражданине» в период, когда его редактировал Достоевский, Страхов писал: «Влияние Европы на нас всеильно, в особенности на тех из нас, кто неспособен к большой самостоятельности, следовательно, на массу, на большинство, почти на всех. За немногими исключениями (...) мы слепо движемся по тому направлению, куда гонит нас пример Европы (...). Бестолковая путаница идей, самые пестрые сочетания разнородных понятий — вот обыкновенное состояние наших умов (...). И если при слабости наших умов, при нашем малом просвещении исповедуются и делаются величайшие дикости, то покорность идее, во всяком случае, должна быть признана чистой, благородной чертой. Эти малые и темные души, очевидно, любят свет и готовы ему следовать. Но понятно, какой простор в этих потемках может явиться и для дурных влечений, и сколько извращения может быть порождено правилом, что *цель освящает средства*».²⁵

В этической системе Милля правильность поступка измерялась тем, насколько этот поступок приносил счастье и удовольствие. Милль, однако, усматривал качественную разницу между типами удовольствия и верил в превосходство «умственного удовольствия». Английские позитивисты и рационалисты проповедовали своеобразную светскую религию, которая порывала с христианством, Богом и верой в вечную жизнь, а объектом поклонения делала человека. Это привело к возрастанию религиозного индифферентизма в Англии и интеллектуальному кризису викторианского общества — процессам, за которыми Достоевский следил с особым интересом.

Мораль связывалась Достоевским с религиозной верой и включала страдание, сострадание и добровольное самопожертвование как основание будущего идеального братства людей. Одним из главных пунктов философии героя «Записок из подполья» (1864) становится мысль, сжато сформулированная еще в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863), — нельзя построить человеческую жизнь по принципу разумного договора «каждый для всех и все для каждого». Достоевский вступил в полемику не только с Чернышевским как автором статей «Антропологический принцип в философии» (1855), «Июльская монархия» (1860), романа «Что делать?» (1863) и теории «разумного эгоизма», он бросил вызов всей утилитарной и рационалистической философии с ее математическим подходом к природе человека,

²³ Вряд ли Ч. Дарвин, будучи церковным старостой, мог предположить, что его естественнонаучные гипотезы, адаптированные и популяризированные определенным образом, сподвигнут русскую молодежь на массовый атеизм.

²⁴ «Последователями Конта» называл петрашевцев Герцен (*Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1957. Т. 10. С. 344*). По выражению К. В. Мочульского, эта статья стала «актом публичного покаяния, беспрецедентным в истории русской духовной жизни» (*Мочульский К. В. Достоевский. Жизнь и творчество // Мочульский К. В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995. С. 276*).

²⁵ *Страхов Н. Нечто о характере нашего времени // Гражданин. 1873. 3 сент. № 36. С. 980—981.*

которому свойственно действовать только в интересах своего благополучия. Для Достоевского неприемлема эта утилитарная концепция человека: «не хочет жить человек и на этих расчетах (...). Ему всё кажется сдуру, что это острог и что самому по себе лучше, потому — полная воля» (5, 81). Человек из подполья признается, что стремление потакать собственным капризным, индивидуалистическим и иррациональным желаниям для него дороже культуры разума и любой благонамеренной теории, не замечающей стремления человечества к страданию, разрушению и хаосу.

Полемика с рационализмом и позитивизмом была продолжена в «Преступлении и наказании». Этика «разумного эгоизма» Чернышевского и Добролюбова представляется писателю моральной «арифметикой», идеи которой восходят к утилитаризму и позитивизму И. Бентама и Милля. В разговоре Раскольникова и Лужина (ч. 2, гл. 5—7) Достоевский объясняет ущербность этой морали чрезмерным рационализмом, исключающим на практике нравственный императив человека, заложенный в нем от природы.

В философской концепции «Что делать?», устойчивом адресате полемики Достоевского, первоисточник тезиса о выгоде общества, способной основываться только на разумном личном интересе, был точно определен писателем. «Русская сторона» этой философской идеи, сформулированная Чернышевским уже как руководство к действию, становилась опасностью использовать этот принцип в личных, корыстных целях, завуалированных оправданием общественной выгоды. Послушанию и подчинению готовым аксиомам в программе политического мошенника Петра Верховенского отводилась особая роль: «мы проникнем в самый народ (...) послушание школьников и дурачков достигло высшей черты; у наставников раздавлен пузырь с желчью («желчевиком», вслед за Герценом, Достоевский называл Чернышевского. — И. З.) (...) мы одними готовыми идеями возьмем» (10, 324). Последствия влияния романа «Что делать?», ставшего для будущих «штурманов» «зарядом на всю жизнь», хорошо известны.²⁶

Именно атеизм, по мысли Достоевского, становится обратной стороной новейших русских идей, почерпнутых в европейском утилитаризме и позитивизме. В последующих произведениях писатель развил эти первоначальные наброски своих интуитивных прозрений, противопоставив волюнтаризму, морали личной прихоти и культу своеволия как этическому тупику неизбежность метафизического решения проблемы. Теория «подпольного человека» получила свое развитие в теории Раскольникова, в логических схемах Ипполита Терентьева, в теоретических построениях Петра Верховенского, в чудовищной концепции «человекобога» Кириллова, в провоцирующих парадоксах Ивана Карамазова. Между «Зимними заметками...» и «Легендой о великом инквизиторе» возникает область философских построений Достоевского, в которой явление нигилизма разлагается писателем на все составные части с тем, чтобы понять причины, истоки и последствия этого явления.

²⁶ К безобидным в нигилистическом смысле произведениям отнес «Что делать?» Н. С. Лесков, который считал, что герои этого смешного в художественном отношении романа «не несут ни огня, ни меча» (Северная пчела. 1863. № 142). Женский вопрос, разрешенный Чернышевским в соответствии с сочинением соавтора Милля Д. Г. Льюиса и в духе поздней теории Милля, также получил свое полемическое осмысление в «Преступлении и наказании» (Физиология обыденной жизни. Соч. Д. Г. Льюиса. М., 1861). Работа Милля «О подчинении женщины» вышла в России в 1869 году в нескольких переводах. Страхов откликнулся в «Заре» статьей «Женский вопрос. Разбор сочинения Джона Стюарта Милля „О подчинении женщины“» (1870. Кн. 2. С. 107—144; сброшюрованный оттиск: СПб., 1870; см. отцы Достоевского — 24, 235). В «Кроткой» закладчик, знакомый с книгой Милля «О подчинении женщины», тщетно пытается вспомнить, кому принадлежат евангельские слова «Люди, любите друг друга» (24, 35).

Однако, несмотря на то что Достоевский настороженно относился к любой философской теории, отделяющей этику от христианского учения, а также к применению математических методов в социальной и духовной сферах жизни, он, вероятно, питал симпатию к определенным аспектам эмпирического метода Милля. По мысли британского философа, из истин, не уходящих корнями в жизнь, произрастают лживые доктрины и плохие учреждения. В «Системе логики...» он стремился приуменьшить ценность знания, полученного путем дедукции, при котором частное выводится из общего, и доказать важность знания, полученного путем индукции, т. е. сбора и обобщения частных сведений. Милль считал, что знание о всеобщем выводится из частных случаев и не существует никакой заведомой правды, не зависимой от опыта. Достоевский тоже проявлял склонность к индуктивному способу познания, сбору опытных данных: «Общие принципы только в головах, а в жизни одни только частные случаи» (21, 270). Писатель использовал ту же терминологию, что и автор «Системы логики...». Достоевский неоднократно подчеркивал, что «опыт необходим», и настаивал на важности наблюдения за «фактами» и сбора частных случаев. Таким образом, его симпатии были на стороне опытного познания, обычно связываемого с английской философской традицией, а не познания на основе размышлений и абстракций, ассоциируемого с немецкой философией.

Думается, что сам художественный метод Достоевского соотносится, скорее всего типологически, с теорией Милля о гипотетичности научного знания. По словам британского философа, гипотезы — это «необходимые ступени при переходе к чему-либо более достоверному, и почти все, что составляет теперь теорию, было некогда гипотезой (...). Мы начинаем с какого-нибудь предположения (хотя бы и ложного) для того, чтобы посмотреть, какие следствия будут из него вытекать; а наблюдая то, насколько эти следствия отличаются от действительных явлений, мы узнаем, какие поправки надо сделать в нашем предположении (...) сравнение выводимых из исправленной гипотезы следствий с наблюдаемыми фактами дает указание для дальнейшего исправления и т. д., пока дедуцируемые результаты не будут в конце концов поставлены в согласие с фактами».²⁷ Каждый герой Достоевского, носитель атеистического мировоззрения, начиная с Подпольного и кончая Иваном Карамазовым, эмпирически испытывает заданную гипотезу, последовательно корректируемую писателем в соответствии с реальными фактами. В итоге образуется законченная художественная теория, близкая к научной, о которой и говорит Милль.²⁸

Особенно близок Достоевский Миллю в истолковании счастья: «счастье не в счастье, а лишь в его достижении» (22, 34). Писатель ошибочно приписывает этот афоризм Козьме Пруткову (24, 161). На самом деле эта цитата восходит к «Автобиографии» Милля. Будучи редактором, Достоевский опубликовал в «Гражданине» две обзорные статьи, посвященные только что вышедшей в Лондоне миллевской «Автобиографии». В первой из них, принадлежащей перу К. П. Победоносцева, утверждалось, что декларируемое Миллем воспитание без религиозных истин и чувств ведет к духовному оскотлению; человек поневоле начинает верить в безусловное превосходство своего разума над остальными: «человек высшей интеллигенции (of high intellect)

²⁷ Милль Д. С. Система логики силлогистической и индуктивной. М., 1899. С. 399—400; см. также: Огурцов А. П. От натурфилософии к теории науки. С. 291.

²⁸ Схожую мысль высказала Ирина Паперно: «Достоевский пользуется методом, заимствованным из позитивной науки: человеческое сознание становится той питательной средой, в которой идее дано развиваться — писатель ставит научный эксперимент» (*Paperno I. Suicide as a Cultural Institution in Dostoevsky's Russia. Cornell University, 1997. P. 126.*)

должен являться в общество низшей интеллигенции (into unintellectual Society) не иначе как в качестве апостола (...). Автобиография Милля выражает самое ясное и самое решительное отрицание религиозной истины и религиозного чувства, особенно христианского (...). История Милля есть история *духовного скопчества*, в основании коего лежит, несомненно, подобное же изуверское, болезненное состояние духа. И так же точно, как скопец физический, уродуя себя, стремится страстно — уродовать других и ведет без устали дикую пропаганду, — и духовное скопчество стремится убивать во всех, в ком только может убить, природную жизненную силу духа голым отрицанием и иссушающей душу суровостью логической конструкции».

Среди цитат из Милля, приведенных в статье, одна относилась к вопросу о счастье, заданному самому себе: «Часто вставал передо мною мрачный вопрос: положим, что все твои желания удовлетворятся, что все учреждения, которых жаждет душа твоя, осуществляются: что же, будет ли тебе от того радость, будет ли счастье? И из глубины душевной слышался на это неотражимый ответ: не будет. Тут совсем поник мой дух, и основы, на которых строил я всю жизнь свою, — рушились. Вся жизнь моя представилась мне без цели».²⁹

Спустя несколько месяцев Достоевский опубликовал еще один разбор «Автобиографии» Милля, написанный на этот раз Страховым. Заслуживает особого внимания мысль о стремлении к счастью, созвучная Достоевскому и неоднократно высказывавшаяся им еще в начале 1860-х годов. «По дороге я не отказывался от некоторых удовольствий, но полным, совершенным удовлетворением моих желаний могло быть только стремление к этой цели, и я *поздравлял себя с прочным счастьем в жизни, так как мой идеал счастья был так далек*, что постоянно можно было подвигаться к нему, но *никогда его не достигь*».³⁰ Милль описывает, как в 20 лет испытал психологический срыв, который едва не привел его к самоубийству. «Я ставил все свое счастье в постоянном стремлении к одной цели; эта цель потеряла для меня свою обаятельную силу; к чему же было более к ней стремиться? К чему же было долее жить?» Это был период глубокой депрессии, состояние отчаяния, из которого он вышел, читая Вордсворта, Мармонтеля и слушая музыку Вебера. Так он вступил в романтический мир чувств. Это шло вразрез с его рационалистическим воспитанием. «Я нисколько не сомневался, — пишет он, — в правильности своего прежнего убеждения, что счастье — *мерило всех жизненных правил и цель существования*; но я теперь полагал, что этой цели можно было достигнуть только тогда, *когда она будет поставлена на второй план*. Те люди только счастливы, думал я, которые ставят себе целью в жизни *какой-либо другой предмет*, а не свое собственное счастье, например счастье других, усовершенствование человечества, какое-нибудь искусство или предприятие. Таким образом, стремясь к чему-либо иному, они находили свое счастье, так сказать, на пути. По моей новой теории, в жизни было достаточно наслаждений для придания ей обаятельной силы, если мы берем их en passant, не *придавая им значения главной цели нашего существования*. Придайте им такое значение, — и они тотчас окажутся недостаточными и *не выдержат строгого анализа*. Спросите себя, счастливы ли вы, — и вы

²⁹ В. [Победоносцев К. П.]. Картина высшего воспитания. Автобиография Дж. Стюарта Милля // Гражданин. 1873. 5 ноября. № 45. С. 1193, 1192. Рецензия, по просьбе Победоносцева, согласованной с В. П. Мецкерским, была опубликована отдельной колонкой, а не в рубрике «Критика и библиография», где, по мнению автора, она была бы «мало заметна для читателей» (Лит. наследство. 1934. Т. 15. С. 128; см. также: Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. СПб., 1994. Т. 2. С. 429, 430—431).

³⁰ Страхов Н. Н. Милль в своей Автобиографии // Гражданин. 1874. № 6. С. 181.

перестанете быть счастливыми. *Единственная возможность достигнуть счастья заключается в том, чтобы считать не счастье, а что-либо другое целью в жизни.* На служение этой цели употребите все свое самосознание, всю свою способность к анализу, и, если другие обстоятельства вашей жизни удачно сложатся, то вы будете счастливы, вдыхая в себя счастье вместе с воздухом, а не думая о нем, не анализируя его. Эта теория стала теперь основой моей философии жизни, и я до сих пор считаю ее лучшей теорией для всех (...), то есть для большинства человечества». ³¹

Противоречие в теории Милля Страхов усматривал в невыполнимом для большинства условия отречения от жизни. Тем самым Милль, по мнению критика, «не развязал узла и не достиг тех понятий, которые хоть сколько-нибудь определяют назначение человека». ³²

Еще в 1861 году в статье «Г.—бов и вопрос об искусстве» Достоевский писал: «Бесконечно только одно будущее, вечно зовущее, вечно новое, и там тоже есть свой высший момент, которого нужно искать и вечно искать, и это вечное искание и называется жизнью» (18, 97). К той же идее писатель возвращается в «Записках из подполья», где герой, как и Милль, понимает счастье как процесс его достижения: «Я согласен: человек есть животное, по преимуществу созидающее, присужденное стремиться к цели сознательно (...) вечно и непрерывно дорогу себе прокладывает *хотя куда бы то ни было* (...). С муравейника достопочтенные муравьи начали, муравейником, наверно, и кончат, что приносит большую честь их постоянству и положительности. Но человек существо легкомысленное и неблагоприятное и, может быть, подобно шахматному игроку любит только один процесс достижения цели, а не самую цель. И, кто знает (поручиться нельзя), может быть, что и вся-то цель на земле, к которой человечество стремится, только и заключается в одной этой непрерывности процесса достижения, иначе сказать — в самой жизни, а не собственно в цели, которая, разумеется, должна быть не иное что, как дважды два четыре, то есть формула, а ведь дважды два четыре есть уже не жизнь, господа, а начало смерти» (5, 118—119). ³³

³¹ Там же. С. 181—182.

³² Там же. С. 182.

³³ Образ муравьев и муравейника, часто используемый Достоевским применительно к «идеальному» человеческому обществу социалистов, восходит к приводимому Чернышевским рассуждению Лессинга о муравейнике, где все заняты полезной деятельностью (см.: 5, 371). Однако не исключено, что этот образ мог быть навеян также пересказом «Системы логики» Милля, сделанным И. Тэном и опубликованным в журнале «Время»: «Если бы муравей мог делать наблюдения, он дошел бы до идеи физического закона, живой формы, представительного ощущения, отвлеченной мысли, потому что все это заключается в клочке земли, на котором помещается мыслящее существо (...) Если бы муравей мог рассуждать, то мог бы построить арифметику, алгебру, геометрию, механику, потому что движение на протяжении полувёршка уже содержит в ракурсе время, пространство, число и силу, все материалы для математики (...). Если бы муравей философствовал, он мог бы найти идею бытия, ничто и вообще все материалы метафизики, потому что их представляет всякое явление внешнее или внутреннее» (1861. № 6. С. 389—390). В «муравейниках» социалистов, иронически описанных Достоевским в «Зимних заметках...», за земные блага потребуют с человека «только самую капельку его личной свободы» — бессловесность и подчиненность, разумеется, для «общего блага», ведь «в муравейнике всё так хорошо, всё так различно, все сыты, счастливы, каждый знает свое дело, одним словом: далеко еще человеку до муравейника!» (5, 81). С гигантским муравейником сравнивает Достоевский «кристальный дворец», увиденный им на Всемирной лондонской выставке и описанный как устрашающее окончательное устройство и полное торжество Ваала (5, 69—70). Тем же муравейником, устроенным по лондонской модели, социалистическим «чугунно-хрустальным» дворцом Чернышевского, предстает «хрустальный дворец», населенный «органическими штафиками» и «фортепянными клавишами» в «Записках из подполья»: «У них (муравьев. — И. З.) есть одно удивительное здание (...) навеки нерушимое — муравейник» (5, 118), «хрустальное здание, навеки нерушимое» (5, 120). Позже Достоевский напишет о европейских детях, рожденных на мостовых «страшных городов» с «хрустальными дворцами, с всемирными вы-

Схожее с миллевским рассуждение о счастье как о процессе достижения высказано и в «Идиоте»: «Колумб был счастлив не тогда, когда открыл Америку, а когда открывал ее» (8, 327). Согласно Миллю, личное счастье как цель конкретного существования может быть достигнуто на пути к другой цели, например усовершенствования человечества, при условии исправления самосознания и отречения от собственного, изолированного от всех, стремления к счастью.

В целом созвучная Достоевскому теория Милля о счастье как о процессе его достижения и об отречении от стремления к индивидуальному счастью обретает иное смысловое наполнение в интерпретации Чернышевского: практика «разумного эгоизма» предполагает рациональное и здоровое сопряжение личного и общественного интереса ко всеобщему удовольствию, выгоде и прогрессу. Возможно, Чернышевский в своем истолковании более близок Миллю, чем Достоевский. Однако писатель усматривает значительную дистанцию между теоретическим предположением Милля, вполне безобидным, и аксиоматическим руководством к действию, возникшим на русской почве, разумеется «сообразно с требованиями науки». «Положим, что это закон логики, — рассуждает Подпольный, — но, может быть, вовсе не человечества (...). Человек любит созидать и дороги прокладывать, это бесспорно (...) может быть, он здание-то любит только издали (...) любит созидать его, а не жить в нем, предоставляя его потом aux animaux domestiques, как-то муравьям, баранам и проч.» (5, 117—118).

Человек, по мнению писателя, боится достигнуть цели и завершить здание, которое вместо счастья в виде куска хлеба может оказаться острогом: «Осыпьте его всеми земными благами, утопите в счастье совсем с головой, так, чтобы только пузырьки вскакивали на поверхности счастья, как на воде; дайте ему такое экономическое довольство, чтоб ему совсем уж ничего больше не оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники и хлопотать о прекращении всемирной истории, — так он вам и тут (...) выдумает разные страдания» (5, 116—117). Стремление к своеволию и страданию заложено в человеческой природе: «Страдание, например, в водевилях не допускается (...). В хрустальном дворце оно и немыслимо: страдание есть сомнение, есть отрицание, а что за хрустальный дворец, в котором можно усумниться?» (5, 119). В подготовительных материалах к «Преступлению и наказанию» читаем: «Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием. Таков закон нашей планеты, но это непосредственное сознание, чувствуемое житейским процессом, — есть такая великая радость, за которую можно заплатить годами страдания» (7, 154—155). И далее: «Человек не рождается для счастья. Человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием» (7, 155). В «Дневнике писателя» за 1876 год читаем: «Если хотите, человек должен быть глубоко несчастен, ибо тогда он будет счастлив. Если же он будет постоянно счастлив, то он тотчас же делается глубоко несчастлив» (24, 160—161). Ошибочность, казалось бы, верного философского посыла Подпольного о несвободе членов братства «хрустального дворца» заключается в отождествлении свободы личности и своеволия, исключаящего метафизический подтекст самого Достоевского. Тема своеволия, получившая дальнейшее развитие в

ставками» («Дневник писателя» за 1876 год; глава «Земля и дети» — 23, 96). За полгода до смерти писатель вновь вернется к этому образу в «Дневнике писателя» за 1880 год: «Муравейник, давно уже созидавшийся в ней (Европе. — И. З.) без церкви и без Христа (...) с распатанным до основания нравственным началом, утратившим всё, всё общее и всё абсолютное, — этот созидавшийся муравейник, говорю я, весь подкопан (...) всё это рухнет в один миг и бесследно» (26, 167—168).

«Преступлении и наказании», обрела логическое завершение в образе Ивана Карамазова с его философией вседозволенности.

Мысль о счастье неоднократно варьируется Достоевским; следуя за Миллем и его русскими интерпретациями, писатель эмпирически, в художественных образах, развивает эту мысль, доводя ее до крайности, до окончательного логического разрешения. Русские утилитаристы и позитивисты, считает писатель, подменяют «здравым смыслом», «разумным эгоизмом», «разумно понятым личным интересом» естественный, нравственный смысл процесса достижения и саму высшую цель назначения человека. По мысли Достоевского, чтобы достичь счастья, надо «выделаться» и возлюбить друг друга, а чтобы «выделаться», надо страдать. Любая подмена этого процесса может оказаться пагубной для национального исторического развития. Без нравственной опоры дозволены и оправдываются «науками» преступления, «червонные валеты», нигилизм, нечаевщина, самоубийства и, наконец, убийства.

«В чем состояло бы это братство, — пишет Достоевский в «Зимних заметках...», — если б переложить его на разумный, сознательный язык? В том, чтоб каждая отдельная личность сама, безо всякого принуждения, безо всякой выгоды для себя сказала бы обществу: „(...) Уничтожусь, сольюсь с полным безразличием, только бы ваше-то братство процветало”» (5, 80). Позже эта мысль будет неоднократно варьироваться Достоевским: «Я хочу не такого общества научного, — читаем в записных тетрадах, — где бы я не мог делать зла, а такого именно, чтоб я мог делать всякое зло, но не хотел его делать сам» (24, 162).

В одном из черновых набросков, озаглавленном «Для предисловия» (1875), Достоевский писал, что причина «подполья» кроется в «уничтожении веры в общие правила. „Нет ничего святого”» (16, 330). «Общество не хочет Бога, — читаем в записных тетрадах Достоевского за 1875—1876 годы, — потому что Бог противоречит науке. Ну вот и от литературы требуют плюсового последнего слова — счастья. Требуют изображения тех людей, которые счастливы и довольны воистину без Бога и во имя науки и прекрасны, — и тех условий, при которых всё это может быть, то есть положительных изображений» (24, 160—161).

Эпидемия самоубийств в России, вызванная атеизмом, философским нигилизмом и беспринципностью, была предсказана Достоевским.³⁴ Глава «Дневника писателя» за 1876 год «Приговор», полностью состоящая из рассуждения одного «логического самоубийцы» «от скуки, разумеется матерьялиста» (23, 146—148), вызвала многочисленные вопросы читателей. «Статья моя „Приговор”, — отвечал Достоевский, — касается основной и самой высшей идеи человеческого бытия — необходимости и неизбежности убеждения в бессмертии души человеческой (...) я ясно выразил формулу логического самоубийцы, нашел ее. Веры в бессмертие для него не существует (...). Те же, которые, отняв у человека веру в его бессмертие, хотят заменить эту веру, в смысле высшей цели жизни, „любовью к человечеству”, те, говорю я, поднимают руки на самих же себя; ибо вместо любви к человечеству насаждают в сердце потерявшего веру лишь зародыш ненависти к человечеству. Пусть пожмут плечами на такое утверждение мое мудрецы чугуновых идей. Но мысль эта мудренее их мудрости, и я несомненно верую, что она станет когда-нибудь в человечестве аксиомой (...). В результате ясно, что самоубийство, при потере идеи о бессмертии, становится совершенною и неизбежною

³⁴ Этой теме посвящена чрезвычайно информативная монография Ирины Паперно, дающая полное и точное представление о проблеме самоубийства в эпоху Достоевского: *Paperno I. Op. cit.*

даже необходимостью (...) потеря высшего смысла жизни (...) несомненно ведет за собою самоубийство» (24, 46—47, 49).

В одном из многочисленных «*confessio morituri*», адресованных Достоевскому, некий юноша NN, повествуя о своем кредо, писал: «Это атеизм (по крайней мере, так понимаю это), но я прошу Вас, не относитесь к этому слову с предвзятыми идеями и даже чувствами, так как в вас, как в христианине, и в глубоком христианине, чувство всегда идет вперед... Мне хочется лишь спросить Вас, прав я или нет, и для этого скажу предварительно два слова о себе. Ренан прельстил меня, Милль был глубоко симпатичен, Бокль открыл мне смысл истории, но Дарвин, вот кто все во мне перевернул, весь строй, все мысли. Я упивался этой новой, ясной и главное, положительно-точной картиной мира! Я сделался другим человеком. Фейербах dokonчил в области духа то, что Дарвин начал в области фактов. Я потерял чувство (т. е. религию), но приобрел мысль и убеждения (...). Я здраво, математически верно определил безвыходность положения и весь вред моего существования — и решился умереть (...) самоубийство — результат всестороннего обсуждения всех шансов, самого смысла жизни и своего собственного я — это не преступление и даже не ошибка, это — право (...). Я вас очень полюбил и уважаю, даром что вы мистик, но — честная душа, а много ли таких? Делайте свое дело — человечество вас не забудет. Поверите ли, я в дверях могилы — а на сердце стало тихо, мирно и ясно! В мать-природу иду. Из нее и в нее. Вот и Тайна! Не она ли?»³⁵

Причины, побудившие юношу к самоубийству, изложены им самим: «отсутствие принципов», непонимание «смысла жизни», вытекающие из изучения европейских мыслителей. Судьба юноши А. Ковнера, одного из умнейших корреспондентов и оппонентов писателя, точно иллюстрировала публицистические и художественные прогнозы Достоевского и одновременно вносила коррективы в дальнейшую разработку темы «логического» самоубийцы (Кириллов, Ставрогин).

Достоевский неоднократно указывал, что распространение позитивизма и дарвинизма в России ведет «девять десятых прогрессистов, исповедующих их», «к лакейству пред чужой мыслью, ибо страх как любит человек всё то, что подается ему готовым. Мало того: мыслители провозглашают общие законы, то есть такие правила, что все вокруг сделаются счастливыми, безо всякой выделки, только бы эти правила наступили (...). Все прежние авторитеты разбили и наставили новых, а в новые авторитеты, чуть кто из нас поумнее, тот и не верует, а кто посмелее духом, тот из гражданина в червонного валета обращается»; «Дарвин (...) обращается в карманного воришку, — вот что такое и червонный валет» (25, 47, 46).

В черновиках к «Бесам» Достоевский объясняет, в чем заключается недостаток позитивистской науки: «Все эти философские системы и учения (позитивизм и Конт и проч.) являлись не раз (новый факт и возрождение) и ужасно скоро, бесследно и почти неприметно ни для кого вдруг исчезали. И не потому, что их отвергали, о, нет, — просто потому, что они никого не удовлетворяли... Тогда как другие идеи (христианство и пр.) вдруг расходились по всей земле, овладевали миром, и вовсе не потому, что были доказаны, а просто потому, что всех удовлетворяли» (11, 144). Главное для Достоевского то, что нет истины вне Христа. Устами Шатова в «Бесах» писатель продолжает опровергать рационалистический взгляд на человека: «Ни один народ еще не устраивался на началах науки и разума; не было ни разу такого примера, разве на одну минуту, по глупости. Социализм по существу своему

³⁵ ИРЛИ. Ф. 100. Ед. хр. 29956.

уже должен быть атеизмом, ибо именно провозгласил, с самой первой строки, что он установление атеистическое и намерен устроиться на началах науки и разума исключительно. Разум и наука в жизни народов всегда, теперь и с начала веков, исполняли лишь должность второстепенную и служебную; так и будут исполнять до конца веков. Народы слагаются и движутся силой иному. (...) Это есть сила беспредельного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти. Дух жизни, как говорит Писание. (...) Начало эстетическое, как говорят философы. (...) „Искание Бога” — так называю я всего проще. Цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание Бога» (10, 198). Свое логическое завершение эта мысль получила в изложении старца Зосимы: «неустанно еще верует народ наш в правду, Бога признает, умирительно плачет. Не то у высших. Те вослед науке хотят устроиться справедливо одним умом своим, но уже без Христа»; «Мыслят устроиться справедливо, но, отвергнув Христа, кончат тем, что зальют мир кровью» (14, 286, 288).

Бурную реакцию среди последователей Милля вызвала посмертная публикация его «Трех эссе о религии...» (1874), в которых всем известный Милль, считавшийся позитивистом, предстал как верующий в Бога, в существование демонов тьмы, ограничивающих силой своего зла его могущество, в неопровержимость религиозных представлений о тайнах бытия. В век скепсиса, считал Милль, религия и культ Бога необходимы для воспитания необразованных масс и реализации нравственных целей общества. Последняя работа Милля стала «теодицеей на позитивистском основании».³⁶

Любопытную параллель между Миллем и Герценом проводит в этой связи В. В. Зеньковский: «Герцен являет нам довольно частый тип русского интеллигента, лишенного веры, но не утерявшего духовной зрелости; будучи позитивистом по исходным основам миропонимания, Герцен настолько глубок и честен, что отдает себе ясный отчет (как и другой его великий современник — Дж. Ст. Милль) в бессилии позитивизма. Отсюда глубочайший трагизм, идущий не от рассудка, а вырастающий из глубины его мятущейся души, для которой единственным настоящим выходом мог бы быть лишь возврат к религии».³⁷

Возможно, Достоевский знал о позднейших религиозных взглядах Милля по русским пересказам этой работы в периодике. Сами факты биографии Милля — и психологический срыв в юности, который едва не привел его к самоубийству, и разочарование во всемогуществе рассудочного элемента в частной и общественной жизни, и обращение в конце жизни к религии — подтвердили истинность философских заключений Достоевского о пагубных для человека и общества последствиях, таящихся в апологии социальных гипотез европейского позитивизма.

³⁶ Зенгер С. Дж. Ст. Милль, его жизнь и произведения. СПб., 1903. С. 202. Задолго до этого, еще в работе о Конте, Милль допускал, что «позитивный вид мышления отнюдь не отрицает сверхчувственного (...) законы природы не могут объяснить своего собственного происхождения» (Милль Д. С. Огюст Конт и позитивизм. М., 1897. С. 17).

³⁷ Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа. М., 1997. С. 57; см. также: Булгаков С. Н. Душевная драма Герцена. СПб., 1903.

ТЮТЧЕВ И ПАСКАЛЬ

(АНТИНОМИИ БЫТИЯ И СОЗНАНИЯ В СВЕТЕ ХРИСТИАНСКОЙ ОНТОЛОГИИ)

Статья первая

Тютчев принадлежит к наиболее глубоким представителям отечественной культуры, которых волновала в первую очередь (разумеется, каждого из них на свой лад и в особой форме) «тайна человека» (Достоевский), как бы не видимые на поверхности текущего существования, но непреложные законы и основополагающие смыслы бытия и истории. Такие писатели пристальнее, нежели «актуальные», «политические» и т. п. литераторы, всматривались в злободневные проблемы, но оценивали их не с точки зрения абсолютизированных модных идей или «прогрессивных» изменений, а как очередную историческую модификацию неизменных корневых начал жизни, уходящих за пределы обозреваемого мира. За несколько дней до кончины Тютчева И. С. Аксаков писал Ю. Ф. Самарину: «Он лежал безмолвен, недвижим, с глазами, открыто глядевшими, вперенными напряженно куда-то, за края *всего окружающего* (курсив мой. — Б. Т.), с выражением ужаса, и в то же время необыкновенной торжественностью на челе».¹ В приведенных словах примечательно сочетание ужаса и торжественности, т. е. своеобразного проявления и на смертном одре той неизбывной двойственности, которая постоянно вносила мучительное напряжение в духовные переживания поэта и неизгладимый отпечаток которой он обнаруживал во всем происходящем вокруг. О других проявлениях этой двойственности и ее истоках еще будет сказано ниже.

Сейчас же уместно вспомнить строки известного письма В. А. Жуковского, который на лице покойного Пушкина обнаружил признаки открывшегося «за краем» какого-то «полного, глубоко-удовлетворяющего знания», выражение «глубокой, величественной, торжественной мысли». И Тютчеву/и Пушкину свойственно по-разному обнаруживаемое в их творчестве стремление заглянуть «за край» культурного, идеологического, экономического и т. п. пространства и времени и проникнуть в заповедные тайники мирового бытия и человеческой души, постоянно питающие и сохраняющие ядро жизненного процесса при всей изменяемости в ходе истории (до неузнаваемости) его внешнего облика. Своеобразно перекликающиеся наблюдения близких друзей и единомышленников обоих писателей свидетельствуют о высшей (но уже посмертной) ясности в постижении подобных целей, которая при жизни, вследствие естественных ограничений и несовершенств всякой личности, в реальной действительности всегда носит достаточно условный, приблизительный, гадательный («как бы сквозь тусклое стекло» — 1 Кор., 13, 26) характер. Однако без учета этой онтологической и человековедческой целеустремленности подлинное содержание поэтической или публицистической «факту-

¹ Современники о Ф. И. Тютчеве (воспоминания, отзывы и письма). Тула, 1984. С. 45.

ры» в тех или иных произведениях или размышлениях не может получить должного освещения.

Сказанное в самой высокой степени относится к мировоззрению и творчеству Тютчева, которое изначально окрашено «вопросами» (название переведенного в молодости стихотворения Гейне «Fragen»): «...что значит человек? Откуда он, куда идет, и кто живет под звездным сводом?» Л. Н. Толстой относил поэта к «чуждым путешественникам» на «пустынной дороге» жизни, которых тем не менее сближает насущная озабоченность безответными вопросами: «кто мы такие и зачем и чем мы живем и куда мы пойдем...».² Взлеты и падения человеческого духа, «ужасающая загадка» смерти, «какое-то таинственное осязание бесконечности, какое-то смутное чуяние беспредельности» (К. С. Аксаков), самое главное и роковое противостояние двух основополагающих метафизических принципов антропоцентрического своенравия и Богопослушания (по убеждению Тютчева, между самовластием человеческой воли и законом Христа немислима мировая сделка) — подобные, можно сказать «паскалевские» вопросы составляют скрытый мировоззренческий фундамент натурфилософской или любовной лирики, историсофских или политических раздумий поэта. Однако выявление соотношений и взаимодействий между «вечными» и «временными», «метафизическими» и «физическими» уровнями творчества Тютчева представляет для всякого исследователя весьма сложную задачу, обусловленную художественными особенностями его поэзии. «Тютчеву, — подчеркивал Д. С. Мережковский, — достаточно несколько строк; солнечные системы, туманные пятна „Войны и мира“, „Братьев Карамазовых“ сжимает он в один кристалл, в один алмаз. Вот почему критика так беспомощно бьется над ним. Его совершенство для нее почти непроницаемо. Этот орешек не так-то легко раскусить: глаз видит, а зуб неймет. Толковать Тютчева — превращать огонь в уголь».³

Отдавая себе отчет в точно подмеченных и подстерегающих всякого интерпретатора препятствиях и опасностях, постараемся тем не менее выделить некоторые «кристаллы» мировоззрения и мысли Тютчева, как бы растворенные в ткани многих его текстов. И для выполнения такой задачи Паскаль оказывается едва ли не самой подходящей фигурой. Когда речь заходит о западных источниках, влиявших на формирование мировоззрения Тютчева, приходится сталкиваться с известным парадоксом: однозначность тех или иных оценок нередко не подкрепляется их содержательным наполнением, а отдельные факты биографии толкуются весьма расширительно. Например, по словам К. Пфеффеля, поэт испытывал серьезное влияние теократических идей Ж. де Местра и «на всю жизнь сохранил их отпечаток».⁴ И. С. Гагарин утверждал, что в петербургских салонах Тютчев исполнял «роль православного графа де Местра».⁵ С последним сравнивал русского поэта и французский публицист Э. Форкад.⁶

Действительно, можно говорить о чисто внешнем сходстве Тютчева и Ж. де Местра в их понимании божественного происхождения монархической власти, легитимизма или антихристианской сущности революции как восстания человеческого Я против высшей воли. Однако в более принципиальном и содержательном плане трудно представить менее сопоставимых мыслителей. Если для Ж. де Местра римский католицизм является главным провод-

² Там же. С. 69—70.

³ Мережковский Д. С. Вечные спутники. М., 1996. С. 538.

⁴ Лит. наследство. 1989. Т. 97 (книга вторая). С. 33, 427. Далее это издание обозначается: ЛН. Кн. 2.

⁵ ЛН. Кн. 2. С. 45.

⁶ Там же. С. 232—233.

ником религиозно-исторического единства и сопротивления разрушительным революционным тенденциям, то у Тютчева он, напротив, и порождает (через искажение христианства корыстной политикой) протестантизм, атеизм и Революцию, истинным противовесом которой выступает у него абсолютно неприемлемое для французского мыслителя Православие. По мнению католического публициста П. Лоранси, историософские построения Тютчева представляют собой «блестящую противоположность теориям христианского единства, изложенным г-ом де Местром».⁷ Но ни развернутого анализа, ни даже ясного обозначения коренных расхождений между ними не встречается в научной литературе.

Еще одним примером недостаточно адекватного определения «главного учителя» Тютчева может служить косвенное, вольное или невольное выдвижение на эту роль Шеллинга в работах ряда исследователей (П. С. Попова, Л. В. Пумпянского, К. В. Пигарева, В. Сечкарева), искавших общие темы в их творчестве (пантеистическое восприятие бытия, параллелизм духовного и физического миров, одухотворение природы, «дневное» и «ночное» раздвоение души и т. д.). Но, по справедливому замечанию В. Н. Топорова, в стихотворениях Тютчева легко найти «не-шеллингианское», «транс-шеллингианское» и даже «анти-шеллингианское», а сами шеллингианские образы составляют лишь часть «более общего и глубже лежащего „мифопоэтического” комплекса, который обычно ставят в соответствие с тем, что называют „космическим чувством” Тютчева...».⁸ Более того, при отсутствии надлежащей методологии соотнесения поэтических образов одного автора с философскими идеями другого реконструкция «шеллингианского» слоя в мировоззрении и творчестве Тютчева ограничивается, как правило, недостаточно дифференцированными и интуитивно угадываемыми примерами.

К высказанному исследователем мнению можно добавить, что «шеллингианские» примеры легко заменяются «гетевскими», «романтическими» и т. п. Главное же заключается в том, что преувеличение без должных противовесов роли шеллингианства как бы заслоняет даже более общее и глубокое, нежели «космическое чувство», христианское начало мировоззрения и творчества Тютчева, которое влияло на формирование его личности и самосознания. И здесь важную роль играют собственные признания, высказывания, размышления, реакции поэта, о встречах которого с немецким философом свидетельствуют современники. По воспоминаниям русских поклонников Шеллинга, тот хвалил Тютчева как умного и проницательного собеседника. А. И. Тургенев указывает и на темы их бесед (например, «безбожие Гегеля» или «бессмертие души»). Между тем нет никаких положительных отзывов самого Тютчева о Шеллинге. Более того, И. С. Аксаков писал о постоянных спорах русского поэта с немецким философом, а по свидетельству Фарнгагена фон Энзе, Тютчев весьма критически относился к Шеллингу и удивлялся, что тот «все еще производит блестящее впечатление».⁹ Возможно, в таком отношении сказались разногласия в оценке пределов рационального знания и компетенции философской науки при решении основополагающих мировоззренческих и жизненных вопросов. А. И. Тургенев, слушавший в 1832 году курс Шеллинга по «философии Откровения», называл его «гением-христианином, возвратившимся на путь истины и теперь проповедующим Христа в высшей философии».¹⁰ П. Я. Чаадаев также испытывал неподдельный вос-

⁷ Лит. наследство. 1988. Т. 97 (книга первая). С. 238. Далее это издание обозначается: ЛН. Кн. 1.

⁸ Тютчевский сборник. Таллинн, 1990. С. 92.

⁹ ЛН. Кн. 2. С. 459.

¹⁰ Там же. С. 64.

торг от того, что «глубочайший мыслитель нашего времени пришел к этой великой мысли о слиянии философии с религией».¹¹

Реакция Тютчева была, можно сказать, прямо противоположной (она отчасти совпадает с оценкой И. В. Киреевского, писавшего в статье «О необходимости и возможности новых начал для философии» о «жалкой работе» философского разума Шеллинга, который «сочинял» себе веру, а не всецело опирался на христианское предание). Тютчев словно вступает в заочный диалог с А. И. Тургеневым и П. Я. Чаадаевым, когда возражает Шеллингу: «Вы пытаетесь совершить невозможное дело. Философия, которая отвергает сверхъестественное и стремится доказывать все при помощи разума, неизбежно придет к материализму, а затем погрязнет в атеизме. Единственная философия, совместимая с христианством, целиком содержится в Катехизисе. Необходимо верить в то, во что верил святой Павел, а после него Паскаль, склонять колена перед *Безумием креста* или же все отрицать. Сверхъестественное лежит в глубине всего наиболее естественного в человеке. У него свои корни в человеческом сознании, которые гораздо сильнее того, что называют разумом, этим жалким разумом, признающим лишь то, что ему понятно, то есть *ничего!*»¹²

Предстоит еще вернуться к столь важному размышлению, до сих пор остающемуся вне активного внимания литературоведов, несмотря на то что оно затрагивает не только принципиальные аспекты темы «Тютчев и Паскаль» (соотношение, иерархия и взаимодействие христианства и философии, «божественного» и «человеческого», «сверхъестественного» и «естественного» начал в природе и истории; внутренний потенциал и эволюция различных философских систем от «идеализма» к «материализму» и «атеизму»; границы, определенная беспомощность и возможная нигилистическая роль разума), но и глубинные основы мировоззрения поэта. Пока же необходимо отметить далеко не достаточную изученность влияния на личность, мировоззрение и творчество Тютчева фигуры Паскаля, появляющейся вместе с апостолом Павлом в качестве главного и ответственного авторитета в узловом пункте развития мысли русского поэта. Думается, именно французский мыслитель в гораздо большей степени, чем Шеллинг или Ж. де Местр, воздействовал на Тютчева и может по праву претендовать на роль ведущего вдохновителя среди представителей западной культуры, чьи воззрения так или иначе входили в состав его собственных взглядов.

Следует подчеркнуть, что знакомство Тютчева с творчеством Паскаля состоялось еще в студенческие годы. Об интересе юного поэта (не ослабевавшем в течение всей жизни) к религиозно-философским темам можно судить по дневниковой записи М. П. Погодина (9 августа 1820 года), бравшего у Тютчева для прочтения «Мысли» Паскаля: «Ходил в деревню к Ф. И. Тютчеву, разговаривал с ним... о религии, о Моисее, о божественности Иисуса Христа, об авторах, писавших об этом: Виланде (Agathodämon), Лессинге, Шиллере, Аддисоне, Паскале, Руссо».¹³ Спустя сорок лет после упомянутой беседы, в Рождество 1860 года, поэт дарит своей двадцатилетней дочери Марии, склонной к самоуглублению и нравственным исканиям, две книги Паскаля — «Мысли» и «Письма к провинциалу». Приведенное выше рассуждение Тютчева о совместимой с христианством философии, подлинным выразителем которой, наряду с апостолом Павлом, оказывается и Паскаль, относится приблизительно к началу 30-х годов. Таким образом, прорисовывается пунктирная линия пос-

¹¹ Чаадаев П. Я. Статьи и письма. 2-е изд. М., 1989. С. 225.

¹² ЛН. Кн. 2. С. 37.

¹³ Там же. С. 10.

тоянного и ценностно значимого присутствия французского мыслителя в сознании русского поэта, что не могло не отразиться и на его творчестве.

Известный тютчевед К. В. Пигарев заключает: «Книга французского мыслителя («Мысли». — Б. Т.) и апология христианской религии наложили определенный отпечаток на мировоззрение поэта».¹⁴ К сходному выводу приходит и Б. М. Козырев, когда говорит о том, что Паскаль должен был привлечь Тютчева «как моралист и теолог исключительной смелости».¹⁵ Однако предполагаемый в подобных оценках содержательный состав мотивов, тем, идей, понятий, внутренней логики и т. п. в отечественном литературоведении не только не раскрывается, но порою даже не обозначается. Чаще всего лишь упоминается стихотворение «Певучесть есть в морских волнах...», где используется паскалевское понимание человека как «мыслящего тростника» (на прообраз «мыслящего тростника» у Тютчева впервые указал Р. Ф. Брандт в статье «Материалы для исследования „Федор Иванович Тютчев и его поэзия“»)¹⁶ Например, тот же Б. М. Козырев обнаруживает в этом стихотворении выпады против рационалистического, картезианско-спинозиистского представления о природе как о бездушном механизме и акцентирует пифагорейско-платоническую доктрину о мировой гармонии («Невозмутимый строй во всем, созвучье полное в природе»), парадоксальным контрастом к которой звучит «ропот» и «отчаянный протест», словно бы сошедший, по его мнению, со страниц радикальной журналистики 60-х годов. Неадекватная социологизация метафизического смысла стихотворных строк вкупе с абсолютизацией натурфилософского подхода в целом (Б. М. Козырев считает ионийскую натурфилософию Фалеса и Анаксимандра едва ли не исчерпывающим источником тютчевской поэзии) не позволяют понять, в чем же, собственно, состоит влияние «моралиста и теолога исключительной смелости», как конкретно выразилось восприятие Тютчевым богословия, философии, антропологии, нравственного учения Паскаля. Из поля зрения исследователя выпадает общедуховное и внесоциальное напряжение, возникающее из-за несовместимости и противопоставленности «индивида» и «природы», с одной стороны, а с другой — из-за коренной двойственности и неизгладимой противоречивости человеческого бытия, которые отражены в самом понятии «мыслящего тростника», в нераздельном сочетании духовных и природных начал, в неразрывном сцеплении признаков величия и ничтожества, в стремлении к бессмертию смертного существа (лишь мельком он отмечает, но не анализирует трагизм «заброшенности» человека в музыкально стройной, но чуждой ему Вселенной). К тому же и биографический контекст «паскалевского» стихотворения (оно написано сразу же после посещения могил Е. А. Денисьевой и ее малолетних детей) никак не предполагает выделения на передний план «мировой гармонии» и «социального протеста».

В отличие от Б. М. Козырева английский литературовед Р. Грэгг¹⁷ настойчиво подчеркивает один из отмеченных выше аспектов и видит в ропоте «мыслящего тростника», напротив, отрицание прекраснородушного платонического пифагореизма, шеллингианского тождества внешнего и внутреннего миров, радикальное отчуждение человеческого Я от безбрежной и равнодушной природы. Вместе с тем этот фрагментарный вывод должен занять свое место среди других в более полной картине, вытекающей из целостной характеристики мировоззрения Тютчева и Паскаля.

¹⁴ Пигарев К. В. Жизнь и творчество Ф. И. Тютчева. М., 1962. С. 27.

¹⁵ ЛН. Кн. 1. С. 87.

¹⁶ Известия ОРЯС имп. Акад. наук. 1911. Т. 16. Кн. 2. С. 205.

¹⁷ Gregg Richard. Fedor Tiutchev. The evolution of a poet. N. Y.; L., 1965. P. 197—198.

Еще один зарубежный славист Ф. Корнийо в своей диссертации «Тютчев — поэт-философ» рассматривает два стихотворения Тютчева («Лебедь» и «Сон на море»), в которых возникают перекликающиеся с паскалевскими образы «двойной бездны», «двух беспредельностей», между которыми человек молчаливо-беспомощно затерян. Источник подобных образов французский ученый находит у Паскаля и многозначительно обобщает: «Это молчаливое созерцание, исходящее из удрученного осознания онтологического положения человека, на наш взгляд, задолго до Тютчева выражает сущность его поэзии».¹⁸

Однако важнейшая смысловая связь между онтологией и антропологией французского мыслителя и русского поэта лишь заявлена, но не раскрыта и не соотнесена с разными творческими проявлениями. Между тем рассмотрение ее различных аспектов и соответствий в более объемном контексте дает возможность внести принципиальные уточнения в иерархию проблем и расстановку акцентов при изучении личности, поэзии и публицистики Тютчева, соотношения в них «натурфилософских» и «христианских» элементов. Следует отметить, что к настоящему времени нет работ, в которых более или менее систематически анализировалось бы место и значение христианства в мировоззрении поэта. Рассмотрение некоторых аспектов генетической и типологической близости между двумя писателями-мыслителями позволяет прикоснуться к этому пласту тютчевского творчества.

В приведенном выше разговоре с Шеллингом Тютчев в резко альтернативной форме, так сказать по-достоевски (или-или), ставит самый существенный для его сознания вопрос: или апостольско-паскалевская вера в Безумие креста — или всеобщее отрицание, или примат «божественного» и «сверхъестественного» — или нигилистическое торжество «человеческого» и «природного». Третьего, как говорится, не дано. Речь в данном случае идет о жесткой противопоставленности, внутренней антагонистичности как бы двух сценариев развития жизни и мысли, человека и человечества, теоцентрического и антропоцентрического понимания бытия и истории. Поэт был глубоко убежден, как уже отмечалось, что между самовластием человеческой воли и законом Христа невозможна никакая сделка. Это убеждение постоянно укреплялось его собственным личным опытом, изучением протекших веков, современных событий и грядущих перспектив, проницательным исследованием непримиримых сил в душе эмансипированного человека. «Человеческая природа, — подчеркивал Тютчев незадолго до смерти, — вне известных верований, преданная на добычу внешней действительности, может быть только одним: судорогою бешенства, которой роковой исход — только разрушение. Это последнее слово Иуды, который, предавши Христа, основательно рассудил, что ему остается лишь одно: удавиться. Вот кризис, чрез который общество должно пройти, прежде чем доберется до кризиса возрождения...»¹⁹ О том, насколько владела сознанием поэта и варьировалась мысль о судорогах существования и иудиной участи отрешившегося от Бога и полагающегося на собственные силы человека, можно судить по его словам в передаче А. В. Плетневой: «Между Христом и бешенством нет середины».²⁰

Представленная альтернатива типологически сходна с высшей логикой Достоевского (достаточно вспомнить образ Ставрогина в «Бесах» или рассуждения «логического» самоубийцы в «Дневнике писателя»), неоднократно предупреждавшего, что, «раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до

¹⁸ Cornillot François. Tioutchev Poète-philosophe. Lille, 1974. P. 483.

¹⁹ Аксаков И. С. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886. С. 198.

²⁰ ЛН. Кн. 1. С. 567.

удивительных результатов» и что, «начав возводить свою „вавилонскую башню“ без всякой религии, человек кончит антропофагией». И по Тютчеву, и по Достоевскому, без веры в Бога невозможно нормальное развитие, гармоничный ум и подлинная жизнеспособность личности, общества, государства, ибо именно в ней удовлетворяется глубинная, более или менее осознанная, потребность человека в обретении не теряемого со смертью смысла жизни, естественно укрепляются духовные начала и утверждается высшая нравственная норма бытия. В свете вечности, безусловных ценностей и неколебимой разумности и обретается человеческое в человеке, который тогда не довольствуется собственной греховной природой и стремится к ее преобразению.

Забывая Бога и отрываясь от своих мистических корней (сверхъестественного в глубине всего наиболее естественного — в терминологии Тютчева, от живоносного соприкосновения мирам иным — в лексике Достоевского), человек утрачивает высшую нравственную норму бытия, истинную свободу, теряет способность постоянного различения добра и зла и становится «бешеным», ибо безусловно блуждает в поисках иллюзорного бессмертия и подлинно разумного оправдания жизни. Если нет Бога и высшего смысла, то их место занимают смерть и нигилизм, а личность предает самое себя, лишается бесконечного содержания, опустошается в безуспешном «вавилонском» строительстве и обманчивой погоне за «счастьем», что лишь умножает семена бытийной досады и усиливает гедонистические «судороги», желание урвать все от кратковременной жизни.

Прежде чем перейти к Паскалю в связи с обозначенной альтернативой, входящей в самую основу мировоззрения Тютчева и пронизывающей его философскую и публицистическую мысль, отметим еще одно ее выражение у Вл. Соловьева: «Пока темная основа нашей природы, злая в своем исключительном эгоизме и безумная в своем стремлении осуществить этот эгоизм, все отности к себе и все определить собою, — пока эта темная основа у нас налично — не обращена — и этот первородный грех не сокрушен, до тех пор невозможно для нее никакое *настоящее дело* и вопрос *что делать* не имеет разумного смысла. Представьте себе толпу людей, слепых, глухих, увечных, бесноватых, и вдруг из этой толпы раздается вопрос: что делать? Единственный разумный здесь ответ: ищите исцеления; пока вы не исцелитесь, для вас нет дела, а пока вы выдаете себя за здоровых, для вас нет исцеления... Истинное дело возможно, только если и в человеке и в природе есть положительные силы добра и света; но без Бога ни человек, ни природа таких сил не имеет».²¹

Точки зрения Достоевского и Вл. Соловьева приведены здесь для того, чтобы подчеркнуть, в русле какой традиции и какого подхода находится мышление Тютчева, которое в такой типологии не получило должного освещения. Генетически же оно формировалось и чтением еще в юности «Мыслей» Паскаля, которые как бы в полном соответствии с обрисованной альтернативой делятся на два раздела: «Несчастье человека без Бога» и «Радость человека с Богом». Причем у французского философа столь же резко выделена антагонистическая противопоставленность двух основополагающих сценариев и направлений жизни, акцентирована неизлечимая болезненность (чреватая «судорогой» и «бешенством») самодостаточно человеческой природы. «Без Иисуса Христа человек предоставлен пороку и своей немощи; с Иисусом же Христом человек свободен от того и другого. В Нем вся наша добродетель и все наше благо; вне Его лишь порок, несчастья, заблуждения, мрак, смерть, отчаяние...»²²

²¹ Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. М., 1987. Т. 2. С. 311, 315.

²² Pascal B. Pensées. Paris: BORDAS, 1966. P. 161.

Сам автор «Мыслей» называл свой труд «апологией христианской религии»; «апология» эта своим замыслом, строем, внутренней логикой отвечала своеобразию душевного склада и духовных устремлений русского поэта. Тютчев, может быть как никто другой, остро чувствовал «несчастье человека без Бога» и глубоко осознавал, где находится источник несокрушимой радости. Однако тайные душевные переживания и интеллектуальное понимание пути их преодоления не обретали полнокровного экзистенциального синтеза, и он постоянно пребывал на пороге «двойного бытия», на грани веры и безверия, скорее у церковной ограды, нежели в ней. Но сам вектор движения к освобождению от противоречий и обретению чаемого единства не вызывал у него никаких сомнений. В рамках настоящей статьи нет возможности говорить подробно об этой внутренней драме поэта, которой до сих пор, к сожалению, не уделено заслуживающего внимания и всестороннее раскрытие которой позволило бы несколько иначе взглянуть на конфигурацию тем и проблем в творчестве Тютчева, на соотношение в нем опять-таки «христианских» и «пантеистических» начал, «катехизисных» и «философских» элементов и т. п. Заметим только, что из совокупности его собственных признаний, свидетельств родных и современников, биографических данных, соединенных с рассмотрением влияния специфического, так сказать, ставрогинского состояния человека эпохи («неверием палим и иссушен»; «он к свету рвется из ночной тени, и, свет обретши, ропщет и бунтует»), выстраивается сложный духовный облик поэта как «воплощенного парадокса». Дочь поэта Анна Федоровна, давшая это определение, страшилась скальпеля его тонкого и остроумного анализа, который может оказаться тлетворным, ибо «зиждется на принципе исключительно человеческого, скептического и негативном», а «разум оставляет так мало места сердцу и представляет эгоизму такую власть».²³ Можно сказать, что Тютчев, являвшийся глубоким и последовательным аналитиком и оценщиком всех нигилистических последствий самозабвенного антропоцентризма и «атеистического рационализма», вместе с тем носил в себе свойственные времени яды гипертрофированного ячества, «оголявшейся веры» («я лютеран люблю богослуженья»), сомневающегося рас-судка. Но именно потому, что с тягостью носил в себе и ясно представлял их отрицательные пределы, он и видел единственный выход для человека вообще в «сверхъестественном», в «безумии креста». Однако поэт, подобно пушкинскому «страннику», напрасно бежал к «Сионским высотам», хотя и устремлялся к ним как к источнику «спасительного света». По наблюдению И. С. Аксакова, недостижимая высота христианского идеала подавляла волю Тютчева, а сознание ограниченности человеческого разума не восполнялось всецело «живительным началом веры». Сам поэт признавался, что его христианство имело во многом умственный характер и недостаточно затрагивало сердце. Отсюда и возникали различные несоответствия между зыскуемым нравственным совершенством и реальной жизнью, что снова и снова приводило его в привычно невыносимое состояние отчаяния и тоски. К. Пфэффель говорит также о сосуществовании в Тютчеве «двух натур»:²⁴ с одной стороны, скептической и земной, подавляемой страхом небытия и страстно цепляющейся за жизнь, а с другой — религиозной и мистической, способной на вдохновенные пророчества.

Сказанного достаточно, чтобы представить себе, возвращаясь к прерванной мысли, что не только духовно и интеллектуально, но и психологически русский поэт был именно тем благодарным читателем, которому, среди прочих,

²³ ЛН. Кн. 2. С. 221.

²⁴ Там же. С. 33, 427.

адресована книга французского философа. Можно сказать, что Паскаль описывал пребывание человека в мире как постоянно длящуюся драму, которую в своем личном бытии по-своему воплощал и Тютчев и которая самим автором «Мыслей» была преодолена. Апология христианской религии была обращена к сомневающимся, маловерам и полуверам, а также к взлелеянным эпохой Возрождения вольнодумцам (буквально «сильным умам» — *esprits forts*), отрицавшим «сверхъестественное» в естественном и заявлявшим, подобно мольеровскому Дон Жуану, о своей вере лишь в то, что можно увидеть и потрогать. «Атеизм является признаком ума, — соглашается Паскаль, — но только до известной степени»: ²⁵ можно ли гордиться положением вещей, ведущим человека к ожиданию безнадежного уничтожения среди непроницаемого мрака?

Автор «Мыслей» оказался живым свидетелем «переворачивания» средневековой картины мира, когда теоцентризм уступал место антропоцентризму, утверждавшему человека мерой всей, целиком от его планов и деятельности зависимой действительности, а религиозные догматы стали замещаться истинами, основанными на опытных данных и рациональном анализе.

Этот антропологический поворот, определивший кардинальный сдвиг общественного сознания и изменивший основное русло развития истории, стоит в центре внимания и Тютчева, который возводит к нему характерные проявления «нашего века». Разорвавший с Церковью Гуманизм, подчеркивает он в трактате «Россия и Запад», породил Реформацию, Атеизм, Революцию и всю «современную мысль» западной цивилизации. «Мысль эта такова: человек, в конечном счете, зависит только от себя самого как в управлении своим разумом, так и в управлении своей волей. Всякая власть исходит от человека; все, провозглашающее себя выше человека, — либо иллюзия, либо обман. Словом, это апофеоз человеческого я в самом буквальном смысле слова».²⁶

Аргументация Паскаля в критике самых разных проявлений и границ «апофеоза человеческого я», несомненно, должна была привлечь сочувственное внимание Тютчева. По мнению французского мыслителя, провозглашенное возрожденцами величие независимого человека есть в некотором роде преувеличение, опасный крен в сторону его самообожествления. Возрожденческое миропонимание полагает, что в неистощимой плодovitости самой природы, которая мыслится здоровой и не нуждающейся в преображении, подобный человек сможет найти объяснение всем фактам своего бытия, собственной мудростью определить и исполнить свое предназначение, обеспечить полное развитие своих способностей и сил, а в конечном итоге завоевать и подчинить эту природу.

Паскаль счел необходимым обсудить подобные положения, показав границы идеалов «жизни по природе», онтологическую недостаточность и превратное действие духовных сил предоставленного себе самому человека. Чтобы привести души безразлично спокойных и бессознательно «гордящихся» людей в состояние плодотворной удрученности, с одной стороны, а с другой — расположить встревоженные сердца и неудовлетворенные умы к восприятию религиозных истин, автор «Мыслей» прибегает к близким для них понятиям и проблемам (разум, счастье, наслаждение, самолюбие и т. п.). То есть он использует выделенный Возрождением антропологический принцип, исходит из общего рассмотрения человеческой природы, из наблюдений (их каждый может проверить) над сложным богатством конкретной внутрен-

²⁵ *Pascal B. Pensées.* P. 89.

²⁶ ЛН. Кн. 2. С. 206.

ней жизни людей, над неизгладимыми противоречиями и напряжениями в любой среде живой действительности.

С особой настойчивостью Паскаль подчеркивал в своей философии неискоренимую двусоставность человеческого существования (неизбывное сращение в нем элементов величия и ничтожества), чтобы затем показать ее изначальный источник. По его наблюдению, люди словно забыли о своих онтологических слабостях, совсем не думают о них и тем самым оказываются как бы слепыми по отношению ко многим последствиям своих амбициозных планов и решений. И их несовершенство вполне очевидно и явственно проступает в суетливой и самозабвенной житейской активности, теряющей всякий смысл при созерцании вечного бытия. Пусть человек, как бы призывает автор «Мыслей» своих читателей, среди которых Тютчев — подчеркнем еще раз — был одним из самых благодарных и восприимчивых, отойдет хотя бы на мгновение от привычных дел и посмотрит на природу во всем ее объеме. Тогда он подумает, что и просторная наша земля, и ослепительное светило, словно вечная лампа повисшее над ней, и катящиеся по небесному своду звезды, и вообще весь видимый мир — лишь незаметные песчинки в обширном лоне природы. И все пространства, которые мы можем вообразить, являются лишь атомом по сравнению с действительностью. «Это бесконечная сфера, центр которой повсюду, а окружности нет нигде»,²⁷ — так Паскаль обозначает «ландшафт», на котором убывают быстротечные дни всякой жизни и который изменяет «суетливое» сознание.

Тогда человек, запрятанный в определенном жизненном уголке вечной и бесконечной природы, может взглянуть с космической точки зрения на землю, государства, города, на самого себя и смысл своего существования и по справедливости оценить их. Что такое человек в бесконечности? Ответить на этот вопрос могла бы только сама бесконечность. Но ответа нет от нее, и «это вечное молчание бесконечных пространств ужасает меня».²⁸ «Я не знаю, кто меня послал в мир, что такое мир, кто такой я. Я нахожусь в полнойшем неведении обо всем. Я не знаю, что такое мое тело, чувства, душа и та самая часть моего „я“, которая думает то, что я говорю, которая размышляет обо всем и о самой себе и все-таки знает себя не больше, чем все остальное. Я вижу эти ужасающие пространства вселенной, которые заключают меня в себе, я нахожу себя привязанным к одному уголку этого обширного мира, но не знаю, почему отпущенное мне короткое время жизни назначено именно в этой, а не в другой точке целой вечности, предшествовавшей мне и следующей за мной. Я вижу со всех сторон только бесконечности, которые заключают меня в себе, как атом и тень, продолжающуюся лишь безвозвратное мгновение. Я знаю только то, что должен скоро умереть, но чего я больше всего не знаю, так это смерти, которой не сумею избежать. Я не знаю, ни откуда пришел, ни куда иду... Вот мое положение, полное слабости и неизвестности».²⁹ Так, по Паскалю, начинает размышлять человек, забывший на минуту о житейских делах и окинувший мысленным взором сотворенный мир.

Но наименьшая в природе величина, переводит разговор французский мыслитель в противоположную плоскость, открывает человеку новую бездну неизмеримости, и в пределах атома можно представить себе с отрицательным знаком бесконечность миров, уходящих в беспредельность небытия. И Паскаль так определяет общее положение человека посреди двух неизмеримос-

²⁷ *Pascal B. Pensées.* P. 44.

²⁸ *Ibid.* P. 88.

²⁹ *Ibid.* P. 81.

тей: «Ничто в сравнении с бесконечностью, все в сравнении с ничем — середина между ничем и всем. Он бесконечно удален от понимания крайних пределов, конец и начало вещей неодолимо скрыты от него в непроницаемой тайне: он одинаково не способен видеть ни то ничто, из которого извлечен, ни ту бесконечность, которой поглощается».³⁰ Таким образом, человек навек лишен абсолютного знания или полного неведения и плавает в своем бессилии перед «непроницаемой тайной» и полужнанием всего происходящего между «краями», безуспешно пытаюсь найти истинное и всеобъемлющее основание «для построения башни, возвышающейся в бесконечность»: любой фундамент, построенный собственными ограниченными силами человека, трещит, и бездна вновь разверзается под его ногами, ибо «ничто не может укрепить конечное между двумя бесконечностями, которые заключают его в себе и бегут от него».³¹

Духовная и познавательная беспомощность человека перед лицом начал и концов его существования и «ужасающей загадки смерти» (слова Тютчева), неспособность решить самые главные вопросы (вспомним упомянутое выше стихотворение «Вопросы»), его угнетающая затерянность во вселенной — подобный настрой личности, освобожденной от социальных одежд и условных иерархий, нередко овладевает и русским поэтом и его лирическим героем, вплоть до использования паскалевской лексики. Бесконечность, ничто, пропасть, бездна — эти понятия и образы составляют глубинный метафизический контекст тютчевской поэзии, в котором на какое-то мгновение появляется, «плавает» и исчезает «точка», «атом», «тень» человеческой жизни.

Небесный свод, горящий славою звездной,
Таинственно глядит из глубины, —
И мы плывем, пылающе бездной
Со всех сторон окружены.

(«Как океан объемлет шар земной...»)

О «двух беспредельностях», которые своевольно играют человеком, о его «подвешенном» положении между вечностью и ничто, о «случайности» его существования «на краю» узко земного и вселенского бытия речь заходит во многих стихотворениях Тютчева. Причем подчеркивается удручающая несоизмеримость конечного индивида с бесконечным миром, непреодолимая чуждость «мыслящего тростника» безбрежной, «равнодушной» и «молчаливой» природе. В «бездомной» коперниканской вселенной, в «осиротелом мире» мы «покинуты на нас самих», вынуждены в «борьбе с природой целой» лишь слушать глухие стенания времени «среди всемирного молчанья», наблюдать, как «бледнеет в сумрачной дали», истощается на «краю земли» вместе с «нашим веком и друзьями» бледный призрак человеческой жизни.

Темы и образы мимолетности и ничтожности человеческого Я проходят не только через всю лирику поэта («нашей мысли обольщение», «греза природы», «злак земной», «облак дыма», «тень, бегущая от дыма»), но и вообще глубоко укореняются в его сознании. «Какое жалкое существо человек», «как ничтожно все, что относится к человеку», «какое сновиденье есть жизнь, боже мой, какое сновиденье», — неоднократно признается он в письмах. «Как мало реален человек, как легко он стирается», «бесследно все, и так легко не быть», — повторяется поэтом в стихах. Пространство и время осознаются им как своеобразные формы и границы неполноты и хрупкости испаряющейся «реальности человека»: «Никто, я думаю, не чувствовал себя

³⁰ Ibid. P. 45—46.

³¹ Ibid. P. 49.

ничтожнее меня перед лицом этих двух угнетателей и тиранов человечества: времени и пространства...»³²

Разрушительная работа («отвратительное колдовство») времени выражается в письмах Тютчева в частых мотивах возрастного изменения (вплоть до неузнаваемости и самоотчуждения) личности, увядания, старения (воспринимаемого в карикатурном свете), разлуки, забвения, ослабления памяти, ухода из жизни близких людей и т. п. Кажется, что жизненные повторения должны длиться вечно, но вдруг наступает мгновение, когда «все рушится, все исчезает, и то, что было так реально, что казалось таким прочным и громадным, как земля под ногами, превращается в сон, о котором сохраняется только воспоминание, и воспоминание с трудом его удерживает».³³

Мотив непостоянства всего в мире и универсальной текучести занимает большое место в «Мыслях». «Утеkanie. Ужасно чувствовать, как утекает все, чем мы владеем».³⁴ В небольшом сочинении «Об обращении грешника» Паскаль пишет опять-таки об абсолютно близком и Тютчеву чувстве ужаса при осознании того, как всякий момент «утекает все самое дорогое для души и что однажды она окажется лишенной всего обнадеживавшего ее».³⁵ Для обозначения этой всеобщей преходящести он использует образ подвижной воды, библейских Вавилонских рек: «Реки Вавилона текут и низвергаются и уносят с собой» (ср. 136 псалом: «При реках Вавилона, там сидели мы и плакали...»). В другом фрагменте Паскаль пишет о тех, кто погружен в поток огненных рек (временных страстей) и проливает слезы над тем, как «уплывает все тленное, влекомое этими волнами». Образы воды (океан, море, река, волны и т. д.) неотделимы от поэзии Тютчева, о «гидрофилии» которого в упомянутой выше статье подробно говорит Б. М. Козырев, возводя ее к античному культу воды как первичной и благой мирообразующей стихии. И хотя исследователь выделяет «натурфилософский» и «христианский» периоды в творчестве поэта, в его размышлениях очевидно преувеличение роли языческих элементов в анализируемых стихах. В частности, мифологема подвижной воды рассматривается им почти исключительно как положительная стихия, что отводит внимание от ее «вавилонских» аспектов и приводит к смещению смысловых акцентов в разбираемых произведениях. Например, в стихотворении «Что ты клонишь над водами...» в бегущей влаге он видит «нечто высшее, свободное, победительное, как бы самую жизнь».³⁶ Однако эта «как бы самая жизнь», блещущая и нежащаяся на солнце, смеется над дрожащими листьями трепещущей и томящейся ивы, которая безуспешно пытается поймать «беглую струю». Собственно говоря, река здесь выступает столь же чуждой стихией по отношению к иве (читай человеку), что и море по отношению к ропщущему «мыслящему тростнику» в стихотворении «Певучесть есть в морские волнах...». Поток вздущихся и подернутых свинцом вод уносит золотые искры угасающего дня (при этом «вечер пламенный и бурный обрывает свой венок...») в стихотворении «Под дыханьем непогоды...». Плывущим в роковую бездну «всеобъемлющего моря» уподобляет поэт «человеческое Я» в стихотворении «Смотри, как на речном просторе...». «Призрак тревожно-пустой» видит он в вечном «прибое» и «отбое» морских волн, сравниваемых им с чередующимся повторением человеческих дум (стихотворение «Волна и дума»). «Всесильная» волна уносит все, «что звали мы своим», в стихотворении «Успокоение» (вольный перевод стихов Н. Ленау

³² Старина и новизна. Пг., 1915. Кн. 19. С. 265.

³³ Там же. С. 270.

³⁴ Pascal B. Pensées. P. 88.

³⁵ L'oeuvre de Pascal. Paris: Bibliothèque de la Pléiade, 1954. P. 324.

³⁶ ЛН. Кн. 1. С. 100.

«Взгляд в поток»). Водная семантика подобных стихотворений тяготеет не столько к выражению языческой жизнерадостности и высшего «торжества» жизни, сколько к христианской символике моментальности и бесследности в паскалевском или державинском («Река времен в своем течении уносит все дела людей...») смысле.

Эта же символика сокрыта в тютчевских образах человека, которые в конечном итоге восходят к сто первому псалму («сыны смерти» представляются в нем как засыхающая трава, исчезающий дым, уклоняющаяся тень). В трансформированном виде они могли быть усвоены русским поэтом и через французского мыслителя, подчеркивавшего: «Человек — всего лишь тростинка, самая слабая в природе... облачка пара, капельки воды достаточно, чтобы его убить».³⁷ Выше уже упоминался паскалевский образ человека как мгновенной тени, образ, который получает и прямое афористическое обобщение: «Между нами и адом или небом — только жизнь, самая хрупкая вещь на свете».³⁸ К аналогичному выводу приходит и Тютчев: «Нет, хрупкость человеческой жизни — единственная вещь на земле, которой никакие фразы и напыщенные рассуждения не в состоянии преувеличить».³⁹

Приведенные слова непосредственно вызваны кончиной Сергея Мещерского, которого поэт недавно видел на костюмированном балу, не подозревая, по его «паскалевскому» выражению, какая бездна вскоре их разделит. Одна из записей в дневнике А. Ф. Тютчевой выразительно представляет сознание поэта, озабоченного «отвратительным колдовством» разделительной, разрушительной и необратимой работы времени. «Вот так, — сказал он, — чередуются поколения, не зная друг друга: ты не знала своего деда, как не знал моего и я. Ты и меня тоже не будешь знать, ибо не знавала меня молодым. Ныне же мы существуем в двух разных мирах. Тот, в котором живешь ты, уже не мой мир. Мы столь же отличны друг от друга, как лето отличается от зимы. А ведь и я был молод!.. Как все было молодо тогда, и свежо, и прекрасно!.. Теперь та пора жизни — всего лишь далекая точка, которая отделяется все более и более и которую достигнуть я не могу... А теперь это всего лишь сон. И она (умершая первая жена. — Б. Т.) также, она, которая была для меня жизнью, — больше, чем сон: исчезнувшая тень... Ах, как ужасна смерть, как ужасна! Существо, которое ты любил в течение двенадцати лет, которое знал лучше, чем самого себя, которое было твоей жизнью и счастьем, — женщина, которую видел молодой и прекрасной, смеющейся, нежной и чуткой, — и вдруг мертва, недвижна, обезображена тленьем. О, ведь это ужасно, ужасно! Нет слов, чтобы передать это. Я только раз в жизни видел, как умирают... Смерть ужасна!»⁴⁰

Приведенная запись относится к 1846 году, но и другие реакции Тютчева на смерть, например Софьи Карамзиной, Андрея Карамзина или Николая Бирилева, сходны с нею. «Ужасающая загадка» смерти, приводившая к выводу о том, что «Смерть и Время царят на земле», требовала, но не получала эффективной разгадки. Она становилась источником напряженной внутренней тревоги поэта, о которой не раз свидетельствовали его родственники и в которой нередко признавался он сам. «Чувство тоски и ужаса уже много лет стало привычным состоянием моей души»,⁴¹ — жалуется он в одном из писем, замечая, что смерть не должна застать его врасплох. «Тоска, — подтверждает биограф-очевидец, — составляла как бы основной тон всей его

³⁷ Паскаль Блез. Мысли / Пер. Ю. Гинзбург. М., 1995. С. 136.

³⁸ Там же. С. 124.

³⁹ Старина и новизна. Кн. 19. С. 241.

⁴⁰ ЛН. Кн. 2. С. 216.

⁴¹ Тютчев Ф. И. Соч.: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 241. Далее это издание обозначается: Соч. Т. 2.

поэзии и всего его нравственного существа».⁴² Это отчаяние было порой столь невыносимо, что поэт его сравнивал с чувством заключенного, приговоренного к смерти.

Конечно же, Тютчев мог счесть за свои размышления Паскаля о закономерности экзистенциальной тоски, обусловленной смертным уделом человека, как бы подытоживающим его хрупкость, беспомощность и «осиротелость». Ведь «последний акт кровав, как бы ни была весела вся остальная пьеса. Потом бросают горсть земли на голову — и дело с концом».⁴³ С точки зрения автора «Мыслей», памятование о смерти и сопутствующая ему сокрушенность духа, к которой он хотел привести своего читателя, могут помочь человеку искать действенный выход из удрученного состояния в преодолении смертного удела и обретении высшего смысла своего существования: «Вся жизнь зависит от того, смертна или бессмертна душа».⁴⁴ Паскаль, как и Тютчев, сравнивает положение человека с положением смертника в тюрьме, который должен решить главный для себя вопрос: «Узник в темнице не знает, вынесен ли ему приговор; у него есть только час на то, чтобы это узнать, но если он узнает, что приговор вынесен, этого часа достаточно, чтобы добиться его отмены. Было бы противоестественно, если бы он употребил этот час не на выяснение того, вынесен ли приговор, а на игру в пикет».⁴⁵

Однако люди, отмечает Паскаль еще один аспект их духовной нищеты, предпочитают, как правило, целеустремленному поиску ответа на главный вопрос своего бытия «игру в пикет», «ищут не кроткой и мирной жизни, которая позволяет думать о нашем несчастном положении, а шумной суето-локи, которая отвращает от мыслей о нем и развлекает нас».⁴⁶ Развлечение понимается автором «Мыслей» предельно широко, не просто как специфическое занятие или свойство эпикурейско-гедонистического стиля жизни, а как всякая деятельность, заслоняющая, словно ширма, подлинное положение человека. Людей, пишет он, с детства обременяют различными социальными, сословными, имущественными и иными житейскими заботами, которые для них бессознательно желанны, ибо отвлекают от тяжелых дум о том, что они такое, откуда пришли, куда идут. «Нет ничего невыносимее для человека, как быть в полном покое, без страстей, без дела, без развлечения, без применения своих сил. Он чувствует тогда свое ничтожество, свою беспомощность, свою оставленность, немощь, пустоту. И тотчас же он извлечет из глубины своей души скуку, мрачность, печаль, грусть, досаду, отчаяние».⁴⁷ И чтобы избавиться от столь тяжелого состояния, люди выбирают путь наименьшего сопротивления, не затрудняют себя поисками ответов на такие вопросы, как что такое человек или бессмертие души, стремятся «забыть» их и находятся в сверхъестественном ослеплении от добровольной псевдоактивности. «Они совершенно иначе относятся ко всем другим вещам, они боятся сущих пустяков, они их предвидят, они их чувствуют; и вот тот самый человек, который проводит дни и ночи в бешенстве и отчаянии из-за потери какой-нибудь должности или воображаемого оскорбления своей чести, зная, что он все потеряет со смертью, не чувствует по этому поводу никакого беспокойства и волнения. Чудовищное явление — видеть одновременно в одном сердце чувствительность к ничтожнейшим вещам и странную нечувствительность к самым важным. Это непостижимое колдовство и нечелове-

⁴² Аксаков И. С. Указ. соч. С. 300.

⁴³ Паскаль Блез. Мысли. С. 125.

⁴⁴ Там же. С. 126.

⁴⁵ Там же. С. 125.

⁴⁶ Pascal B. Pensées. P. 66.

⁴⁷ Ibid. P. 164.

ческое усыпление, которое указывает на всемогущую силу, производящую его». ⁴⁸

Основной порок нравственного эпикуреизма и гедонистической устремленности человека Нового времени, возраставших за счет потери онтологического качества и высшемислового содержания жизни, Паскаль видит в безразличии к гибели своего бытия и забвении самых главных вопросов своего существования. Большинство людей строит свою жизнь так, будто смерти вовсе нет. Они подобны обремененным цепями преступникам, которые ежедневно с полным равнодушием смотрят на то, как убивают одного из их товарищей, зная, что придет и их черед. Но в своей «тюрьме» опять-таки совершенно не интересуются вынесенным приговором и предпочитают развлекаться. «Единственная вещь, утешающая нас в несчастиях, — это развлечение, а между тем оно является самым большим из наших несчастий. Ибо оно, главным образом, мешает нам размышлять о себе и незаметно губит. Без него мы оказались бы в плену тоски, которая принуждала бы нас искать более действенного средства избавления от нее. Но развлечение забавляет нас и заставляет совершенно незаметно приближаться к смерти». ⁴⁹

Расширительное толкование Паскалем развлечения в соотношении со смертным уделом человека и экзистенциальной тоской должно было найти тем больший отклик у Тютчева, что он сам находился в замкнутом кругу обозначенных закономерностей, являл собой живой пример их яркого воплощения, глубокого переживания и подлинного осознания. «Я с каждым днем становлюсь все несноснее, — признается он, — и моему обычному раздражению способствует немало та усталость, которую я испытываю в погоне за всеми способами развлечься и не видеть перед собой ужасной пустоты. Ах, сколько прекрасных слов можно бы сказать на эту тему!» ⁵⁰

Можно утверждать, что именно сказанные автором «Мыслей» слова на «эту тему» наиболее полно и точно отражают принципиальные оттенки испытываемых поэтом чувств. «Как странно, — замечает Паскаль, — что мы ищем утешения в обществе нам подобных, несчастных, как и мы, бессильных, как и мы; они нам не помогут: мы будем умирать в одиночку. Значит, нужно поступать, как если бы мы были одни. Тогда стали бы мы возводить роскошные дворцы и т. д.?.. мы бы решительно искали истину. А кто от этого отказывается, тот свидетельствует, что людские почести ему важнее поисков истины». ⁵¹

Тютчев был одним из самых последовательных искателей истины и прекрасно осознавал заключенную в высказывании Паскаля проблему. Завсегда петербургских салонов и московских гостиных, блестящий остро слов и «говорун» хорошо знал истинную цену «большого света» и «бесчувственной толпы» и вместе с тем не мог оставаться в одиночестве и покое без «сутолоки» и «дел», постоянно искал утешения в обществе себе подобных. Многочисленные проявления такого парадокса, по-своему воплощающие основные противоречия человеческой природы, зафиксированы родственниками поэта. «Он избегал оставаться наедине с самим собою, — пишет И. С. Аксаков, муж его дочери Анны Федоровны, — не выдерживал одиночества, и как ни раздражался „бессмертной пошлостью людской“, по его собственному выражению, однако не в силах был обойтись без людей, без общества, даже на короткое время». ⁵² Анна Федоровна заостряет упомянутый парадокс: «Он ежедневно нуждается в обществе, ощущает потребность видеть людей, которые для

⁴⁸ Ibid. P. 82.

⁴⁹ L'oeuvre de Pascal. P. 884.

⁵⁰ Старина и новизна. Пг., 1916. Кн. 21. С. 219.

⁵¹ Паскаль Блез. Мысли. С. 123—124.

⁵² Аксаков И. С. Указ. соч. С. 48.

него — ничто...»⁵³ Сам Тютчев так характеризует свое искание этого «ничто»: «Мы много бываем в свете. Я бываю там скорее по необходимости, чем по склонности, ибо развлечение, какое бы то ни было, стало для меня настоящей потребностью».⁵⁴

Столь настоящая нужда в общении соотносится поэтом с невыносимым одиночеством (по свидетельству жены Эрнестины Федоровны, вынужденное затворничество вызывало у него приступы ярости) и ужасной тоской, которая, как указывалось выше, стала его привычным состоянием и второй натурой. По его собственному признанию, скитания из дома в дом, из салона в салон ради новых впечатлений имели единственной целью избежать во что бы то ни стало в течение восемнадцати часов из двадцати четырех всякой серьезной встречи с самим собой. Бывать в свете, по утверждению жены, составляло для него не просто удовольствие, а «условие существования».⁵⁵ И каждое утро он вынужден распределять день так, чтобы ни на минуту не оставаться в одиноком покое, ибо «тотчас же является призрак...».⁵⁶

Преследующий поэта призрак — это всеприсутствующая смерть, которая и является невидимым источником неиссякаемой тоски и делает каждый день его жизни днем приговоренного к казни. По Паскалю, иллюзорный выход из такого состояния дает не только «развлечение», «деятельность», но и изначальная человеческая устремленность к счастью. «Все люди ищут счастья. Исключений тут нет, какими бы разными средствами они ни пользовались. Все стремятся к этой цели. Одни идут на войну, а другие нет, но за этим все то же единственное желание, только по-разному понимаемое. Воля никогда не предпринимает ничего, что имело бы другой предмет. Вот что движет всеми поступками людей, даже тех, кто собрался вешаться».⁵⁷ Невозможность насыщения этой бесконечной и всеобщей жажды счастья (все жалуются на свое положение — принцы, дворяне, ремесленники, больные, здоровые, старые, молодые) свидетельствует, по мнению автора «Мыслей», не только о ее несовершенстве, но и о том, что у человека когда-то было подлинное благо соединенности с бесконечным и всеблагим Богом, которое не зависит ни от власти, ни от знания, ни от искомых удовольствий от обладания какой-либо тленной и преходящей частью (с-часть-е) бытия. В отсутствие же подлинного блага происходит безостановочное движение по следующей схеме: так как полное счастье невозможно в любых состояниях, наши желания устремляются к более счастливому положению, присоединяя к действительному состоянию удовольствия желаемого положения; достигая этих удовольствий, мы не становимся счастливей, ибо появляются новые желания, соответствующие новому положению...

И опять-таки Тютчеву была не только интеллектуально понятна, но и экзистенциально близка отмеченная логика Паскаля. «Я знаю, — писал он, — что это обычное безумие людей — стремиться к тому, чего у них нет...»⁵⁸ Но такое безумие столь прочно укоренено в человеческом сердце, что отказаться, говоря словами Пушкина, от «счастья» ради «покоя и воли» оказывается нечеловечески трудно. Положительным примером здесь служила для Тютчева «истинная жизнь» В. А. Жуковского, чьи христианские воззрения, по его наблюдению, наиболее полно и результативно могли смягчить «мучительный страх перед брэнностью бытия». Скрытое противопоставление «счастья» и

⁵³ ЛН. Кн. 2. С. 221.

⁵⁴ Соч. Т. 2. С. 46.

⁵⁵ ЛН. Кн. 2. С. 408.

⁵⁶ Соч. Т. 2. С. 162.

⁵⁷ Паскаль Блез. Мысли. С. 118.

⁵⁸ Старина и новизна. Кн. 21. С. 210.

«религии» как двух глубинных и ведущих ценностей человека, по-разному управляющих его свободой и поступками, сокрыто в письме Тютчева В. А. Жуковскому: «Не вы ли сказали где-то: *в жизни много прекрасного и кроме счастья*. В этом слове есть целая религия, целое откровение... Но ужасно, несказанно ужасно для бедного человеческого сердца отречься навсегда от счастья».⁵⁹

Тютчев приходил к убеждению, выраженному в следующих стихах:

Когда на то нет Божьего согласия,
Как ни страдай она любя,
Душа, увы, не выстрадает счастья...

(«Когда на то нет Божьего согласия...»)

Тем не менее «бедное человеческое сердце» побеждало убеждение и направляло волю поэта к самолюбивым поискам счастья, оборачивающимся «убийственными заботами» среди «дольного чада» и «буйной слепоты страстей». И даже любовь оказывалась всего лишь навсего сном, мгновением, таящим к тому же смертельный яд («О, как убийственно мы любим...»), неся с собой не свет и гармонию, а «взрывы страстей» и «слезы страстей», превращалась в роковой поединок со своими победителями и побежденными, т. е. подпадала под несокрушимое влияние «самовластия человеческого я».

Русский поэт с болью переживал ту внутреннюю драму, которую обозначил французский философ. Мысль о принципиальной неистинности и неправомочности беспочвенных претензий самолюбия, словно вампир, питающегося симпатиями других людей для собственного «счастья», но неспособного на жертву и самоотдачу, много раз в различных вариациях повторяется на страницах главного произведения Паскаля. Нельзя думать, пишет он, будто мы достойны того, чтобы другие нас любили. Между тем с этой склонностью мы рождаемся, стало быть, рождаемся несправедливыми, ибо всякий печется лишь о себе. И трудно встретить человека, который свое собственное благо, продолжительность своего счастья и своей жизни не предпочитал бы благу и счастью окружающих людей. Однако такое положение вещей, обобщает Паскаль, противно не только истине и справедливости, но и элементарному порядку: нужно стремиться к всеобщему благоденствию и объединяющей цели, склонность же к самому себе есть начало всякого беспорядка, будь то на войне, в хозяйстве или в душе и теле отдельного человека. И «кто не испытывает ненависти к своему себялюбию и к тому инстинкту, который заставляет обожествлять себя, тот настоящий слепец. Кто не видит, что нет ничего более противного истине и справедливости... Это явный грех, в котором мы родились и от которого не можем избавиться, а избавляться нужно».⁶⁰

Можно сказать, что Тютчев полностью разделяет выводы Паскаля об «очевидной несправедливости», от которой невозможно избавиться без подлинного религиозного преображения человеческого сердца. Всецело преклоняясь умом перед высшими истинами веры, он, в отличие от Жуковского, не находил ей достаточно места именно в сердце. «Да, — признавался он, — в недрах моей души трагедия, ибо часто я ощущаю глубокое отвращение к себе самому и в то же время ощущаю, насколько бесплодно это чувство отвращения, так как эта беспристрастная оценка исходит исключительно от ума; сердце тут ни при чем, ибо тут не примешивается ничего, что походило бы на порыв христианского раскаяния».⁶¹

⁵⁹ Соч. Т. 2. С. 42.

⁶⁰ Паскаль Блез. Мысли. С. 258—259.

⁶¹ Соч. Т. 2. С. 201.

Тютчева и Паскаля сближает также сходная логика в понимании первичной роли сердца в иерархии духовно-душевных сил человека. Сердце оценивается ими как самое глубинное основание внутреннего мира человека, корень его деятельных способностей, источник доброй и злой воли, направитель ума. Вслед за предвещающей целостной «симпатией» или «антипатией» сердца воля обращается к вещам, которые ей нравятся, всегда увлекая за собой покорный разум и отвлекая его не только от противоположных, но и многих других вещей. В результате умозаключения как бы обслуживают на логической поверхности такое целостное сердечно-волевое понимание и в конечном итоге всегда уступают ему, несмотря на любые усилия разума освободиться от него. «У сердца, — заключает Паскаль, — свои доводы, которых не знает разум; это видно по множеству вещей».⁶² И именно интуитивные доводы сердца незаметно для разума направляют волю к тем или иным «вещам» и подготавливают почву для его логических выводов. Автор «Мыслей» отмечает, что «истинность или ложность всякой вещи зависит от того, с какой стороны на нее посмотреть. Воля, которая избирает то, а не другое, не дает разуму разобраться в достоинствах той вещи, которая ей не нравится, и разум, идущий в ногу с волей, останавливается, чтобы взглянуть с той стороны, с какой ей угодно, и судит сообразно увиденному».⁶³

Подобно Паскалю Тютчев обнаруживает ту же самую зависимость между основными силами в психическом универсуме и усматривает «корень нашего мышления не в умозрительной способности человека, а в настроении его сердца».⁶⁴ Одним из примеров той зависимости служило для него сочувствие идеям коммунизма людей серьезных, ученых и даже нравственных, хотя безнравственность и несостоятельность новых устремлений очевидны на логическом уровне. По его наблюдению, «мир все более погружается в беспочвенные иллюзии, в заблуждения разума, порожденные лукавством сердец».⁶⁵ А лукавые и фарисейские сердца направляют волю к таким рассудочным построениям, при которых умалывается все священное и духовное, а возвышается все материальное и утилитарное. При этом люди не замечают, как из их жизни вытесняются высшие положительные чувства (благородство, благодарность, совесть, любовь, честь, достоинство) и остаются низшие отрицательные (гордость, тщеславие, жадность, зависть, мстительность, злоба). В результате сердце и воля человека оказываются в замкнутом порочном кругу все более несовершенных, капризных, корыстных желаний власти, наслаждения, обладания и т. п., у которых, если воспользоваться словом Паскаля, ум всегда оказывается «в дураках».

Именно подобные закономерности, «подсказанные» Паскалем и собственным опытом, становились все более заметными для Тютчева в его эпохе и приводили поэта к отмеченному выше выводу, что человеческая природа «вне известных верований» несет в себе разрушительный потенциал «судорог бешенства». Они же не раз «диктовали» ему стихи о «нашем веке», когда разлился дух, т. е. сердце человека:

О, этот век, воспитанный в крамолах,
Век без души, с озлобленным умом,
На площадях, в палатах, на престолах,
Везде он правды стал врагом!

(«Хотя б она сошла с лица земного...»)

⁶² *Pascal B. Pensées*. P. 102.

⁶³ *Паскаль Блез*. Мысли. С. 242—243.

⁶⁴ ЛН. Кн. 1. С. 366.

⁶⁵ Соч. Т. 2. С. 357.

О современном человеке «с его озлобленным умом, кипящем в действии пустом», писал Пушкин, о страстях ума, о злобе, входящей в жизнь людей дорогами разума, размышлял Гоголь. Как бы вслед за ними Тютчев говорит о подспудной зараженности ума ядами растленного сердца, стремясь, подобно Паскалю, определить ее онтологический корень.

Несмотря на все многообразие и прихотливость человеческих волеизъявлений, автор «Мыслей» обнаруживает на самой последней глубине сердечного дна основополагающее иррациональное раздвоение. Сердце так же любит своевольные желания и отворачивается от Бога, констатировал он, как и наоборот — любит Бога и охладевает к удовлетворению эгоистических устремлений: «Все отбросили одно и сохранили другое; по рассудку ли вы любите самого себя?»⁶⁶ По убеждению Паскаля, только в чистом сердце, преображенном благодатью и смиренномудрым подвигом веры, пробуждается истинная любовь к Богу и ближнему, органически переживается необходимость следовать не своекорыстной, а высшей воле. Тогда и ум, постоянно имея в виду главную цель любви и милосердия, направлен в первую очередь не на внешнее «образование», а на внутреннее «воспитание», не на удовлетворение страстей, а на очищение душевных желаний и, соответственно, выход из замкнутого круга несовершенных волеизъявлений. И здесь главным авторитетом для автора «Мыслей», как и для Тютчева, выступает апостол Павел, который после смерти Христа пришел научить людей, «что царство Божие не плотское, но духовное, что враги человеку не вавилоняне, но страсти его, что Богу угодны не рукотворные храмы, но сердца чистые и смиренные, что телесное обрезание бесполезно, а нужно обрезание в сердце...»⁶⁷

Если же в сердце человека не происходит встреча с Богом, ставит Паскаль проблему в противоположную плоскость, то оно каменеет в плену таких основополагающих влечений, как *libido sentiendi*, *libido sciendi*, *libido domi-nandi* (похоть чувства, похоть знания, похоть властвования — *лат.*). Приводя слова из первого послания Иоанна (все в мире есть «похоть плоти, похоть очей и гордость житейская»), он заключает: «Горе земле проклятия, которые эти три огненные реки больше опалют, чем орошают». ⁶⁸ Скорее опалющие, нежели орошающие реки и питают всегдашние импульсы испорченной человеческой воли и неочищенного сердца, заставляющие людей неудовлетворительно и бесплодно рыскать в поисках «счастья», наслаждений, богатства, власти, славы, успеха и в своем предельном выражении подспудно противопоставляющие самолюбие боголюбию, человекобога Богочеловеку. У человека, настаивает Паскаль, нет иного врага, кроме собственного Я, эгоистических страстей, отделяющих и отвращающих его от Бога. Следовательно, главная задача и единственная добродетель заключается в борьбе с ними и очищении сердца, чтобы соединиться с божественной волей и обрести подлинный покой и нерушимое счастье.

Паскалевская логика в критике разрушительных закономерностей непросветленного антропоцентризма, являющаяся как бы частным случаем общехристианского сознания, по-своему преломляется и в самых опорных пунктах тютчевского мышления. Поэт обнаруживает, что в «настроении сердца» современного человека «преобладающим аккордом» является «принцип личности, доведенный до какого-то болезненного неистовства». ⁶⁹ Он рассматривает «самовластие человеческого я» уже в предельно широком и глубоком

⁶⁶ *Pascal B. Pensées.* P. 102.

⁶⁷ *Паскаль Блез.* Мысли. С. 152.

⁶⁸ Там же. С. 244.

⁶⁹ ЛН. Кн. 1. С. 366.

контексте как богоотступничество и утверждение антично-возрожденческого принципа «человек есть мера всех вещей», превращающегося в дальнейшей эволюции в принцип «я есть мера всех вещей» (со всей ограниченностью не только его идеологических притязаний и рационалистических теорий, но и тайных страстей и прихотливых желаний). «Поклонение человеческому я, — подчеркивал И. С. Аксаков, — вообще представлялось ему обоготворением ограниченности человеческого разума, добровольным отречением от высшей, недостижимой уму, абсолютной истины, от высших надземных стремлений, — возведением человеческой личности на степень кумира, началом материалистическим, гибельным для судьбы человеческих обществ, воспринявших это начало в жизнь и в душу».⁷⁰

Из такого кумиротворения Тютчев непосредственно выводил революционные социально-политические преобразования в мире, рассматривавшиеся им не обособленно, а как проявления фундаментальной тенденции бытия, в которой человек, подобно Адаму, противопоставляется Творцу и ставит себя на его место. «Революция была враждебна не только королям и установившемуся образу правления, — передавал тютчевское понимание Революции К. Пфедфель. — Тогда, как и теперь, она покушается на самого Бога, а без Бога общество человеческое существовать не может».⁷¹ Революция для Тютчева есть не только зримое историческое событие, но и — прежде всего — Принцип, однотипным следствием которого оно (при всем многообразии своих социалистических, демократических, республиканских и т. п. идей) является. Корень Революции — удаление человека от Бога, ее главный результат — «современная мысль», бесплодно полагающая в своем непослушании божественной воле и антропоцентрической гордыне гармонизировать общественные отношения в ограниченных рамках того или иного вида «антихристианского рационализма».

Тютчев в самых резких выражениях («все назойливее зло», «призрачная свобода», «одичалый мир земной») оценивал проистекающую из онтологически не обеспеченного самовозвышения человека утрату абсолютных истин и религиозных оснований жизни в бессодержательных и понижающих духовное качество жизни мифах прогресса, науки, общественного мнения, свободы слова и т. п., маскирующих обмельчание и сплошную материализацию человеческих устремлений, двойные стандарты, своекорыстные страсти и низменные расчеты:

Ложь, злая ложь растлила все умы,
И целый мир стал воплощенной ложью.
(«Хотя б она сошла с лица земного...»)

И одним из главнейших орудий такой лжи является, по Тютчеву, непроясненный разум, превозносящийся над бытием как главный орган полного и точного знания и не желающий задуматься о собственных границах, возможностях и страстях. Он характеризовал «гордыню ума» как «первейшее революционное чувство», как бы солидаризируясь с выводом Гоголя: «Есть другой вид гордости, еще сильнейший первого, — гордости ума. Никогда еще не возростала она до такой силы, как в девятнадцатом веке... Уже ссоры и брани начались не за какие-нибудь существенные права, не из-за личных ненавистей — нет, не чувственные страсти, но страсти ума уже начались: уже враждуют лично из несходства мнений, из-за противуречий в мире мыс-

⁷⁰ Аксаков И. С. Указ. соч. С. 73—74.

⁷¹ ЛН. Кн. 2. С. 36.

ленным. Уже образовались целые партии, друг друга не видевшие, никаких личных сношений еще не имевшие — и уже друг друга ненавидящие». ⁷²

Затемненность озлобленного ума («кипит наш разум возмущенный», как поется в одном из революционных гимнов), существенно усугубляясь страстями, изначально предопределялась узкими рамками и недостаточной адекватностью по отношению к целостному бытию, о которых очень много размышлял Паскаль. Люди, пишет он, по самонадеянности, столь же бесконечной, как и предмет их изучения, безрассудно пустились в исследование природы (как будто они соизмеримы с нею и имеют неограниченную способность познания), захотели познать начало вещей, а от них дойти до познания всего. (Отсюда претенциозные названия иных книг: «Обо всем познаваемом», «О начале вещей» и т. п.). Однако они не могут заглянуть «за край», а потому их познавательные способности ограничены лишь промежутком между крайностями: например, излишек или недостаток света, звука, тепла, холода и т. п. ускользает от нас, принося лишь страдания. Наше познание не может идти выше определенного уровня еще и потому, что часть не может познать целого и даже соразмерных с ней частей, так как все части взаимосвязаны и в то же время обусловлены целым: нельзя знать частей, не зная целого; нельзя знать целого, не зная частей. К тому же, приводит Паскаль еще один аргумент в пользу познавательного бессилия, вещи просты сами по себе, а люди составлены из двух противоположных природ (души и тела) и накладывают на изучаемое отпечаток своего составного бытия, смешивая идеи и вещи, материализуя духовное и одушевляя материальное. Они слабо постигают, что такое тело, еще меньше понимают, что такое дух, а соединение тела и духа представляет для них верх трудностей и непроницаемую тайну, между тем как в этом-то соединении и состоит весь человек.

В логике автора «Мыслей» структурная ограниченность разума дополняется его неразумной зависимостью от посторонних сил, вплоть до самых незначительных мелочей. Чтобы помешать «суверенному судье мира» (так люди называют разум), не надобно грохота пушек и сильных землетрясений — достаточно шума флюгера или жужжания мухи, которая может отвлечь и нарушить ход мысли какого-нибудь великого стратега и помочь выиграть битву его сопернику. Однако наиболее мощного противника разум встречает среди так называемых «обманывающих сил» (тщеславие, суеверия, предубеждения, страсти и т. п.), главной из которых оказывается воображение, ткущее репутационную материю человеческого существования, устанавливающее и оформляющее в человеке «вторую природу». Воображение в трактовке Паскаля предстает как социально-оценочная и иррационально-убеждающая сила, подчиняющая и контролирующая разум большинства людей: «напрасно кричит разум, он не может оценивать вещи». ⁷³ Так, изящные манеры и красноречиво-театральные жесты адвоката незаметно заставляют воображение судей отождествлять его внешность и способности, манеру поведения и истинность защищаемого им мнения и влияют на вынесение окончательного приговора, а щетина разумнейшего, но не бритого проповедника может вызвать у слушающих его недоверие к высказываемым им мыслям. Государственные же, политические и иные деятели, несмотря порою на свою ничтожность и несостоятельность, могут получить в глазах толпы разумно никак не обосновываемое достоинство из-за поражающих воображение ритуалов, церемоний, пропаганды и т. п. И все это, скептически заключает Паскаль, имеет такие живые корни в человеке, что разум не способен вы-

⁷² Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 6. С. 189.

⁷³ L'oeuvre de Pascal. P. 851.

рвать их из его души: никогда разум не победит воображение, в то время как воображение сплошь да рядом выбивает разум из седла.

Как бы вслед за французским философом русский поэт констатирует «свойство человеческой природы питаться иллюзиями», и что «люди изрядно глупы, а мир нелеп», и что они тем меньше пользуются разумом, чем больше кричат о его правах. Он также приходит к заключению, что «Суд людской» является роковой силой, неподвластной никакому разуму, что «боязнь людского мнения еще сильнее, чем очевидность», что действующее через понимаемое по-паскалевски воображение «сверхъестественное» (в смысле не Божественного Провидения, а дьявольского наваждения) проникает в дела мира сего. И «разум угасает» при очевидной «нелепости», когда, например, «жалкие посредственности, самые худшие, самые отсталые из всего класса ученики, эти люди, стоящие настолько ниже даже нашего собственного, кстати очень невысокого уровня, эти выродки находятся и удерживаются во главе страны...».⁷⁴ В результате остается наблюдать «полное поражение, очевидное и бесповоротное того, что казалось самим Разумом, Разумом по преимуществу, Мудростью, Наукой, человеческой предусмотрительностью».⁷⁵

Так же как и Паскаля, Тютчева поражала укороченность и бессилие разума по отношению к полноте многомерной и непредсказуемой действительности. «В обычное время ужасная реальность жизни позволяет мысли свободно резвиться вокруг себя, и, когда та полна уверенности в своей безопасности и силе, эта реальность вдруг пробуждается и сокрушает ее одним взмахом своей лапы».⁷⁶ Подобные диспропорции вызывают в его сознании образы океана бытия и теряющегося в нем маленького островка «человеческого муравейника» или приводят к обозначенному в начале статьи выводу о «жалком разуме, признающем лишь то, что ему понятно, то есть ничего». Неутешительный вывод Тютчева можно пояснить высказываниями двух персонажей Достоевского, выражающими выстраданное убеждение их создателя. Герой «Записок из подполья» утверждает, что рассудок захватывает только одну грань жизни и не обнимает всей неохватной совокупности ее проявлений, «и с рассудком и со всеми почесываниями... Рассудок знает только то, что успел узнать (иногда, пожалуй, и никогда не узнает, это хоть и не утешение, но отчего же этого не высказать?), а натура человеческая действует вся целиком, всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно...».⁷⁷ Ему как бы вторит Разумихин из «Преступления и наказания», критикующий «научную» идею первенствующей роли экономического благополучия в социалистическом фаланстере: «С одной логикой нельзя через натуру перескочить! Логика предугадает три случая, а их миллион! Отрезать весь миллион и все на один вопрос о комфорте свести! Самое легкое разрешение задачи! Соблазнительно ясно, и думать не надо! Главное — думать не надо! Вся жизненная тайна на двух печатных листках умещается!»⁷⁸

Ничтожность таких основных инструментов разума, как рассудок или логика, заключалась для Тютчева в их несоответствии жизненной тайне, полноте живой природы и подлинной реальности, неспособности определить, оценить, охарактеризовать и предсказать свою «невидимую» сращенность и зависимость от бессознательных «почесываний», прихотливых движений свободной воли человека, опрокидывающих своей «лапой» теоретические комбинации «правильных» идей.

⁷⁴ ЛН. Кн. 1. С. 334.

⁷⁵ Старина и новизна. Кн. 19. С. 225.

⁷⁶ Соч. Т. 2. С. 14.

⁷⁷ Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 15 т. Л., 1989. Т. 4. С. 471.

⁷⁸ Там же. Т. 5. С. 242.

© О. Л. Новикова

НОВГОРОДСКИЕ СБОРНИКИ XVI—XVII ВЕКОВ: ЛЕТОПИСИ, СКАЗАНИЯ, ЖИТИЯ¹

С присоединением Новгорода к Московскому государству интерес к прошлому Новгородской земли не обрывается. В новгородской литературе делаются попытки подчеркнуть значение Новгорода и его святынь в истории Русского государства. Подъем интереса к новгородским древностям, без сомнения, приходится и на время архиепископства в Новгороде Макария, в будущем митрополита всея Руси. Деятельность Макария в Новгороде стала прологом его будущих общерусских предприятий. Здесь им была начата работа по созданию «владычного» летописного свода² и сформирован первый, «Софийский», комплект Великих Миней Четиех.³ Энциклопедические тенденции Макариевской эпохи отразились и на характере ведения новгородских летописей, и на составе новгородских рукописных сборников.

Д. С. Лихачев отмечал проникновение хронографических способов повествования в русские летописи начиная со второй половины XV века.⁴ В это же время становятся все более популярными различные перечни исторических лиц,⁵ сходные с византийскими так называемыми «малыми хрониками». К летописям, на которые оказал влияние хронографический тип изложения, можно отнести «Краткий летописец новгородских владык» — один из памятников новгородского летописания середины XVI века. Это сравнительно небольшой по объему текст, составленный из статей, каждая из которых посвящена отдельному епископу или архиепископу. Статьи, расположенные согласно порядку возведения владык на кафедру, содержат не только даты их поставления и приезда в Новгород, день смерти и место погребения, общее количество лет, проведенных на кафедре, но и наиболее значительные события, происходившие во время владычества. С одной стороны, статьи сохраняют традиционную летописную форму — это краткие погодные записи, основанные на известиях новгородских летописей, с другой стороны — в центре повествования стоят уже не события, как в летописании, а исторические лица, при которых произошли те или иные события, как в хронографии. «Краткий летописец новгородских владык», начинающийся с известия о крещении Руси и установлении епископских кафедр, доведенный в ранней редакции до начала 50-х годов XVI века, стал своеобразным справочником по истории

¹ Статья подготовлена в ходе работы над проектом «Новгородское летописание XVI в.», поддержанным РГНФ (№ 00-01-00311а).

² Насонов А. Н. История русского летописания XI—XVIII века: Очерки и исследования. М., 1969. С. 467—470.

³ Кучкин В. А. О формировании Великих Миней Четих митрополита Макария // Проблемы рукописной и печатной книги. М., 1976. С. 86—101; Дробленкова Н. Ф. Великие Миней Четих // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2: Вторая половина XIV—XVI вв. Л., 1988. Ч. 1. С. 126—133.

⁴ Лихачев Д. С. Русские летописи. М.; Л., 1947. С. 331—353.

⁵ О кратких перечнях см.: Янин В. Л. 1) К вопросу о роли Синаодального списка Новгородской I летописи в русском летописании XV в. // Летописи и хроники: 1980 г. М., 1984. С. 158—160; 2) К вопросу о дате составления обзора «А се имена градом всем русским, далним и ближним» // Древнейшие государства Восточной Европы: Материалы и исследования. 1992—1993 годы. М., 1995. С. 125—134.

новгородской владычной кафедры. На протяжении всего XVII века он постоянно продолжался.⁶

Для расширения сведений об особо почитаемых владыках при составлении летописца были использованы тексты их житий и сказаний, повествующих о знаменательных событиях в жизни Новгорода. Так, при составлении первой из известных редакций «Краткого летописца новгородских владык» были использованы 1-я редакция Жития Варлаама Хутынского⁷ в статье, повествующей о владыке Антонии, и краткое Житие новгородского архиепископа Моисея.⁸ При попадании в «Краткий летописец новгородских владык» Житие и посмертное чудо Моисея дополнили два раздела летописца: один, посвященный этому архиепископу, и другой, повествующий об архиепископе Сергии, на которого в 1484 году «нашло изумление» из-за непочтительного отношения к мощам владыки Моисея.

«Краткий летописец новгородских владык» по своей тематике входит в группу памятников новгородского происхождения, так или иначе связанных с интересами владычной кафедры. Период их создания достаточно широк — XIV—XVI века. О популярности этих произведений у древнерусского читателя говорит их обширнейшая рукописная традиция. По своей тематике они могут быть условно разделены на несколько групп. К первой группе относятся статьи, повествующие о Софийском храме — символе Новгорода и центре владычной кафедры: «Сказание о церкви Св. Софии Премудрости Божии, иже в Великом Новгороде, како создана бысть»; ряд летописных известий, повествующих о построении деревянной Софии и пожаре в ней; статья «Мера Спасову Образу», описывающая одну из главных святынь Софийского собора; толкования Софии Премудрости Божией; рассказы о чудесах, бывших в Софийском соборе: сказание «О чудном видении Спасова образа Мануилу, царю греческому»,⁹ сказание о чуде с образом Спаса в куполе Софийского собора,¹⁰ «Видение софийскому пономарю Аарону». Вторую группу образуют подборки летописных статей, рассказывающие о княжеских захоронениях в стенах собора или посвященные деятельности отдельных владык. В еще одну группу выделяются хорошо известные исследователям памятники новгородской литературы, так или иначе связанные с именем новгородского архиепископа Василия Калики: «Повесть о новгородском белом клубуе»¹¹ и «Послание о рае».

В достаточно большом числе сборников XVII века эти тексты помещаются вместе, образуя своеобразный «софийский» цикл; центром, вокруг которого сосредоточено внимание в такой группе произведений, является новгородский Софийский собор и новгородская владычная кафедра.¹² Многие из произведений «софийского» цикла в

⁶ Подробнее см.: Новикова О. Л. Об этапах редактирования «Краткого летописца новгородских владык» в конце XVI—первой трети XVII в. // Прошлое Новгорода и Новгородской земли: Материалы научной конференции 11—13 ноября / Сост. В. Ф. Андреев. Великий Новгород, 1999. Ч. 1. С. 69—74.

⁷ Характеристику этой редакции см. в монографии Л. А. Дмитриева: *Дмитриев Л. А. Житийные повести русского Севера как памятники литературы XIII—XVII вв.* Л., 1973. С. 14—18.

⁸ *Поньрко Н. В. Житие Моисея, архиепископа Новгородского* // *Словарь книжников и книжности Древней Руси.* Вып. 2. Ч. 2. С. 305—306.

⁹ Рукописная традиция этого сказания изучена Я. Н. Щаповым и В. Г. Брюсовой. См.: *Щапов Я. Н., Брюсова В. Г. Новгородская легенда о Мануиле царе греческом* // *Византийский временник.* М., 1971. Т. 32. О Сказании см. также: *Гордиенко Э. А. Икона «Спас царя Мануила» и Сказание о ней в истории новгородской церкви* // *Новгородский исторический сборник.* СПб., 1999. Вып. 7(17). С. 48—74.

¹⁰ *Брюсова В. Г. Фреска Вседержителя новгородской Софии и легенда о Спасовом образе.* ТОДРЛ. Т. 22. С. 57—64.

¹¹ *Розов Н. Н. Повесть о белом клубуе как памятник общерусской публицистики XV в.* // ТОДРЛ. Т. 9. С. 178—219.

¹² См., например, сборники XVII века: БАН. 16.9.31, 4.7.7. Арханг. Д. 409; РНБ. Собр. СПбДА. № 270 / I; РГБ. Собр. Музейное. № 733; Собр. Большакова. № 313; ГИМ. Собр. Чудовское. № 355; Собр. Уварова. № 542; Собр. Уварова. № 848; Собр. Забел. 261; РГАДА. Ф. 188. Оп. 1. Ч. 1. № 473 и др.

сборниках этого времени составляют конвой «Краткого летописца новгородских владык», а некоторые входят в его состав, дополняя сведениями отдельные статьи. Например, «Послание о рае» дополняет статью, посвященную Василию Калике, а «Сказание о Св. Софии» — статью, повествующую о епископе Луке. Таким образом, собиране новгородских церковных древностей продолжалось и в XVII веке.

Кульминацией развития новгородских «софийских» сборников является создание при митрополите Корнилии (1675—1695) сборника житий новгородских святых, сохранившегося в рукописи последней четверти XVII века (РГБ. Собр. Егорова. № 1274). Сборник, введенный в научный оборот и описанный В. Г. Брюсовой,¹³ еще недостаточно изучен. Как отметила исследовательница, «содержание рукописи по тематическим циклам включает в себе три самостоятельных раздела»: «Краткий летописец новгородских владык», статьи о новгородских святынях, а также службы, жития и чудеса новгородских святых.¹⁴ В житийном разделе помещены жития со службами владык: Ионы, Моисея, Никиты, Евфимия, Серапиона, Нифонта, Антония, а также новгородских святых: Варлаама Хутынского, Михаила Клопского, Арсения, Николы Кочанова. Сборнику предшествует оглавление, составленное одновременно с его созданием.

Кроме «Краткого летописца новгородских владык»,¹⁵ в составе сборника находится ряд других связанных с Новгородом произведений: «Сказание о святой Софии», «Послание новгородского архиепископа Василия о рае», заметка о чудесном возгорании свечи и об исцелении слепой жены в Софийском соборе в 1542 году, «Мера Спасову Образу». Отметим, что составитель рукописи дополнил разделы «Краткого летописца новгородских владык» значительным количеством сведений о владыках, почерпнутых из их житий, помещенных в этом же сборнике, а также из поздних новгородских летописей (например, сведения о епископах Нифонте и Моисее¹⁶). При замене переплета Егоровской рукописи в конце XVIII века на ее корешке было сделано тиснение: «Патерик новгородский». Однако никаких данных о том, что это название было дано сборнику при его составлении, не обнаружено. В одной позднейшей, XVIII века, новгородской рукописи сходного состава¹⁷ на одном из переплетных листов сохранилось название, написанное почерком XIX века: «Софийский Новгородский сборник».

Особое внимание на историю новгородской владычной кафедры было обращено в XVI веке при создании Новгородской летописи Дубровского — памятника, отразившего владычное летописание Макариевского времени.¹⁸ На основании «Краткого летописца новгородских владык» здесь были расширены летописные известия о некоторых епископах и архиепископах.¹⁹

¹³ Брюсова В. Г. К истории стенописи Софийского собора Новгорода. Фрески Мартирьевской паперти // Древнерусское искусство. Художественная культура Новгорода. М., 1968. С. 119. Примеч. 21.

¹⁴ Там же.

¹⁵ «Краткий летописец новгородских владык» доведен в этой рукописи до времени владычества митрополита Корнилия. На включение «Краткого летописца новгородских владык» в новгородские летописи XVII века, составленные в том числе и при этом митрополите, неоднократно обращали внимание исследователи (Азбелев С. Н. Новгородские летописи XVII века. Новгород, 1960; Яковлев В. В. 1) Летопись Новгородская Уваровская // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб., 1993. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 2. С. 293; 2) Новгородское летописание XVII в.: Рукопись дисс. ... канд. ист. наук. СПб., 1997. С. 109—112 и др.). В связи с этим думается, что помещение этого памятника в состав сборника житий новгородских святых, созданного также при Корнилии, вполне закономерно.

¹⁶ РГБ. Собр. Егорова. № 1274. Л. 5—5, об.

¹⁷ РНБ. Собр. Вяземского. № Q. 80. В этом сборнике, однако, вместо житий читаются краткие статьи о новгородских святых.

¹⁸ О летописи Дубровского см.: Шахматов А. А. О так называемой Ростовской летописи. СПб., 1908. С. 163—171.

¹⁹ В летопись Дубровского внесены следующие добавления из «Краткого летописца новгородских владык», небольшие по объему, но весьма характерные: к известию 989 года прибавлено сообщение о построении владыкой Иоакимом тринадцатиглавой деревянной церкви Св. Софии и о ее пожаре (при вставке этого известия в летописи Дубровского появилась дубли-

Кроме упоминавшихся «Сказания о Св. Софии» (повествующего о росписи собора при епископе Луке) и «Видения софийскому пономарю Аарону» (рассказывающего о чудесном видении в Софийском храме во время владычества Евфимия II), в состав летописи Дубровского включены еще два новгородских сказания, посвященные новгородским владыкам: «Сказание о построении Благовещенского монастыря», посвященное новгородскому архиепископу Иоанну и его брату Григорию, также бывшему новгородским владыкой, и «Сказание о новгородском архиепископе Ионе», повествующее о предсказании этому владыке архиепископства юродивым. Исследователи обращали внимание на наличие этих памятников в летописи Дубровского,²⁰ однако обстоятельства их включения в летопись и их тексты в составе летописи до сих пор не исследовались.²¹

Новгородские сказания, посвященные новгородским древностям, по отдельности встречаются в составе различных сборников XVI—XVII веков. Сборников же, в которых эти произведения образуют цикл, сохранилось немного. Одной из таких рукописей является хорошо известный еще со времени В. О. Ключевского сборник, составленный в Волоколамском монастыре в 1536 году по повелению игумена Нифонта (РГБ. Волоколамское собр. № 659).²² В составе этой рукописи выделяется подборка новгородских текстов, особо отмеченная Л. А. Дмитриевым.²³ Эта подборка состоит из следующих памятников: «Сказание о посаднике Добрыне», «Сказание о построении Благовещенского монастыря», «Сказание о Михалицком монастыре», «Видение софийскому пономарю Аарону», «Сказание о новгородском архиепископе Ионе», а также «Чудо Варлаама Хутынского о двух осужденных».

Нетрудно заметить, что новгородским владыкам посвящены лишь три из вышеназванных произведений. Именно эти три памятника, причем в тех же редакциях, мы встречаем на страницах летописи Дубровского. Такая подборка новгородских текстов, находящаяся в одном сборнике, без сомнения, была одним из источников летописи Дубровского. Составитель летописи не просто вставил легендарные рассказы в летописный текст, но и дополнил их известиями из «Краткого летописца новгородских владык», т. е. попытался расширить скудые исторические сведения о владыках.

Добавления из «Краткого летописца новгородских владык» обнаруживаются лишь в двух сказаниях, включенных в летопись Дубровского, — в «Сказании о построении Благовещенского монастыря» и в «Видении софийскому пономарю Аарону».²⁴ Харак-

ровка, поскольку известие о пожаре находится там и под 6557 (1049) годом, согласно Н4 летописи); под 6553 (1045) годом к известию о построении каменного Софийского собора Владимиром Ярославичем добавлено, что принимал в нем участие и владыка Иоаким (это добавление ошибочно, поскольку София строилась при епископе Луке, — очевидно, составитель пытался всячески подчеркнуть участие владык в церковном строительстве); под 6568 (1060) годом в известии о преставлении епископа Луки уточнено место погребения владыки: «и положен бысть за Святою Софиею в Новгороде»; статья 6577 (1069) года дополнена следующим известием о поставлении и причине смерти епископа Федора: «Поставлен бысть Феодор епископ, и свои его пес уел, и с того умре; и бе во епископии 9 лет» (при вставке этого известия, в котором заключаются сразу два исторических факта — дата поставления и сообщение о смерти владыки, в летописи Дубровского образовалась дублировка известия о смерти Федора, о которой еще раз сообщается под 6685 (1077) годом, согласно Н4 летописи); под 6673 (1166) годом появляется следующий заголовок: «Лета того же отесе начаша зватися в Великом Новеграде архиепископы, а до сего архиепископа Ивана епископы были».

²⁰ *Азбелев С. Н.* Две редакции Новгородской летописи Дубровского // Новгородский исторический сборник. Новгород, 1959. Вып. 9. С. 220.

²¹ Основные положения настоящей статьи о связи летописи Дубровского с новгородскими сборниками легендарных рассказов были представлены в нашем докладе «Легенды, сказания и повести о новгородских владыках в летописи Дубровского» на научной конференции молодых ученых «Вопросы славяно-русского рукописного наследия», состоявшейся 14—17 июня 1999 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом).

²² *Ключевский В. О.* Жития святых как исторический источник. М., 1871. С. 162—163.

²³ *Дмитриев Л. А.* Житийные повести русского Севера. С. 171.

²⁴ Перечислим эти дополнения: в «Сказании о построении Благовещенского монастыря» после слов о том, что Иоанн и Григорий являлись братьями, добавлено: «единыя матери утро-

тер этих добавлений во многом непонятен, если «Сказание о Благовещенской церкви» или «Видение пономаря Аарона» рассматривать вне истории создания летописи Дубровского. Примечательно, что позже, в XVII—XVIII веках, эти сказания потом выплывали из текста летописи Дубровского и опять попадали в сборники, иногда присоединяясь к житиям. Л. А. Дмитриеву был известен список «Сказания о построении Благовещенского монастыря», относящийся к концу XVII века, в сборнике РНБ (Софийское собр. № 1428. Л. 310—314, об.). Список озаглавлен следующим образом: «Сказание от новгородского летописца о Благовещенской церкви...». Л. А. Дмитриев оставил открытым вопрос о том, какой новгородский летописец имеется здесь в виду.²⁵ Мы теперь можем на этот вопрос ответить: не подлежит сомнению, что этот список восходит именно к летописи Дубровского, т. к. имеет все особенности текста «Сказания», читающегося в этой летописи. Становится, таким образом, очевидным, что составитель летописи Дубровского, особое внимание уделяя истории новгородской владычной кафедры в целом, использовал среди своих многочисленных источников «Краткий летописец новгородских владык» как своего рода справочник по новгородским архиастырям и какой-то сборник сказаний о новгородских святынях.

Кроме вышеупомянутого Волоколамского сборника, к недошедшему сборнику новгородских сказаний Л. А. Дмитриев возводил также новгородскую подборку, находящуюся в рукописи середины XVII века из собрания Н. П. Лихачева (СПбФИРИ. Собр. Лихачева. Оп. 1. № 294).²⁶ Сравнив состав «новгородских» частей этих сборников, исследователь выяснил, что ряд сказаний у них общий, но тексты находятся в другой последовательности, а некоторые из них представлены и в иных редакциях. Исследователь отметил, что Лихачевский сборник требует дополнительного исследования.²⁷

Последовательность расположения сказаний в Лихачевском списке действительно иная, чем в Волоколамском. В размещении текстов есть закономерность, на которую, по всей видимости, не обратил внимания Л. А. Дмитриев. Все легендарные рассказы выстроены составителем сборника в хронологической последовательности описываемых в них событий. Кроме того, между некоторыми текстами вставлены статьи летописного характера (но не всегда летописного происхождения), образующие смысловые связки между произведениями. Так, после «Повести о Благовещенской церкви» следует летописное известие о поставлении архиепископа Иоанна на владычную кафедру, о его преставлении и погребении. Далее совсем в духе «Краткого летописца новгородских владык» отмечено: «При сем архиепископе Иоанне в лето...», а потом излагается

бы»; затем уточнено место погребения братьев — вместо слов «и положена быста оба в соборней церкви святыя София» говорится: «и положена быста оба в притворе церковнем во сторонем в темници» (ср.: Краткий летописец новгородских владык // Новгородские летописи. СПб., 1879. С. 132). В «Видении софийскому пономарю Аарону», помещенном в Новгородской летописи Дубровского под 1458 годом, после известия о преставлении владыки Евфимия II добавлено: «о том явлении архиепископ Евфимий и гроб позлати князя Владимира, внука великого князя Владимира, крестившего Русскую землю, и подписа. Также и матери его гроб подписа и покров положи, и память им управы творити на всяко лето, месяца октября в 4 день». Добавленное известие важно, ибо речь в нем идет об установлении праздника новгородским святым. Это известие находится в Новгородской первой и Новгородской четвертой летописях под 1439 годом. Под этим же годом оно читается и в летописи Дубровского, соответствуя тексту Новгородской четвертой летописи. В результате при вставке этого известия в состав «Видения Аарону» образовалось явное повторение практически одинаковых сообщений. О том, что вставка взята из «Краткого летописца новгородских владык», говорит уточнение о Владимире — «крестивший Рускую землю», отсутствующее в Н1 и Н4 летописях. (Любопытно, что здесь мы встречаемся с иной версией причин, побудивших Евфимия II установить день поминовения усопших князей и архиастырей Новгорода, ибо другая, можно сказать «официальная», версия находится в «Сказании о гробнице архиепископа Иоанна», включенном в ВМЧ митрополита Макария. В «Сказании о гробнице» говорится, что повеление творить поминовение было получено Евфимием во сне от самого первого новгородского архиепископа Иоанна).

²⁵ Дмитриев Л. А. Житийные повести русского Севера. С. 171.

²⁶ Там же. С. 173—174.

²⁷ Там же.

краткий рассказ о чуде от иконы Знамение. Далее вставлено летописное известие о поставлении следующего архиепископа Григория²⁸ и сообщается, что именно при Григории «бысть Варлаам чудотворец игумен Всемилоостивого Спаса Хутынского монастыря». ²⁹ Данное известие соединяет предшествующее повествование со следующим далее рассказом, посвященным чуду Варлаама Хутынского о двух осужденных. ³⁰ После окончания этого рассказа следует киноварный заголовок, связывающий «Сказание о Михалицком монастыре» с предшествующим повествованием: «В та же лета пресвященного и преждедеченного господина архиепископа Григория Великого Новгорода и Пскова». Подобные слова предваряют и «Повесть о посаднике Добрыне»: «В лета того же преждедеченного архиепископа Григория...». ³¹

По окончании «Повести о посаднике Добрыне» следует известие о преставлении Григория, сходное с известием «Краткого летописца новгородских владык»: «Бе же на престоле святительском архиепископ Григорий 20 лет и положиша его у святей Софии у стены подле брата его Иоанна архиепископа». ³² Хронологическому принципу подчинено и помещенное далее Житие Арсения Коневского.

«Видение софийскому пономарю Аарону» и «Сказание об архиепископе Ионе», которыми оканчивается интересующая нас подборка сказаний о новгородских святых, объединяет фигура еще одного новгородского святого — Михаила Клопского. Новгородский сюжет о предсказании владычества Ионе Михаилом Клопским был хорошо известен в XVII веке по Житию святого, ³³ но соединение «Видения пономарю Аарону» с отрывком из Жития Михаила Клопского — это литературный прием самого составителя этой части Лихачевского сборника. Отрывок из Жития Михаила следует сразу же за окончанием Жития Арсения и включает в себя всего лишь два эпизода — известие о приезде святого в Троицкий монастырь и рассказ о приезде к нему нареченного на владычество, но еще не поставленного митрополитом Евфимия II. Согласно с Житием Михаила Клопского в Лихачевском списке святой говорит владыке: «аще доедеши Смоленска, и тамо поставят тя». Затем здесь вставлено летописное известие, сходное с Н4 летописью о поставлении Евфимия в Смоленске и возвращении в Новгород, причем уточняется: «а приехал в Новгород в лето 6938 (1430), октября в 4 день». ³⁴ А далее говорится: «Тоя ноци виде пономарь софийский именем Аарон инок...», — и следует текст «Видения». Как уже упоминалось выше, именно на 4 октября Евфимием II было установлено празднование всем новгородским святым, однако, согласно Н4 летописи, это произошло в 6946 (1439) году, а не по приезде Евфимия из Смоленска, чудо же с Аароном случилось в 1438 году. ³⁵ Между тем составителю Лихачевского списка удалось связать между собой два разных предания и, таким образом, завершить свой рассказ о новгородских святых.

Нельзя не согласиться с мнением Л. А. Дмитриева о том, что и Волоколамский, и Лихачевский списки восходят к существовавшему некогда «сборнику легендарных

²⁸ «По преставлении святейшего архиепископа Иоанна поставлен бысть на архиепископию Великому Новуграду Григории, брат сего преждедеченного Иоанна» (Архив СПбФРИ. Собр. Лихачева. Оп. 1. № 294. Л. 36, об.—37).

²⁹ Архив СПбФРИ. Собр. Лихачева. Оп. 1. № 294. Л. 37. Здесь нужно отдать должное составителю Лихачевской подборки как историку, поскольку агиографическая традиция неверно связывала Варлаама Хутынского с владыкой Антонием. Л. А. Дмитриев убедительно показал, что соотнесение в Житии Варлаама Хутынского «данных биографии Антония с именем Варлаама — плод фантазии» (см.: *Дмитриев Л. А. Житийные повести русского Севера*. С. 15—16).

³⁰ Имя владыки Антония, которое читается даже в ВМЧ, здесь опять заменено на имя Григория.

³¹ Архив СПбФРИ. Собр. Лихачева. Оп. 1. № 294. Л. 41.

³² Там же. Л. 43.

³³ *Дмитриев Л. А. Повести о Житии Михаила Клопского*. М.; Л., 1957.

³⁴ Дата возвращения Евфимия II в Новгород здесь не верна. Владыка был поставлен в Смоленске 26 мая 6942 (1434) года (см.: ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. Вып. 2. С. 434).

³⁵ «Видение пономарю Аарону» обычно сопровождается датой 6946 (1438) год, а число не указывается (Там же. С. 491).

рассказов».³⁶ Думается, что Волоколамский список лучше передает первоначальный характер этого сборника. На наш взгляд, подборка, помещенная в Лихачевском списке, получила свое окончательное оформление в этом списке — рукописи XVII века. Мы предполагаем, что работа над ее составлением была осуществлена одним из писцов этой части сборника.

При работе над текстами произведений составитель Лихачевского списка акцентировал свое внимание на том, при каком владыке происходили те или иные события (в отличие от других списков, тексты в составе этой подборки часто начинаются словами: «в то же время», «при сем же архиепископе»), и дополнял сказания летописными статьями. Таким образом, все сказания выстраиваются здесь в виде единого, целостного повествования о новгородских святых.

* * *

Суммируем вкратце сказанное.

Новгородские летописцы XVI века особое внимание уделяли истории владычной кафедры; для расширения сведений о владыках ими часто привлекались жития святых и сказания о новгородских святых из особых сборников.

При попадании в летописи тексты сказаний претерпевали изменения — они дополнялись летописными известиями, уточняющими повествование. Обработанный и приспособленный к летописи текст легендарного рассказа впоследствии мог быть выписан из нее и затем попадал в другой сборник, т. е. начинал жить «новой жизнью».

Кроме того, подборки новгородских сказаний в сборниках сами попадают под влияние летописного повествования: текст их выстраивается по хронологическому принципу и обрастает «летописными» подробностями.

Стремление собрать воедино произведения, повествующие о новгородских святых и древностях, характерное для новгородской литературы XVI века, уже в начале XVII века приводит к появлению «софийских» циклов произведений в составе сборников.

К концу XVII века появляются новгородские сборники особого состава, посвященные новгородским святым. Произведения в них расположены по тематическому и хронологическому принципам.

Характер одного из таких сборников, о котором речь шла выше, вполне вероятно, напомнил его владельцу в конце XVIII века патерики, и поэтому этот сборник получил «стилизующее» название: «Патерик новгородский».

³⁶ Дмитриев Л. А. Житийные повести русского Севера. С. 174.

© М. Д. Эльзон

О ПОЛЬЗЕ ЧТЕНИЯ СТИХОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ (К ИСТОЛКОВАНИЮ ПОСЛЕДНЕГО СТИХОТВОРЕНИЯ Г. Р. ДЕРЖАВИНА)

Монографическое исследование К. Ю. Лапко-Данилевского (см.: Русская литература. 2000. № 2. С. 146—158) избавило меня от неизбежных повторов. Поэтому позволю себе высказать то, что до сих пор находится вне поля зрения ученых.

Вопрос о завершенности стихотворения остается открытым. Лично я считаю его незавершенным.

Поэтика акростиha, насколько мне известно, не стала предметом специального изучения. Так, представляется существенным, следует ли считать таковым цельное про-

изведение любого объема — от двух до двух десятков строк — или возможен скрытый акrostих (первая / последняя строфа, фрагмент текста в любом месте стихотворения и т. д.). Наконец, и это главное, — где критерий разграничения намеренного и случайного? Поскольку Г. Р. Державин размышлял о природе акrostихотворчества и оставил, как известно из работ, исчерпывающе учтенных К. Ю. Лаппо-Данилевским, минимум четыре произведения в этом жанре, приведу собственные примеры.

«На птичку» («Поймали птичку голосисту...»): по вертикали слово из ненормативной лексики (ср. «акrostих» Н. А. Некрасова «Хотите знать, что я читал? Есть ода...»), приведенное в словаре В. И. Даля в четырех-пяти вполне пристойных значениях.

«На гроб NN» считается автоэпитафией. Между тем Г. Р. Державин косвенно указывает того, кто «Сребра и злата не дал в лихву...»: это некто СИКИН. Думаю, идентифицировать фамилию с ее носителем не составит для исследователей биографии певца Фелицы особого труда.

Кстати о «Фелице». В стихотворении я смог обнаружить три фрагмента, явно свидетельствующих о том, что Г. Р. Державин был непревзойденным мастером скрытого акrostиха. См.: «Сегодня властвует собою...» (по вертикали САМ); стиху «Там звенья рыбы астраханской» предшествует СИГ; наконец, пять строк с начальной «В шинки пить меду заезжаю» совокупно представляют результат: ВИПИЛ. То же — в последней строфе «Благодарности Фелице»: Я И ТИ («Я праздности оставлю узы (...) И лирой возгласишь ты»). Аналогичный пример смыслового окончания — последние четыре стиха «Праведного судии»: ЛОВИ.

«Алкогольный» фрагмент «Фелицы» явно коррелирует второй строфе «Другу»: «За здравье выпьем всех людей» предшествует ПИВА.

Державинский «Бог» как будто бы на слуху. Как же до сих пор в нем не обнаружили явную связь с «Рекой времен...»? «Ты цепь существ в себе вмещаешь (...) И смерти живой даришь» поддержано вертикально: ТЕКИ. Фрагмент «Черта начальна Божества (...) Умом громам повелеваю» безусловно содержит ЧАЮ (движения воды), хотя читается ЧЯУ. И, конечно же, бесспорен призыв «ЯВИ!» в стихах «Я знаю, что души моей (...) И тени начертать твоей».

Свою привязанность к «братьям нашим меньшим» Г. Р. Державин увековечил в «Ключе»:

Кропящий перлами цветы,
О, сколь ты мне приятен зришься!
Ты чист — и восхищаешь взоры...
.....
Какие пурпурь огнисты
И розы пламенны, горя,
С паденьем вод твоих катятся!

Скрытый смысл «Видения мурзы» запечатлен в семи стихах: «Сошла — и жрицей очутилась...» (СИОН), «Служила вышню божеству...» (СОС). Если Н. М. Карамзин мог ввести в русский язык несуществовавшую тогда «промышленность», то почему Г. Р. Державину могло быть не дано прозреть лексику XX века? В том же «Видении...» наличествует апокалиптический СПИД («Священны блюл ее уставы (...) Держал, как будто бы уснув»), в «Боге» — КЛАН («Когда дерзну сравнять с тобою... (...) Ничто! — Но ты во мне сияешь»).

Приведу также пример автоиронии: в центре «Признания» («Не умел я притворяться...») — ясно насмешливый ДУБ («Думал нравиться лишь им (...) Были гением моим»).

Не чужды гениальным прозрениям были и поэты-современники. Ср.: зачин «Начала зимы» (1750—1751) Н. Н. Поповского («Ярившийся Борей разверз свой буйный зев...») неявно указывает на Л. П. Берия и открывает двусмысленное свидетельство: Я И ГПУ.

Рискну высказать предположение, что, вопреки аргументам К. Ю. Лаппо-Данилевского, «Последнее стихотворение» Г. Р. Державина акростихом не является, ибо в противном случае оно должно было читаться по вертикали не в именительном (РУИНА), а в винительном падеже (РУИНУ), и уж во всяком случае быть написано так, чтобы не подвергаться разным толкованиям.

Исторический пример. В феврале 1858 года в Петербурге была издана листовка — басня «Ороскоп kota» с подзаголовком «Акростих». Укрывшийся под псевдонимом «Ижицын» Б. М. Федоров направил свой праведный гнев против А. И. Герцена корявым творением, содержащим угрозу: «Колокольщику петля готова». Басня не получилась, потому что, обязанная по закону жанра содержать мораль, она таковой не имела, и автору пришлось сформулировать вывод; в результате возникло: ИЧСН. Современники идентифицировали эти буквы с чиханьем. Полвека спустя возникла расшифровка: «И черт с ним». По остроумной догадке Ю. Г. Оксмана, Ч и Н были первыми буквами фамилий Н. Г. Чернышевского и Н. А. Некрасова. О том, что акростих был направлен только против А. И. Герцена, сообщил сам Б. М. Федоров в следующей листовке «Моим трутням совет» (по вертикали «Обезьянам трезвона»).

Предвидеть этого Г. Р. Державин, конечно, не мог. Как не мог не знать, что в его фамилии заключена «держава» (ср. «царства» в анализируемом стихотворении) с опорным слогом «ржа».

Это явно видела А. А. Ахматова, поместившая в сборнике «Бег времени» (очевидный симбиоз «Реки времени» и стиха В. В. Маяковского «Времени быстрее бег...») «Вереницу четверостиший» с несомненным откликом на последнее стихотворение чтимого ею поэта:

Ржавеет золото, и истлевает сталь,¹
Крошится мрамор. К смерти все готово.
Всего прочнее на земле — печаль
И долговечней — царственное слово.

Как все поэты ее поколения, знавшие «Боже царя храни» лучше, чем пролетарский и советский гимны, А. А. Ахматова явно опиралась на «сильный, державный (...) царствуй на славу нам».

Так что читать по горизонтали иногда бывает предпочтительней, чем по вертикали.

¹ Ср. у Н. С. Гумилева: «Словно звон истлевших цимбал», что вызвало насмешки современной ему критики.

© А. В. Шаронова

К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РЕДАКТОРА И АВТОРОВ «БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ»

«„Библиотека для чтения“ родилась 31 декабря 1833 года, в осьмом часу вечера»,¹ столичные подписчики журнала получили его первый номер в канун новогодней ночи, в последние минуты уходящего года.² Огромная книга, по объему почти равная тому (двадцать четыре листа вместо обещанных восемнадцати), эффектный, запоми-

¹ Библиотека для чтения. 1834. Т. 4. Отд. 6. С. 35.

² Сенковская А. А. О. И. Сенковский. Биографические записки его жены. СПб., 1858. С. 80—82; Северная пчела. 1834. 2 янв. № 1. С. 1.

нающийся жест, — так заканчивалась невиданная доселе в России по масштабу и яркости рекламная кампания литературного предприятия. Одной из ее главных составляющих был список сотрудников нового журнала, включающий имена практически всех известных русских литераторов.³ Он сыграл роль своеобразного щита, оградившего еще не родившуюся «Библиотеку» от критических нападков, а также обеспечил первоначальный успех подписке на новый журнал. В 1835 году этот список исчез с титульного листа, потому что выполнил свою роль и даже мешал О. И. Сенковскому, так как мог быть использован авторами для того, чтобы оказывать на него давление. «Библиотека» с первых же номеров твердо встала на ноги, могла сама защитить себя и обеспечить все возрастающий интерес читателей. Проблема «списка сотрудников», одна из наиболее обсуждаемых современниками Сенковского, требует некоторых уточнений, в том числе и потому, что является по сути проблемой отношений журнала с пушкинским кругом литераторов и зачастую воспринимается именно в свете полемики 1830-х годов.

В исследованиях, посвященных «Библиотеке для чтения», ее отношения с крупнейшими литераторами эпохи преимущественно рассматривались с точки зрения глобальных проблем времени: коммерция и литература, профессионализация литературы, новаторские формы журнала, формирование нового читателя.⁴ Представляется интересным проследить их на личностном уровне: участники локальных конфликтов, обиженные авторские самолюбия, отстаивание своего достоинства и своей позиции не на страницах журнала, а в открытом письме. Такой аспект необходим именно в отношении «Библиотеки для чтения», самого «личностного» русского журнала, где принципиальные эстетические позиции авторов часто накладываются на личные обиды, внутренняя причина и очевидный повод литературных выступлений настолько сплетены между собой, что, если рассматривать поведение Сенковского как осознанное и последовательное, то неизбежно приходишь к парадоксальному выводу — лучшие авторы ушли из журнала, потому что их выжил из него редактор. Своими, по ироническому определению самого Сенковского, «невинными шутками» он беспрестанно пополнял ряды собственных врагов и, как отметил В. А. Каверин, не только предупреждал критику на себя,⁵ но и провоцировал ее. К 1843 году, будучи редактором крупнейшего столичного журнала, Сенковский оказался в полнейшей личной изоляции.⁶ (В скобках замечу, что критические высказывания Сенковского значительно реже, чем это принято считать, бывали грубыми и оскорбительными; острота их восприятия адресатами объясняется скорее точностью и убедительностью критики, попаданием в действительно литературно уязвимые точки оппонентов, карикатурной узнаваемостью ее персонажей.)

³ Список состоял из пятидесяти шести имен. Как рекламный, и одновременно полемический, этот прием был заимствован в 1839 году «Отечественными записками», внесшими в свой список «чуть ли не до ста имен различных петербургских и московских ученых и литераторов», так как, по мнению многих современников, «Библиотека для чтения» была обязана своим успехом именно «громкому объявлению с бесчисленными именами» (*Панаев И. И.* Литературные воспоминания. М., 1988. С. 155, 157). Свое несогласие с редакторской политикой авторы выражали впоследствии теми же методами: «На Вас собирается грозная туча: человек с 10 Ваших сотрудников хотят напечатать в Сев(ерной) пчеле, что они не участвуют в О(течественных) З(аписках)» (Записка А. Ф. Воейкова А. А. Краевскому от 11 февраля 1839 года // РНБ. Ф. 391. Ед. хр. 248. Л. 45).

⁴ Формы литературного и журнального противостояния предприятию Сенковского неоднократно описывались исследователями и мемуаристами. Укажу здесь только фундаментальную для любого, обращающегося к этой теме, работу В. А. Каверина «Барон Брамбеус. История Осипа Сенковского, журналиста, редактора „Библиотеки для чтения“» (первое изд.: Л., 1929; второе изд.: М., 1966). Далее цитируется по второму изданию; отсылки к первому изданию специально оговариваются

⁵ *Каверин В. А.* Указ. соч. С. 69—80.

⁶ Она началась значительно раньше: к 1843 году относится признание самого Сенковского о глубине его литературного и личного одиночества (*Сенковский О. И.* Письма Е. Н. Ахматовой // Русская старина. 1889. Т. 62. № 5. С. 308—311).

Впервые упоминание об участии «в издании сего журнала по силе заключенных условий» «почти всех известных своими дарованиями писателей в стихах и прозе» появляется в представленном А. Ф. Смирдиным в Санкт-Петербургский цензурный комитет прошении об издании «Библиотеки для чтения»; имена лучших писателей, помимо прочего, должны были служить достаточным удостоверением в благонадежности предполагаемого периодического издания.⁷ Как известно, на Николая I они впечатления не произвели, и в его разрешающей изданию резолюции акцент был сделан на другом: обещании не подражать другим журналам подлой бранью.⁸ Зато на литераторов программа журнала, планы Смирдина и список сотрудников оказали весьма сильное действие: «Я как подумаю о легионе знаменитых сотрудников, так волос дыбом становится — это старая гвардия Наполеона, прежде выстрелов поражающая».⁹ Когда осенью 1833 года Сенковский писал А. В. Никитенко о некоторых переменах, которые цензор считает нужным сделать в печатаемой программе, то уверял его, что программы этой «разбирать никто не станет, потому что разбиратели все участвуют в предприятии».¹⁰ Журнал действительно не встретил до своего появления какого-либо противодействия, хотя бы потому, что никто ничего точно о нем не знал,¹¹ ходили неопределенные слухи, и только список сотрудников, казалось, характеризовал его как преемника «Новоселья».¹² Эпистолярные высказывания П. А. Вяземского этого времени исполнены скепсиса, однако почвы для серьезных споров у него не было.¹³

Появление первого номера сразу же расставило все по местам: «Библиотека хотя по-видимому и есть столпотворение вавилонское, но и есть тут свой зодчий, который все заправляет по-своему»;¹⁴ «Вот что плохо, что мы все в дураках! В этом и спохватились наши тузы литературные, да поздно. Почтенные редакторы зазвонили нашими именами, набрали подписчиков, заставили народ разинуть рот и на наших же спинах и развезжают теперь. (...) И вот литература наша без голоса!»¹⁵ Тогда же, в январе 1834 года, впервые встал и вопрос о редакторских правках Сенковского.¹⁶ Иллюзии были рассеяны, и многие литераторы почувствовали себя обманутыми. Сенковский весело «прокомментировал» ситуацию, поместив в первом же номере журнала перевод французской статьи о беспринципных редакторах парижских изданий, которые заманивают знаменитых авторов высотой гонораров, а затем, взяв у них несколько строчек, а главное, обеспечив первоначальный успех своего журнала именами известных

⁷ В программе журнала, поданной вместе с прошением в марте 1833 года, в отличие от опубликованной осенью, были названы даже имена А. С. Пушкина, П. А. Вяземского, И. А. Крылова, В. А. Жуковского, Н. М. Языкова, а о Смирдине сообщалось, что он не будет вмешиваться в журнальный процесс, оставаясь лишь издателем трудов лучших русских литераторов (см.: РГИА. Ф. 777. Оп. 1. Ед. хр. 1183). Ср.: Русская старина. 1903. Т. 113. № 3. С. 575.

⁸ Там же.

⁹ Письмо Д. В. Давыдова М. А. Максимовичу от 30 декабря 1833 года (*Давыдов Д. В. Сочинения*. М., 1860. Ч. 3. С. 170).

¹⁰ ИРЛИ. Ед. хр. 18671. Л. 3—4. Возможно, Никитенко имел в виду отступления от программы, представленной вместе с прошением, текстуально незначительные, однако дезавуирующие многие обещания Смирдина и расставляющие иные акценты именно в отношениях с авторами.

¹¹ Даже о том, кто будет его редактором: называли Н. И. Греча, П. П. Свинына. См.: Письмо П. А. Вяземского И. И. Дмитриеву от 14 августа 1833 года (Русский архив. 1868. Т. 1. № 4—5. С. 631—632); *Никитенко А. В. Дневник*. М., 1955. Т. 1. С. 134.

¹² Судя по всему, сам Смирдин представлял себе будущий журнал скорее как литературный сборник; в этом духе составлена мартовская программа; так характеризовался журнал и будущим авторам при предварительных переговорах об их участии в «Библиотеке для чтения».

¹³ См.: Русский архив. 1868. Т. 1. № 4—5. С. 631—632.

¹⁴ Из письма П. А. Вяземского И. И. Дмитриеву от 18 апреля 1834 года (Русский архив. 1868. Т. 1. № 4—5. С. 637—638).

¹⁵ Из письма Н. В. Гоголя М. П. Погодину от 11 января 1834 года (*Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.*: В 14 т. М., 1940. Т. 10. С. 294).

¹⁶ *Никитенко А. В. Дневник*. Т. 1. С. 133; *Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.* Т. 10. С. 294.

литераторов, более к ним не обращаются.¹⁷ Ситуация, по мнению Ж. Жанена и Сенковского, анекдотическая: жадный трактирщик зарезал и зажарил попугая за 600 франков, а постоялец, заказавший столь дорогой ужин, попросил отрезать ему на 2 су.¹⁸ Однако «редакция „Библиотеки для чтения“» сочла своим долгом серьезно объясниться с авторами, призвав читателей быть свидетелями своего рода договора или, может быть, ультиматума. В объявлении «От издателя и редакции журнала Библиотека для чтения», опубликованном «по случаю встретившихся вопросов и недоразумений», редакция извещала, «что авторы, имена которых означены на главном листе и на обертке, не принимая никакого участия в самом издании, доставляют только издателю свои сочинения для помещения их в „Библиотеку для чтения“ по усмотрению редакции», что «первая идея» журнала, план его и «осуществление сего плана в литературном и наружном отношениях, принадлежат О. И. Сенковскому», что он «составил литературную форму журнала, которая долженствует продолжаться и впредь без всякого изменения», и определил правила редакции, также неизменяемые, а именно: не переправляя «ни буквы» в стихотворных сочинениях, редакция считает своим долгом исправлять в прозаических статьях «случайные погрешности против грамматики и языка и устранять выражения, несогласные с Уставом о цензуре или современными приличиями», изменять названия статей, «ибо сочинения, помещаемые в „Библиотеку для чтения“, должны иметь форму статей, написанных нарочно для сего журнала», «для соблюдения единообразия» его.¹⁹ Таким образом, сразу же при начале журнала с полной определенностью было заявлено, что, несмотря на торжественное перечисление славных литературных имен на титульном листе, определять лицо издания будет его основатель, бессменный редактор и главный автор О. И. Сенковский, который издает не сборник произведений лучших русских писателей, а собственный журнал.²⁰ Свое право редактора, директора и совладельца «Библиотеки» он неоднократно отстаивал,²¹ и эту позицию нельзя объяснить лишь диктаторскими замашками Сенковского, поставившего себя выше всей русской литературы. Уже первый номер «Библиотеки для чтения» является образцом нового русского журнала, которому так или иначе будут следовать все энциклопедические журналы XIX века. Вместе с новаторскими формой, принципами организации и читательской ориентацией журнала приходят и новые конфликты, в том числе конфликт между редактором и авторами журнала. Жалкий пушкинский «альманашик» сменяется сильным и властным редактором, в руках которого сосредоточивается судьба произведения, а зачастую и самого автора. Отстаивая приоритетность редакторского начала в журнале, Сенковский проявлял себя как личность эпохи романтизма: образ редактора выстраивался по литературным канонам, ему придавались черты демонические и загадочные, «художественный» характер носила и сама журналистская деятель-

¹⁷ [Жанен Ж.] Искусство литературных объявлений. Сцена, списанная с натуры (Библиотека для чтения. 1834. Т. 1. Отд. 2. С. 79—84; об авторе см.: Библиотека для чтения. 1834. Т. 2. Отд. 7. С. 81; переводчик не указан).

¹⁸ Коммерческая сторона организации журнала рассмотрена в работе Д. И. Бернштейна «„Библиотека для чтения“ (1834—1865)», там же приведены стандартные размеры оплаты писательского труда в журнале, в том числе: «за одно только право внести имена литературных тузов в список сотрудников тузам было уплачено по 1000 руб. ассигнациями». Исследователь отмечает, что «уже первая книга журнала заставила понять, что тон в нем задают не литературные корифеи, как это имело место в большинстве других журналов, и что самое привлечение корифеев больше походило на ловкий коммерческий трюк» (Учен. зап. кафедры рус. лит. Мос. гос. пед. ин-та. М., 1939. Вып. II. С. 167—191).

¹⁹ Библиотека для чтения. 1834. Т. 2. С. I—IV.

²⁰ Исследователи уже отмечали, что именно первый номер журнала, его структура, содержание и дух недвусмысленно свидетельствовали об этом. Имея в своем распоряжении произведения лучших современных писателей, Сенковский опубликовал их в следующих номерах. В первом же номере даже по объему доминировали сочинения самого редактора.

²¹ См.: Библиотека для чтения. 1836. Т. 17. Отд. 6. С. 23—24; 1838. Т. 27. Отд. 6. С. 27—29; 1839. Т. 33. Отд. 5. С. 46, и др.

ность, в том числе взаимоотношения с авторами издания. С появлением «Отечественных записок» началось время редакторов-прагматиков. Конфликт между журналом и авторами не исчез, но стал более прозаическим, к тому же он утратил свою новизну, а с ней и остроту. Не случайно именно в 1840-е годы возникло понимание и признание некоторых журналистских принципов Сенковского у представителей самых разных литературных кругов.²² Только когда наконец появился сильный конкурент в лице «Отечественных записок», «Библиотека для чтения» перестала восприниматься как персонифицированное зло, несомое русской литературе коммерческой журналистикой.²³ Таковы, на мой взгляд, некоторые общие причины, вызвавшие жесткое неприятие журнала Сенковского литературным сообществом. Но, безусловно, очень многое объясняется и факторами, связанными с личностью и журналистской деятельностью самого редактора. Не претендуя на полноту освещения этой сложной проблемы и не стремясь к опровержению традиционного взгляда на нее, я хотела бы сосредоточиться на самом Сенковском, а не на его отражениях, исследовать личность, а не репутацию.

Издавая журнал, Сенковский ориентировался на западные образцы. «Библиотека» представлялась ему независимым органом, независимым от всех. Скандальное определение критики как выражения личного взгляда критика с проекцией на эпоху, стремление искать новые дарования там, где их никто не видит, скептический взгляд на сложившиеся литературные авторитеты, сомнения в достаточной зрелости и самостоятельности современной русской литературы, — во всем этом видно желание утвердить иную точку зрения на известные вещи, важную уже тем, что она иная. Сенковский стремился не к объективности, которая всегда казалась ему схематичной и упрощенной, происходящей от недостаточного знания, а к объемности, полифоничности, отражающей мир в его сложности, где на одно и то же можно посмотреть и трагически, и иронически. Не случайно многие его сочинения (беллетристические, научные, критические) подобны музыкальным импровизациям: одна и та же тема может разыгрываться в самых разных тональностях (и смысловых, и стилистических), вплоть до взаимоисключающих. Его вечная ирония вызвана парадоксальностью мира, где знание может оказаться несостоятельнее невежества,²⁴ где все ценности относительны, ибо легко превращаются в свои противоположности. Кажется, никто не обращал внимания на то, что первые тома «Библиотеки для чтения» наполнены автошаржами, ироническими комментариями к собственным текстам и журналистской деятельности,²⁵ что ерничество Сенковского направлено прежде всего на самого

²² Так, например, в 1846 году, отвечая отказом на просьбу М. П. Погодина выступить против нападок на редактора «Москвитянина», Н. А. Мельгунов признавался: «... в русской журналистике поведение Сенковского, не отвечающего на личные нападки, мне все больше нравится» (РГБ. Пог / II.20.86. Л. 20—20, об.). В марте 1851 года П. А. Вяземский сообщал тому же адресату: «А знаете ли, что Сенковский прав. Напрасно уделяете Вы в своем журнале определенное место разбор журналов. При случае можно сказать слова два о духе или бездушии того или другого журнала, но постоянно выносить сор из чужой избы не следует. (...) Стреляйте, но не по ярлыку на собственное имя. Пуля виноватого сыщет» (РГБ. Пог / II.7.81. Л. 11—11, об.). Небезынтересно и осторожное сопротивление Я. К. Грота непримиримой позиции Плетнева по отношению к «Библиотеке для чтения» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым: В 3 т. СПб., 1896. Т. 1. С. 221—253).

²³ Так, П. А. Плетнев сохранял отрицательное отношение к «Отечественным запискам», как и к журналу Сенковского, а В. И. Даль прошел сложный путь от безоговорочного неприятия к осознанию исторической необходимости подобного развития петербургской журналистики. Подробнее об этом см.: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. 1. С. 215, 378—379; Т. 2. С. 177, 214, 416—417; *Никитенко А. В.* Дневник. Т. 1. С. 290—291; Переписка В. И. Даля с М. П. Погодиным / Публ. А. И. Ильина-Томича // Лица: Биографический альманах. М.; СПб.; Париж, 1993. Вып. 2. С. 312—371.

²⁴ *Морозов О. А.* [О. И. Сенковский]. Воспоминания о Сирии (Затмение солнца) // Библиотека для чтения. 1834. Т. 5. Отд. 1. С. 38—41.

²⁵ Библиотека для чтения. Т. 1. Отд. 2. С. 62—63; 66—67; 79—83; Т. 4. Отд. 2. С. 38—39; Т. 5. Отд. 2. С. 5—6; 15—16, и др.

себя²⁶ и лишь затем на всех остальных. Ирония Сенковского была не оригинальничанием, не желанием повеселить публику, а частью присущего ему восприятия мира. При очевидной доступности и массовости «Библиотека» была журналом, побуждающим читателя к самостоятельному размышлению, ломающим стереотипные представления об общеизвестных вещах. Только облечено это было по преимуществу в форму литературной провокации, придающей большому числу выступлений Сенковского характер яркой, но скандальной известности, что, безусловно, способствовало всеобщему интересу к журналу, но одновременно обусловило его поверхностное прочтение.

Несогласие литераторов пушкинского круга с эстетической и журналистской направленностью «Библиотеки», проявившееся уже после выхода ее первого номера (Д. В. Давыдов выделил в стихотворной части только «Гусара» А. С. Пушкина,²⁷ Н. В. Гоголь смог прочитать лишь «Афоризмы» М. П. Погодина²⁸), было для Сенковского очевидно. И хотя в 1834 году он еще довольно осторожен в своих критических оценках, тем не менее идет по пути обострения, а не сглаживания отношений с авторами своего журнала. В пятом номере Сенковский публикует статью о «Новоселье»,²⁹ где называет Гоголя «малороссийским Поль-де-Коком»³⁰ и похода задает П. А. Вяземского. В последнем случае выпад был тем обиднее для автора, что в том же номере в отделении «Науки и искусства» была опубликована статья Вяземского «Тариф 1822 года, или Поощрение развития промышленности в отношении к благосостоянию государств и особенно России».³¹ Впрочем, имя Вяземского в статье о «Новоселье» не называлось: «Кроме имен Жуковского, Пушкина и Крылова, (...) многие второстепенные знаменитости Русского Парнасса (простите это классическое выражение!) причинились также своими трудами к умножению приятностей Светлой недели, отличившейся в нынешнем году выходом в свет этого издания. На праздники, когда чувство забавы бывает приведено в нас в раздражение, все потехи имеют для нас особую прелесть: на праздники и эти второстепенные стихи я читал с удивительным наслаждением. Теперь, на Фоминой неделе, они мне кажутся, совсем иначе, быть может, от того, что с Фомина Понедельника уже началось для них потомство».³²

С точки зрения Сенковского, это, безусловно, была невинная и очень осторожная шутка. Реакция Вяземского свидетельствует скорее о сложившемся к тому времени желании выразить свое неприятие направления нового журнала и предостеречь его издателя о последствиях, которые может иметь отклонение от первоначального плана «Библиотеки». Думаю, не невозможность публичного ответа,³³ а некоторая уязви-

²⁶ Я имею в виду прежде всего те места в произведениях Сенковского, которые касаются глубоко личных его переживаний (в наиболее яркой форме: «Любовь и смерть», «Предубеждение», «Брамбеус и юная словесность»), где высокий пафос и лирическая открытость всегда соседствуют с надрынным, натянутым гаерством — эффект железа по стеклу, то, что Каверин называл провалами вкуса (см.: Каверин В. А. Указ. соч. Л., 1929. С. 190), а В. К. Кюхельбекера бесило и восхищало одновременно (Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 341). Вероятнее всего, это было попыткой найти художественную форму для выражения противоречивой контрастности жизни путем намеренного внесения диссонанса в гармоничную мелодику.

²⁷ См.: Давыдов Д. В. Сочинения. Ч. 3. С. 159.

²⁸ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 294.

²⁹ О. С. Новоселье, ч. 2 // Библиотека для чтения. 1834. Т. 3. Отд. 5. С. 25—42. Статья атрибуирована П. С. Савельевым (см.: Сенковский О. И. Собр. соч. СПб., 1858. Т. 1. С. СХХVII).

³⁰ Гоголь не опубликовал в «Библиотеке для чтения» ни одного произведения. Единственное, «Кровавый бандурист», вероятно отданное редакции еще в 1833 году, было запрещено 27 февраля 1834 года цензурой по неприличию «самого предмета [повести] в нравственном смысле» (Лит. наследство. 1952. Т. 58. С. 545—546).

³¹ Библиотека для чтения. 1834. Т. 3. Отд. 3. С. 133—160.

³² Там же. Отд. 5. С. 42.

³³ В письме И. И. Дмитриеву от 18 апреля 1834 года, незадолго до описываемых событий, Вяземский отказывался выполнить просьбу адресата разоблачить рецензента «Московских ведомостей» (подписавшего восторженную статью о первом номере «Библиотеки» псевдонимом Дмитриева: И. Д.) и высказать мнение о новом журнале, сетуя на отсутствие в русской журналистике «благонадежного места, куда послать апелляцию» на «Библиотеку» (см.: Русский архив. 1868. Т. 1. № 4—5. С. 637—638).

мость повода для выступления вынуждает Вяземского прибегнуть к такому жанру литературной полемики, как открытое письмо. Вяземский обращается к Смирдину, желая дать издателю урок уважения к авторам, на которых до «Библиотеки» держалось любое повременное издание, и одновременно усиливая оскорбительность звучания его для редактора журнала подчеркнутым отказом в самой возможности стоять с ним на одной линии, даже и во враждебных лагерях. Известны две копии этого письма: писарская, хранящаяся в Остафьевском архиве,³⁴ на которой сверху рукой Вяземского написано: «Письмо мое к Смирдину, когда я отказался от участия в Библиотеке для чтения»; и выполненная рукой В. Ф. Одоевского.³⁵ Считал ли Вяземский нужным ознакомить с ним более широкий круг литературной общественности, нам не известно. Однако в его письме личная обида задетого критиком литератора превращалась в выражение мнения определенного литературного круга, в предостережение редактору от авторов его журнала: «М(илостивый) Г(осударь) Александр Филиппович. Когда я по неотступным просьбам Вашим согласился наконец дать несколько стихотворений во вторую часть Новоселья, я без сомнения не полагал напечатанием сих маловажных произведений приобрести много литературной чести. Целью моею было единственно удовлетворить чем-нибудь многократным и упорным Вашим домогательствам. Из признательности к моему снисхождению и за бескорыстное пособие мое книготорговому предприятию Вашему, Вы поместили в 5 книжке Биб(лиотеки) для Чтен(ия) отзыв о Новоселье совершенно неприличный. Не оскорбляюсь им и не удивляюсь ему; ибо я давно привык к невежливому, площадному и лакейскому тону наших критиков. Но чего я не мог ожидать от неизвестного мне нанимающегося у Вас в должности критика, того, признаюсь, ожидал я и вправе ожидать был от Вас. Чувства добросовестности и благопристойности должны были внушить Вам, что неуместно в одном из Ваших изданий отзываться неприличным образом о произведениях, которые выпросили Вы для помещения в другом Вашем же издании. Видя, что я ошибся, и не желая даже именем участвовать в журнале, столь явно противоречащем законам образованности и общежития, я требую, М(илостивый) Г(осударь), чтобы имя мое отныне исключено было из списка литераторов, означенных на обороточном листе Биб(лиотеки) для Чтен(ия), и чтобы в первой, следующей книжке оной было объявлено, что я требовал исключения сего, предоставляя себе при удобном случае объяснить публике, какие причины меня к тому побудили. С истинным почтением и проч.»³⁶

Начиная с шестого номера имя Вяземского (как и имя А. С. Хомякова) из списка на титуле было убрано, но само существование списка позволяло воздействовать на редакцию журнала. Сенковский не собирался предоставлять авторам возможность громко хлопнуть дверью при уходе, а главное, выполнив свою роль, необходимую в 1833 году, уже в 1834 году этот список был не нужен журналу: подписка росла, «Библиотека для чтения» ощутимо шла вверх, сам Сенковский, несмотря на то что был только фактическим, тайным редактором журнала,³⁷ находился в расцвете сил и был увлечен своим детищем. Глубоко оскорбленный номинальной отставкой, он не был склонен особо считаться с авторскими самолюбиями.³⁸ Список сотрудников был

³⁴ РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1309.

³⁵ РНБ. Ф. 539. Оп. 2. Ед. хр. 1584.

³⁶ В копиях имеются небольшие разночтения. Письмо печатается по писарской копии из архива П. А. Вяземского.

³⁷ В конце января 1834 года Сенковский был вынужден, хотя и «только для виду», отказаться от редактирования журнала. 31 января в «Северной пчеле» было напечатано его отречение (Северная пчела. 1834. № 25. С. 97—98). См. также: *Никитенко А. В.* Дневник. Т. 1. С. 135. До 1835 года номинальным редактором журнала был Н. И. Греч, с января по май 1835 года И. А. Крылов, с мая 1835 года до начала 1836 года Е. Ф. Корш (см.: Библиотека для чтения. 1835. Т. 12. Отд. 6. С. 58; 1836. Т. 17. Отд. 6. С. 23).

³⁸ Возможно, Сенковский считал, что именно их недовольство повлияло на решение С. С. Уварова об отстранении его от редактирования (см. об этом: *Никитенко А. В.* Дневник. Т. 1. С. 132—133, 135).

убран с титула в 1835 году (начиная с Т. 8), в 1836 году (с Т. 16) на его месте появился эпиграф из Сократа на греческом языке, отражающий растущее литературное одиночество редактора.³⁹

Письмо Вяземского критик помнил три года и, верный своей тактике ведения литературной полемики, ответил на него язвительной статьей в «Литературной летописи» в 1837 году.⁴⁰ Имя оппонента и здесь не названо. Сенковский размышляет о трудном ремесле критика, который постоянно ссорится с «добрыми и любезными людьми», пишущими посредственные стихи, потому что вместо любезности говорит им правду: «Если вы напишете и напечатаете правду, — вы враг, вы злодей, вы ненавистник самых дарований, вы достойны того, чтобы из стихотворений добрых и любезных людей накатать патронов и расстрелять вас горохом. Гнев поэта — беда, ненависть поэта — ужас». Далее рисуется портрет «доброего и любезного» стихотворца: «Стихи его выходят премиленькие, удобные для альбома, для пустой страницы журнала, для альманаха; они дают любезному человеку случай свести знакомство с литераторами, с издателями; они пособляют самому поэту приобрести какую-то маленькую известность, маленькое уважение, по праву десятилетней давности, потому что имя поэта беспрестанно встречается в журналах, в альманахах, в альбомах. Есть на бульварах, в театре, в обществах, лица, к которым привыкаете, которых вовсе не знаете, которых и знать не нужно; но если вы раз не встретите этих лиц в театре, на бульваре, в обществе, чего-то не достает вам, собрание кажется неполным; в том месте, где вы привыкли их видеть, как будто сделалось отверстие, как будто сквозной ветер дует на вас оттуда. В литературе тоже: есть имена, без которых как-то чего-то не достает в альманахе и журнале (...). Эти лица, необходимые для симметрии книжки, литературная *tapisserie*, для которой всегда есть пустые кресла в зале вежливого и расторопного хозяина». И не дай Бог, критику задеть стихотворное самолюбие, «и без того ужасно раздражительное. Стихотворство — болезнь, из рода нервных болезней». «Повествуют, что один из таких литературных *tapisseries* некогда поместил в альманахе, не знаю, право, какого народа и какого века, свои стихи, потому что в этот альманах первостатейные поэты того народа отдали было свои блестящие произведения. Какой-то критик, разбирая альманах, исчислил поименно блестящие произведения первостатейных поэтов, а о прочих пьесках, чтобы никого не обижать, вздумал сказать глухо, что в альманахе, дескать, находится еще много пьес разных второстепенных поэтов, которые можно прочесть с удовольствием (...). Он (поэт. — А. Ш.) ужасно разобиделся общим отзывом, взбесился, захворал и принес формальную жалобу начальству на своего критика, что „вот-де, милостивые отцы командиры, какая стала мне обида: в оном разборе одного альманаха поименно назвали первостепенными поэтами такого-то, и такого-то, и такого-то, а обо мне нет ни слова; не о том бью челом, что меня разругали, а что обо мне даже не упоминают: каковое нарушение всех приличий общежития и законов требует примерного и тяжкого наказания”». «Бедняжка добрый и любезный человек самым невинным образом стал навсегда у того народа смешным человеком, и, видя себя посмешищем, с огорчения наделал впоследствии еще много других несообразностей, которые вконец его уронили». Факт этот описан в творении врача Сиденгама «О стихотворной горячке» — приводится название по-латыни и выходные данные книги: 1666 год. Нам не известна непосред-

³⁹ Перевод для читателей появился только в 1839 году: «Да мне-то какой же срам, если другие не умеют ни думать обо мне благородно, ни отзываться справедливо?.. Ведь я вижу, что из прежних людей тоже совсем не одинаковым уважением пользуются у потомства те, которые поступали несправедливо, и те, которые сносили их несправедливости» (Библиотека для чтения. 1839. Т. 36; объявление о подписке на 1840 год).

⁴⁰ [Б. л.] Стихотворения Лукьяна Якубовича // Библиотека для чтения. 1837. Т. 23. Отд. 6. С. 1—4. Атрибутирована П. С. Савельевым (см.: Сенковский О. И. Собр. соч. Т. 1. С. СХХХI). В. А. Каверин обращает на нее внимание как на «небезынтересную полемику с каким-то анонимным автором» и свидетельство не любви Сенковского к поэзии (см.: Каверин В. А. Указ. соч. Л., 1929. С. 163, 248).

ственная причина появления этого выпада тремя годами позже. Впрочем, говоря о Сенковском, нельзя исключить и того, что он помнил старое оскорбление столько лет и по прошествии времени ответил со всей пылкостью свежей обиды.⁴¹

В ноябре того же года по поводу ожидаемого переиздания «Полного собрания сочинений Д. И. Фонвизина» Сенковский пишет о необходимости Вяземского перед читателями: «Не появится ли тут наконец та знаменитая и вожденная биография Фонвизина, которую, по заказу Солоева, написал некто князь П. А. В-ский и которую мы, бедные подписчики г. Солоева, должны получить, потому что таково было условие подписки? Мы без этой биографии жить не можем; она была нам обещана, а подобные обещания исполнять обязан всякий. Дайте нам биографию, за которую мы заплатили! Возвратите нам добро наше!..»⁴² По свидетельству А. В. Никитенко, Вяземский был сильно задет выпадом Сенковского и жаловался министру. Сам Никитенко воспринял эту ситуацию иронически,⁴³ но из-за реакции Вяземского дело вызвало общественный резонанс и наделало шума. Думаю, что здесь сыграла свою роль и июльская статья, на которую было сложно ответить по причине завуалированности для широкой публики ее адресата. Жалоба министру, требование не приглашать Сенковского на вечер, посвященный новоселью типографии А. Ф. Воейкова в ноябре 1837 года (на котором «были все наши „знаменитости“, начиная с Бурнашева и до генерала Данилевского»),⁴⁴ — Вяземский отвечает нелитературными способами,⁴⁵ ибо литературные не смогли противостоять Сенковскому и все возрастающему влиянию «Библиотеки для чтения» в русской литературе. Ни постоянные обличающие статьи «Московского наблюдателя», ни статья Гоголя в «Современнике» не достигли своей цели.⁴⁶ У круга литераторов, возмущенных журналом, оставался один способ борьбы с ним, — литературный бойкот. И он оказался наиболее действенным. Не имея возможности снять имена из списка, которого уже не было на обложке, хотя и вспоминая о нем, авторы могли покинуть единственный в это время широко читаемый русский журнал, и они это сделали, создав атмосферу литературной изоляции Сенковского. Причем процесс этот не был связан с появлением «Отечественных записок», представивших уже ушедшим из «Библиотеки» литераторам возможность публиковаться в другом массовом журнале.⁴⁷ В форме литературной демонстрации он произошел двумя годами раньше и был спровоцирован самим Сенковским, который, находясь в эйфории от только что возвращенного ему права официально называться редактором своего журнала, опубликовал в середине 1836 года известную статью о волшебном ящике «Библиотеки для чтения», «перемалывающем» плохие произведения в хорошие: «Есть писатели, которые пишут прекрасно в одной только „Б(иблиотеке) для ч(тения)“».

⁴¹ Н. А. Полевому, объявившему сразу после ухода из «Библиотеки» войну ее редактору, Сенковский ответил через пять лет, но это был ответ своему сотруднику, предавшему, по мнению редактора, того, кто в тяжелую минуту предложил ему руку помощи. См.: *Сенковский О. И. Письма Е. Н. Ахматовой // Русская старина. 1889. Т. 62. № 5. С. 297—299; Каверин В. А. Указ. соч. Л., 1929. С. 112—125, 141—150.*

⁴² Библиотека для чтения. 1837. Т. 25. Отд. 6. С. 41. Обвинение в обмане и невыполнении обязательств перед читателями, как один из наиболее существенных аргументов в журнальной полемике, неоднократно использовалось Сенковским, в частности и в известной истории с «Васолой», изданной А. С. Пушкиным.

⁴³ См.: *Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. С. 202* (запись от 7 ноября 1837 года).

⁴⁴ Записки И. П. Сахарова // *Русский архив. 1873. С. 941—949; Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. С. 201—202.*

⁴⁵ О цензурных препятствиях, чинимых Вяземским в 1850-е годы Сенковскому-журналисту, см.: *Каверин В. А. Указ. соч. С. 205.*

⁴⁶ Подробнее о «священной войне» «Московского наблюдателя» против Сенковского и его журнала см.: *Каверин В. А. Указ. соч. С. 69—74.*

⁴⁷ Большинство мемуаристов и исследователей связывают эти два одновременных события, которые обозначили своего рода вехи «континентальной блокады», объявленной Сенковскому, и привели, в числе прочих причин, к глубокому личному кризису редактора «Библиотеки для чтения» в начале 1840-х годов, определившему ее дальнейшую судьбу (см. об этом: *Исторический вестник. 1891. Т. 45. № 8. С. 313—314*).

Когда они печатают в „Б(иблитеке) для ч(тения)“, слог их жив, плавлен, разнообразен, обороты их исполнены ловкости и вкуса, содержание мило и порой остроумно, но пусть только напечатают они в другом месте то же самое или что-нибудь новое, все эти качества вдруг улетают из-под пера. Ежели это не колдовство, так уж, верно, особенное качество бумаги, на которой печатается „Б(иблитека) для ч(тения)“ (...). У „Б(иблитеки) для ч(тения)“ есть ящик — что уж таиться в этом! — есть такой ящик с пречудным механизмом внутри, работы одного чародея, в который стоит только положить подобный рассказ, чтобы, повернув несколько раз рукоятку, рассказ этот перемололся весь, выгладился, выправился и вышел из ящика довольно приятным и блестящим, по крайней мере, четким». ⁴⁸

Пolemический ответ на эти откровения редактора «Библиотеки для чтения» был написан В. И. Далем, ⁴⁹ и хотя его статья не была опубликована, ее созвучие возникшему к этому времени желанию противостоять журналу Сенковского определило форму литературного протеста — «именем Слова, нашего общего отзыва и отклика». Не ополчение, которого не стоит, по словам Даля, «общий враг наш», а обструкция: «Имена сотрудников исчезли с обертки Библиотеки; нам говорят ныне просто, что все известные писатели участвуют в этом издании. Можно при нынешних обстоятельствах ожидать, что многие захотят откликнуться на приглашение: „не суйся“, ⁵⁰ и скажут целому свету, участники они, или нет. Не знаю, что будет молотъ наш почтенный ящик с рукояткой, когда у него не станет мелева; придется, покачивая головою, встряхивать и пересыпать обмолки и отруби (...). Прикованные судьбою к тяжкому ярму поденщики да несут крест свой смиренно; сострадайте о них, друзья, но чтите их, да не оскорбит их неосторожный упрек наш. (...) Итак, о писателях, осужденных судьбою на то, чтобы писать за деньги, ни слова; но, какой вольный казак словесного царства потерпит над собою и над своим художеством самовластие этого хивинского хана?» ⁵¹

Вместе с тем общественный пафос и благородное негодование статьи Даля ⁵² вызваны (или усилены) скорее другой публикацией более частного характера: во второй книжке того же тома «Библиотеки для чтения», в той же «Литературной летописи» помещена рецензия Сенковского на «Были и небылицы казака Владимира Луганского, книжка третья», ⁵³ — один из лучших примеров его иронии, стильная пародия в сочетании с язвительнейшей критикой: «Эй, кума Соломонида, не проплясать ли нам какого-нибудь критического казачка по случаю этой литературы впрысядку? (...) Ве-

⁴⁸ [Б. л.] Рассказы дяди Прокопия, изданные А. Емичевым // Библиотека для чтения. 1836. Т. 17. Кн. 1. Отд. 6. С. 6—9.

⁴⁹ Статья Даля «Во всеуслышание» была найдена П. Бартевым среди писем разных лиц к Пушкину и опубликована в «Русском архиве» (1880. Кн. 3. № 2. С. 473—480), после чего практически выпала из поля зрения исследователей. Вышеупомянутая статья Сенковского многократно и довольно подробно анализировалась и цитировалась, а о непосредственной реакции на нее В. И. Даля не вспоминает, кажется, никто. Статья подписана 16 августа 1836 года. П. Бартев предпологал, что она была прислана для публикации в «Современнике», однако Пушкин не успел ее напечатать. Представляется более вероятным, что Пушкин и не собирался делать этого.

⁵⁰ Демонстрируя на примере рассказов А. Емичева, опубликованных отдельным изданием в авторском, а не в «библиотечном» варианте, необходимость редакционной правки подобной литературы для «соблюдения всего удовольствия читателей и следственно всей пользы самого издания», редактор называет жалобы таких авторов притворными: «Чего тут жаловаться? Не хотите быть переправлены? Не суйтесь в Б. для Ч.: вы же знаете, что есть такой ящик!» Причем Сенковский подчеркивает, что речь идет именно об авторах, подобных Емичеву: «Подле тех отличных произведений, какими первые наши писатели поочередно украшают Б. для Ч., она, из одного уважения к ним и к своим читателям, не может помещать у себя трудов необделанных и без приличной изящности» (Библиотека для чтения. 1836. Т. 17. Отд. 6. С. 8—9).

⁵¹ Русский архив. 1880. Кн. 3. № 2. С. 473—480.

⁵² Портрет торжествующего над всей русской литературой «бога тьмы», «восточного Иблиса», сатаны Сенковского принимает у Даля почти апокалиптические черты. Возвышенный тон статьи придает фигуре редактора журнала характер национального бедствия, иноземного нашествия, пришествия Антихриста на русскую землю.

⁵³ Библиотека для чтения. 1836. Т. 17. Кн. 2. Отд. 6. С. 30—31. Атрибутирована П. С. Савельевым (см.: Сенковский О. И. Собр. соч. Т. 1. С. СХХХI).

даешь ты, казаче Владимир (...), что рассказы твои, в переметной казачьей сумке, шерстью вверх, чтобы дождь с них жемчугом скатывался, а их не мочил, нам любви, больше чем беззубой старухе зубы, мужику лапти новые, а ребенку ватрушка с маслом. Умеешь ты, казак Луганский, сказку сказать, скорее чем стриженная девка косу заплетет; а сказка такая выходит у тебя знатная, словно скатерть камчатная, ус казачий, ключ гремячий. (...) Слово есть, мысль придет сама собой, ведь ее не турок с хреном съел, подавился, да промолвился (...). А собрались, знаешь ты, мужики, дураки, заолешане, думали, гадали: „Куда-де он хитер, Казак Луганский! Будто хмель золотой по тычинке вьется; змейкой со словечка на словечко переходит; подбоченится, да и давай завивать кудри у сказки, либо небылице, красной девице, русу косу расчесывать!” Они так помаячили, да и спросили у дяди Софрона, любви ли ему сказки Луганского. А дядя Софрон, знаешь, мужик ражий, грамотей, начетчик, по складам Еруслана Лазаревича прочел, — погладил бороду, усы раскинул: „Дураки вы”, говорит, „пирогов наелись и думаете, будто пообедали. Сказка слово, вестимо дело: да в слове-то надобно дело, сиречь (...) смысл, чтобы слово сквозь уши пролетало, а мысль на ретивом оставалась; а то слово да слово, красиво и пестро, да не тепло: от него уму-разуму потехи нет! Пожалуй, намелю я вам слов с три короба, а сказки все-таки не будет. Язык-то без костей; торгуй словами, да и разуму-то магарычи плати. Ась?” Тут дядя Софрон крякнул вот этак — „Гм!” и пошел, а я подслушал, да и маракую: „Сем-ка я запишу, да пошлю к грамотным: авось в словах-то Софрона какого толку добьются, и Казаку Луганскому весть дойдет, что дядя Софрон баял”. И послал я, кумушка Соломонида: не знаю, что скажут. Чай скажут: „Ладно, брат Емелиян! Какова литература, такова и критика”». ⁵⁴

Сенковский действительно умел создавать себе врагов. Но вне зависимости от того, руководило автором «Во всеуслышания» желание заступиться за всю русскую литературу, попорченную и униженную «шайтаном» и «искусителем», или личная обида, нанесенная «злым духом искажения, неправды, фиглярства, казарменного скоморошества», инвективы Даля объективно отразили мнение многих авторов журнала, призыв к бойкоту был услышан и поддержан.

Вопрос о том, кого из своих авторов правил, а кого нет Сенковский, продолжал выясняться еще и в 1838 году. В «Литературных прибавлениях» ⁵⁵ появилась статья «Литературные известия и замечания», воейковская «пилюля для поляка Сеньковского», ⁵⁶ в которой утверждалось, что лучшие русские писатели приняли участие в журнале только по просьбе Смирдина, «предполагая, что „Библиотека для чтения” будет простым собранием статей русских сочинителей», т. е. продолжением «Новоселья», а в 1835 году, поняв, что журнал стал «выражением частных мыслей одного неизвестного лица», и чувствуя свою ответственность перед публикою, «после некоторых увещеваний, оставшихся втуне, они потребовали от Смирдина» снять свои имена с обложки журнала, что «по их требованию, а не по какой-либо другой причине, и было исполнено», и прекратили все сношения с «Библиотекой для чтения»: ⁵⁷

⁵⁴ Библиотека для чтения. 1836. Т. 17. Кн. 2. Отд. 6. С. 30—31.

⁵⁵ Литературные прибавления к Русскому инвалиду. 1838. 23 июля. № 30. С. 596.

⁵⁶ См. письмо А. Ф. Воейкова А. А. Краевскому от 6 июля 1838 года (РНБ. Ф. 391. Ед. хр. 248. Л. 16).

⁵⁷ Непосредственным поводом для выступления Воейкова послужила статья Сенковского «Сочинения Николая Греча» (Библиотека для чтения. 1838. Т. 27. Отд. 6. С. 25—30; атрибуцию П. С. Савельева см.: Сенковский О. И. Собр. соч. Т. 1. С. СХХХI). Опровергая высказанные в предисловии к «Сочинениям» утверждения Булгарина об особой роли Греча в редакции «Библиотеки для чтения» в 1834 году, Сенковский, между прочим, писал в ней, что журнал «никогда не издавался от имени всех русских литераторов», а только от имени двух его основателей и владельцев: «В первом году, на наружной стороне обертки Б. для Ч. напечатано было около сорока имен различных литераторов, которые изъявили желание быть сотрудниками: но это напечатано было единственно по доброй воле О. И. Сенковского, и на следующий год по его же усмотрению уничтожено».

«Доныне нам известны имена следующих лиц, которые никогда не позволяли и не допускали никаких перемен в статьях, помещаемых ими в Б. для Ч. — Е. А. Баратынский, А. Ф. Воейков, князь П. А. Вяземский, Д. В. Давыдов, В. И. Даль (казак Луганский), В. А. Жуковский, И. А. Крылов, А. С. Норов, князь В. Ф. Одоевский, М. П. Погодин, А. С. Пушкин и С. П. Шевырев». Если оставить в стороне поэтов (хотя Сенковский ухитрился слегка подправлять и стихотворения)⁵⁸ и А. С. Пушкина (публиковавшего в журнале и прозу),⁵⁹ то прочие имена вызывают определенные сомнения. Так, Д. В. Давыдов неоднократно возмущался правкой своих прозаических статей,⁶⁰ конечно, небольшой, но разрушающей, по мнению автора, красоту и законченность его фразы. Есть свидетельства о довольно значительных правках в статьях Погодина.⁶¹ Слишком острая реакция Даля на статью о перемалывающем ящике «Библиотеки для чтения» наводит на мысль о возможном вторжении редактора и в его произведения.⁶² Список явно составлен не в стремлении выявить истину, а исключительно для того, чтобы определить круг литераторов, принципиально разорвавших с «Библиотекой» литературные отношения. Воейков включает сюда и писателей, имена которых были выставлены на обертке журнала, но которые «вовсе не помещали» в нем своих произведений, — Н. В. Гоголя, П. А. Плетнева, Н. М. Языкова. Статья Воейкова не всегда фактологически достоверна, но она исключительно точно выражает мнение обиженных редактором литераторов и подытоживает закончившийся к этому времени уход из журнала многих его постоянных авторов: с середины 1836 года в «Библиотеке» больше не публикуются В. Ф. Одоевский, В. И. Даль, М. Н. Загоскин и Ф. В. Булгарин; с 1837 года В. А. Жуковский и Д. В. Давыдов; а М. П. Погодин, А. С. Норов и С. П. Шевырев перестают печататься здесь еще в 1834—1835 годах.⁶³

⁵⁸ В. К. Кюхельбекер жаловался племянникам Б. Г. и Н. Г. Глинкам в письме от 18 октября 1834 года на изменения, сделанные редакцией «Библиотеки для чтения» в его «Пахоте Степанове» (Библиотека для чтения. 1834. Т. 3. Отд. 1. С. 221—224) и превращающие некоторые строки «в совершенную бессмыслицу» (Лит. наследство. 1954. Т. 59. С. 446, 448).

⁵⁹ Тема отношений Пушкина и Сенковского чрезвычайно интересна и требует особого исследования. Но, несмотря на ряд выпадов, связанных с намерением Пушкина издавать «Современник», а отчасти и в связи с ними, можно сказать, что Сенковский относился к нему с большим уважением и осторожностью, не только как к потенциальному автору, но прежде всего как к личности. Кроме того, было бы интересно проследить ряд совпадений в их взглядах и оценках, в том числе и литературных явлений, а также проанализировать совершенно пушкинские фрагменты в прозе Сенковского.

⁶⁰ «Когда-то я избавлюсь от губительных поправок Сенковского, который взял на себя коверкать не только мой слог, но и мои мысли: есть места, которых никак не узнаешь» (см. письма Н. М. Языкову, И. Г. Салаеву и А. И. Михайловскому-Данилевскому 1835 года: *Давыдов Д. В. Сочинения*. Ч. 3. С. 154—155, 158, 171; а также: *Русская старина*. 1893. Т. 77. № 1. С. 253—255).

⁶¹ Ср.: «Несмотря на негодование Погодина, когда Сенковский переделал по-своему его статью, — за которую заплатил сполна, хотя с его прибавками она вышла в полтора раза больше, — через пятнадцать лет, выпустив в свет полное собрание своих сочинений, он напечатал эту статью так, как Сенковский ее изменил» (Воспоминания Е. Н. Ахматовой // *Русская старина*. 1890. Т. 67. № 8. С. 348). См. также: *Старческий А. В. Последние десять лет жизни барона Брамбеуса // Наблюдатель*. 1884. № 11. С. 325.

⁶² Несколько статей Даля в «Энциклопедическом Лексиконе», по его собственному признанию, были «частично искажены и исполнены неправдой барона Брамбеуса». О правках в «библиотечных» статьях нам ничего не известно. Возмущение «Библиотекой для чтения» и «журнальными шутами критическими» в письмах В. И. Даля зачастую доходит до грубости (см., например: *Переписка В. И. Даля с М. П. Погодиным*. С. 294, 312).

⁶³ В 1840-е годы В. И. Даль и М. Н. Загоскин вновь стали публиковаться в «Библиотеке». Даль объяснял свое участие в журнале, в ущерб «Москвитянину», тем, что «Брамбеус дожил-таки до того, что и никто не дает ему своих статей и, передавая журнал, дает расписку, что не смеет более мудрить и переправлять статьи» (письмо С. П. Шевыреву 1843 года: *Русский архив*. 1878. Кн. 2. № 5. С. 65). Действительная же причина, вероятно, заключается в материальной стороне, на которую делал ставку Сенковский в своих отношениях с авторами. К концу 1840-х годов кардинально меняется и само отношение Даля к принципам петербургской журналистики, основанной «Библиотекой для чтения» (см. об этом: *Переписка В. И. Даля с М. П. Погодиным*. С. 314—336; 359—360; 370—371).

Их уход был воспринят редактором в контексте литературной войны, которую он вел один против всех (потому что все вели ее против него), ожесточившей Сенковского и окончательно превратившей его в мизантропа к концу 1830-х годов.⁶⁴ Сенковский считал его за личное оскорбление, посягательство на свои редакторские, а к тому времени и собственнические права на журнал, за стремление вынудить к капитуляции. Прекрасно понимая значение участия лучших русских литераторов для журнала, он не мог тем не менее отказаться от созданного им самим образа гордого одиночки, от максималистского разрешения конфликта: или редактор, или авторы, — Сенковский ни разу не высказал сожаления об утрате этих авторов «Библиотекой для чтения» (за исключением Загоскина, которого как сотрудника редактор высоко ценил и интенсивно правил)⁶⁵ и сделал все возможное для доказательства, что журнал может существовать и без них. Прогнозируемого Далем «падения» «Библиотеки» не произошло, и потому что в ней, как точно заметил В. А. Каверин, «отделение русской литературы было почти случайным»,⁶⁶ и потому что секрет читательского успеха и своеобразия журнала Сенковского был совсем не в лучших произведениях лучших русских писателей. Даже в период глубокого и затяжного кризиса 1840-х годов, прежде всего связанного с усталостью и потерей интереса к журналу самого редактора, «Библиотека для чтения» сохраняла высокие тиражи, разнообразие и занимательность материалов.⁶⁷ Но то, что в 1834 году было шуткой, веселым поддразниванием сильных мира сего (в том числе и литературного), интеллектуальной игрой, вызвало не ответные эскапады противников, а затяжные литературные конфликты, признание оказалось не тем, на которое рассчитывал Сенковский. Литература в России всегда была делом серьезным. И потеряв высокую литературную значимость первых лет своего существования, заменив литературу на беллетристику, временами даже художественное чтение, сделав ставку на энциклопедизм, а не на литературу, «Библиотека» потеряла очень многое. Создав журнал одного человека, дав ему определенное лицо и необычайную целостность, Сенковский лишил его объемности и полифоничности, которую могут дать журналу лишь разные таланты, и как следствие, праздничной яркости и многокрасочности первых томов.

⁶⁴ Описывая состояние Сенковского в это время, А. В. Старчевский, безусловно, передает его собственные чувства: «...оставившие его корифеи русской литературы подняли против него страшную вражду: клеветам, изветам, инсинуациям не было конца. Сенковский никак не ожидал этого и решительно упал духом», «в апогее своей славы и успеха» он «хотел бросить издание журнала, даже совсем перестал писать» (Исторический вестник. 1891. Т. 45. № 8. С. 313—314). В 1840 году Сенковский даже передал на полгода редактирование Э. И. Губеру, однако вмешательство цензуры и настойчивость А. Ф. Смирдина заставили его вернуться в «Библиотеку» (см. об этом: РГИА. Ф. 777. Оп. 1. Ед. хр. 1183. Л. 17—29).

⁶⁵ См. письмо О. И. Сенковского А. В. Никитенко о редакторских правках в повести Загоскина «Кузьма Роцин» (ИРЛИ. Ед. хр. 18671. Л. 33); переписку О. И. Сенковского и М. Н. Загоскина 1835—1840 годов (РНБ. Ф. 291. Ед. хр. 37); Русская старина. 1902. Т. III. № 7. С. 87—95.

⁶⁶ Каверин В. А. Указ. соч. Л., 1929. С. 75.

⁶⁷ Это признавали даже критики журнала. В августе 1838 года в письме к И. И. Панаеву Белинский характеризовал «Библиотеку для чтения» как «превосходный журнал для большинства» (цит. по: Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1988. С. 317). В 1845 году, обсуждая с Н. Х. Кетчером вопрос о покупке журнала, А. И. Герцен выражал желание приобрести именно «Библиотеку», «потому что она имеет еще ход и репутацию» (Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1961. Т. 22. С. 232—233).

А. С. ПУШКИН В СОЗНАНИИ ПОМОРОВ (конец XIX—начало XX века)

Жизнь Пушкина в сознании поколений — проблема, которая, естественно, привлекала и привлекает внимание исследователей.¹

Но тему «Пушкин в читательском сознании поколений» отнюдь нельзя считать исчерпанной. Причем, если мы располагаем материалом о восприятии творчества Пушкина образованными людьми — критиками, художниками, композиторами и т. д., а также некоторыми данными о жизни Пушкина в сознании читателей 1920—1990-х годов, то о восприятии его «простым» читателем — крестьянами, городским мещанством в XIX—начале XX века мы знаем очень мало, а о восприятии Пушкина рабочими в этот период — практически ничего. Поэтому как конкретная информация, так и исследование в этой области достаточно актуальны.

В центре нашего внимания — материалы, которые раскрывают отношение населения Поморья к Пушкину в конце XIX—начале XX века. Эта тема представляет интерес не только локальный. Особую значимость ей придает то обстоятельство, что поморы — крестьяне, промысловики, морепроходцы, рыбаки и т. д. в силу целого ряда социально-исторических факторов на протяжении нескольких столетий составляли одну из наиболее грамотных групп населения России.

Мы располагаем целым рядом источников по этой теме. Это очерк архангельского писателя и художника С. Г. Писахова «Пушкинисты на Новой Земле», где автор передает беседы поморов-промысловиков о Пушкине, свидетелем которых он был в 1905 году; воспоминания К. П. Гемп, которая с начала XX века в течение многих лет бывала в поморских селениях, беседовала с их жителями и веда записи этих бесед; сказ Б. В. Шергина «Пушкин архангелогородский», в основе которого — рассказы архангелогородки М. Э. Генриксен о Пушкине, записанные в первые десятилетия XX века; очерк Б. М. Зубакина «Пушкин и Архангельск», опубликованный в 11-м номере журнала «Звезда Севера» за 1934 год, и некоторые другие материалы из периодики и архивов. Все они свидетельствуют, что поморы — промысловики, крестьяне, городские жители, чьи высказывания о Пушкине записаны в рассматриваемый нами период, знали произведения Пушкина. «В Беломорье я много раз встречалась с читателями — почитателями Александра Сергеевича, — писала К. П. Гемп, — и не только убедилась, но и поразилась известности его среди местного населения: она была шире известности каких-либо других писателей. Читали сказки, поэмы, стихи, „Историю Пугачева“».²

Интересно в этом отношении письмо Григория Шульгина из Ильинско-Подомского от 15 июня 1899 года в редакцию газеты «Сельский вестник», которая попросила своих читателей сообщить: «Насколько известно в народе имя Пушкина? Какие сочинения его наиболее читаются народом?.. Что простой народ знает и думает о Пушкине?»³ «...Я удивляюсь, что про досточтимого писателя А. С. Пушкина мало знают и даже совсем не знают во внутренних губерниях России, что оказывается из писем, помещенных в „Сельском вестнике“», — пишет Г. Шульгин. В Ильинско-Подомской волости, которая «заброшена почти на край самого Севера, — продолжает он, — и то

¹ См., например: *Топоров А. М.* Крестьяне о писателях. Первое издание — М.; Л., 1930; *Мейлах Б. С.* Народ и поэт // Мейлах Б. С. Талисман: Книга о Пушкине. 2-е изд. М., 1984. С. 168—226; *Усок И. Н.* Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и его восприятие в России XIX—XX вв. // *Русская литература в историко-функциональном освещении.* М., 1979. С. 229—302.

² *Гемп К. П.* Сказ о Беломорье. Архангельск, 1983. С. 219.

³ *Сельский вестник.* 1899. № 17. Подробнее об этом см.: *Мейлах Б. С.* Указ. соч.

много знают о Пушкине, действительно читают... с большой охотой», книги идут «с рук на руки».⁴

И еще отрывок из письма в «Сельский вестник» пинежского крестьянина Ивана Кулешова от 20 июня 1899 года: «...бывши я, лет 40 назад в Ножме, бывшего Мезенского, ныне Печорского уезда, и по знакомству с одним ножемским зыряниним, любившим выписывать стихотворения, из коих одно Пушкина я читал и припомню... Остальное, хотя очень мне нравилось, но улетучилось из памяти. Выписывающий их очень интересовался рифмами, и нередко прочитывал своим знакомым, которые также удивлялись способностям и отзывались с похвальной стороны».⁵

Крестьянин Василий Пышкин из Шенкурского уезда Архангельской губернии сообщает, что в Устьпаденгской волости поют общеизвестные песни на стихи Пушкина, как например «Черную шаль».⁶

Совокупность названных выше источников позволяет несколько конкретизировать перечень произведений Пушкина, известных жителям Беломорья еще до 1917 года: сказки — о попе и о работнике его Балде, о рыбаке и рыбке, «Борис Годунов», «Повести Белкина», «Дубровский», «Капитанская дочка», «Полтава», «Евгений Онегин», «Руслан и Людмила», «Цыганы», «Медный всадник», лирические стихотворения: «Анчар», «Зимний вечер», «Утопленник», «Воспоминание (Когда для смертного умолкнет шумный день...)», «К морю», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др.

Произведения Пушкина (или отрывки из них) многие поморы, в том числе и неграмотные, — старик Николаич,⁷ П. М. Деревлев из Сюзьмы, А. Я. Залесская из Чуболы⁸ и др. знали наизусть, пушкинские выражения свободно употребляли в речи. Об этом свидетельствовала и О. Э. Озаровская, с 1915 года неоднократно бывавшая на Пинежье.⁹

Знакомству широкого круга поморов с Пушкиным способствовал выход в свет в конце XIX века, начиная с 1887 года, нескольких дешевых изданий его произведений, а также столетие со дня рождения Пушкина, которое в Архангельской губернии отмечалось очень широко.

В Архангельске Пушкинские празднества продолжались с 26 по 30 мая. Они открылись панихидой по Пушкину в кафедральном соборе. На торжественных актах в театре и зале городской думы присутствовали все учащиеся гимназий и училищ. Звучали речи о Пушкине, его произведения, романсы на его стихи. 27 мая в Александровском летнем саду обществом трезвости было устроено бесплатное детское гулянье, на которое собралось около трех тысяч человек, а 30 мая — вечернее народное гулянье. С большим успехом прошел «феерический спектакль, поставленный вечером 27 мая в городском театре любителями драматического искусства при участии кружка любителей пения и военного оркестра городского батальона... Спектакль был скомпонован из произведений юбиляра... Симпатичная цель спектакля, чистый сбор с которого предназначался на образование стипендии имени А. С. Пушкина в женской гимназии, высокий повод его постановки — юбилей Пушкина... масса участвующих в живых картинах — все это возбудило громадный интерес в публике... Театр был переполнен, и билетов не хватало, несмотря на приставленные стулья...», — писала газета «Архангельские губернские ведомости».¹⁰ На следующий день этот спектакль был повторен бесплатно для учащихся города.

⁴ ИРЛИ. Ф. 138. № 29. Л. 66.

⁵ Там же. № 12. Л. 30.

⁶ Сельский вестник. 1899. № 22.

⁷ Писахов С. Г. Сказки. Очерки. Письма. Архангельск, 1985. С. 217.

⁸ Гемп К. П. Сказ о Беломорье... С. 224.

⁹ См.: Писахов С. Г. Сказки. Очерки. Письма... С. 219.

¹⁰ См.: Архангельские губернские ведомости. 1899. 9 июня. № 50. См. также № 38, 43, 46, 48, 55 с описанием Пушкинских торжеств.

Три дня продолжались Пушкинские торжества в Онеге. На праздник в Холмогорах, который проходил в приходском училище, были приглашены и доставлены на карбасах учащиеся из соседних Ломоносовского, Курейского, Верхнематигорского училищ.

Ученики и ученицы выпускных классов гимназий получили в дар собрания сочинений Пушкина, все учащиеся Архангельского городского и приходских училищ — томики его избранных сочинений. Более двух тысяч экземпляров портретов и книжек Пушкина получили воспитанники приютов и учебных заведений Архангельска на бесплатном городском детском гулянье. Более 1800 экземпляров книг Пушкина было роздано на вечернем народном гулянье 30 мая. На празднике в Холмогорах ученикам также подарили книги Пушкина.

В поморских семьях сочинения Пушкина в начале XX века не были редкостью. В 1910 году в состоявшейся из сорока трех томов домашней библиотечке жительницы одной из поморских деревень В. Агафеловой насчитывалось девятнадцать книг Пушкина. В. Агафелова призналась, то она «больше всего любит читать сказки и стихи Пушкина», как и члены ее семьи.¹¹

Приведем еще ряд отзывов поморов о Пушкине. «Личное чувство мое к Александру Сергеевичу преисполнено благодарности, потому что, не учась в училище, а зная только грамоту, я много узнал через его творения», — писал 7 июня 1899 года в редакцию «Сельского вестника» крестьянин из деревни Ракула Холмогорского уезда Архангельской губернии Никифор Павозков.¹²

Крестьянин Павел Кучин из деревни Миневской Великоустюгского уезда — в письме от 7 июня 1899 года: «...как я человек мало грамотный, но все-таки по милости Божией могу отличать худо от добра, то я считаю долгом засвидетельствовать свою признательность к даровитому писателю А. С. Пушкину... Пусть почивает прах его в недрах Земли. А его прекрасные сочинения пусть разносятся по всему миру Земли родной матушки России. Что я читывал о Пушкине и его стихи, для меня все хорошо, мило, дорого, нравственно... все глянется, как бы наполняет свежестью. Молю Бога, чтобы Господь давал России подобных Пушкину людей, такие люди нужны для России и ея народа».¹³

Поморов радовала близость пушкинских сказок к народным. «Видно, Орина Родионовна, нянька Александра Сергеевича, сказки брала из того же места, откуда и наши старики берут», — заметил промышленник Николаич, рассказав своим товарищам — артельщикам на Новой Земле уже знакомую им сказку о попе и о работнике его Балде, довольный тем вниманием, с каким слушали ее, как «рассыпались хохотом, когда поп получил урок от Балды. Смеялись долго, повторяли отдельные, видимо, уже заученные места».¹⁴

Привлекала поморских промышленников и крестьян доступность, понятность пушкинских произведений. «О всем скажет, и все понятно», — говорила Варвара Агафелова.¹⁵ О том же говорили и пинежане, с которыми беседовал о Пушкине Б. В. Шергин: «В еговых словах не заблудиссе... все-то видишь, все-то понятно».¹⁶

Это «все-то видишь» очень характерно для поморов, которые остро чувствуют и ценят живописность, «изобразительность» пушкинских образов, рождающих яркие читательские образы-видения. «Запало мне стихотворение „Анчар“, — рассказывала А. Я. Залесская. — Анчар — дерево невидное, ствол, ветки кривые, корявые, шершавые, с бородавками... Листы зеленые, а не светят, стучат на ветру, как жесьь какая».¹⁷

¹¹ Гемп К. П. Сказ о Беломорье... С. 226.

¹² ИРЛИ. Ф. 138. № 17. Л. 1, об.

¹³ Там же. № 12. Л. 80.

¹⁴ Писахов С. Г. Сказки. Очерки. Письма... С. 217.

¹⁵ Гемп К. П. Сказ о Беломорье... С. 226.

¹⁶ Шергин Б. В. Пинежский Пушкин // Шергин Б. В. Повести и рассказы. Л., 1984. С. 321.

¹⁷ Гемп К. П. Сказ о Беломорье... С. 222.

Судя по высказываниям многих поморов — почитателей Пушкина, они высоко ценят точность и емкость пушкинского слова-образа. «И он послушно в путь потек, — делится А. Я. Залесская впечатлениями о пушкинском «Анчаре». — Слово-то какое — „потек“... Как вода бездумная, безудержная... послушаться не смеет, и никто не смеет его остановить».¹⁸ Старый помор из Сюзьмы П. М. Деревлев, одним из любимых произведений которого было пушкинское «К морю», говорил: «Слова-то какие — „свободная стихия“... „шуми, волнуйся подо мной, великий океан“... „Подо мной“, — сказал. Не знаю, не слыхал больше других таких стихотворцев, умен, а, кажись, не стар был».¹⁹

«Пушкин... выразил в стихах и прозе совершенство русских речений», — пишет холмогорский крестьянин Н. Павозков.²⁰

Поморов восхищают мудрость, глубина пушкинских творений, рождающих у них серьезные размышления. Пожилая поморка задумалась над строками пушкинского «Воспоминания»: «...почему строк печальных не смывает? То ли не может? Нет забвения... Не хотел он смывать прошлую свою жизнь, душу не хотел опустошать... Забвение — значит легкость души, сердца бедность. Память о прошлом подскажет, как правильно жить».²¹

Близко поморам пушкинское светлое мировосприятие, жизнеутверждающий пафос его произведений. «Сын дню, дитя свету» — так называют они Пушкина.²²

Северные женщины — почитательницы Пушкина ценят его психологизм. «Александр Сергеевич понял натуру женскую», — замечает старая поморка о поэме «Цыганы», героиня которой, Земфира, особенно «запала» ей в сердце. «Не осуди Дашу (так!)... понял, а молод еще был», — говорит другая женщина о «Станционном смотрителе».²³

Выросшие «у песенных рек» (выражение Б. Шергина), в атмосфере фольклорной стихии, поморы тонко чувствуют красоту пушкинского стиха, его музыку: «Землю, как цветами, стихами украсил».²⁴ «Люблю петь про бурю («Зимний вечер». — Л. С.), на голос она просится», — признается А. И. Маркова из Семжи.²⁵

Глубокое уважение, любовь, нежность, сочувствие — так можно определить отношение поморов к личности Пушкина. «Родился умной, постатной, разумом быстрой, взором острой», — утверждают пинежане.²⁶ «Пушкин... говорил правду... людей любил, фарисеев обличал и пал, как на Голгофе, от руки палачей», — пишет Н. Павозков из Ракулы.²⁷

Есть достаточно оснований говорить не просто о популярности Пушкина в Поморье, но о горячей увлеченности его творчеством, более того — о преклонении перед ним. Именно об этом свидетельствуют и очерк С. Г. Писахова «Пушкинисты на Новой Земле», и воспоминания К. П. Гемп о ее няне, хромой крестьянке из деревни Чубола, которая «родилась в январе 1837 года и никогда не забывала, что год ее рождения — это и год трагической кончины Александра Сергеевича, а имя дали ей Александра; видела в этом какой-то скрытый смысл, значение, поэтому решила, что должна знать все о нем и о том, что он написал».²⁸ На шестьдесят седьмом году жизни она, заранее

¹⁸ Там же. С. 227.

¹⁹ Там же.

²⁰ ИРЛИ. Ф. 138. № 17. Л. 1, об.

²¹ Гемп К. П. Сказ о Беломорье... С. 224.

²² Шергин Б. В. Повести и рассказы... С. 326.

²³ Гемп К. П. Сказ о Беломорье... С. 227, 223—224.

²⁴ Шергин Б. В. Повести и рассказы... С. 320.

²⁵ Гемп К. П. Сказ о Беломорье... С. 225.

²⁶ Шергин Б. В. Повести и рассказы... С. 320.

²⁷ ИРЛИ. Ф. 138. № 17. Эта часть письма Н. Павозкова была опубликована Б. С. Мейлахом (см.: Мейлах Б. С. Указ. соч. С. 180) с неточностями в написании фамилии автора и названии деревни.

²⁸ Гемп К. П. Сказ о Беломорье... С. 221.

скопив для этого деньги, отправилась из Архангельска в Одессу, чтобы навестить могилу Е. К. Воронцовой. «Она — главное сердечное мечтание Александра Сергеевича» — так объясняла эта удивительная женщина свое намерение. Вернувшись, «подробно описывала... поиски забытой могилы; рассказывала, как привела ее в порядок, как ежедневно приносила Елизавете Ксаверьевне красные маки. Она почему-то была уверена, что это любимые цветы Александра Сергеевича. „От него и возлагала”». ²⁹

Один из ярких примеров благоговейного отношения к Пушкину — семья архангелогородцев Гейнрикс (у Б. Шергина — Генриксен). Отец семейства, Эдуард Иванович, родившийся в Архангельске, в 1830-е годы, по рассказам его дочерей, служил в Петербурге «в аптеке у Мерка. Был отец юношей 16-ти лет. Пушкин забегал запросто к Мерку, случалось, не один раз в день. Было это в последние месяцы жизни Пушкина. Отец, слышавший и до встречи с ним, что это человек знаменитый, — просто говоря, — влюбился в Пушкина... Пораженный смертью Пушкина, отец вскоре уехал обратно в Архангельск... Пушкина всю жизнь обожал, вспоминал его движения, походку, словечки, — рассказывала А. Гейнрикс. — Обожал — и нас обеих (дочерей Анну и Марию. — Л. С.) ввел к Пушкину в любовь». ³⁰ Сестры Гейнрикс унаследовали от отца, как писал Б. М. Зубакин, поэт, ученый, философ, скульптор, масон, высланный в 1929 году из Москвы в Архангельск и часто бывавший у них в конце 1929 года, «фантастическую» преданность памяти поэта, способность воспроизводить пушкинские реплики и даже жесты. До глубокой старости помнили они рассказы отца о Пушкине. Их не раз слышал в детстве и юности, т. е. в первом—начале второго десятилетия XX века, Б. В. Шергин от Марии Эдуардовны, а в 1929 году Б. М. Зубакин — от Анны Эдуардовны.

Фамилия «Мерк» ни в известном справочнике Л. А. Черейского «Пушкин и его окружение», ни в «Книге адресов Санкт-Петербурга на 1837 г.» К. Нистрема как в разделе «Аптекари и их аптеки», так и в других разделах не упоминается. Может быть, Мерк служил в казенной аптеке? Одна из очень немногих тогда петербургских казенных аптек — аптека Императорского Воспитательного Дома находилась на набережной Мойки, 17³¹ — совсем близко к дому, где жили в 1836 году Пушкины. Интересно, что в рукописи Б. М. Зубакина «Новое и забытое о Пушкине» есть фраза, опущенная в публикации в «Звезде Севера». Сообщив, что отец ее служил в столице в аптеке у Мерка, Анна Эдуардовна уточняет: «...аптека помещалась у того места, где государя потом убили». ³² Заметим, что аптека Императорского Воспитательного Дома находилась очень недалеко от этого места.

Представление об отношении архангелогородцев к Пушкину в первом десятилетии нашего века дают и воспоминания писателя И. Я. Бражнина, чьи детство и юность прошли в Архангельске. Он родился в 1898 году и был двенадцатым из тринадцати детей в семье. Отец его рано умер от чахотки, и матери, модистке, зарабатывавшей шитьем дамских шляп, пришлось одной растить детей. В полугтемной комнате, где жила эта семья, едва сводившая концы с концами, висел большой портрет Пушкина. «...Лицо Пушкина я помню отчетливо, — вспоминал уже на склоне жизни И. Бражнин, — как отчетливо помню себя, глядящего в это лицо. Глядел я в него обязательно каждый вечер, укладываясь в постель... Светлый гений его стоял у моей колыбели. Он нисходил ко мне в голосе матери, читавшей с милой и ей одной в целом мире свойственной улыбкой о старом покорливом рыбаке, о его жадной старухе и о всевластной Золотой рыбке». ³³ И. Бражнин рассказывает и о домашнем вечере в этой семье, посвященном 70-й годовщине со дня смерти Пушкина.

²⁹ Там же. С. 225.

³⁰ Зубакин Б. М. Пушкин и Архангельск // Звезда Севера. 1934. № 11. С. 19.

³¹ Книга адресов Санкт-Петербурга на 1837 год, изданная Карлом Нистремом. СПб., 1837. С. 1271.

³² ИРЛИ. Ф. 244. Оп. 31. № 72. Л. 3.

³³ Бражнин И. Я. Ликующая муза. Новосибирск, 1974. С. 33, 32.

Любовь к великому поэту, родившемуся в Архангельске в начале XX века, будущий автор книги о Пушкине «Ликующая муза» пронес через всю жизнь. То же самое можно сказать о многих его земляках, о чем свидетельствуют приведенные выше материалы о жизни Пушкина в сознании, памяти жителей Поморья в конце прошлого — первые десятилетия нынешнего столетия.

© Н. Л. Дмитриева

РОЗА У ПУШКИНА И ТУРГЕНЕВА

Роза — необычайно широко распространенный символ мировой культуры, литературы, поэзии, имеющий не одно значение. Это знак тайны, символ молчаливости, эмблема смерти, символ любви. Розу воспевали в Древней Греции, в Древнем Риме, на Востоке. Роза — эмблема Венеры, а в средние века она становится цветком Девы Марии. Она нарисована как мистический символ в «Божественной комедии» Данте, а в куртуазной поэзии она олицетворяет чувственную любовь. Роза — исключительно важный образ в творчестве романтиков. Пройдя сквозь века, она продолжает свое существование в литературе XX века, например в поэзии А. Блока.

Такая популярность этого цветка объясняется не только тем, что за время своего существования в поэзии он, по замечанию А. Н. Веселовского, обогатился всем тем, что пели про него «на его дальнем пути с иранского востока»,¹ но в первую очередь, конечно, несомненной его красотой: «Из всех цветов нашего северного полушария роза бесспорно есть самый лучший, изящный, самый великолепный цветок».²

Однако популярность розы имеет свою обратную сторону — она становится штампом, достаточно поблекшим и обесцветившимся образом.

Даже у Пушкина, в чьем творчестве роза показана чуть ли не во всех ее основных ипостасях, изображены главным образом традиционные, клишированные мотивы. Несомненно, она красива, восточная роза — возлюбленная соловья, нарисованная в «Бахчисарайском фонтане», в стихотворениях «О дева-роза, я в оковах» и «Соловей и роза», но это традиционная деталь восточного колорита, действительно берущая начало в восточной поэзии и уже до Пушкина использовавшаяся в поэзии (например, в «Гяуре» Байрона). Неоднократно встречающееся сравнение женской красоты с красотой розы — более чем избитое. Достаточно традиционна и роза, символизирующая блаженное, беспечное существование:

Доселе в резвости беспечной
Брели по розам дни мои³...

Судите ж вы, какие розы
Нам заготовит Гименей
И, может быть, на много дней.

(VI, 78)

Ср.: «Путь, усеянный розами». Есть у Пушкина и роза — цветок Венеры: он рисует его в написанном в возражение Веневитинову (его «Трем розам») стихотворении «Есть роза дивная: она». Изобразил он и розу — чисто эротический символ («Гавриилиада»),

¹ Веселовский А. Н. Из поэтики розы // Веселовский А. Н. Избр. статьи. Л., 1939. С. 133.

² Боткин В. П. Об употреблении розы у древних // Сочинения Василия Петровича Боткина. СПб., 1891. Т. 3. С. 325.

³ Пушкин А. С. Послание к Юдину // Пушкин. Полн. собр. соч. М.; Л., 1937. Т. I. С. 171. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

это почти дословное повторение розы-символа из «Войны богов» Э. Парни.⁴ Рисовал Пушкин и розу, чьи тени цветут «над Летою», ту розу Елисейских полей, которую воспевали античные поэты. Интересно, что Пушкин неоднократно обращался к мотиву быстро увядающей розы — символу бренности, быстротечности бытия. Этот мотив начинает звучать еще в Лицее — в «Стансах» («Stances»), в стихотворении «Роза»:

Где наша роза,
Друзья мои?
Увяла роза,
Дитя зари.

(I, 144)

Впрочем, здесь, вероятно, как указывает Е. В. Чубукова, роза, противопоставленная лилее, — символ юности, на смену которой приходит зрелость.⁵

В 1825 году Пушкин попытается изобразить этот мотив сперва на русском языке — «Лишь розы увядают» — и тут же, на том же листе рукописи, — на французском — «Quand au front du convive, au beau sein de Délie». Мотив быстро вянущей розы, сорванной, чтобы украсить грудь возлюбленной или чело мужчины, берет свое начало в античной поэзии («Розой хотел бы я быть, чтоб, сорвавши своею рукою, Место на белой груди ты ей, пурпурной, дала»)⁶ В подражание древним этот мотив будет перепеваться во французской поэзии — у Ронсара, Малерба, Жантий-Бернара:

Descend de ta tige épineaire,
Va, meurs sur le sein de Thémire.⁷

Эту розу М. П. Алексеев назвал «розой подражателей Анакреона».⁸ В русской поэзии тоже встречаются такие подражания:

Розой, дева, украшай
Груди молодые.
Другу милому венчай
Кудри золотые.⁹

Таким образом очевидно, что изящные, но оставшиеся незавершенными пушкинские наброски об увядающей розе трактуют достаточно традиционные мотивы. В 1830 году Пушкин вновь вернется к этому же мотиву:

Но розу счастливую
На персях увядшую Элизы моей...

(III, 258)

Тому одно, одно мгновенье
Она цвела, свежа, пышна —
И вот уж вянет — и... опалена
Иль жар твоей груди
Младую розу опалил.

(III, 465)

⁴ *Parny E.* La guerre des dieux. Paris, 1799. P. 206.

⁵ Чубукова Е. В. Стихотворение Пушкина «Роза» (к вопросу о литературной преемственности в лицейской лирике) // Проблемы истории взаимосвязей русской и мировой культуры. Межвузовский сборник. Ч. II. Изд. Саратовск. ун-та, 1983. С. 93—107.

⁶ Дионисий Софист. Возлюбленной // Античная лирика. М., 1968. С. 307. (Пер. Л. Блуменау).

⁷ *Gentil-Bernard P.-J.* La rose // Chansonnier français. Paris, 1829. V. I. P. 58. (Книга из библиотеки Пушкина).

⁸ Алексеев М. П. Споры о стихотворении «Роза» // Алексеев М. П. Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Л., 1972. С. 370.

⁹ Дельвиг А. А. Тленность // Дельвиг А. А. Стихотворения. Л., 1951. С. 78. (Библиотека поэта. Малая сер.).

Но этот мотив так и остался в набросках.

Казалось бы, у Пушкина везде, по сути дела, роза изображена как тот или иной традиционный мотив. Однако известно, что под пером настоящего художника избитая метафора или ставший штампом образ оживает. Утерянная свежесть возвращается в определенном контексте. Если попытки нарисовать вянущую розу — символ бренности — не реализовались, может быть потому, что поэт не вышел за рамки принятой традиции, то в иных случаях роза из «увядшей» превращается в свежий, привлекательный цветок. Таков пример известного пушкинского образа «дева-роза». Тут мы позволим себе не согласиться с мнением М. П. Алексеева о том, что «дева-роза» — штамп, «символ быстро отцветающей любви».¹⁰ Банальное сравнение оказывается очень выразительным, когда знак сравнения опущен:

О дева-роза, я в оковах;
Но не страшусь твоих оков.

(II, 339)

(Для сравнения: «Две юные красавицы, высокие, стройные, свежие, как розы...» — «Арап Петра Великого», VIII, 11.) Однако еще выразительнее образ «девы-розы» вычерчен в «Пире во время чумы»:

И Девы-Розы пьем дыханье, —
Быть может — полное чумы.

(VII, 181)

Образ «дева-роза» помещен в страшный по своей сути контекст, в котором получает дальнейшее развитие метафора «девушка-роза»: отравленное, несущее смерть дыхание прекрасной девушки сопоставлено с отравленным, смертоносным благоуханием красивейшего цветка. Не менее свежей воспринимается метафора «девушка-роза» и в таких строках:

И дева в сумерки выходит на крыльцо:
Открыты шея, грудь, и вьюга ей в лицо!
Но бури севера не вредны русской розе.

(III, 182)

Тут важен эпитет. Роза — не русский по своей традиции цветок. Потому сочетание «русская роза» оказывается стилистически окрашенным. Точно так же самое что ни на есть банальное сравнение алых губ с розой, благодаря нетрадиционному эпитету, становится очень ярким:

Что ваши алые уста,
Как гармоническая роза.

(III, 149)

Конечно же, Пушкин чувствовал традиционность, банальность мотива розы. Он не пощадил романтиков, иронизируя над Ленским, который

...пел разлуку и печаль,
И нечто, и туманну даль,
И романтические розы.

(VI, 35)

Пушкин и более явно насмеялся над высокопоэтическим символом романтиков, срифмовав в черновиках к «Евгению Онегину» розу с навозом:

Фиалок нет и вместо роз
В полях растоптанный навоз

¹⁰ Алексеев М. П. Указ. соч. С. 349.

(вариант — и вместо роз
Один растопленный навоз).

(VI, 360)

Роза в русской поэзии пострадала еще и из-за очень удачно рифмующейся антитезы «розы — морозы». Пушкин вслед за Сумароковым и Вяземским высмеял эту рифму:

И вот уже трещат морозы
И серебрятся средь полей...
(Читатель ждет уж рифмы розы;
На, вот, возьми ее скорей!).

(VI, 90)

Впрочем, хоть и осмеянная, роза будет цвести в русской литературе, будет, в силу бедности рифмы, на которую жаловался Пушкин («Путешествие из Москвы в Петербург»), рифмоваться с морозами. А дальше все будет зависеть от мастерства художника. Вот тот же Пушкин:

Но бури севера не вредны русской розе.
Как жарко поцелуй пылает на морозе...

(III, 182)

В поэзии А. Фета эта рифма встречается неоднократно и при этом, на наш взгляд, не воспринимается как избитая:

За вздохом утренним мороза
Румянец уст приотворя,
Как странно улыбулась роза
В день быстролетный сентября.¹¹

А в стихотворении И. П. Мятлева эта рифма звучит достаточно банально:

Как хороши, как свежи были розы
В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!¹²

Но, как уже было отмечено, художник может вернуть к жизни «мертвый» мотив: Тургенев, вставив в качестве лейтмотива строку Мятлева в свое собственное стихотворение в прозе, наполнил ее действительно поэтическим звучанием. В работе «Из поэтики розы» А. Н. Веселовский в связи с этим тургеневским стихотворением написал, что «дело не в розах, а в качестве захватывающих воспоминаний» — «весенний цветок, каков бы он ни был, мог всюду вызвать те же чаяния и ту же работу мысли».¹³ Позволим себе не согласиться с этим высказыванием ученого. В стихотворении Тургенева названы иные цветы: «Летний вечер тихо тает и переходит в ночь, в теплом воздухе пахнет резедой и липой...»,¹⁴ но рефреном звучит: «Как хороши, как свежи были розы». Тут должны быть именно розы, и не потому, что они взяты из стихотворения Мятлева, а потому, что роза — символ. У Мятлева роза не имеет того символического значения, которое возвращает ей Тургенев, поместив ее в определенный контекст. И мятлевская строка начинает звучать совсем по-другому — воспоминани-

¹¹ Фет А. А. Сентябрьская роза // Фет А. А. Полн. собр. стихотворений. СПб., 1901. Т. 1. С. 356.

¹² Мятлев И. П. Розы // Полное собрание сочинений И. П. Мятлева. Киев, 1893. С. 156.

¹³ Веселовский А. Н. Указ. соч. С. 132.

¹⁴ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. М., 1982. Т. X. С. 168. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

ем о прошлом, сожалением о скоротечности жизни, о том, что «все они умерли... умерли».

Несомненно, для Тургенева роза значима, и роза для него в первую очередь символ. В «Вешних водах» она, как важная деталь, мотивирует поступки героев. Символическая роза изображена в другом стихотворении в прозе, так и названном «Роза».¹⁵ В основе его — традиционный мотив «роза, украшающая грудь героини», но роза эта не увяла на груди, она упала в грязь, а потом героиня бросила ее в огонь, как бы сжигая за собой мосты. Тут нарисован собственно тургеневский образ, но в нем проглядывает традиционная основа. И роза, конечно, красная. Красная, алая роза — это цветок Венеры («сто лепестков отличают розу Киприды — Значит, Венера сама кровь излила на нее»)¹⁶ Красная роза — символ любви — неоднократно встречается у Тургенева. Так, в «Первой любви» Зинаида срывает «небольшую красную розу»: «Зинаида поднесла розу к лицу — и мне показалось, как будто отблеск ярких лепестков упал ей на щеки. — Разве я изменилась? — спросила она меня. — Да, изменились, — ответил я вполголоса» (VI, 342). Конечно, хотя об этом не сказано, красного цвета должна быть и «полуоципанная» роза, «которая тихо валится из тонких пальцев» так называемой «Манон Леско» на портрете в «Фаусте» (V, 92). Символична роза и в сцене из «Отцов и детей», когда Базаров застаёт Фенечку за разбором белых и красных роз для букета. Уже при обрисовке портрета молодой женщины в этой сцене появляется образ розы. Фенечка «очень похорошела»: «Бывает эпоха в жизни молодых женщин, когда они вдруг начинают расцветать и распускаться, как летние розы; такая эпоха наступила для Фенечки» (VII, 135). Базаров, флиртуя, просит у нее розу в подарок: «Какую вам, красную или белую?» Ответ очевиден, он не мог бы быть другим: «Красную, и не слишком большую». Роза как таковая Базарову ни к чему, она нужна только как символ. При этом он должен посмотреть на этот символ с иронией, как и на собственное поведение в отношении Фенечки, которое он характеризует как «формальное поступление в селадоны» (VII, 138).

В отличие от своего героя сам Тургенев относится к розе с пиететом. И тут, как нам кажется, заключается основное различие пушкинской розы и тургеневской. Оба художника используют в своем творчестве розу-символ, сохраняя зафиксированные за этим символом мотивы, необходимые для его восприятия. Если художник не стремится к простому подражанию (например, восточным или античным поэтам), а хочет создать свой, свежий, яркий образ, ему необходимо хотя бы частично нарушить традицию — изменить принятую развязку сюжета или выбрать нетрадиционный эпитет или контекст, позволяющий обновить поэтику символа, что мы и наблюдаем и у Пушкина, и у Тургенева. Но Пушкин, творчеству которого свойственно отмеченное Тургеневым «начало самостоятельности» («Речь по поводу открытия памятника А. С. Пушкину в Москве», XII, 342), обращается с розой свободнее:

Не стану я жалеть о розах,
Увядших с легкою весной.

(II, 342)

Более того, Пушкин позволяет себе откровенную насмешку над символом, который он сам воспевал. Вероятно, потому его роза оказывается многограннее.

¹⁵ Символичность розы в творчестве Тургенева отмечена Т. Б. Трофимовой, в частности в статье к стихотворению в прозе «Роза» для готовящейся к изданию в ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН Тургеневской энциклопедии.

¹⁶ Луксорий. Хвала розе в сто лепестков // Античная лирика. М., 1968. С. 484. (Пер. Ю. Шульца).

И. С. ТУРГЕНЕВ.
⟨ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К РОМАНУ «ДЫМ»⟩
(ПУБЛИКАЦИЯ И ПОСЛЕСЛОВИЕ © П. УОДДИНГТОНА)

* * * * *

ФОРМУЛЯРНЫЙ СПИСОК ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ НОВОЙ ПОВЕСТИ*

—
 Париж

—
 1863.

* * * * *

1862.

(первые числа августа.)

1835.	1.	Литвинов — Григорий Михайлыч (27).	Х.
1832.	2.	Ворошилов, Семен Яковлевич. (30.).	Сл.
1820.	3.	Губарёв, Степан Николаев. (42.).	О.
1815.	4.	Биндасов. Тит Ефремыч. (45.).	Кет.
1837.	5.	Пищалкин. Алексей Егорыч (25.)	Ко.
1824.	6.	Потугин. Со[крат]зонт Иваныч. (38.)	—
1822.	7.	Генерал Селунский, Валериян [Владимирович] ¹ (40.)	А.
18[40]35.	8.	[Наталья Алексеевна] Ирина (Юлия) Павловна, ² его жена. (27 ³).	Кн. Д.
1807.	9.	Капитолина Марковна Шестова — (55.)	
1842.	10.	Татьяна [Павловна] Петровна Шестова. (20.) —	
[1818.	11.	Чекмезов, Василий Васильевич. (44).	Мил. и Красно (?)]
1820. ⁴	11. ⁵	Бамбаев, Ростислав Ардалионыч (42. ⁶)	Кашперов
1822. ⁷	12. ⁸	Суханчикова, Марья Кузминишна. ⁹ (40.)	Гр ^я Сальяс

* * * * *

* В тексте публикации зачеркнутые слова заключаются в квадратные скобки; слова, восстанавливаемые предположительно, — в ломаные.

¹ *Над строкой вписано и зачеркнуто:* Константинович.

² *Окончательный вариант вписан над строкой.*

³ *Исправлено вместо:* 22.

⁴ *Исправлено вместо:* 1830.

⁵ *Исправлено вместо:* 12.

⁶ *Исправлено вместо:* 32.

⁷ *Исправлено вместо:* 1820.

⁸ *Исправлено вместо:* 13.

⁹ *Кузминишна вписано вместо зачеркнутого:* Власьевна.

I

Литвинов, Григорий
Михайлович. —

род. 1832.¹⁰—30¹¹ лет.

Молодой русский [дворянин (?)] : — *зритель*, но не вялый в роде моих прежних. — Он небольшого роста, смуглый, желчный, черноволосый — чуть в роде Рудольфа Линдау — большой лоб, короткие волосы — подбородок и губы не без энергии. Довольно молчалив, серьёзен и желает знать и делать. — Воспитывался дома у отца, личного дворянина, вышедшего из купеческого рода,¹² и матери в роде отца и матери Апухтина — в небольшом довольно порядочном новом *доме*; имение материнское¹³ около 100¹⁴ душ; запущенное — но с большою будущностью — леса, винокуренный завод и т. д. — Был в университете Московском, держался в стороне и теперь приехал заниматься агрономией и тому подоб(ным). — Мать его умерла, отец по-старому управляет хозяйством, но доверяет ему. — Политических убеждений не имеет — инстинкты либеральные, но тихие. Очень привязчив, хотя подозрителен и недоверчив. — Ум восприимчивый и здравый, но без воображения и огня. — более обидчив, чем¹⁵ [Он (?)] самолюбив.¹⁶ Может быть очень несчастлив — но не будет этим ни тяготеть ни надоедать. Натура замечательно честная и довольно трудолюбив. — Желает устроить своё имение, быть полезным и жить спокойно и интересно, по мере возможности. Женская красота сильно на него действует: он с темпераментом, но так как он собирается жениться — по окончании курса и возвратившись в Россию, то ведет себя скромно. Он уже и жених — хотя не официальный — Т. Шестовой, своей родственницы,¹⁷ которую¹⁸ знавал в Петербурге и с которой прожил 6 недель в Дрездене.

Отец Литвинова выручил своими деньгами князя X, отца Ирины.¹⁹

II

Ворошилов, Семён Яковлевич.

род. 1832. — 30 лет.

Наружность на первый взгляд красивая — элегантная — потом пошлая. — Строен, высок, светлоок, белощёк, глаза сияют, зубы белые; говорит быстро, бойко и резко — но [сам] в сущности очень шаткий. — Выразить в этом лице русскую шатость. — Впрочем добрый малый. — Отец его был петербургский чиновник взяточник в высоких чинах; мать — женщина злая и пустая. Был в Пажеском корпусе — вышел первым — стоит на золотой доске. — Показать плод ростовцевского воспитания. — Либерал, вышел в отставку и пока, не зная к чему прильнуть, бьет баклуши. — Доходы имеет маленькие — но аккуратен и собственно без страстей. — Слить воедино Случевского, де Роберти и Леонтьева. Читает много, но

¹⁰ Исправлено вместо: 1835.

¹¹ Исправлено вместо: 27.

¹² личного ∞ рода — вписано над строкой.

¹³ материнское — вписано.

¹⁴ Исправлено вместо: 200.

¹⁵ более ∞ чем — вписано, в слове «самолюбив» заглавная буква исправлена на прописную.

¹⁶ Слово «самолюбив» первоначально было написано с заглавной буквы.

¹⁷ своей родственницы — вписано над строкой.

¹⁸ Над строкой начато и зачеркнуто: мно(го?).

¹⁹ Последняя фраза вписана позже над текстом.

ничего не переваривает. Собирается что-то сделать — чем-то быть — но пока всё только спешит. — «На ординарце прислан» к науке, к свободе и т. д.

III

Губарев, Степан Николаевич.

42 л(ет). род. 1820.

—

Это — Огарев — Фролов — Касаткин. — Русский доктринер — демократ-фанатик и лентяй. Туп, меланхоличен, важен, упорен, бездарен, но не глуп. — Лишен дара слова, но внушает великое мнение о себе. Наружность почтенная в роде Александра Станкевича — лобаст, губаст, бородаст — тучноват. Когда в духе и нараспашку, дрянно смеется и подтрунивает; — даже похабность любит: но большей частью берёт возвышенностью физиономии. — Социалист и славянофил: живет за границей 6^л год — благо состояние весьма порядочное, которым управляет по поручению его брат, дурак круглый, но преданный ему, скупой и хозяин в старом вкусе. — Читает всё умные книги — и всё в глубину устремляется: в то же время делает пропаганду более своим присутствием, чем словами. — Хорошей фамилии и со связями, которыми пренебрегает²⁰ — отец и мать²¹ его давным-давно умерли — и он с ранних лет уже [1 прзб.] распорядился самим собою.

Служил в Министерстве внутренних дел — но не долго; — жил в деревне, в Москве: — [несколько раз собирался жениться (?)] был женат недолго на какой-то глупой и тоже возвышенной барышне с состоянием, портрет которой у него стоит на письменном столе: он таинственно намекает на нее, как на высокое создание: она ему составила 80.000 р. сер. — Скуп. —

С важностью ест в известные моменты сухой хлеб (сочувствие мол народу) и т. д.

IV

Биндасов, Тит Ефремыч.

—

47 л(ет). р. в 1815.

Шумный бурш, в роде Кетчера. — Самолюбив, циничен, хохочет — а в душе кулак. Был военным — год прослужил на Кавказе, но презирает военный жанр;²² выпить любит. — Тоже шаткое и пустое явление. — Демократ — но с умеренным оттенком. Рожа измятая — зубов многих нету, маленькая лысина, свиные глазки.²³ — Надо хорошенько понять, почему он бросил службу и слоняется за границей: нараспашку хотелось пожить, да ругаться кстати — а кроме того жизнь дешева. Доходы не очень большие: из мелких дворян и родня вся бедная — но ему какая-то генеральша, которую он употреблял, дала [малость (?)] [несколько денег (?)] именье.²⁴ — (Александра Шеншина прихватить.) Он женат, но бросил жену — и она тоже разъезжает за границей — в Дрездене больше живёт. — Жена эта скучная и кислая. — Говорит по-французски плохо, а по-немецки ещё хуже — выше парижских лореток ничего не знает — хотя ругает и их. — Россейский цинизм.

²⁰ и со связями ∞ пренебрегает — *вписано над строкой.*

²¹ и мать — *вписано.*

²² но презирает военный жанр; — *вписано над строкой.*

²³ свиные глазки — *вписано над строкой.*

²⁴ именье — *вписано над строкой.*

V

Пищалкин, Алексей Егорович.

—
25 л(ет). род. 1837.

Это — Колбасин — Цвет. — Честный, идеалист — с прекрасными стремленьями — но ограничен и пошл — хотя для него «пошлость и пошлост» самые ужасные слова. Весьма почтительно обходится с самим собою. — Самолюбив ужасно вследствие убеждения — что какой мол я серьезный и не пошлый человек. Тяжел и даровитости [мало] никакой²⁵ — но терпелив и может быть очень полезен на третьестепенных местах. — Можно даже сказать, что в таких людях Россия нуждается. — По милости своей честности и демократических наклонностей получает большое влияние на мужиков, мещан. — Очень малознающ и никаких языков не знает. Одет всегда очень прилично, даже с некоторой щеголеватостью. — Говорит тупо, но с убеждением и важностью.

VI

Потугин, Созонтий Иваныч.

—
38 л(ет). р. 1824.

Это главное лицо всей повести. В нём мне хочется выразить философа русского в настоящем смысле слова, человека, глубоко, насколько я смогу, понявшего Россию и русских. — Его каждое слово должно быть типичным — или совсем не надо его. — Во-первых, наружность: — между М. Языковым и Губаревым. — Головастый — крупное тело на коротких ногах. — Лоб просторный, глаза небольшие, серые, очень умные и печальные, крупные правильные и горькие губы, нос картофелеобразный,²⁶ зубы нехорошие, цвет лица нечистый. Неловок, медлителен; руки [небольшие (?)] маленькие²⁷ и очень чистые и тонкие. Одет небрежно-запыленно: широкий старый галстук, пальто. — Без желчи — (так как он ничего не добивается) — но не без горечи, глубок, меток и уныло спокоен. — Всё²⁸ доброе его сильно трогает: красота, особенно женская,²⁹ на него действует, хотя он для себя ничего не ожидает и видит и ее насквозь. Ненавидит фразу и ложь. — Жизнь его была следующая: остался сиротой лет 16³⁰ без братьев и сестер от отца (мать он совсем не помнит),³¹ чиновника петербургского, который сам был братом другого более важного чиновника (в роде Ключарева и Пинского³²). У этого дяди Созонтий воспитывался и был определен им на службу. — (Они были из поповичей, но знатных — у них был архиерей в родне — ректоры семинарий и т. д.). — Дядя был тяжелый и тупой деспот; С. пил горькую чашу. Служил лет 20 — добивался чина надворного³³ советника (по министерству финансов). Наконец дядя умер и оставил ему 5000 р. сер. отцовские. — Он вышел в отставку и поехал за границу проветриться и посмотреть на людей. В душе любит

²⁵ никакой — вписано над строкой.²⁶ нос картофелеобразный — вписано над строкой.²⁷ маленькие — вписано над строкой.²⁸ Всё — вписано над строкой.²⁹ особенно женская — вписано над строкой.³⁰ лет 16³⁰ — вписано над строкой.³¹ Фраза в скобках вписана над строкой.³² и Пинского — вписано над строкой.³³ надворного — вписано над строкой вместо зачеркнутого сначала статского и вписанного затем над строкой, тоже зачеркнутого: коллежского.

глубоко одно: гуманность и цивилизацию. Был долго и крепко влюблен в одну барышню, потом барыню; не женился. Она потом [отравилась (?)] умерла и перед смертью сблизилась с ним.³⁴ Молчалив и застенчив, хотя не робок; когда выпьет немножко, язык у него развязывается. — Не верит в Бога — но сокрушается втайне этим и *никогда не кощунствует*. — Получил имя Созонтия в честь дяди архимандрита, который однако ничего ему не дал и не покровительствовал.

VII

Валериян Владимирович Селунский.
40 л(ет). род. в 1822^м году.

Взять наружность и турнюру Альбединского с примесью Ахматова и Краснокутского.³⁵ — Тип образованного, учтвого, пронырливого и в сущности не только пустого, но на все гадости и притеснения способного генерала. — Отец его был побочный сын большого вельможи Александр(овских) времен и [польки шляхетки] француженки,³⁶ которая вскоре умерла. Вельможа вывел сына в люди — но состояния ему не оставил — и он сам не успел себе составить — рано умер тоже. — Валериян родился от польки шляхетки, очень лукавой и красивой женщины — был помещен в Пажеский корпус, отличился там добронравием и хорошими манерами (хотя тоже был употребляем в задницу) и вышел в гвардию. — Карьеру сделал скоро — скромностью и веселостью, танцами и прислуживанием не без легкого и очень общего либерализма (sic), который особенно пригодился ему после смерти имп(ератора) Николая; [которому] Николаю³⁷ он особенно³⁸ нравился за ловкую верховую езду на ординарцах (на чужих лошадях). Посланный разобрать какое-то крестьянское дело, заперол человек 5 насмерть, несмотря на свой либерализм. — Старухи были от него без ума. — Необыкновенно чист, свеж, румян, гибок и липок; осторожен, молчалив где нужно — и всегда сдержан; — вращается в высшем свете и всё нужное для этого исполняет с фамильярной игривостью. — Женился из расчета, но и не без любви. — Был очень счастлив с женщинами и сохранил необычайную молоджавость наружности. — В сущности ничего не знает и ни на что не способен — но *себя* вывезет. — Удивительные зубы и руки — и какая-то почти педерастическая ласковость в голосе.

VIII

Ирина Павловна Селунская.

27 лет. род. 1835.

Третья дочь московского знатного³⁹ князя Ос... (всех детей у него 14). — воспитана в бедности и московском неряшестве, почти попрошайстве. Отец ее тяжелый, пустой и дурной человек, которому по связям давали синекуры неболь-

³⁴ умерла ∞ с ним — *вписано над строкой*.

³⁵ и Краснокутского — *вписано над строкой*.

³⁶ француженки — *вписано над строкой*.

³⁷ Николаю — *вписано над строкой*.

³⁸ особенно — *вписано над строкой*.

³⁹ знатного — *вписано над строкой*.

шие; мать женщина желчная и злая, [весьма] некогда любимая фрейлина императрицы Александры — не примирившаяся с своим положением — удалением от двора и т. д. — На 18^м⁴⁰ году (1853⁴¹) Ирина попала в Петербург — по следующему случаю: на бале в Дворянском собрании ее заметил государь и осведомившись о ней, пожелал ее в Петербург во фрейлины. — Она произвела на него впечатление. Двоюродный брат ее отца, граф Р. — богатый человек — подвернулся и желая прислужиться, предложил отцу Ирины взять её к себе в дом. Перед отъездом Ирина — весьма развитая, хотя без особенных талантов — влюбила в себя Литвинова, который беспрестанно ходил к ним; бал решил ее судьбу; описать ее свидание с ним на другой день — букет гелиотропов.⁴² — В Петербурге она вся ушла в придворную мерзость, прониклась ею до мозгу костей. — Чуть-чуть не сделавшись любовницей то государя, то наследника, она вышла уже 25⁴³ лет за ген(ерала) Селунского, которого поняла и не любит; но⁴⁴ она увидела, что пойдет с ним далеко, а оставаться в ложном положении было невозможно. Натура глубоко — славянски развращенная, лживая, изломанная — и в то же время неотразимо-соблазнительная, для мужчин, на которых действует смесью какой-то стыдливости с чувственностью (Поппея). — [Она] Наружность взята кн. Долгорукой — египетские глаза. — Странные противоположности: способность увлечься до страстности и расчет жидовский — каприз и frivolité⁴⁵ — amour du bruit et du luxe,⁴⁶ даже та развращенная⁴⁷ меланхолия, которая рождается только⁴⁸ среди этого шума. — В сущности зла, эгоистична — и очень умна. — Художественного чувства никакого — но какое-то щегольское умение играть жизнью, своей и чужой. — Она не забыла своего чувства к Литвинову — и дает им поиграть; отдыхая в Бадене перед новой придворно-петербургской кампаньей. Каприз.

IX

Капитолина Марковна
Шестова —

55 лет. род. в 1807.

Старая девица — добродушная, честная и ограниченная чудачка в роде тётки Ольги. — Взять ее наружность. (почти белые волосы). — [Способна] Свободная душа, полная самопожертвования и некоторой гордости по этому поводу и некоторого презрения к людям иначе поступающим. — Посвятила себя [всю] воспитанию Татьяны и живёт только для неё. — Esprit fort⁴⁹ — Штраусса читает, но тихонько от племянницы, которую не считает себя вправе обращаться. — ⁵⁰ Чувство долга сильное. Сама ходит без кринолина и волосы носит стриженные — но блеск на неё

⁴⁰ 18^м — исправлено вместо написанного сначала: 19^м, а затем — 17^м.

⁴¹ 1853 — вписано над строкой и исправлено вместо написанного сначала: 1854, а затем — 1852.

⁴² букет гелиотропов — вписано над строкой.

⁴³ 25 — исправлено в тексте вместо: 26.

⁴⁴ и не любит; но — вписано над строкой.

⁴⁵ легкомыслие (франц.).

⁴⁶ любовь к шуму и роскоши (франц.).

⁴⁷ та развращенная — вписано над строкой.

⁴⁸ только — вписано над строкой.

⁴⁹ вольнодумка (франц.).

⁵⁰ но тихонько ∞ обращаться — вписано над строкой.

действует — хотя она этого и стыдится и даже бранит свет;⁵¹ оттого она и в Баден приехала, посмотреть, что — мол это такое.

—

X

Татьяна Петровна
Шестова —
20 лет. род в 1840 (sic).

Ольга Сомова. — Только наружность красивее: — выше, стройнее и выражение сурьезнее. — Осталась сиротой после довольно дрянного отца и получила воспитание несколько странное, хотя хорошее и *wohlgemeint*.⁵² — Идеалистка в полном смысле слова, подобно своей тётушке. Немного ограничена — или скорее — безо всякого блеска. — Способна очень глубоко чувствовать — и сильно страдать — но не выдаст себя. — Религиозна. — Литвинов ей 3-юродный брат.

XI

Бамбаев
Ростислав Ардалионч.
42⁵³ лет. род. в 1820.⁵⁴

—

Смесь Кашперова с Пичем. — Энтузиаст à tout propos⁵⁵ — хороший человек, благороднейший — но пустой и несколько смешной. — Всегда без гроша и вечно от чего-нибудь в восторге.—

—

XII

Суханчикова.
Марья Кузьминишна.

—

48⁵⁶ год.⁵⁷ — род. в — 1814 год(у).

Рабски списать гр.⁵⁸ Сальяс.

—

[Пищ(алкин). — Губ(арев). — Бам(баев). — Вор(опилов). — Селунина с м(у-жем). — Потугин. — Биндасов. — Суханчикова. —]⁶⁸

* * * * *

⁵¹ и даже бранит свет — *вписано над строкой.*

⁵² доброжелательное (нем.).

⁵³ 42 — *исправлено вместо: 32.*

⁵⁴ 1820 — *исправлено вместо: 1830.*

⁵⁵ при всяком случае; кстати и некстати (франц.).

⁵⁶ 48 — *исправлено вместо: 46 (?).*

⁵⁷ В тексте описка: род.

⁵⁸ Перечисленные имена персонажей написаны столбцом.

ГОДИ
я ду(мал?) нет (?):
затаенно

Краси (Красн?)

Краткий рассказ новой повести.

Париж

—
1863.
—

* * * * *

Глава I^{аа}.

Баден — 10^{го} августа 1862^{го} г. — 4 часа. Развал гулянья. — Описать подробно. Русское дерево — наши лжеаристократы и лжецивилиз(ан)ные люди. — Разные — *chevaliers d'industrie*,⁵⁹ Номе, поганые французики — в роде Люттерота и его приятеля, Зографо, — благоговение перед Мери. — Соллогуб, (нрзб.),⁶⁰ дамы, Криденер — игроки, лоретки. Англичане. Гр. Блюхер (?).⁶¹ — Посвятить этому целую сильную главу. — Молодой человек (наружность Литвинова) сидит и рассеянно слушает музыку.

Гл. II^{аа}.

Несколько слов о нём, о его семействе. — Он ждет в Бадене свою невесту, которая должна приехать послезавтра. — Несколько слов о ней и о её тётке. (Зачем именно в Бадене свидание? Слабость тётки⁶²). *Isabelle la Bouquetière* к нему подходит и с презрением отворачивается. — Он глядит на проходящих там и тут и неловко. — Вдруг являются Ворошилов и Бамбаев. — Ба ба ба! — Вас-то и нужно, — кричит Бамбаев. — Надо сейчас, сейчас идти к Губареву. Губарев здесь — помилуйте — Вы этого не знаете. — К несчастью он завтра уезжает.⁶³ Описание Ворошилова (довольно подробное) и Бамбаева. — [Литвинова тащут к Огаревым(?)] Я не обедал. — И⁶⁴ мы не обедали. — Сейчас у Вебера. — Обед поглощен наскоро. — (*Haltung*⁶⁵ Ворошилова) — потом всё идёт к Губареву.⁶⁶ — На углу Лихтенталев(ской) аллеи какая-то дама пристально глядит на [него] Литвинова⁶⁷ и вдруг отворачивается...⁶⁸ Кто это? думает он...

⁵⁹ мошенники, плуты (франц.).

⁶⁰ (нрзб.) — *вписано над строкой*.

⁶¹ Гр. Блюхер (?) — *вписано над строкой*.

⁶² Слабость тётки — *вписано над строкой*.

⁶³ К несчастью ∞ уезжает — *вписано над строкой*.

⁶⁴ Я ∞ И — *вписано над строкой*.

⁶⁵ поведение, манера держать себя (нем.).

⁶⁶ Губареву — *исправлено вместо: Ога(реву)*.

⁶⁷ Литвинова — *вписано над строкой*.

⁶⁸ и вдруг отворачивается — *вписано над строкой*.

Гл. III^а.

Вечер у Губарева. — Суханчикова, Пищалкин, в углу Потугин. Биндасов является несколько позже с выигрышем — красный и дрянной. Описать этот вечер *con amore*.⁶⁹ NB. Губарев назначает новое свидание уже в Гейдельберге. Важность и пустота, прыгающие глаза Суханчиковой — внезапный смех Потугина — сигарки, сплетня, польский элемент и россейский, etc.⁷⁰ Литвинов уходит довольно рано⁷¹ с головной болью — и сам не зная, при чём он присутствовал, при совершенном вздоре и лжи — или при чём-то еще не установившемся, но [молод(ом?)] имеющем право жить.⁷²

Гл. IV^а.

Он садится за столик в Conversation; к нему подсаживается Потугин и выпив рюмки две киршу — имеет свой *первый* непременно замечательный разговор. — Литвинов, довольно пораженный своим новым знакомством — идёт к себе в отель и находит дома — письмо от отца — со вложением между прочим записки попа о порче и букет гелиотропов, который, по словам гарсона, кто-то неизвестный велел поставить у его кровати. — Л. вспоминает даму, которую он мельком видел.⁷³ Неужели она? (NB. Литвинов всего два дня в Бадене.)

Гл. V^а.

По поводу [его] этого букета рассказать всю историю его любви с Ириной — (подробно описать характер Ирины —) до рокового бала и букета. — Это должно быть и тонко и горячо. — Рассказать её историю потом и замужество. — Л. никогда больше с нею не встретился, он почти не был в Петербурге.⁷⁴ Неужели она? — повторяет Л... и вдруг вспоминает о Татьяне — и совестно ему... Все это вздор! думает он наконец и принужден однако вынести букет в соседнюю комнату. — Но и оттуда он пахнет. — Л. не может заснуть.

Гл. VI^а.

Описание утра в горах. Л(итвинов) идёт рано гулять. — Натывается на⁷⁵ Бамбаева и Ворошилова — прячется от них. Идёт к Старому Замку и попадает в целую фешенебельную экскурсию россиян — генералы,⁷⁶ дипломаты,⁷⁷ львы и неизбежный Мери. Л. хочет увернуться — и вдруг его останавливает одна дама: Григорий Михайлович, вы меня не узнаете? — Это она — это Ирина. — Развязно и просто, как настоящая светская дама, она представляет его своему мужу. Описать генерала Селунского. — Смущенный и неловкий Литвинов остается в этом кружке, совершенно ему чуждом... Но вот они все поднимаются и едут далее... Вы придете к нам непременно сегодня же⁷⁸ — говорит Ирина — мы живём (?) там-то. — Л. обещает, но вовсе не намерен исполнить свое обещание. — День проходит вяло и безынтересно. Пищалкин [приходит] является... Скучно. Письмо от Татьяны, что приезд её отсрочен на неделю.⁷⁹

⁶⁹ с любовью (*ит.*). Следующая фраза вписана на полях против текста.

⁷⁰ etc. — вписано на полях.

⁷¹ довольно рано — вписано над строкой.

⁷² Текст, следующий далее, отделен чертой, обозначающей разбивку, и на полях вписан порядковый номер следующей главы.

⁷³ Л. вспоминает ∞ видел — вписано над строкой.

⁷⁴ Рассказать ∞ в Петербурге — вписано на полях.

⁷⁵ Натывается на — вписано над строкой вместо *зачеркнутого*: Прячется от.

⁷⁶ генералы — исправлено вместо *зачеркнутого*: генерал и далее *вычеркнутого*: Селунский, его жена.

⁷⁷ дипломаты — вписано над строкой.

⁷⁸ сегодня же — вписано над строкой.

⁷⁹ неделю — вписано над строкой вместо *зачеркнутого*: дня (на) два.

Гл. VII^{ая}.

—
 День еще проходит. — Так же скучно. Опять Пищалкин и Ворошилов. — Биндасов занимает 200⁸⁰ флоринов. На следующий день к завтраку приходит Потугин. Второй *замечательный разговор*. — Он дал слово привести Литвинова к Ирине. Объяснить, как он её знает. — Он говорит также о ней, предварительно попросив киршу. «Поппея».⁸¹ — Он уводит его.

Гл. VIII^{ая}.

—
 Посещение у Ирины. Потугина сей час отправляют. Tête-à-tête. С Литвинова *снимается* неловкость. Показать, что Ирина не кокетничает просто, а действительно сохраняет какое-то влечение к прежнему, к прежней жизни. Явление Селунского и другого генерала. — [Разго(вор)] Показать пустоту и дрянной *шик* молодых генералов. — Ирина покоряется приглашению к Вел(икой) (кому?) Кн(ягине)(язю?) — но [дает] колет (?) мужа: при прощании значительное слово: — «Вы женитесь?» — И пожатие руки. —

Гл. IX^{ая}.

—
 Утро шумное и пошло растраченное. Все тут: Ворошилов, Пищалкин и т. д. Показать тщету и суету русских, когда они выболтались на первых порах. — Тоска Литвинова. — Если бы хоть Потугин!.. Но вдруг является записка от Ирины. — Она его ждет в Лихтенгалев(ской) аллее... Он бежит, как к ангелу-освободителю. — Разговор и с ней замечательный: ее тема: Я ни на что не жалею, но Вы мне дороги — и я рада. — Литв(инов) сильно потрясен. Она однако идет в Conversation. Он остается в нерешительности. — Подходит Потугин. — Что барынька (?)?

Гл. X^{ая}.

Разговор весьма важный с Потугиным, сидя на скамье. — О России, и о русском народе... К концу опять бегут Ворошилов, Пищалкин и т. д. Собираются в Гейдельберг.⁸² Возвращаясь д(ом)ой, Л. находит записку от Ирины: я Вас сегодня не видала — это мне тяжело (?) — Назначается свидание у ней.

Гл. XI^{ая}.

—
 Свидание у П. — Надо показать, что она за натура, как я ее понимаю: страстная и расчетливая, хитрая и наивная, глубоко испорченная раба (вписано) с порывами к Истине и к Свободе. — У Л(итвинов)а кругом голова идёт. — Вы только кокетничаете со мною? Я... я кокетничаю? — Я твоя... Это должно быть быстро и пламенно. Уходя, странная встреча с Потугиным, который убегает от него скорчившись.⁸³

⁸⁰ 200 — исправлено вместо: 100.

⁸¹ «Поппея» — вставка на полях, отмеченная крестиком.

⁸² Собираются в Гейдельберг — вписано на полях.

⁸³ Уходя ∞ скорчившись — вписано на полях.

Гл. XII^{аа}.⁸⁴

На другой день Л. идёт к И. с трепетом. Он застаёт гостей, но она вся его. Её сурово-презрительное обращение с мужем. Она должна быть хороша в эту минуту — отказ ехать на *partie de plaisir*⁸⁵ — развитые волосы... *Она его любит*. Она ему отдается.

Гл. XIII^{аа}.

На другой день приезд Татьяны и тётки. — Жестокое положение Литвинова. Целый день он с ними и не решается ничего сказать. — Встречает Ирину, генер(ала) Селу(нского).⁸⁶ — Знакомит Т(атьяну) с Потугиным. — Вечером, проходя по аллее — кто-то схватывает его руку... Трепещущий голос: пощадите меня... слёзы — Ирина! —

Гл. XIV^{аа}.

Утром объяснение с Т(атьян)ой. Он ей всё говорит, что можно.⁸⁷ — Её *Haltung*⁸⁸ вроде Ольги Тургеневой. Растерзанный, он идёт к Ирине. Объяснение. — Она на всё согласна, она его понимает, хоть бежать с ним — но в то же время глаза блуждают. Прощай, до другого раза — но теперь⁸⁹ (—) Куда же? Мне надо — с мужем ехать... к М^{ме} de Behague — там будет прусский король... я не могу не ехать туда. Слёзы — и подбирает кружева, выбирает цветы к туалету. — Отворачивает лицо, чтобы слёзы не падали на кружево.⁹⁰ — Вдруг она становится вся светская дама — как она щегольски и красиво и с богатыми складками сзади уходит с мужем и каким-то дипломатом.

Гл. XV^{аа}.

Л(итвинов) приходит домой и после бессонной ночи пишет Ирине отчаянную записку. — Ты хочешь бежать со мной; когда? — Я готов! — [В ответ] Она отвечает ему, чтоб он пришел переговорить. — Назначает свидание. — Он бежит туда... (Это надо постараться хорошо сделать.). *Résumé*: Я могу тебе принадлежать — но бежать с тобой — нет — нет. — Он ее пугает — и она вдруг удаляется. — Вечером он приходит к ней — она его не принимает; — на другое утро то же (—) потом (?) французская записка: *soyez généreux — séparez-nous. Pardonnez-moi*⁹¹ — я разорила Вам счастье... Старайтесь его склеить вновь.⁹² (Она его не обманывает — не говорит, что муж ревнует etc.).

Гл. XVI^{аа}.

После долгой борьбы, Л(итвинов) овладевает собою. — Всё это вздор! — надо себя переломить — дело делать! Встреча с Тат(ьяной). — Она желта как воск и

⁸⁴ Вся XII^{аа} глава вписана на полях.

⁸⁵ увеселительную прогулку (франц.).

⁸⁶ генер(ала) Селу(нского) — вписано над строкой.

⁸⁷ Он ей ∞ что можно — вписано над строкой.

⁸⁸ поведение (нем.).

⁸⁹ но теперь — вписано над строкой.

⁹⁰ Отворачивает ∞ на кружево — вписано на полях.

⁹¹ будьте великодушны — расстанемся. Простите меня (франц.).

⁹² *Pardonnez-moi* ∞ снова — вписано над строкой и продолжено на полях.

спокойна — хотя в улыбке и во взгляде есть что-то убитое — (комическое положение тётки, которая никак не может взвинтить себя до Résignation⁹³ — и то готова негодовать⁹⁴ и браниться, то плакать и дуться). Вы едете? Да; — и вы тоже? Вы в Россию к себе в губернию и я туда же: — надо ещё обоим побывать в покое (?) — а дальше будет что будет. — Прощание без горечи и даже с каким-то маленьким лучом в сердце Л(итвинов)а.

Гл. XVII^а.

Отъезд. — На железной дороге — Ирина — пришла проститься, нелегко побороть (?) себя. Судорожное стискивание руки [даже] — «Не женись, останься!». Почти компрометирует себя в глазах провожающего дипломата. Н(о?) <Н(аконец ?)> Л(итвинов) едет. —

Гл. XVIII^а.

Дорож(ные) размышл(ения). — Дым. На Гейдельбер(гской) станции вся русская компания. Сюда! Сюда! К нам! Губарев ждет. — Л(итвинов) едет дальше. Ему вдруг стало это всё противно. Бамбаев его ругает и т. д. — Л. уезжает. — Он теперь в деревне и, попробовав того-сего, отдает землю крестьянам исполу.

Пишет письмо к Т(атьяне). Получает ответ: приезжайте: говорят, даже больным легче вместе, чем порознь. —

* * * * *

К Сокр(ату) Потуг(ину)

даже молчит фразисто.

взволнованные улитки. (улитки с намёчком)

Буду! буду!

слетня — главный характер современного русского общества.

мертвая тишина полудня (в Англии, с Гарсией)

на ординарце к Науке.

Диди в дожде золотых листочков.

потекли накопившие слёзы, не облегчая сердца, но как-то сладко и горестно мучая его.

производство в Императоры (паук, человек и т. д.) Холопская натура

Русское художество? — Русское пружение, русское бессилие я знаю... но русское художество — нет.

⁹³ смирения (франц.).

⁹⁴ В тексте описка: вместо негодовать — недоговать.

Набоков (?) — уверяет, что у него больше *мелодии*, чем у Мейербера... У всех этих quasi гениальностей — даже мыслей меньше, чем у последнего западного труженика.⁹⁵

Воображает себя очень больным и очень умным; а он очень здоров и очень глуп.

ТВОРЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОМАНА «ДЫМ» В СВЕТЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ*

1

«Дым» принято считать самым слабым романом Тургенева, хотя всё свидетельствует о том, что автор хотел сделать его наиболее сильным. Бесспорно, в XIX столетии найдется немного произведений, вызвавших такое неприятие у соотечественников. Появление «Дыма» в мартовском номере журнала «Русский вестник» вызвало шквал протестов, и лишь несколько одиноких голосов поднялось в защиту романа. Тургенева обвиняли в абсентеизме, т. е. в отрыве от почвы, в незнании современной России и русской жизни. Роман был воспринят как клевета на родную страну и ее народ. Посылая А. И. Герцену свое новое произведение, Тургенев писал 5(17) мая 1867 года: «Сколько мне известно, оно восстало против меня в России — людей религиозных, придворных, славянофилов и патриотов», а в письме от 23 мая (4 июня) прибавлял: «...меня ругают все — и красные, и белые, и сверху, и снизу — и сбоку — особенно сбоку».⁹⁶

В основном критика была направлена на образ и высказывания Потугина. Герцену, который заявил, что ему наскучил Потугин, болтовню которого надо было бы сократить вдвое, Тургенев возражал: «...представь, я нахожу, что он еще не довольно говорит, — и в этом мнении утверждает меня всеобщая ярость, которую возбудило против меня это лицо» (ПССиП (1), Письма, 6 : 252). И впоследствии писатель не признавал за собой никакой вины и не считал нужным оправдываться, придав Потугину «несколько новых черт, еще определительнее высказывающих его значение, сущность и смысл», в отдельном издании романа (ПССиП (1), Соч., 9 : 329). Позже критики обвиняли Потугина в противоположном и, может быть, более существенном: в том, что его роль в развитии сюжета менее значительна, чем того требовало политическое и философское содержание романа.

Как во всех своих шести произведениях, названных им *романами*,⁹⁷ Тургенев в «Дыме» задумал соединить личную историю любви, надежд и стремлений с анализом

⁹⁵ труженика — *вписано над строкой*.

* Данная статья впервые опубликована в виде двух статей: 1) No smoke without fire: the genesis of Turgenev's *Dym* // From Pushkin to Palisandriia: essays on the Russian novel in honour of Richard Freeborn. London, 1990. P. 112—127; 2) Turgenev's notebooks for *Dym* // New Zealand Slavonic Journal. 1989—1990. P. 41—66. В полном виде с приложением подготовительных материалов: The Origins and Composition of Turgenev's novel *Dym* (Smoke), as seen from his sketches, by Patrick Waddington. Pinehaven, New Zealand, 1998. 56 p. Печатается здесь со значительными сокращениями и дополнениями. Автор глубоко благодарен хранителю семейного архива Виардо А. Ле Сену (ныне покойному) за предоставленные для публикации фотокопии подготовительных материалов к «Дыму» и возможность ознакомиться с ними исследователей, а также А. А. Долинину, Е. И. Кийко и Н. П. Генераловой за помощь и поддержку.

⁹⁶ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. М.; Л., 1960. Т. 6. С. 247, 260. Далее ссылки на это издание даются в тексте — ПССиП (1) — с указанием серии, тома и страницы.

⁹⁷ Это определение окончательно закрепилось для Тургенева лишь в предисловии к третьему тому его сочинений, изданных в 1880 году; до того, особенно в рукописях, Тургенев предпо-

современного русского общества. Но если в остальных романах обе эти линии сосредоточены в характере героя (Рудин, Лаврецкий, Инсаров, Базаров, Нежданов), то в «Дыме» они отчетливо разделены. Лишь об этом романе можно сказать, что здесь присутствуют два героя, не связанных прочно сюжетом, — Литвинов и Потугин. Из этого следует, что перед нами скорее два произведения, чем одно.⁹⁸

Важно понять, что Тургенев сознательно поставил перед собой эту задачу. Как и во всех остальных его романах, в замысле «Дыма» присутствуют любовь и политика, но теперь они более сложным образом преломляются в его сознании и творчестве. Новые материалы помогут распутать нити, но сначала следует напомнить вкратце историю создания романа.

2

Хотя некоторые детали сюжета будущего романа Тургенев обдумывал на протяжении многих лет, основные сюжетные линии «Дыма» выросли из романа «Отцы и дети», который, по общему мнению, явился вершиной творчества писателя. Перефразируя известную метафору, он верил, что, написав «Отцов и детей», сможет спокойно достигнуть «тихой пристани старости» (ПССиП (1), Письма, 4:108). В то же время образом Базарова Тургенев распахнул двери в будущее, увводя прочь от патриархальной дореформенной России на долгий путь преобразований и перемен. Роман, таким образом, дарил хотя и зыбкую, но все же надежду. Он был одновременно началом и концом, что соответствовало переходному характеру эпохи.

«Отцы и дети» появились в «Русском вестнике» в начале марта 1862 года по старому стилю. В это время Тургенев, находясь в Париже, уже писал исполненный грусти и разочарования в жизни рассказ «Довольно» с подзаголовком «Отрывок из записок умершего художника». Ничто у него не ладилось: ни работа, ни отношения с Полиной Виардо: они, как явствует из V главы «Довольно», практически прервались. Но он возвращается к отложенному несколько месяцев назад другому рассказу — «Призраки» и сообщает Достоевскому, что работа близится к концу (ПССиП (1), Письма, 4:359). А 14(26) апреля сообщает М. Н. Каткову, что надеется доставить ему к осени «новый труд, хотя не столь обширный (как «Отцы и дети». — П. У.), но задуманный с любовью» (там же, с. 379). Это сообщение считалось одним из первых упоминаний о романе «Дым» (там же, с. 639). Если это так, то первый список «Действующих лиц новой повести», опубликованный А. Мазоном,⁹⁹ следует датировать серединой апреля 1862 года, а не концом того же года или началом следующего, как это сделал А. Мазон, а вслед за ним комментаторы Полного собрания сочинений Тургенева (ПССиП (1), Соч., 9:508; ПССиП (2), 7:510—511). Это подтверждается и тщательным изучением рукописи, хранящейся в Национальной библиотеке в Париже.¹⁰⁰ Более того, упоминания о «новой большой повести» в июньских и июльских

читал называть свои романы «повестями». См.: *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т., изд. второе. Соч. Т. 9. С. 390. Далее ссылки на это издание даются в тексте — ПССиП (2) — с указанием серии, тома и страницы. Поскольку второе издание писем еще не завершено, приходится иногда пользоваться первым изданием, где к тому же в серии «Сочинения» даны все известные к тому времени рукописные и печатные варианты текстов произведений, отсутствующие во втором издании.

⁹⁸ В такой трактовке нет, разумеется, ничего нового. См.: *Freeborn Richard.* Turgenev: the novelist's novelist. Oxford, 1960. P. 142—144. Среди тех, кто пытался опровергнуть эту точку зрения и настаивать на единстве «Дыма», был Дж. Вудворд, утверждавший, что главным действующим лицом романа является не Литвинов и не Потугин, а Ирина. См.: *Woodward James B.* Turgenev's «New Manner»: a reassessment of his novel «Dym» // *Canadian Slavonic Papers.* Vol. XXVI. N 1. March 1984. P. 65—80.

⁹⁹ *Mazon André.* Manuscrits parisiens d'Ivan Tourguénev. Notices et extraits. Paris, 1930. P. 23. Впервые этот список опубликован Мазоном в 1925 году в журнале «Revue des Etudes Slaves» (N 5, p. 261—266).

¹⁰⁰ Slave 88. ff. 87 recto, 86 verso.

письмах 1862 года с указанием ее объема и условий издания (ПССиП (1), Письма, 5:9, 31, 496, 505) не могут относиться к какому-либо иному произведению. Однако несмотря на обещание завершить «повесть» к концу 1862 года, очевидно, что на деле сделано было мало. В действительности Тургенев был прав, выжидая: необходимо было переварить мириады откликов на «Отцов и детей». «Дым» должен был стать совершенно другим произведением, значительно более весомым по сравнению с первоначальным замыслом.

Находясь в июне дома, в Спасском, Тургенев попытался мужественно встретить бурю враждебных откликов на роман «Отцы и дети». Уже в апреле он понимал, что рассердит, огорчит или удивит многих из тех, к чьему мнению он прислушивался. Более того, у Тургенева возникли сложности не только в России. Два ведущих центра так называемого русского демократического движения за рубежом — в Лондоне и Гейдельберге — выступили против его романа. Тургенев лично посещает в том же году оба этих места, которым суждено было сыграть значительную роль в «Дыме».

В середине мая писатель провел неделю в Лондоне, беседуя о будущем России с Герценом и его другом, поэтом и памфлетистом Н. П. Огаревым, а также с пресловутым анархистом М. А. Бакуниным, не так давно бежавшим из сибирской ссылки. Споры между давними друзьями становились все более резкими и ожесточенными. Каждый любил свое отечество, верил в него и все еще надеялся, что недавнее освобождение крестьян будет иметь благотворные последствия; но в то время как лондонская «тройка» предлагала разнообразные пути социальной и политической революции, Тургенев предвидел продолжение всеобщей летаргии, застоя и сопротивления европейскому просвещению. Находясь в Англии, он, по-видимому, посетил международную выставку в Бромптоне и, возможно, Хрустальный дворец в Сиденаме, вынеся оттуда впечатление, что российская цивилизация едва ли играет важную роль в цивилизации мировой. В XIV главе «Дыма» в уста Потугина он вложит одно из самых сильных и глубоко личных наблюдений.¹⁰¹ Хотя западнические взгляды Потугина намеренно утрированы и не вполне выражают позицию самого писателя, они, вне всякого сомнения, прямо почерпнуты из аргументов автора, вынужденного противопоставить их идеям зарождающегося русского крестьянского социализма, которые Тургенев обнаружил в Герцене. После того как писатель вернулся в Париж, Герцен продолжил полемику с ним в восьми негласно адресованных Тургеневу письмах, озаглавленных «Концы и начала», опубликованных в «Колоколе» с июня 1862 года по февраль 1863-го. В них Герцен упрекал своего бывшего друга в желании замкнуться в мирной жизни, почивая на увядших лаврах западной культуры, в то время как Восток пробуждается. Страница за страницей тяжелой, невразумительной и скучной прозы иронически призывали Тургенева запечатлеть печальных и бесцельных Дон Кихотов революции, пока они не вымерли окончательно и их место не заняли люди более крепкой кладки. Если отвлечься от множества попутных замечаний, основная идея заключалась в том, что Европа завершила свой путь, и новое начало движения человечества принадлежит России.

Тургенев познакомился с первыми двумя письмами 21 августа, вскоре после приезда в Баден-Баден, куда отправился за намеревавшимся поселиться там семейством Виардо. Он решил ответить Герцену на страницах «Колокола», прося сохранить его имя в тайне, но, уже начав одно из писем, вскоре понял, что авторство будет тут же обнаружено. К тому же он получил предупреждение от одного из русских высокопоставленных чиновников, что публикация в журнале Герцена еще больше скомпрометирует его в глазах русского правительства, которое как раз в это время заинтересо-

¹⁰¹ Подробнее об этом и о поездке Тургенева в Лондон в 1862 году см. мою работу: Turgenev and England. London, 1980. P. 130—132, 297—298. О сходстве и различиях во взглядах Тургенева и Потугина см. воспоминания В. В. Стасова: И. С. Тургенев в воспоминаниях современников: В 2 т. / Под ред. С. М. Петрова и В. Г. Фридлянд. М., 1969. Т. 2. С. 101.

валось связями писателя с лондонскими изгнанниками. Поэтому Тургенев отказался от своего первоначального намерения и предпочел продолжить частную переписку со своим идейным противником (ПССиП (1), Письма, 5: 38—40; 51—56; 64—68; 73—75; 508, 516). Были, однако, и другие причины, побудившие его изменить свое решение. Одна из них состояла в том, что Тургенева внезапно охватило ощущение умиротворенного благополучия в очаровательных окрестностях Баден-Бадена; вторая, довольно неожиданная, заключалась в том, что в соседнем Гейдельберге оказались более страстные, чем даже Герцен и Огарев, противники его литературного творчества. В сентябре и октябре он дважды выезжал в Гейдельберг поглядеть на «диких русских юношей», столь отличающихся от соотечественников «высшего полета — и потому низшего сорта», которые окружали его на самом курорте (там же, с. 41, 44, 47, 56).

В то время Гейдельберг был убежищем передовых русских студентов и славой своей был обязан преподававшим в нем естественные и экспериментальные науки Бунзену, Кирхгофу, Гельмгольцу и Вундту. Тургенев, не обладавший знаниями в этих областях и предполагавший в этом более дань моде, подчас жестоко нападал на этих молодых и не очень молодых русских в Гейдельберге, которые, судя по XIII и XXVIII главам романа «Отцы и дети», то и дело твердили о приоритете опыта и не умели отличить кислород от азота. На самом же деле в 1862 году в Гейдельберге собрались некоторые как из лучших умов России, так и из самых радикальных. Закрытие университетов, где они учились, в связи с пожарами и беспорядками, последовавшими после реформы 1861 года, послужило причиной еще большего притока студентов в Германию, чем обычно. Но это сделало лишь более очевидным то, что Тургенев, конечно, знал, а именно, что центр, способный привлечь таких людей, как С. П. Боткин, И. М. Сеченов, Д. И. Менделеев и А. П. Бородин, заслуживал не только сатирических выпадов.¹⁰²

По крайней мере таково было мнение гейдельбергских юношей и девушек, прочитавших весной 1862 года роман Тургенева «Отцы и дети». Возмущенные содержащимся там намеком на то, что все они невежественные и никчемные лентяи, молодые люди поручили одному из них, солдату, поэту и студенту К. К. Случевскому (1837—1904), знакомому с Тургеньевым, составить перечень основных пунктов, которые вменялись писателю в вину. Автора романа обвинили в том, что, понося «детей» и превознося «отцов», он наносит ущерб политическому развитию России. Тургенев вежливо и в то же время решительно оспаривал такой взгляд в письме из Парижа от 26 апреля н. ст., но был полон решимости при малейшей возможности сам принять вызов (ПССиП (1), Письма, 4: 379—382, 640). Это произошло, возможно, скорее, чем он ожидал, осенью того же года, и хотя Случевского, по крайней мере в один из приездов Тургенева, в Гейдельберге не оказалось, писатель имел возможность поговорить с другими сторонниками Герцена и Огарева, основателями местной русской читальни, в том числе с В. И. Бакстом (1835—1874), В. Ф. Лугининым (1834—1911) и, по-видимому, с братьями де Роберти. Выступал ли Тургенев перед большой аудиторией, как утверждает один историк, теперь подтвердить нельзя, но он достаточно быстро уловил суть их доводов и понял, что непрекращающееся главенство лондонских эмигрантов превратилось в нечто вроде *pis aller*.¹⁰³ Ни одному из них не удалось поколебать его устойчивое мнение, что Гейдельберг является для русских скопищем злословья, посредственности и пустоты. Так называемые «гейдельбергские арабески» в «Дыме» явно обнаруживают, что думал писатель по поводу их суетливой, но бесполезной деятельности. Уже после выхода в свет «Дыма», в одном из интервью 1867 года Тургенев сказал, что политическая тенденция романа определялась главным образом разочарованием в молодом поколении России, особенно в заграничном

¹⁰² См. об этом: *Святиков С. Г.* И. С. Тургенев и русская молодежь в Гейдельберге (1861—1862) // *Новая жизнь*. 1912. № 12. С. 148—185.

¹⁰³ неизбежного зла (*франц.*).

студенчестве, полностью утратившем идеализм и чувство прекрасного. Они, по мнению писателя, были позитивистами, утилитаристами, реалистами, кем угодно, но прежде всего хотели загасить «священное пламя гуманности».¹⁰⁴ Цель же Тургенева состояла в том, чтобы посредством образа Потугина поддержать это пламя.

Таким образом, политические, социальные и философские истоки романа «Дым» очевидны: Тургенев намеревался излить свое раздражение и на учителей и на учеников, на всех так называемых передовых русских, которых он теперь считал устаревшими, выброшенными историей. В особенности ему хотелось сделать достоянием общности причины своего расхождения с Герценом, Огаревым и Бакуниным.¹⁰⁵ Но личные и нравственные корни романа, гораздо более завуалированные, определить сложнее.

Это был особенно мрачный период в жизни Тургенева, для объяснения которого потребовалась бы целая книга. Казалось, он потерял все, что имело для него жизненно важное значение: молодость, энергию, успех, вдохновение и любовь. В какой-то момент Баден-Баден мог показаться точкой обновления; и даже по возвращении в Париж произошло значительное событие, когда Полина Виардо, посетив его квартиру на улице Риволи 6 ноября 1862 года, начертала на одной из страниц рукописной тетради мистическую пентаграмму в знак своей привязанности.¹⁰⁶ Похоже, вскоре после этого он вновь принимается за старый рассказ «Поездка в Полесье» (1857) и пытается продолжить «день третий», на котором рассказ был прерван. Но вскоре он отказывается от этой попытки, оставив лишь скорбный возглас: «О кроткие чувства, мягкие звуки, доброта и утихание трепетной души, тающая радость первых умилений любви — где вы, где вы?» (ПССиП (1), Соч., 7: 301). 3 января 1863 года, упомянув в письме к одному корреспонденту, что работа над «Дымом» продвигается медленно, он сообщает, что «ничего не ложится на бумагу», хотя и «вертится в голове», а в письме к М. Н. Каткову — о том, что за три месяца не написал «ни единой строчки» и что на него нашло «расположение духа темное и к работе неудобное», отодвигающее обязательные сроки на неопределенное время (ПССиП (1), Письма, 5: 80—81).

Когда в конце января Тургенев вновь приступил к медленно продвигавшейся работе, он неожиданно получил официальное извещение из русского посольства в Париже о том, что ему необходимо приехать в Россию для дачи показаний о сношениях с издателями «Колокола». Ошеломленный и потрясенный Тургенев отправил письмо к царю и оказался весь во власти размышлений о себе и о будущем России. Теперь личное и политическое тесно сплелись в один узел и появился еще один импульс к тому, чтобы перенести на бумагу материал для будущего романа. Независимо от того, когда был создан первый набросок «Главных лиц будущей повести», нет сомнения, что новый список «Действующих лиц новой повести» и «Краткий рассказ новой повести», о которых идет речь в настоящей работе, датированные «Париж, 1863», были написаны этой весной перед отъездом в Баден-Баден в начале мая. Уже в середине февраля в письмах Тургенева отзывались бодрые нотки, и 16, 17 февраля (28 февраля, 1 марта) 1863 года он сообщает П. В. Анненкову, что «и впредь солить» будет «Совре-

¹⁰⁴ *Суворов П. П.* Записки о прошлом. М., 1889. Т. 2. С. 100. О предупреждениях Тургенева в отношении Гейдельберга см.: ПССиП (1), Письма, 4: 147. О «гейдельбергских арабесках» в «Дыме» см.: *Винникова И. А.* «Дым». Тургенев и Писемский. (Еще раз о «гейдельбергских арабесках») // Тургеневский сб. Л., 1969. Вып. V. С. 261—265; *Муратов А. Б.* 1) «Гейдельбергские арабески» в «Дыме» // Лит. наследство. 1967. Т. 76. С. 71—105; 2) И. С. Тургенев после «Отцов и детей» (60-е годы). Л., 1972. С. 124—144.

¹⁰⁵ См. об этом: *Granjard Henri.* Ivan Tourguénev et les courants politiques et sociaux de son temps. 2-me éd. Paris, 1966. P. 353—354. Иное истолкование спора Тургенева с Герценом, более сочувственное Герценому, см.: *Schapiro Leonard.* Turgenev: his life and times. Oxford, 1978. P. 195—213, а также: *Freeborn R.* Op. cit. P. 135—138.

¹⁰⁶ Этот рисунок Тургенев сопроводил записью: «Эта фигура проведена П... 6-го нояб./ 25 окт. 1862-го г. у меня в комнате, вечером, в Париже, rue Rivoli, 210» (*Mazon A.* Op. cit. P. 61).

меннику», постараясь показать своим недоброжелателям, что он «еще жив». Примерно в это же время высокие оценки его творчества русскими друзьями в Париже и неожиданная поддержка Гюстава Флобера, с которым он недавно познакомился, побуждают его вновь вернуться к работе (ПССиП (1), Письма, 5:105—106). Хотя он признается своим корреспондентам, что всю зиму ничего не делал, намерение его возобновить работу в Баден-Бадене остается непреклонным (там же, с. 111).

Большую часть апреля он был занят разного рода делами, включая официальный и очень осторожный ответ на опросный лист, направленный ему следственной комиссией Сената. Март представляется наиболее вероятным временем, к которому следует отнести подготовительные наброски к роману «Дым». По крайней мере неделя должна была потребоваться Тургеневу, чтобы перенести их на бумагу, а об остальном можно лишь строить догадки, поскольку за март сохранилось слишком малое число писем, которые могли бы уточнить, чем он занимался. О том, что писатель завершил подготовительные наброски к «Дыму», свидетельствуют и последующие упоминания о его работе над романом и то обстоятельство, что дата «Париж, 1863» не могла относиться к более позднему периоду: в тот год Тургенев провел в Париже еще несколько дней, но они были посвящены его денежным делам (ПССиП (1), Письма, 5:173).

3

Настало время задуматься над тем, что имел в виду Тургенев, озаглавив свой новый роман «Дым». Насколько это название было существенно для него, подтверждается тем, что оно стояло уже в первом списке «Главных лиц будущей повести».¹⁰⁷ Правда, в публикуемом ныне втором списке действующих лиц и «кратком рассказе» упоминается только «новая повесть». Правда и то, что позже Тургенев думал назвать роман «Две жизни», может быть с целью указать два возможных жизненных пути Литвинова (или противопоставить правителей России и оппозиционеров, а может быть, Литвинова и Потугина по отношению к Ирине),¹⁰⁸ и уже после выхода в свет романа он вновь заколебался в выборе заглавия для французского перевода романа — вместо «Fumée» — «Incertitude» («Неуверенность»), «Entre le passé et l'avenir» («Между прошлым и будущим»), «Sans rivage» («Без берегов») или «Dans le brouillard» («В тумане»).

И все же все эти варианты выражают эфемерное и неопределенное понятие, а последнее прямо возвращает нас к названию «Дым». Настаивая на сохранении названия «Дым», Проспер Мериме считал, что оно могло возбудить читательское любопытство (Corr. gén. / Ed. M. Parturier. Second série. 11 vol. Toulouse, 1953—1964. Vol. 7. P. 550). Иными словами, в нем были поэтическая двусмысленность и некое очарование.

Для анализа всех бесспорных, вероятных и сомнительных значений, имплицированных в слове «дым» — или «fumée», или «smoke» — в связи с романом Тургенева, потребовалась бы целая диссертация. Если вспомнить знаменитые размышления Литвинова в поезде на пути из Баден-Бадена в Гейдельберг (гл. XXVI), то вряд ли следует искать какое-либо конкретное, *положительное* значение. Некоторые исследователи пытались обнаружить связь заглавия с цитатой из Грибоедова, обращенной в эпиграмме Ф. И. Тютчева против Тургенева: «И дым Отечества нам сладок и при-

¹⁰⁷ Мазон А. Оp. cit. P. 23; Лит. наследство. Т. 76. С. 93.

¹⁰⁸ См. воспроизведение титульного листа рукописи: ПССиП (1), Соч., 9: 145. Здесь отражено колебание Тургенева между двумя заглавиями: сначала «Дым», затем «Две жизни» и снова возвращение к первоначальному: «Дым» (об этом см.: Мазон А. Оp. cit. P. 69, хотя следует заметить, что эта аргументация отчасти опровергается тем, что заглавие «Две жизни» стоит отдельно в заглавии рукописи романа, хранящейся в Национальной библиотеке в Париже: Slave 84, f. 2).

ятен».¹⁰⁹ В действительности цитата имеет длинную историю. Грибоедов цитировал в несколько видоизмененной форме заключительную строку из стихотворения Г. Р. Державина «Арфа», ставшую афоризмом; в свою очередь Державин трансформировал мысль, восходящую к «Одиссее» и Лукиану, дошедшую через посредство Дю Белле и наиболее точно сформулированную в «Английских пословицах» Джона Рейя (Ray), 1670: «Дым собственного очага лучше, чем огонь чужого» («The smoke of a man's own house is better than the fire of another's»). Но хотя Тургенев, возможно, в глубине души чувствовал все это — кто способен полностью возненавидеть родное, даже если оно позорно? — к роману такая трактовка не имеет отношения и более подходит к выражению взглядов Герцена, Огарева и других изгнанников и, конечно, Достоевского и Толстого.

Еще одно осмысление заглавия, являющееся для романа лишь периферийным, лежит в русле иудео-христианской традиции, рассматривающей дым как предзнаменование, знамение суда и разрушения: дым поглощает грешников, Бог рассеивает своих врагов, как ветер рассеивает дым (Псалмы, 37: 20, 68: 2, 102: 3; Деяния, 2: 19). С другой стороны, аналогичный взгляд на жизнь, которая подобна дыму, поглощается либо судом, либо роком, либо нашими собственными поступками, соответствует мировоззрению Литвинова вплоть до его окончательного разрыва с Ириной. Дым можно рассматривать как символ мрака или ночи, ожидающей всех нас, и Тургенев действительно развернул этот образ, чтобы распространить его на тех, кого уже обволакивал туман и дым, как лондонских эмигрантов и их двойников в его произведении (ПССиП (1), Письма, 5: 52, 68). Большая часть России не понимала, по его мнению, где она и что с нею происходит из-за ею же напущенной дымовой завесы. В какое-то время Тургенева смущала «всеобщая *газообразность* России», далекой от «планетарного состояния» (там же, 4: 238).

Разного рода беглые упоминания «дыма» и «тумана», искусно введенные автором в текст романа, создают ощущение чего-то смутного и неясного как в среде сильных мира сего, так и в среде тех, кто желает их свержения. В четвертой и шестой главах Литвинов испытывает головокружение и головную боль от клубов табачного дыма в губаревском кружке; в десятой главе он страдает, вдыхая более изысканный дым сигар курящих генералов. Между тем уже в XVII главе он осознает, что его единственный путь к спасению — бегство в Россию по железной дороге — будет окутан клубами паровозного дыма, и когда он в XXV главе покидает Баден-Баден, сама Ирина тает в каком-то подобии тумана, с которым она потом и будет ассоциироваться в его сознании. Затем следуют его размышления о дыме и паре в XXVI главе, в то время как его поезд пронесется сквозь клубы пара и дыма, непрерывно меняющие форму и все-таки одни и те же. В самом конце романа, уже в России, вновь обретенное Литвиновым счастье с одетой в белое платье Татьяной контрастирует с кадилльным дымом умирающей аристократии.

Еще одно существенное упоминание дыма мы встречаем в XXIII главе, когда Литвинов использует выражение «дым и прах» для обозначения крушения своих «надежд и начинаний». Мысль, что любовь к Ирине компенсирует ему утрату прошлого, придает этой фразе еще более острое звучание. Здесь мы подходим к подлинному смыслу слова «дым», означающему преходящий характер человеческой жизни и стремлений. И в русском, и в английском, и во французском, как и во многих других языках, существует выражение «исчезать как дым» об иллюзиях, обманчивых надеждах и вере, о суетности и тщеславии. Начиная со скрывающегося из вида дыма у Вергилия (Энеида, песнь V, 740) до мильтоновских «дыма и суеты» (Комус, 5) и шекспировского

¹⁰⁹ См.: Батюто А. И. Тургенев-романист. Л., 1972. С. 359—360. О различных коннотациях слова «Дым» см. также: Thiergen Peter. Turgenews Dum: Titel und Thema // Studien zu Literatur und Kultur in Osteuropa. Bonner Beiträge zum 9. Internationalen Slawistenkongress in Kiev, ed. Hans-Bernd Harder and Hans Rothe, Cologne and Vienna, 1983.

«беспомощного дыма слов» (Похищение Лукреции, 1027) поэты всех веков стремились выразить при помощи такого рода образов кажущуюся бесцельность всего, о чем мы думаем, о чем говорим и что делаем. Несомненно, Тургенев держал в памяти стихотворение Ф. И. Тютчева «Как дымный столб светлеет в вышине...» (1848). В письмах к П. В. Анненкову от 13(25) ноября 1879 года и от 28 октября (9 ноября) 1881 года он цитирует: «Тень, бегущая от дыма».

Тургенев и сам любил повторять эту мысль в переписке с друзьями. «Но все эти прекрасные планы разлетелись дымом», — пишет он 20 июля (1 августа) 1859 года Н. Я. Макарову, а 19(31) января 1861 года сообщает О. Д. Хилковой: «Эти три месяца прошли как дым из трубы: бегут, бегут какие-то серые клубы, все как будто различные и в то же время однообразные». Последняя формулировка столь близка размышлениям Литвинова в поезде, похожим на фрагмент из Экклезиаста, что Тургенев, должно быть, просто повторил ее; в самом деле, все в этом удивительном размышлении указывает на его собственный жизненный опыт тех лет. «Суета сует и всяческая суета», — говорит Экклезиаст — на этот раз сам Тургенев. Удивительно, что эти слова относятся не только к тому, на что обрушивается Потугин, но даже и к его собственным мыслям.

Источник пессимизма романа «Дым» многие комментаторы усматривали во влиянии Шопенгауэра.¹¹⁰ Около 1862 года, когда возник замысел романа, когда обдумывались другие пессимистические произведения, такие как «Довольно» и «Призраки», Тургенев, бесспорно, увлекался Шопенгауэром. На Шопенгауэра ссылался он в одном из ожесточенных споров с Герценом (ПССиП (1), Письма, 5: 65). Есть также основания полагать, что Тургенев обсуждал Шопенгауэра с П. Мериме.¹¹¹ Однако отмечавшееся уже и гораздо более раннее по времени влияние Б. Паскаля на Тургенева, слишком хорошо известное, чтобы останавливаться на нем,¹¹² ощутимо в гл. XIII «Довольно»; французский мыслитель тоже говорит где-то, что наша душа лишь ветер и дым. Возвращаясь к самому Тургеневу, следует помнить романтический фон, который было пронизано все его существование и который, в каком-то смысле, никогда не исчезал. Незадолго до того Ипполит Тэн в своем «*Voyage aux eaux des Pyrénées*» (1855) провозгласил, что жизнь человека — чистая случайность, обусловленная колебанием температуры, и всего лишь мгновение в вечности. Эта мысль, выраженная, правда, реалистически, все же остается в рамках традиции Шатобриана, который в «Рене» (1802) писал, что «род людской существует лишь день; дыхание Господа рассеивает его, подобно дыму».

Как бы то ни было, Тургенева преследовал символ дыма как воплощения хрупкости и преходящего характера всего человеческого. Завершая «Гамлета и Дон-Кихота» (1860), замечательное исследование противоположных начал человеческого рода, он цитирует (в переводе В. А. Жуковского) шиллеровское «Торжество победителей»: «Все великое земное / Разлетается, как дым...» Здесь он все еще опровергает эту мысль, утверждая, что «добрые дела не разлетятся дымом; они долговечнее самой сияющей красоты» и, ссылаясь на апостола Павла, что «одна любовь останется» (ПССиП (2), Соч., 5: 348). Похожее заключение содержится и в финале «Отцов и детей». Но в «Довольно» акцент меняется. Искусство оказывается более долговечным, чем политика, но и оно — «бренные образы, которые мы, в темноте, на краю бездны, лепим из праха и на миг» (ПССиП (2), Соч., 7: 228—229); все это тоже иллюзия, а жизнь монотонно повторяет себя. И в «Призраках» Тургенев проявляет сходное отвлечение к истории и современному состоянию человечества, испытывает ужас перед

¹¹⁰ *McLaughlin Sigrid*. Schopenhauer in Russland. Zur Literarischen Rezeption bei Turgenev. Wiesbaden. 1984.

¹¹¹ См.: *Granjard H.* Op. cit. P. 325—326; *Mérimée P.* Oeuvres complètes. Etudes de littérature russe / Ed. H. Mongault. Paris, 1932. V. II. P. 549—550.

¹¹² См.: ПССиП (1), Письма, 5: 245—246; *Батюто А. И.* Тургенев и Паскаль // Русская литература. 1964. № 1. С. 153—162.

разрушительными силами природы. Картина растворяется в картине, век в веке, и все проступает из тумана и обращается в ничто. И в этом произведении, завершённом в Баден-Бадене летом 1863 года, и в другом, которое будет отложено еще на два года, Тургенев был достаточно осторожен, чтобы не использовать слово «дым», однако в обоих этот образ непреодолимо присутствует в общем настроении и окончательном воплощении. Он будет присутствовать у него вплоть до публикации «Дыма» в 1867 году, несмотря на то что роман имеет благополучный конец.

Следует, однако, подчеркнуть, что Тургенев никогда не терял веру в силу любви надолго. Эта вера действительно послужила завязкой к перипетиям «Дыма» и позволила ему дописать произведение именно как роман. Пятилетний промежуток между разработкой замысла и его завершением был заполнен вновь обретенными в Баден-Бадене эмоциональной успокоенностью, большей близостью к Полине Виардо и вернувшейся радостью их отношений. После непродолжительного периода бездействия к Тургеневу, благодаря Полине Виардо, вернулось вдохновение, и он усердно принялся за работу над «Дымом». Роман был начат 18 ноября 1865 года.¹¹³ На титульный лист тетради, специально купленной для этой цели, он наклеил надпись: «s. i. P.» и знак, напоминающий небольшой крестик. Завершив рукопись, 29 января 1867 года он сделал самое сильное из всех когда-либо положенных им на бумагу признаний в любви. Он объяснил, что должен получить ее согласие, одобрение, и все должно быть «s. i. P.»¹¹⁴ Андре Мазон высказал предположение, что этот тайный шифр может быть прочитан как: «sub invocatione Paulinae», т. е. «под защитой Полины». Другой вариант — «sub imperio Paulinae», т. е. «по повелению Полины».¹¹⁵ Так или иначе, это несомненно означает, что «Дым» в его окончательном варианте был настолько же внутренне и безусловно связан с чувствами Тургенева к Полине Виардо, как и решительно направлен против всего, что казалось автору пошлым, лицемерным и извращенным в современной ему России. Сквозь дым ныне блеснул огонь.

4

Обратимся, наконец, к двум небольшим записным книжкам, имеющим дату «Париж, 1863» и озаглавленным: «Краткий рассказ новой повести» и «Формулярный список действующих лиц новой повести». Без сомнения, краткое изложение сюжета написано позднее формулярного списка, но для удобства начнем с него.

Прежде всего мы узнаём, что роман первоначально должен был состоять из 18-ти глав. К моменту завершения их оказалось 28. Это произошло частично в результате того, что длинные главы были разбиты на две, но, помимо этого, разрослась и была изменена сама структура романа: кое-какие детали были разработаны подробно, иные введены в роман заново. Тем не менее большая часть того, что было в первоначальном замысле, сохранилась, включая мелкие, казалось бы незначительные подробности. Вполне вероятно, что это было вызвано отчасти какими-то личными мотивами. Первое, что следует отметить: действие в «Кратком рассказе...» начинается так же, как и в романе: в 4 часа пополудни 10 августа 1862 года. Хотя Тургенев и прежде поль-

¹¹³ Quelques lettres d'Ivan Tourguénev à Pauline Viardot / Ed. H. Granjard. Paris, 1974. P. 133—134; Mazon A. Op. cit. P. 68—69.

¹¹⁴ Tourguénev Ivan. Nouvelle correspondance inédite. Paris, 1971. Vol. I. P. 140; Lettres inédites de Tourguénev à Pauline Viardot et à sa famille / Ed. H. Granjard et A. Zviguilsky. Lausanne, 1972. P. 126—127; New Zealand Slavonic Journal. 1983. P. 229; ПССиП (1), Письма, 6: 139, 141, 142.

¹¹⁵ См.: Mazon A. Op. cit. P. 68. Наклейка на тетради напоминает по форме гроб, что, может быть, побудило читать (несомненно, неверно) аббревиатуру как «sit in pace» («почиет в мире» — лат.). Судя по таким же наклейкам на других тетрадях, хранящихся в Национальной библиотеке в Париже (Slave 84, 85, 86), «P» — безусловно прописная буква, а некоторые другие интерпретации, как например «sub iudice Paulina» или «sic iuvat Paulinam», вряд ли убедительны, так как Тургенев написал бы «j», а не «i».

зовался конкретными датами (так начинаются, например, «Отцы и дети»), чувствует-ся, что впечатления Литвинова от Шварцвальда — это собственные впечатления ав-тора. Несмотря на краткое посещение курорта летом 1857 года, вряд ли Тургенев знал это место до того, как прибыл туда прямо из России 9(21) августа 1862 года. Как и Литвинов, он мог получить первые непосредственные впечатления от местной, лениво флангирующей публики именно 10 августа, правда по старому стилю. Перепутал ли он стиль, когда девять месяцев спустя указывал дату, или произвольно изменил ее, как бы говоря: я был и не был там, но сама связь между двумя стилями кажется слишком очевидной, чтобы быть простым совпадением; и сохранение даты 1862, ко-торая вполне могла быть заменена на другую, скажем на 1866, накануне появления романа, по-видимому, тоже указывает на автобиографическую значимость ее для Тур-генева. Более того, баденская обстановка определяется в романе как впечатлениями 1857 года, так и 1862-го, когда многие представители высшего света удостоили город своим пребыванием: Смирновы, Озеровы, Трубецкие, Голицыны, княгиня В. П. Буте-ра ди Радали (мать Шуваловых), граф Олсуфьев и княгиня Елизавета Гагарина с дочерьми. Среди литераторов здесь был Л. Н. Толстой, проигравшийся в рулетку, и поэт Я. П. Полонский.¹¹⁶

В I главе «Краткого рассказа...» Тургенев ставит перед собой задачу «описать под-робно» эту послеполуденную публику и сделать из этого описания «целую сильную главу». Некоторые детали прямо соответствуют тому, что вошло в окончательный текст, причем многие аллюзии объяснены; например, становится ясным, что за фигу-рой престарелого французского писателя, которого позже Тургенев назовет Вердые, стоит Жозеф Мери (1798—1865) — автор рассказов и оперных либретто, некогда мод-ный поэт и остроумный собеседник. Пребывание в Баден-Бадене известного америка-но-шотландского медиума Даниэля Дунгласа Юма (1833—1886) объясняет упомина-ние о «спиритах», как и случай с г-ном Фоксом в окончательном варианте XV главы. Юм безусловно находился там в 1857 году, когда Тургенев впервые посетил город, и скорее всего был там и на этот раз. Полонский, встретивший Юма у кн. Бутеры, описал это в своих воспоминаниях.¹¹⁷

«Р. Р.», вызывающий в памяти «львов сороковых годов», когда графиня Воротын-ская была предметом всеобщего поклонения, отчасти имеет отношение к создателю этой литературной героини, графу В. А. Соллогубу (1814—1882), который в это время жил в Баден-Бадене. Возможно, «графиня Ш.» немало позаимствовала у кн. Бутеры. К «тузам с европейским именем» Тургенев, видимо, причислял загадочного графа Блюхера и одного из членов клана Кридинеров (Криденеров, Крюденеров), мо-жет быть П. А. Кридинера, в то время находившегося на дипломатической службе, но скорее всего имелся в виду генерал-лейтенант Николай Павлович Криденер (ум. 1891), гроза поляков в 1860-е годы, а позже один из командующих в русско-турецкой войне 1877—1878 годов. С другой стороны, первая глава романа в окончательном варианте стала более русской. Согласно «Краткому рассказу...», она должна была включать англичан, известных прусских деятелей, международных авантюристов («chevaliers d'industrie») и «поганных французиков», вроде уроженца Лейпцига, журналиста и писателя Анри Люттерота (1802—1889) и таинственного Зографо, который впослед-ствии дрался на дуэли, где Тургенев был секундантом.¹¹⁸ Последовательное возрастание внимания автора к русским отчетливо соответствовало развитию основных тем рома-на, но и отличалось от первоначального восприятия Тургеневым Баден-Бадена. По мере того как он, поселившись в этом действительно очаровательном городе, привы-кал к местной публике, обустроивая заново жизнь рядом с Полиной Виардо и ее

¹¹⁶ Полонский Я. П. Из дневника // Голос минувшего. 1919. Январь-Апрель. С. 120, 122, 124—126.

¹¹⁷ Там же. С. 124.

¹¹⁸ Mazon A. Op. cit. P. 69; New Zealand Slavonic Journal. 1988. P. II. P. 57.

семьей, его поначалу острое неприятие мещанской ограниченности этой публики смягчалось, но в 1863 году, когда рождался замысел «Дыма», писатель, должно быть, был встревожен перспективой жить — с Виардо или без них — в соседстве с этой самодовольной средой.

С этим, несомненно, связаны некоторые детали в «Кратком рассказе...», делающие Литвинова менее стабильным, менее уверенным в себе. Он, а не Бамбаев с Ворошиловым, должен был вызвать презрительную гримасу у известной цветочницы Жокей-клуба. Его портрет должен был присутствовать в I главе, а во второй рассказана его история. Мимолетное появление Ирины в конце III главы романа в замысле было включено во II главу, а встреча с Литвиновым должна была создать в сознании читателя уже в самом начале ощущение сомнения и опасности.

Согласно замыслу, II глава должна была более выделить личность Ворошилова, а не его поведение в неожиданных ситуациях (Тургенев употребляет немецкое слово «Haltung» и по отношению к другим персонажам). В отличие от Бамбаева, Ворошилов не ломает дурака перед Литвиновым.

Глава III (в романе IV) демонстрирует некоторые интересные детали сходства и различия с окончательным текстом. Одну или две замечательные детали Тургенев сохранил, очевидно подчеркивая их значение для себя еще в 1863 году: это «прыгающие глаза» Суханчиковой и характеристика Биндасова как человека «дрянного». Видимо, эти черты были характерными для их прототипов — гр. Е. В. Салиас де Турнемир и Н. Х. Кетчера. С другой стороны, Пищалкин, кажется, первоначально должен был играть не меньшую роль, чем Суханчикова, однако в окончательном варианте он уже не играет особой роли. На самом деле политическое содержание этой главы, весьма расплывчатое и абстрактное в окончательном виде, возможно, было бы более острым, если бы роман был написан в 1863 году: в дополнение к «сплетням» и «пустоте» на вечеринке, похоже, должен был обсуждаться «польский вопрос» (актуальный в то время), а не быть упомянутым вскользь Губарёвым. Кроме того, Потугин должен был принять участие в обсуждении, хотя бы в форме язвительных реплик; Губарёв — устроить еще одну встречу кружка, в Гейдельберге; и все должно было быть передано Тургеневым «с любовью» («con amore»). Кроме того, Литвинов должен был покинуть это сборище не просто удивленным и раздраженным, а перед ним должна была возникнуть дилемма: совершенный ли это «вздор» или нечто, «имеющее право жить». Из чего можно сделать вывод, что первоначально Тургенев собирался сопоставить «глупые» и «умные» элементы философской основы романа, а не разделить их и ввести Потугина лишь в разговор «tête-à-tête» с Литвиновым.

IV глава (в романе V) должна была главным образом состоять из «первого непременно замечательного разговора». Поскольку о содержании его не говорится, можно предположить, что Тургенев хотел разработать эту и другие сцены с Потугиным отдельно, но, очевидно, не представлял себе, что этот самый замечательный «разговор» (а вернее, монолог) выйдет таким долгим, ведь в конце главы должна была помещаться большая часть материала, который мы обнаруживаем в следующей (VI) главе. О самом же этом материале следует сказать, что вряд ли письмо из дома и записка попа «о порче» могли быть выдуманы, скорее они были почерпнуты из жизни, иначе как бы Тургенев смог описать несколько лет спустя то, что существовало лишь в виде заметок?

В самом конце IV главы «Краткого рассказа...» Тургенев заставляет Литвинова вспомнить женщину, которую он заметил в Лихтенгалевской аллее во II главе. В романе этот эпизод передан более сильно и в психологическом и в художественном отношении: о прошлой любви Литвинову напоминает лишь запах гелиотропа. Однако первоначальный вариант V главы (VII, VIII и IX в окончательном тексте), включающий рассказ об Ирине как воспоминание Литвинова во время бессонницы, мог быть драматически более эффектным, не будь этот рассказ столь растянутым в окончательном тексте романа. В «Кратком рассказе...» Тургенев ставит перед собой задачу «подробно описать характер Ирины» и сделать все «и тонко и горячо»; но он не мог

предвидеть, что́ из этого получится. Даже в таком виде, с тремя главами вместо одной, в романе, несмотря на очевидное намерение писателя, не нашлось места рассказу о замужестве героини и лишь вскользь упоминается о нем.

Глава X романа соответствует основным линиям, намеченным в главе VI «Краткого рассказа...», но более подробно останавливается на характеристике и беседе генералов: ведь у Тургенева было достаточно времени их изучить. В наброске, правда, «фешенебельная экскурсия россиян» (пикник) включала дипломатов, высокопоставленных особ, а также военных и Ж. Мери (он же Вердьё), который не должен был появиться лишь незадолго до ухода Литвинова, как это произошло в романе; ничего не сказано и о том, какого рода был разговор, в который оказался волей-неволей втянутым наш герой. Конец VI и вся VII глава наброска соответствуют IX главе «Дыма», с тем лишь очень важным различием, что Потугин должен был иметь здесь «второй замечательный разговор» с Литвиновым и подробно рассказать ему о своих отношениях с Ириной, прежде чем отвести его к ней. Все это, по зрелом размышлении, Тургенев решил сделать позже.

VIII глава (соответствующая XII главе в романе) имела помету: «показать, что Ирина не кокетничает просто, а действительно сохранила (...) влечение к прошлому». Пусть читатель судит, следует ли это из романа, хотя, конечно, Ирина (позже) скажет это сама. В конце этой главы Тургенев намеревался ввести Ратмирова (здесь еще Селунского) и еще одного генерала и показать их «пустоту и дрянной шик», но в окончательном тексте ему удалось достичь этой цели уже в сцене пикника; здесь же впоследствии он направит свои стрелы, говоря о происхождении Ратмирова, в иную сторону. Важной подробностью VIII главы является приглашение Ирины и ее мужа на прием к вел. княгине (а не «княгине», как в XII главе романа). Возможно, здесь идет речь о какой-то реальной особе, с которой встречался Тургенев, например о вел. княгине Елене Павловне (1806—1873), невестке покойного императора Павла, часто бывавшей в Баден-Бадене и находившейся там в то время, когда разворачивается действие романа; семейство Виардо и Тургенев общались с нею (ПССиП (1), Письма, 5: 59, 203, 289).¹¹⁹

С этого момента сюжетная линия романа существенно расходится с первоначальным вариантом. В предполагавшейся IX главе Литвинов бесцельно проводит утро в обществе своих новых, «передовых» знакомых. Тургенев задается целью показать «тщету и суету русских, когда они выболтались на первых порах». Он надеется на приход Потугина, когда получает вдруг записку от Ирины с сообщением, что она ждет его в Лихтенталевской аллее. «Он бежит, как к ангелу-освободителю». Между ними происходит откровенный разговор. Однако такое развитие сюжета, видимо, показалось Тургеневу чересчур стремительным, так как вместо этого в XIII главе романа Литвинов сначала не замечает Ирину на улице, затем встречает ее в таком месте, где встречи избежать невозможно, и даже тогда возникающее влечение к ней ограничивается рукопожатием, о котором говорилось в конце VIII главы «Краткого рассказа...»

В предполагаемой X главе романа Литвинов встречается с Потугиным на скамье, как в XIV главе окончательного текста, но их «весьма важный» разговор «о России и о русском народе» оказался гораздо длиннее, чем предполагалось: очевидно, Тургенев включил в него «второй замечательный разговор» и рассказ Потугина о его любви к Ирине из VII главы краткого изложения романа. Далее должна была быть встреча с Пицалкиным и Ворошиловым, после чего Литвинов получал записку от Ирины с назначением свидания. В романе же мы видим вместо этого подробное описание общества у Ирины (первая часть XV главы), в то время как в «Кратком рассказе...» в главе XI Литвинов видится с Ириной и теряет самообладание. Тургенев отмечает, что должен показать характер героини, как он ее понимает: «страстная и расчетливая,

¹¹⁹ *Tourguénev Ivan. Nouvelle correspondance inédite. Vol. I. P. 112.*

хитрая и наивная, глубоко испорченная раба с порывами к Истине и к Свободе». В ответ на упрек в кокетстве Ирина заявляет: «Я твоя...» Эту сцену Тургенев намеревался изобразить «быстро и пламенно». «Странная» встреча с Потугиным и бегство его от Литвинова в конце главы, возможно, напоминают уход Потугина в XIV главе романа (ПССиП (1), Соч., 9: 239).

Несомненно, позднее Тургенев по какой-то причине решил усилить и тщательно разработать внутреннюю борьбу Литвинова, который сначала думает о бегстве к Татьяне, затем испытывает колебания и, наконец, его целиком захватывает любовь к Ирине. В XVI главе именно он первый открыто заявляет о своей любви. В «Кратком рассказе...», напротив, Ирина упорно продолжает соблазнять его. В предполагаемой XII главе она должна была быть великолепна — сурово-презрительна с мужем, волосы распущены. Тургенев недвусмысленно пишет: «Она его любит. Она ему отдается». В окончательном варианте Тургенев деликатно предоставляет воображению читателя додумать, как далеко зашли влюбленные в своих отношениях (глава XVII).

Глава XIII «Краткого рассказа...» на первый взгляд более или менее соответствует XVIII главе романа. Татьяна с теткой приезжают в Баден-Баден, осматривают город, мельком видят Ирину и знакомятся с Потугиным. Но далее разыгрывается сцена, исполненная трагизма: вечером в аллее Ирина хватает Литвинова за руку и трепещущим голосом просит пощадить ее. С другой стороны, в набросках ничего не говорится о горячем вмешательстве Потугина в дела Литвинова. Об этом идет речь в главе XIX романа, после чего Тургенев излагает обещанную в кратком изложении гораздо ранее историю отношений самого Потугина с Ириной. В этом аспекте разница разительна: рыдания и внешняя порочность первого варианта преобразовались в конечном счете в высокий фатализм греческой трагедии.

Затем в XIV главе первоначального замысла следует первое объяснение Литвинова с Татьяной (в романе это глава XX). Тургенев лаконично записал: «Он говорит ей все, что можно. Ее Haltung вроде Ольги Тургеневоy». Это чрезвычайно важный момент для изучения биографии самого Тургенева, о чем будет идти речь ниже. Литвинов сразу же возвращается к Ирине для объяснения (в романе это произойдет позже, в главе XIX и отчасти в XXIII). Она, как и в романе, готова бежать с ним, но, в отличие от окончательного текста, здесь их прерывает не приход мужа, а она сама отводит глаза и откладывает объяснение до следующего раза. Ирина, плача, отворачивает лицо, чтобы слезы не попали на кружева. Эта деталь сохранится и будет, хотя и несколько иначе, обыграна в окончательном тексте, где имя г-жи де Беаг, к которой Ирина с мужем собираются ехать, надеясь там увидеть прусского короля, будет опущено, поскольку Тургенев и семейство Виардо впоследствии тоже общались с этой семьей (ПССиП (1), Письма, 13 (2): 207).¹²⁰

До отъезда Литвинова из Баден-Бадена события в романе развиваются почти так же, как и в кратком изложении, хотя и с некоторыми любопытными изменениями. Так, в XV главе «Краткого рассказа...» содержится немало деталей, более подробно характеризующих непостоянство, жестокость и кокетство Ирины, которые будут опущены впоследствии и придадут повествованию налет большей обреченности и тайны.

Второе объяснение Литвинова с Татьяной перед отъездом обоих из Баден-Бадена и их «прощание без горечи» оставляют «маленький луч» надежды в сердце героя, он гораздо быстрее овладевает собой, чем в окончательном варианте романа, и готов переломить себя, чтобы «дело делать». Однако тревога в его душе сохраняется. Пришедшая проститься с ним на вокзал Ирина чувствует, что его привлекает Татьяна, и умоляет его не жениться. Все это отличается по тону от событий, происходящих в «Дыме».

¹²⁰ Октав де Беаг (1827—1879) был известным собирателем книг и произведений искусства.

Остальные эпизоды «Краткого рассказа...» весьма сжаты. Заключительная глава (XVIII) начинается следующим образом: «Дорож(ные) размышл(ения). — Дым.». Последнее слово подчеркнуто, что подтверждает значимость его в качестве заглавия будущего романа. Сохранится в романе и мимолетная встреча с «передовыми умами» проездом в Гейдельберге. Затем мы видим Литвинова в своем поместье, где он «попробовал того-сего» и разделил землю с крестьянами.

Далее, проведя разделительную черту, Тургенев, возможно спустя некоторое время или сразу же, добавил: «Пишет письмо Т(атьяне). Получает ответ: приезжайте: говорят, даже больным легче вместе, чем порознь». Любопытно отметить, что и концовка и начало романа заимствованы из «Краткого рассказа...» почти без изменений. Здесь психологически вновь всплывает автобиографическая подоплека: поселившись вблизи семейства Полины Виардо в Германии, Тургенев «увез боль из России», как и она «увезла в себе боль», покинув Францию.

5

Тщательное сопоставление «Краткого рассказа...» и окончательного текста романа дает возможность лучше понять расстановку акцентов в тургеневском «Формулярном списке действующих лиц новой повести». С самого начала очевидно, что из двенадцати действующих лиц шестеро играют незначительную роль в разработке сюжета: Ворошилов, Губарев, Биндасов, Пищалкин, Бамбаев и Суханчикова. Большинство из них служат лишь для создания атмосферы романа и действуют немногим более безмянных генералов на пикнике. Очевидно и то, что некоторые из них, по крайней мере согласно первоначальному замыслу, должны были играть большую роль, судя по вниманию, которое уделил Тургенев разработке их характеров и их происхождения. Похоже, что в 1863 году они были значительно важнее для него, чем два-три года спустя, а спор с «передовыми», как лондонскими, так и гейдельбергскими, утрачивал свою остроту отчасти и потому, что уже в начале 1864 года сенатское расследование прекратилось и Тургенев был совершенно свободен. За год до этого прекратилась переписка с Герценом и возобновилась лишь после публикации «Дыма». Однако несмотря на то что раздражение Тургенева со временем утихло и часть «губаревцев» исчезла из романа, исключить эту полемику значило бы написать совсем другую книгу.

Прототипы для этой группы персонажей становятся понятны в свете новых материалов. В новом списке действующих лиц широко использованы шифрованные сокращения, аналогичные тем, что фигурировали в опубликованном А. Мазоном первом списке «Главных лиц будущей повести», о котором уже шла речь. Но индивидуальные характеристики подтверждают полное их тождество. Большая часть (хотя и не все) расшифровок, сделанных Мазоном и затем советскими исследователями, подтверждается, но истина оказывается более сложной, чем предполагалось ранее. Так, в качестве прототипа Ворошилова (вначале его звали Семен Яковлевич и ему было 30 лет) справедливо указывали К. К. Случевского, которому Тургенев сначала помогал, но потом разочаровался в нем. Вернувшись в Россию как раз после появления «Дыма», Случевский принялся писать иронические памфлеты против тех самых идей, которые раньше отстаивал. Видимо, Тургенев встречался с ним в Париже, когда делал первые наброски к «Дыму» (ПССиП (1), Письма, 5:81). Проблема усложняется тем, что в «Формулярном списке...» он пишет по поводу Ворошилова: «Слить воедино Случевского, де Роберти и Леонтьева».

Из нескольких членов семьи де Роберти, с которыми встречался Тургенев, здесь скорее всего речь идет о Евгении Валентиновиче (ум. в 1915 году), активном члене гейдельбергского кружка, объявившем себя сторонником Герцена, который являлся соредактором сатирического листка «A tout venant je crache (Плюю на первого встречного — франц.), или Бог не выдаст — свинья не съест». Этот листок упомянут в

XXVI главе «Дыма». Позже этот де Роберти стал консерватором и узнал себя в «Дыме», а впервые соотнес его с Ворошиловым А. Б. Муратов.¹²¹

Соотнесение Ворошилова с К. Н. Леонтьевым (1831—1891), доктором, дипломатом, писателем и публицистом, не столь очевидно. Большой поклонник Тургенева, поощрявшего его ранние опыты, Леонтьев оставил воспоминания об их отношениях. Начав как либерал, он тоже впоследствии стал разделять реакционные и славянофильские взгляды, но Тургенев, вероятно, имел в виду эксцентричность его поведения.

Возможно, именно разочарование в таланте, который расходуется впустую, ощущение дыма без огня выдвинулись на первый план при создании образа Ворошилова. Такая интерпретация подтверждается портретом Ворошилова в кратком пересказе. Он должен был обладать красивой и элегантной внешностью и даже в душе быть человеком добрым. Он достаточно умен, чтобы имя его оказалось на золотой доске Пажеского корпуса. Но спустя некоторое время стороннему наблюдателю должны стать заметны его пошлость и то, что Тургенев назвал «русской шатостью». В романе Ворошилов выглядит шутком, полным путаных идей, «бесом» Достоевского, опередившим свое время. Первоначально, правда, Тургенев пытался объяснить отталкивающие черты Ворошилова ссылкой на злополучное происхождение от пустой и злой матери и отца-взяточника. Не следует, однако, думать, что порочность Ворошилова в окончательном тексте романа обязана враждебности Тургенева по отношению к Случевскому, де Роберти или Леонтьеву.

Пародийный стиль используется и в портрете Губарева, но карикатурность не так подчеркнута. Возможно, это связано с тем, что Тургенев более серьезно относился к прототипам этого героя. Как и в случае с Ворошиловым, некоторые точные детали были найдены с самого начала: его звали Степаном Николаевичем, ему было 42 года и прототипом его был некто «О.». Безусловно речь шла об Огареве, но в «Кратком рассказе...» Тургенев пишет: «Это — Огарев — Фролов — Касаткин». Упоминание Фролова может показаться странным: им мог быть только Николай Григорьевич Фролов (1812—1855), умерший за несколько лет до создания романа, близкий к кружку Н. В. Станкевича. В свое время, во время учебы в Берлине, он произвел на Тургенева сильное впечатление, хотя позднее, по свидетельству Е. М. Феоктистова, писатель иронически намекнул на него в рассказе «Гамлет Щигровского уезда»¹²² и еще позднее изобразил в рассказе «Пунин и Бабурин» (ПССиП (1), Письма, 10 : 230). Главная черта Фролова, которую имел в виду Тургенев, создавая образ Губарева, это благоговение, которое к нему питали окружающие. Как Герцен в отношении Огарева, так и Станкевич видел во Фролове гораздо более интересную личность, чем он был на самом деле, и не позволял своим друзьям думать иначе. Маленький и круглый Фролов в действительности был довольно смирным и скучным, но многие были убеждены в его гениальности.¹²³ Что же касается В. И. Касаткина (1831—1867), которого исследователи считали прототипом Пищалькина (ПССиП (2), Соч., 7 : 512), то он был еще одним протеже Герцена, которого Тургенев не успел хорошенько узнать и считал его «тупейшим человеком» с «противным лбом и невозможностью закончить рассказом начатый анекдот» (ПССиП (1), Письма, 7 : 38, 87). Краткая характеристика, данная Тургеневым Губареву, беспощадна и великолепа: «Русский доктринер. Демократ-фанатик и лентяй. Туп, меланхоличен, важен, упорен, бездарен, но не глуп». Некоторые уничтожительные подробности личной жизни Губарева заимствованы от других прототипов, некоторые же, касающиеся его покойной жены, вычеркнуты из рукописи уже во время типографского набора (ПССиП (1), Соч., 9 : 425). Наружность Губарева была,

¹²¹ Муратов А. Б. «Гейдельбергские арабески» в «Дыме». С. 71—105.

¹²² См.: Из воспоминаний Е. М. Феоктистова /С предисл. и объяснениями Б. Л. Модзалевского // Тургеневский сборник / Под ред. А. Ф. Кони. Пгр., 1921. С. 164.

¹²³ См.: Панаев И. И. Литературные воспоминания / Под ред. Р. В. Иванова-Разумника. Л., 1928. С. 349—350, 358.

по-видимому, списана с Александра Станкевича (1821—1912), младшего брата Николая Владимировича.

Тщательно разрабатывал Тургенев даже такой второстепенный образ, как Биндасов, отчество и год рождения которого менялись в подготовительных материалах. Следует отметить, что от указанного прототипа — Н. Х. Кетчера (1809—1886), старшего знакомого Тургенева — был взят, скорее всего, только внешний облик «шумного бурша», энергичного молодого студента («вроде Кетчера»). Этот облик связывал Кетчера в сознании Тургенева с образом Шеллера в IV главе романа «Рудин», хотя Шеллер славился своей молчаливостью. Кроме того, кое-чем Биндасов обязан уже покойному к тому времени А. А. Шеншину (1812—1860), жена которого Виктория Ильинична, женщина «скучная и кислая», также должна была быть выведена в романе. Представленный в романе как «по речам террорист, по призванию квартальный» (ПССиП (1), Соч., 9: 162) Биндасов, судя по «Формулярному списку...», должен был иметь большую политическую окраску: он служил на Кавказе, но «презирает военный жанр», демократ, но «с умеренным оттенком». Замена в черновом автографе «по речам демократ» на «по речам террорист» (там же, с. 400) отражает, по-видимому, стремительное изменение политического климата в России между началом и серединой 1860-х годов. Но Тургенев ясно дает понять, что Биндасов тоже «шаткое и пустое явление».

Пищалкин должен был носить имя Алексей Алексеевич (или Александрович), прежде чем стать Егоровичем (Егорычем), по ассоциации с изменением отчества Биндасова; его возраст был и остался 25 лет, а прототип значился под криптонимом «К.». Это не Касаткин, как полагали советские исследователи (ПССиП (2), Соч., 7: 512). В «Формулярном списке...» он уже значится как «Ко.», а в «Кратком рассказе...» прямо указывается: «Это — Колбасин». Трудно сказать, идет ли речь о Дмитрие Як. Колбасине (1827—1890) или о его брате Елисее (1831—1885), так как с обоими Тургенев обращался «приятельски-пренебрежительно», как было замечено исследователями, «как с людьми, совершенно незначительными и не заслуживающими большего...» (см.: Тургенев и круг «Современника». «Academia», МСМXXX. С. 243—244). Оба брата выполняли многие поручения Тургенева как литературного, так и хозяйственного порядка, а Дмитрию Тургенев даже предложил взять на себя обязанности по управлению его имениями в трудный предреформенный период (письмо к Д. Я. Колбасину от 8(20) апреля 1858 года). Выполняя эту просьбу, Д. Колбасин пробыл в Спаском несколько месяцев, посылая подробные отчеты о своей деятельности. В письме от 16(28) февраля 1857 года Тургенев шутит по поводу «важности», разлитой на лице Д. Колбасина (ПССиП (2), Письма, 3: 195).

Следующее за этим слово — «Цвет» — указывает на фамилию человека, имя которого еще не встречалось в тургеневедении. Это Семен Николаевич Цвет, родственник Н. Н. Тютчева, который в 1861 году принимал участие в качестве секретаря в экспедиции трех русских корветов под началом адмирала А. А. Попова. За либеральные речи и протесты он был высажен с корабля в Англии. Ему адресовано несколько писем А. П. Керн (Марковой-Виноградской), вошедших в ее дневник конца 1861 года (см.: Керн А. П. Воспоминания. М., 1989 (по указ.)). Он же был автором статьи в «Русском вестнике» (1860, № 8) «Экономическая деятельность и законодательство», направленной против Н. Г. Чернышевского, а впоследствии, возможно, служил в Полтаве (см.: Лит. наследство. Т. 88. Кн. 1. С. 246).

Но как бы Дмитрий или Елисей Колбасины ни заслуживали убийственной карикатуры Тургенева, они вряд ли узнали бы себя в образе Пищалкина. На самом деле упоминание той или иной реально существующей фигуры в связи со всеми этими образами было лишь толчком к творческому процессу, который уводил далеко за границы прототипа. В случае с Пищалкиным почти все намеки попали в роман, и следует лишь отметить, что вполне почтенные демократические порывы персонажа карикатурно заострены тем, что он принимает их слишком всерьез. Его беда не в том,

что он лжец, обманщик или лицемер; скорее, в том, что он не осознает степени смутности своих стремлений и отсутствия ясности (он «ограничен и поплн»).

Последние члены губаревского кружка — Бамбаев и Суханчикова. Бамбаев, очевидно введенный в список действующих лиц незадолго до решения расстаться с предпологавшимся ранее персонажем под именем Чекмезова, сразу был назван Ростиславом Ардалионичем. Правда, возраст его был изменен с 32-х на 42 года, поскольку Тургенев, возможно, ощущал необходимость ввести человека средних лет в это старомодное общество. Первым прототипом этого образа указан композитор В. Н. Кашперов (1827—1894), что подтверждается в формулярном списке и кратком изложении сюжета. Вероятно, разрабатывая образ Бамбаева, Тургенев уводил его все дальше от прототипа не только по возрасту. Вопреки тому, что говорится об этом персонаже в романе, краткая характеристика свидетельствует о том, что Тургенев считал его «хорошим» и «благородным» человеком, хотя и «несколько пустым» и «смешным». На самом деле он намеревался создать «смесь Кашперова с Пичем», подчеркнув общий для них энтузиазм и способность быть «вечно от чего-нибудь в восторге». Тургенев вовсе не хотел высмеивать своего друга Людвиг Пича (1824—1911), может быть за исключением того, что у того постоянно не было денег.

Образ Суханчиковой первоначально был задуман как мужской — Ивана Петровича Суханчикова, которому было 50 лет, и его прототипом значился некий «Б.». Представляется бессмысленным гадать, кто имелся в виду. Вряд ли, однако, ему отводилась роль, которую стала играть Суханчикова. Несомненно, что, ощущая необходимость ввести в роман «передовую» женщину, подобную Кукшиной в «Отцах и детях», Тургенев, не желая увеличивать число действующих лиц, просто наделил ее той же смешной фамилией (ср. девичью фамилию гр. Салиас — Сухово-Кобылина). Тургенев сначала дал ей имя Марья, но прежде чем назвать ее в окончательном тексте Матреной Семеновной (чтобы подчеркнуть связь с матерью Матреной, писавшей в упомянутой газетке «A tout venant je s'achе» — ПССиП (1), Соч., 9: 510—511), колебался в выборе отчества между Кузьминишной и Власьевной. Сначала Суханчиковой было 40 лет, но затем, следуя «рабски» прототипу, Тургенев изменил ее возраст — 48 лет. Уже современники узнали в Матрене Суханчиковой модную в свое время писательницу и восторженную приятельницу Огарева Е. В. Салиас де Турнемир (1815—1892). Вряд ли, однако, она узнала себя, поскольку считала «Дым» замечательным произведением.¹²⁴

6

По сравнению с кружком Губарева главные герои романа еще больше отличаются от того, что мы читаем о них в «Формулярном списке действующих лиц новой повести», но основные черты характеров здесь уже определены. Удобнее сначала рассмотреть Татьяну и ее тетюшку, затем Ирину и ее мужа, потом Литвинова и, наконец, Потугина. То, что прототипами Татьяны и ее тетки были Ольга Александровна Тургенева, в замужестве Сомова (1836—1872), и ее опекунша Надежда Михайловна Еропкина (1808—1895), было выяснено уже давно.¹²⁵ Несмотря на весьма дальнее родство, Тургенев одно время был близок с пожилым отцом Ольги, Александром Михайловичем (1772—1862), в салоне которого он часто беседовал с нею и слушал Бетховена в ее исполнении. Воспитание Ольги после смерти матери было доверено Еропкиной, которая сама была дальней родственницей и близким другом Александра Михайловича. Многие считали эту преданную компаньонку тетюшкой молодой девушки.

¹²⁴ Лит. наследство. 1953. Т. 61. С. 797, 805.

¹²⁵ Назарова Л. Н. Тургенев и О. А. Тургенева // Тургеневский сб. М.; Л., 1964. Вып. 1. С. 293—303.

Тургенев был настолько очарован восемнадцатилетней Ольгой, что она надеялась на скорую помолвку. Слухи о предстоящем браке, как водится, распространились. Трудно в точности проследить, как развивались их отношения, поскольку они были очень сложными. Когда, к примеру, в октябре 1854 года Тургенев сообщил Полине Виардо, что между ним и Ольгой все кончено, он, по-видимому, был не вполне искренним. Хотя они были действительно более всего близки в то лето в Петергофе, кажется, до окончательного разрыва дело дошло гораздо позже — в новом 1855 году или даже еще позже.¹²⁶ Бесспорно одно — их кратковременная, несостоявшаяся, хотя мирная и поэтическая любовь оставила глубокий след в сознании Тургенева и нашла свое отражение в «Переписке» (1856), в «Рудине», в «Дворянском гнезде» и в «Дыме». Она была также неотъемлемой частью его постоянной мечты о счастье дома, в России, в противовес более страстной, но лишенной корней и непредсказуемой любви к Полине Виардо. Вот почему сама Полина, которая искренне нуждалась в Тургеневе, была очень встревожена его отношениями с Ольгой Тургеновой, возможно считая ее самой опасной для себя угрозой. Этот фон необходимо иметь в виду для более верного понимания странной любви Литвинова одновременно к Татьяне и к Ирине и того ощущения предательства, которое каждая переживает, когда он нарушает верность одной из них.

Подобно Марфе Тимофеевне в «Дворянском гнезде», Капитолине Марковне Шестовой отведена важная роль наперсницы и защитницы молодой героини. С самого начала ей было дано это имя и определен возраст 55 лет, почти столько же, сколько ее прототипу в 1862 году. Но если в первом списке действующих лиц она была четко определена как тетушка Ольги (конечно, ввиду собственных авторских намерений) — «Т.^а О.», в новом списке в этом месте стоит прочерк. Возможно, Тургенев счел нужным приглушить соответствие с прообразом, так как если многие девушки того времени могли быть похожи на добродетельную Татьяну, то в паре с ее опекуншей сходство становилось более заметным как для самих прототипов, так и для их знакомых. В наброске характера Капитолины Марковны Шестовой Тургенев прямо ставит перед собой задачу сделать ее похожей на Еропкину, а сама характеристика почти дословно повторяется во II главе окончательного текста.

Значительно более интересно то, что Тургенев писал о Татьяне Петровне Шестовой. Ее отчество — Павловна — было изменено, когда его получила Ирина, шифр «Х» в новом списке действующих лиц был опущен и возникло колебание относительно возраста — 20 или 22 года. Самой Ольге Сомовой в 1862 году исполнилось уже 26, но Тургеневу надо было сделать ее моложе Ирины и приблизить ее возраст к тому времени, когда он чуть не стал ее женихом. В «Формулярном списке...» прямо написано: «Ольга Сомова — Только наружность красивее: — выше, стройнее и выражение сурьезнее», из чего можно, кажется, заключить, что Ольга Александровна казалась Тургеневу слишком маленькой ростом, не очень стройной и еще не сформировавшейся. Позднее Татьяна окажется несколько ограниченной и тусклой, хотя, возможно, Тургенев просто пытался замаскировать сходство с прототипом: он делает ее круглой сиротой, называет ее воспитание странным и не упоминает о ее музыкальности или художественных наклонностях. И все же многие детали обнаруживают, что он думал об Ольге: Татьяна должна быть идеалисткой «в полном смысле слова», способной «очень глубоко чувствовать» и «сильно страдать», хотя и скрытно. Сохраняется и мотив родства с Литвиновым.

Самое интересное, пожалуй, то, что «Формулярный список...» указывает на одну черту, которая не нашла отражения в романе, — это религиозность Татьяны. Потугин, правда, называет ее в главе XIX «истинно ангельской душой», но едва ли он имел в виду это ее качество. Похоже, что Тургенев намеревался сначала наделить свою

¹²⁶ Письмо Тургенева к О. А. Тургеновой, датированное 6(18) января 1855 года, может относиться к 1856 году.

героиню чертой, роднящей ее с Лизой Калитиной из «Дворянского гнезда», и тут возникает вопрос: была ли сама Ольга Александровна действительно религиозна и, следовательно, не была ли она более близким, чем обычно предполагают, прототипом Лизы Калитиной?¹²⁷

Еще одна важная деталь в характеристике Татьяны, отмеченная уже в «Кратком рассказе...», отсылает нас к роману и заставляет предположить, что именно так вела себя во время объяснения Ольга Александровна, которой Тургенев сообщил, что он не может любить ее или жениться на ней. В кратком пересказе сюжета (глава XIV) читаем: «Утром объяснение с Т. Он ей все говорит, что можно. — Ее Haltung вроде Ольги Тургеневой», а в главе XX романа, где, правда, сама Татьяна произносит за Литвинова роковые слова, написано: «Татьяна повернулась к Литвинову всем телом; лицо ее с отброшенными назад волосами приблизилось к его лицу, и глаза ее, так долго на него глядевшие, так и впились в его глаза. (...) она прочла этот ответ в самом его молчании (...) и откинулась назад и уронила книгу...» (ПССиП (1), Соч., 9: 285). В черновом автографе после этих слов стояло: «Она закрыла себе лицо обеими руками...» (там же, с. 418). Если некоторые подробности этого описания и были сочинены специально для романа, то общее напряжение и правдивость эпизода прямо заимствованы из биографии самого Тургенева.

В отличие от Татьяны определить характер и поведение Ирины и ее мужа было значительно труднее. Генерал Валериан Владимирович Ратмиров сначала имел фамилию Олитанский, затем Селунский. Селунским он оставался вплоть до публикации романа. Его первоначальное имя Григорий потом перешло к Литвинову. Отчество Владимирович было заменено на Константинович, а затем возвращено в «Кратком рассказе...». Возраст (40 лет) и прототип («А.») оставались неизменными. Криптоном всегда правильно расшифровывался как генерал Петр Павлович Альбединский (1826—1883), прибалтийский генерал-губернатор, муж княжны Александры Сергеевны Долгорукой (1836—1913), фаворитки Александра II; правда, потом в качестве еще одного прототипа был предложен генерал-адъютант Алексей Петрович Ахматов (1818—1870) (ПССиП (1), Соч., 9: 509), что подтверждается записью в «Формулярном списке...»: «Взять наружность и турнюру Альбединского с примесью Ахматова и Краснокутского».

Последнее имя принадлежало генералу Николаю Александровичу Краснокутскому (1818—1891), еще одному столпу военного ведомства, который в 1856 году помог Тургеневу получить заграничный паспорт и, вероятно, встречался с ним в Париже незадолго до того, как был задуман «Дым». Первоначально он значился в качестве прототипа для образа Чекмезова, впоследствии отброшенного. Означает ли это, что Тургенев хотел ввести в роман еще одного генерала в противовес Ратмирову, неясно, но Чекмезов должен был быть одного возраста с Краснокутским (ПССиП (1), Соч., 9: 396; Письма, 2: 351, 619).¹²⁸ Очевидно и то, что изъятие Чекмезова из списка действующих лиц не было напрямую связано с почти одновременным введением Бамбаева, принадлежавшего к противоположному лагерю.

Характеристика Ратмирова фактически реализована в тексте романа, правда с изменением фамилии были отброшены польские предки генерала. Более интересно то, что некоторые детали были впоследствии сняты, как например указание на незаконорожденность персонажа, его гомосексуальное прошлое в Пажеском корпусе, практическая польза его модного «либерализма» после смерти Николая Павловича. С другой

¹²⁷ Широко распространено мнение, что твердость веры и христианское благочестие Лизы восходят к дружбе Тургенева с глубоко религиозной графиней Е. Е. Ламберт (1821—1883). См.: *Granjard H. Ivan Tourguénev, la comtesse Lambert et «Nid de seigneurs»*. Paris, 1960. Краткий обзор других прототипов Лизы, в том числе и Ольги Тургеневой, см. в подготовленном мною издании «Дворянского гнезда» (Pergamon Press, Oxford, 1969. P. 203—211).

¹²⁸ См.: И. С. Тургенев в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1983. Т. 2. С. 32 (воспоминания Н. В. Щербаня).

стороны, в подготовительных материалах он засекал на смерть 5 крестьян, а не 50, как в окончательном тексте, и женился на Ирине не только по расчету, но и по любви.

Окончательный выбор имени и возраста жены генерала — Ирины Павловны Селунской (затем Ратмировой), — видимо, доставил Тургеневу немало хлопот. В первом списке «Главных лиц будущей повести» он колебался между Александрой Михайловной (Ивановой) и Александрой (Ивановой) или Натальей Ивановной или Алексеевной, но не Александровной, как указано в Полном собрании сочинений (ПССиП (2), Соч., 7: 511). В новом списке он использовал последний вариант — Наталья Алексеевна, но имя прекрасной героини «Рудина» должно было показаться ему неподходящим для женщины совершенно иного типа и он сразу заменил его на Ирину (или Юлию) Павловну, изменив соответственно и отчество Татьяны. В первом списке персонажей Ирине было 22 года, затем возраст был сделан более юным, а окончательно определен как 25 лет. Это повлекло за собой и увеличение возраста Литвинова с 28 до 30 лет, таким образом, разница в возрасте героев сократилась с 5 до 3 лет и стала соответствовать разнице в возрасте Тургенева и Полины Виардо. Подобно Тургеневу, Литвинов в VII главе с первого взгляда влюбляется в Ирину и ему некоторое время не удается ее убедить в истинности своих чувств. Важность этой линии скоро станет очевидной.

Расшифровка вероятного прототипа Ирины, отмеченного сначала как «К. Д.», а затем как «Кн. Д.», никогда не вызывала особых трудностей, ибо даже издатель Тургенева был обеспокоен тем, что читатели легко узнают в Ирине княжну Долгорукую, и даже потребовал, было, убрать этот персонаж из романа. В свете этого представляется любопытным, что в пространном наброске ее образа Тургенев упоминает Долгорукую, только когда набросок уже наполовину составлен, и затем просто ставит перед собой задачу добиться внешнего сходства; в частности, он выделяет «египетские глаза», хотя многие другие детали (роль в высшем свете, близость ко двору, брак с Селунским) тоже напоминают о прототипе. Тем не менее очевидно, что Тургенев стремился создать, опираясь на различные прототипы, действительно оригинальный характер. Более того, в разработке этого характера на него явно повлияли размышления о Полине Виардо и ее на первый взгляд странном и темпераментном обращении с ним самим. В 1862 году ему, по крайней мере подсознательно, она представлялась капризной, эгоцентричной и очень умной — все три свойства, присущие Ирине, на которых настаивает Тургенев. В начале XI главы «Краткого рассказа...» есть удивительная описка: вместо «свидания у И(рины)» написано: «Свидание у П.», т. е. у Полины. Больше сказать уже нельзя — и хотя окончательный образ Ирины имеет мало общего с Полиной Виардо, совершенно очевидно, что Тургенев-Литвинов по-настоящему раздваивался между двумя совершенно разными чувствами: к Ольге-Татьяне и к Полине-Ирине. Одна олицетворяла Россию, нежность, спокойствие, молодость и свое гнездо, другая — добровольное изгнание, страсть, волнение, зрелость и оторванность от корней.

Разработка характера Ирины в подготовительных материалах представляет сама по себе небольшой роман, полный драматизма и крайностей. Более экстравагантная, чем в окончательном тексте, она должна была быть третьей из четырнадцати детей князя Осинина (есть основания считать, что Долгорукие были прообразом всего семейства Осининых¹²⁹). Подробности воспитания Ирины в романе несколько смягчены, первый триумф на балу передан в соответствии с первоначальным замыслом. В «Формулярном списке...» прямо говорится, что сам государь заметил и «пожелал ее в Петербург во фрейлины», что прежде чем выйти замуж она «чуть-чуть» не сделалась

¹²⁹ См. пометы В. М. Лазаревского на печатном экземпляре «Дыма» в кн.: Тургенев и его время. Первый сборник под ред. Н. Л. Бродского. М.; Пгр., 1923. С. 294. О кн. Долгорукой — прототипе Ирины — см. письмо Тургенева к П. В. Анненкову от 17(29) октября 1872 года (ПССиП (1), Письма, 10: 7).

«любовницей то государя, то наследника», но затем эти намеки были сглажены, а частично убраны уже из черновой рукописи (ПССиП (1), Соч., 9: 402, 426, 428).

Характеристика Ирины в подготовительных материалах тем более уничтожающая, что она кратка и откровенна. Ее натура полностью сложилась уже до отъезда в Петербург. Свойственное ей честолюбие обратилось с царственных особ на высшее общество, в котором она погрязла, пропитавшись всеми его пороками. Неотразимая привлекательность Ирины объясняется сочетанием внешней стыдливости и чувственности, которая отсылает (как указывает Тургенев) к возлюбленной Нерона Пoppее Сабине. Это сравнение, фигурирующее в VII главе «Краткого рассказа...» и в «Формулярном списке...», приоткрывает взгляды Тургенева на римский и русский декаданс, хотя источники их не вполне ясны. Возможно, их следует искать в Таците и Плинии, которых Тургенев читал задолго до того, или же в приписываемой Сенеке пьесе «Октавия», вызвавшей несколько французских подражаний. Конечно, они не могли прийти от Монтеверди, чье замечательное возрождение Пoppей стало известно в более позднее время. Интересно, что в главе III «Былого и дум» (опубликованной в 1856 году и перепечатанной в 1861-м) Герцен сравнил Пoppею и «лореток», которые встречаются и в «Дыме». Всюду Тургенев был захвачен двойственностью создаваемого им характера и предложил другие противоположные черты: «способность увлечься до страстности и расчет жидовский», каприз, легкомыслие, любовь к роскоши и меланхолия, эгоизм, ум, отсутствие художественного чувства, «щегольское умение играть жизнью, своей и чужой». Хотя все эти свойства нашли отражение в романе, но в подготовительных материалах они звучат более отчетливо, достигая, будучи высказанными от лица автора, более драматического и таинственного оттенка.

В кратком изложении предыстория отношений Ирины и Литвинова разительно отличается от изображенной в романе. Нам сообщается только, что она влюбила его в себя, что он «беспрестанно» заходил к ней и что их последняя встреча перед ее отъездом в Петербург отмечена букетом гелиотропов. В окончательном варианте сцена с букетом предшествует балу. Очевидно, что по крайней мере вначале Тургенев рассматривал цветы как символ расставания и воспоминания, что дает основание предположить, что они могли иметь определенное значение в его собственной жизни. В то же время единственное упоминание в краткой характеристике Ирины о том, что она была влюблена в Литвинова, дается в отрицательной форме: она не забыла своего чувства и «хочет им поиграть». И Тургенев лаконически заключает: «Каприз».

7

Человек, дважды павший жертвой соблазнительницы, сразу получил фамилию Литвинов, сначала он был Григорием Андреевичем, затем Андреем Михайлычем и, наконец, стал Григорием Михайлычем. Первоначально ему было 27 лет, в новом списке действующих лиц этот возраст сохраняется, но уже в «Формулярном списке...» ему 30 лет, в соответствии с увеличением возраста Ирины. Первоначальная идентификация Литвинова с криптонимом «X», означающим его неопределенность или нераскрытость, сохраняется и в новом списке, несмотря на то что «X» раньше фигурировал против имени Татьяны Шестовой. Можно предположить, что Тургенев намеревался исследовать Литвинова как тип, а также, разумеется, включить в него нечто личное: но хотя фамилия Литвинов достаточно распространена в России (и необязательно связана с литовскими корнями), трудно преодолеть ощущение, что Тургенев сознательно изменил фамилию Лутовинов, девичью фамилию покойной матери.

В самом начале характеристики героя Тургенев убирает указание на его принадлежность к дворянству, подчеркивая, что он «зритель», но не вялый в роде моих прежних». Возможно, Тургенев действительно хотел сделать Литвинова совершенно иным, но похожим на самого себя, ибо для определения его прежних героев выражение «вялый зритель» кажется чересчур безапелляционным. Хотя к Лаврецкому эта

характеристика вполне приложима, может быть, в смысле аполитичности приложима к Ракитину из «Месяца в деревне», но очень ко многим героям она не подходит, а к иным неприменима вовсе. Можно даже подумать, что более всего она подходит именно к Литвинову!

Набросанная Тургеневым характеристика Литвинова, достаточно сложная и не вполне убедительная, в окончательном тексте существенно изменилась, начиная с первого упоминания во II главе. В целом образ стал более привлекательным и убедительным, созерцательным по-прежнему, но более цельным.

Тому было несколько причин. Одна из них несомненно художественная: Тургенев просто разрабатывал образ Литвинова до того момента, пока все противоречащие элементы не уравновесили друг друга. Поскольку он, видимо, работал без обращения к реально существующему прототипу (хотя смуглый цвет лица и был взят у немецкого путешественника и беллетриста Рудольфа Линдау (1829—1910)), то, что он хотел показать и сказать посредством Литвинова, легче было сделать в отношениях с другими главными героями и развитием сюжета. Особенно важным здесь оказалось введение Потугина, который сначала, может быть, слишком напоминал Литвинова и которого следовало отделить от него для достижения драматического контраста. В этой связи вспоминается такая черта, как предполагаемая страсть Литвинова к спорам, которая едва проступает в романе. Пожалуй, можно сказать, что он получился лучше, чем того хотел Тургенев, хотя и более вялым. Это подводит нас к еще одному возможному объяснению, а именно, что Литвинов, под влиянием изменившихся после 1863 года обстоятельств, стал ближе к своему создателю.

Тем не менее значение Потугина для Литвинова является решающим. Задуманный как Тугин Сократ Ильич (а не Иванович, как указано в комментариях и вариантах к обоим академическим изданиям Тургенева — ПССиП (1), Соч., 9:396; ПССиП (2), Соч., 7:511), Потугин в новом списке действующих лиц значился вначале как Сократ Иванович, а потом Созонтий (в романе Созонт). Его возраст уже в первом списке был изменен с 28 на 38 лет, таким он остался и в новом списке, и в его краткой характеристике, однако указание на прототип, обозначенное в первом списке криптонимом «П.», во втором было заменено прочерком. Следует также отметить, что в новом списке Потугин поднялся от номера 11 до номера 6. Хотя обычно в тургеневских списках действующих лиц персонажи, как в действующих лицах драматических произведений, располагались соответственно их появлению в романе, можно сделать вывод, что Потугин неожиданно приобрел для Тургенева более важное значение. Действительно, он начинает характеристику героя с прямого утверждения: «Это главное лицо всей повести». И далее: «В нем мне хочется выразить философа русского в настоящем смысле слова, человека, глубоко, насколько я смогу, понявшего Россию и русских. — Его каждое слово должно быть типичным — или совсем не надо его».

Это и вправду удивительно. Что бы ни думали критики о романе в его законченном виде, считали его творческой удачей или неудачей писателя или спорили о возможности представить себе столь идеальный характер в России в 1862 году, очевидно, что задача, которую Тургенев поставил перед собой, была для него насущной, грандиозной и идущей от сердца. Здесь, наконец, должен был вспыхнуть огонь, огонь без дыма, огонь карающий и очищающий. Известное заявление Тургенева о том, что «Дым» написан в новом для него роде (ПССиП (1), Письма, 6:138), связывалось многими читателями (вероятно, справедливо) с резкой критикой Потугиным современной русской жизни и культуры, но возможно, что оно в той же мере относится к личности и к сущности этого характера, как и к форме, в которой эта критика была высказана, хотя это даже снижало автору имя русского Ювенала.¹³⁰ Сатира, впрочем, не была чем-то совершенно новым для Тургенева: совсем недавно он использовал ее в ущерб себе в романе «Отцы и дети». Но Потугин должен был стать абсолютно новым типом

¹³⁰ Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960. С. 390.

русского человека, который после 1861 года критиковал не только государственные устои России, но также и стареющих Герценов и Огаревых, резко противостоящих этим устоям. Тургенев твердо верил, что Потугин, как и Базаров, является типом. Возможно даже, что в них было что-то общее. Когда в 1867 году Д. И. Писарев упрекнул Тургенева за то, что он забыл Базарова, то получил ответ, что в настоящее время этот тип исчез из виду и «ему теперь только можно заявлять себя», а пока этого не произошло, то для литературы он не подходит (ПССиП (1), Письма, 6: 261). Героями этого времени были, таким образом, Потугины, которые, избегая разрушительных целей Базаровых и отрицая их взгляды на искусство и любовь, продолжали бесстрашно бичевать узость, лицемерие и бездумный патриотизм.

Переписка Тургенева с Писаревым лучше всего обнаруживает авторские намерения в отношении Литвинова и Потугина. Писарев утверждал, что автор глядит на мир глазами Литвинова, сделав его главным героем романа, хотя он является всего лишь повторением Аркадия Кирсанова из «Отцов и детей».¹³¹ На что Тургенев, делая вид, что Писарев случайно ошибся в определении главного героя, возражал: «Вы находите, что *Потугин* (Вы, вероятно, хотели *его* назвать, а не Литвинова) — тот же Аркадий; но тут я не могу не сказать, что Ваше критическое чувство Вам изменило....» (ПССиП (1), Письма, 6: 261). Что касается Литвинова, то, как пишет Тургенев, «об нем и говорить нечего (<...> он дюжинный честный человек — и все тут». Потугин же «умрет закоренелым и заклятым западником, — и мои труды пропали даром, если не чувствуется в нем этот глухой и неугасимый огонь». Здесь вновь Тургенев подтверждает, что Потугин выражал его собственные мысли.

Неясно лишь, почему герой, которого Тургенев считал типом, остался без прототипов. набросок характера в «Кратком рассказе...» не дает нам разгадки. Внешняя неуклюжесть должна была соединить в себе черты В. И. Губарева (ПССиП (1), Соч., 14: 78—79, 457), фамилию которого получил другой персонаж, и друга Тургенева М. А. Языкова (1811—1885), но никакой связи между Языковым и Потугиным в отношении внутреннего мира героя нет.

Что касается Воина Ивановича Губарева, «старинного приятеля» семейства Тургеньевых, учившегося в одном пансионе с В. А. Жуковским, то писатель оставил его замечательный портрет в «Литературных и житейских воспоминаниях», где особенно подчеркнул типичность этого провинциального философа-вольтерьянца, оставшегося верным пристрастиям молодости. Многие из его наружности действительно перешло к Потугину.

У нас есть, правда, обозначенный в первом списке действующих лиц криптотипом «П.», соблазняющий подыскать подходящий прототип, но ни один из возможных претендентов на него не подходит. И. П. Павлов (1823—1904), который уже отчасти послужил прототипом Базарова,¹³² обладал злым остроумием Потугина, но не его цельностью. Критик Д. И. Писарев имел блестящий и глубокий ум, но не был мизантропом. Знакомый Тургенева романист и драматург А. Ф. Писемский презирал дураков и правверных русофилов, но не адептов западничества. Более серьезной кандидатурой является, быть может, Я. П. Полонский, с которым Тургенев общался в Баден-Бадене в 1857 году и который разделял его горькое неприятие общества и модных веяний времени. Если ему и не хватало потугинской живости, он мог послужить отправной точкой. И все же ни один не подходит целиком, да и сам прототип к тому времени, когда образ Потугина стал более отчетливым, должно быть, оказался забытым. Кроме того, возможно, Тургенев намеревался сначала сделать образ, имеющий прототипом некоего «П.», второстепенным участником губаревского кружка, но затем превратил его в одного из главных оппонентов этого кружка. Помимо всего прочего, существует одна интересная проблема, имеющая отношение к уже завершенному образу Потугина:

¹³¹ Писарев Д. И. Соч.: В 4 т. М., 1956. Т. 4. С. 424.

¹³² См.: New Zealand Slavonic Journal. 1984. P. 43—44, 66; ПССиП (2), Соч., 12: 719—720.

почему на собрании кружка он находится на первом плане, почему не произносит там ни одного слова и почему впоследствии теряет с ним всякую связь? Когда в V главе Литвинов спрашивает его об этом, то получает уклончивый ответ. Попытки Потугина высказываться наилучшим образом обо всех членах кружка — перед тем как каждого из них эффектно разгромить — показывают степень его знакомства с ними. Возможно, это осталось в романе от первоначального замысла.

В то же время тот факт, что Потугин сначала был назван Сократом, сыном Ильи, указывает на то, что он должен был обладать чертами философа и пророка. Для Тургенева Сократ был чем-то вроде божества, титана среди людей, символом человеческого достоинства перед жестокостью себе подобных и равнодушием природы. Он видел в нем «повивальную бабу чужих мыслей» (ПССиП (1), Письма, 1 : 325, 2 : 145; 12(1) : 312; 12 (2) : 272).¹³³ Случайно или преднамеренно, но изменение неправдоподобной фамилии Тугин на более естественно звучащую Потугин повлекло за собой сдвиг смысла от простой напряженности («тугой», «туга») к значению труда и родовых мук («потуги»). Хотя многое из указанной выше символики сохранилось в романе, Тургенев, видимо, ощущал потребность приглушить ее. Так, он заменил «Ильич» на нейтральное «Иванович», а «Сократ» на более русское, хотя и церковное и все же весьма многозначительное «Созонтий», т. е. «спаситель».

Важным представляется указание на происхождение Потугина из духовного сословия, из которого вышли Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов, хотя отец и дядя героя были чиновниками, в особенности дядя, вроде М. М. Карниолина-Пинского (1796—1866), возглавлявшего сенатскую следственную комиссию по «делу 32-х», по которому привлекался и сам писатель. Потугин тоже состоял на гражданской службе, являясь одновременно поповичем и чиновником, имея в каждом лагере руку и возможность быть и радикалом, и консерватором. В романе он общается и с так называемыми аристократами, и с так называемыми интеллектуалами. Для Литвинова он является посредником, но стоит на зыбкой почве между различными группировками, которые управляют или жаждут управлять Россией.

Сложная предыстория Потугина в подготовительных материалах сформулирована более точно, чем в окончательном тексте, где Тургенев несомненно хотел окружить его некоторой таинственностью (такого рода прием он использовал для Базарова). Многие детали пока отсутствуют, например девочка, которую он взял на воспитание. Женщина, с которой он был когда-то близок, была не Ирина. В общем, изменения, внесенные в процессе работы над романом, должны были более сблизить Литвинова и Потугина и усилить очарование, исходящее от Ирины.

В подготовительном наброске подчеркивается любовь Потугина к добру, к женской красоте и ненависть к фразе и лжи. Одна из наиболее загадочных и значительных черт, которую выделяет Тургенев, касается религии: «Не верит в Бога — но сокрушается тайне этим и никогда не кощунствует». Создается впечатление, что Тургенев говорит о себе.

Эта последняя нить, связывающая Потугина и его создателя, наводит на размышления иного рода. Хотя суть «замечательных разговоров» с Литвиновым не излагается, очевидно, что они не должны были носить только отрицательный характер. Они могли быть направлены за и против религии, за и против демократии, против лицемерия и пошлости, но в защиту разума и терпимости. Когда Тургенев задумывал образ Потугина, ему самому были необходимы такие речи, чтобы объяснить в Сенате, каковы были его отношения с Герценом, Огаревым и Бакуниным, что их связывало и что разделяло. Как и Потугину, ему надо было и доверяться и избегать Пинского, который был одновременно и его защитником, и его обвинителем. Подобно Потугину, он покорился судьбе, не будучи уверен в успехе, но будучи уверен в правильности своей нынешней позиции и исполнен пылкой преданности цивилизации.

¹³³ См.: И. С. Тургенев в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1983. Т. 2. С. 217.

Первостепенная важность образа Потугина для Тургенева как для уяснения собственных «концов», так и для исследования современного русского общества подтверждается подготовительными записями к этому образу на отдельном листке, где находился и первоначальный план, а также почти полное повторение этих записей в конце «Краткого рассказа новой повести». Некоторые из них существовали ранее в подготовительных материалах к «Отцам и детям» и «Призракам». Большинство было реализовано в «Дыме», а некоторые детали обнаруживаются позднее в аналогичных списках для «Бригадира» и «Нови». Анализ этих записей (ПССиП (1), Соч., 9: 378, 396—397; 10: 324—326; 12: 340—342; ПССиП (2), Соч., 12: 575—576; а также: *New Zealand Slavonic Journal*. 1984. P. 75—76) показывает, что в уста Потугина Тургенев намеревался ввести некоторые сугубо личные воспоминания, что еще раз подчеркивает значение для него этого образа.

В целом можно заключить, что «тип», изображенный Тургеневым, был основан столько же на его собственных идеях и взглядах, сколько на идеях и взглядах любого другого человека, которого он мог наблюдать. Само собою разумеется, однако, что Потугин не более, а, возможно, и гораздо менее Тургенев, чем Литвинов. В действительности большую часть своих переживаний и склада характера автор вложил в Литвинова, а большую часть размышлений — в Потугина. Было бы, однако, ошибкой считать все потугинские мысли принадлежащими Тургеневу: автор «Дыма» был менее упрямым, менее решительным, менее радикальным. Кроме того, многим сила потугинских речей обязана книге, которую Тургенев прочитал уже после того, как были сделаны первые наброски романа. Это была «La Révolution» Эдгара Кине (1803—1875), вышедшая в 1865 году и произведшая на писателя огромное впечатление. У нас нет возможности подробнее остановиться на этом вопросе, но исследователи, указывающие на важность этой книги для Тургенева, не до конца осознали удивительные параллели, которые можно провести между нападками Кине на французский шовинизм и самодовольство и резкой критикой, которую обрушивает Тургенев на нравственную и политическую несостоятельность своих соотечественников.¹³⁴ Это лишь одна из черт, которыми Тургенев наделил своего героя, прежде чем его образ окончательно сформировался.

8

Лучшее объяснение того, каким образом Тургенев создавал Потугина и других героев романа «Дым», содержится в воспоминаниях норвежско-американского писателя Х. Бойсена, который посетил Тургенева на ул. Дуэ в Париже в 1873 году. В ответ на восхищенный отзыв Бойсена об Ирине писатель признался ему, что знал ее в жизни, но что Ирина в романе не такова, какова она была на самом деле. «Я не знаю, — сказал Тургенев, — как объяснить вам самый процесс развития характеров в моем уме. Всякая написанная мной строчка вдохновлена чем-либо или случившимся лично со мной, или же тем, что я наблюдал. Не то что я копирую действительные эпизоды или живые личности, — нет, но эти сцены и личности дают мне сырой материал для художественных построений. Мне редко приходится выводить какое-либо знакомое мне лицо, так как в жизни редко встречаешь чистые, беспримесные типы. Я обыкновенно спрашиваю себя: для чего предназначила природа ту или иную личность? как проявится у нее известная черта характера, если ее развить в психологической последовательности? (...) Я не могу похвалиться особенно сильным воображением и не умею строить зданий на воздухе».¹³⁵

¹³⁴ О Тургеневе и Кине см.: ПССиП (1), Письма, 6: 41, 44, 48, 463; ПССиП (2), Соч., 10: 318; Муратов А. Б. И. С. Тургенев после «Отцов и детей». С. 76—79.

¹³⁵ И. С. Тургенев в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1983. Т. 2. С. 331.

Хотя мы и не можем утверждать, что каждое слово, переданное Бойесеном, действительно принадлежит Тургеневу, все это звучит вполне правдоподобно. Самое интересное, что в этой беседе Тургенев сразу же заговорил о Базарове. Революционные «Отцы и дети» и «Дым» были неразделимы в его сознании, еще больше с тех пор, как оба романа «провалились». Но к моменту разговора с Бойесеном он в определенной степени преодолел ощущение неудачи и остался уверенным в справедливости своих идей. А в 1868 году, спустя год после выхода романа, он поблагодарил своего друга В. Рольстона за его статью о «Дыме» в журнале «Spectator» (ПССиП (1), Письма, 7:102). В этой статье Рольстон, становясь на сторону Тургенева, защищал его от обвинений в цинизме и презрении: «Бессмысленное самодовольство некоторых славянофилов, бесполезное возведение воздушных замков, на которое они попусту тратят время, — вот что сердит его и делает нетерпеливым». Это и есть тот дым, от которого Тургенев хотел бы избавить Россию; ради таких как возрожденный к жизни Литвинов автор ищет того «священного огня, который должен однажды поглотить отвратительные и вредные элементы русской жизни».¹³⁶ Хотя Тургенев и не ставил перед собой такой цели и, наверное, не одобрил бы начавшегося пожара, он уже высек искру посреди окружающего его дыма и был полностью убежден в своей правоте.

(Перевел с английского А. А. Долинин)

¹³⁶ Smoke (unsigned) // Spectator. 28 March 1868. P. 379—381.

© Б. В. Мельгунов

«МЫ ВЫШЛИ ВМЕСТЕ...»

(НЕКРАСОВ И ТУРГЕНЕВ НА РУБЕЖЕ 40-х ГОДОВ)

Первая строфа некрасовского стихотворения «Т(ургене)ву», адресованность которого всегда смущала В. Е. Евгеньева-Максимова и К. И. Чуковского и вызывала жаркие споры их современников и продолжателей,¹ и сейчас кажется наиболее трудной для ее реального комментария. Не случайно, по-видимому, академический комментарий к этому стихотворению ограничен двумя другими частями — текстологической и историко-литературной. Напомню это четверостишие:

Мы вышли вместе... Наобум
Я шел во мраке ночи,
А ты... уж светел был твой ум,
И зорки были очи.

А. М. Гаркави, считавший адресатом этого поэтического обращения А. И. Герцена, писал: «„Вышли вместе“ — т. е., вступая на путь общественной и литературной деятельности, принадлежали к одному кружку, к одной школе. Это была натуральная школа — школа Белинского. К ней принадлежали и Некрасов, и Герцен, и Тургенев.

¹ Редакции академического издания сочинений Некрасова пришлось делать выбор между двумя наиболее аргументированными, но и прямо противоположными точками зрения Н. Н. Скатова и А. М. Гаркави не только на адресованность, но и на состав основного текста: *Скатов Н. Н.* Н. А. Некрасов и И. С. Тургенев (К истории создания стихотворения Некрасова «Т(ургене)ву» // Страницы истории русской литературы. М., 1971. С. 376—383; *Гаркави А. М.* Тургеневу или Герцену? // О Некрасове. Статьи и материалы. Ярославль, 1975. Вып. IV. С. 132—145. Аргументация Н. Н. Скатова оказалась более убедительной. См.: *Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1982. Т. 3. С. 189, 481—482.

Но Тургенев, как и Некрасов, тогда лишь искали своих путей в литературе. Некрасов никак не мог бы сказать, что когда он сам „блуждал“, у Тургенева уж „зорки были очи“ и т. д.»² У меня есть основания полагать, что и в этом пункте своей аргументации А. М. Гаркави ошибался. Постараюсь это показать.

* * *

В конце октября 1839 года И. С. Тургенев приехал в Петербург, который он по окончании университета кандидатом философии оставил в середине мая 1838 года для совершенствования своего образования в Германии. Еще до отъезда за границу в «Современнике» П. А. Плетнева (1838, № 1 и 4) были напечатаны первые поэтические опыты Тургенева, подписанные криптонимом «- - - вь»³, «Вечер» и «К Венере Медицейской». Судя по признанию Тургенева в его письме к А. В. Никитенко от 26 марта 1837 года, еще тогда, в студенческие годы, в архиве будущего писателя накопилось более сотни лирических стихотворений, несколько незавершенных поэм, оригинальных и переводных (из Шекспира, Байрона) драматических произведений.⁴ Однако только теперь, в конце 1839 года, Тургенев начинает проявлять профессиональный интерес к литературной жизни Петербурга и, похоже, готовится в нее включиться. Его письмо к Т. Н. Грановскому от 4 декабря 1839 года содержит весьма подробную, критически острую характеристику литературно-журнальной обстановки в столице:

«У Плетнева я был и застал его над корректурой „Современника“. От него я узнал, что Гоголь живет у Жуковского, хандрит жестоко и едет обратно в Рим. Он прочел им как-то главы две-три из нового своего романа — и, говорят, превосходная вещь этот роман, но он делает это с большим трудом — и печатать не хочет. (...) У Никитенки по пятницам собираются те же люди: Сорокин, Кони, Михайловы, Геггардты — Вы их знаете? Никитенко сам — человек теплый и открытый всем впечатлениям, его гости — я их мало знаю. Кони собирается издавать Пантеон русского и всех возможных театров. Цель этого издания мной хорошо не понята. Он мне, кажется, хочет предложить поступить в сотрудники — но я все еще колеблюсь погрузиться в русский литературный мир — в „сей грязный омут, господа“. Краевский, кн. Одоевский etc. составляют особую clique, что там делается — неведомо мне сие. Полевой не имеет сотрудников и набирает их в высших классах кадетских корпусов, инженерных и других училищ, из учеников, начитавшихся разной дребедени и переводящих повести, данные им Полевым в воскресенье, — украдкой, в течение всей недели, при свете ночников. Сенковский продолжает свой путь так же, как и прежде. В них не видно перемены etc. Но, боже мой! где ж ты, молодое поколение, черт возьми!»⁵

Весьма вероятно, что у кого-нибудь из названных литераторов Тургенев встречал и юного Некрасова, который к этому времени уже напечатал под собственным именем около десятка стихотворений: у Н. А. Полевого в «Сыне Отечества» — «Мысль» (1838, № 10), «Безнадежность» и «Человек» (1838, № 11), «Смерти» (1839, № 1), «Изгнанник» (1839, № 6); у А. А. Краевского в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“» — «Моя судьба», «Два мгновения» и «Рукоять» (1839, 25 марта, 4 апреля и 24 июля); у О. И. Сенковского в «Библиотеке для чтения» — «Жизнь» (1839, № 7). Уже была отпечатана «в листах» книга «Мечты и звуки», и Некрасов собирался с духом показать эти «листы» В. А. Жуковскому. С Полевым юный ярославец был особенно близок — он-то и был помощником редактора «Сына Отечества»

² Гаркави А. М. Тургеневу или Герцену? С. 142.

³ Первое «ребяческое упражнение» Тургенева — критическая статья «Путешествие по святым местам русским...» — без его ведома (автор узнал об этой публикации из одной библиографической заметки в 1875 году) было напечатано в № VIII «Журнала Министерства Народного просвещения» в 1836 году.

⁴ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма. М., 1982. Т. 1. С. 133—134.

⁵ Там же. С. 144.

по размещению заказов на переводы среди учащейся молодежи, да и сам кое-что переводил.

Был к этому времени Некрасов знаком и с Ф. А. Кони, который получил дозволение издавать с 1840 года «Пантеон русского и всех европейских театров». Его в конечном счете пригласил себе в помощники редактор «Пантеона» и не ошибся в выборе. Некрасов оказался не только дельным сотрудником редакции, но и одним из основных авторов журнала, выступающим в самых разных журнальных жанрах. В феврале 1840 года вышел наконец в свет сборник «Мечты и звуки», и уже с февральского номера журнала Кони начали печататься (№ 2, 3, 7) стихотворные фельетоны Некрасова под заголовком «Провинциальный подьячий в Петербурге» под журнальной маской «Феоклист Анифриевич Боб». В майском номере «Пантеона» того же года была помещена первая повесть Некрасова «Макар Осипович Случайный». Иногда еще появлялись и лирические стихотворения поэта («Мелодия», «Офелия» — соответственно в № 3 и 5).

Не берусь, однако, утверждать, что Кони предпочел Некрасова Тургеневу: Иван Сергеевич и впоследствии, когда ему предлагали, неоднократно в самый последний момент уклонялся от редакционной работы в журналах. В середине января 1840 года он неожиданно даже для самого себя уехал в Италию. Именно это обстоятельство, очевидно, послужило автору академического комментария к цитированному мною письму Тургенева к Грановскому основанием для уверенного утверждения: «Сотрудничество Тургенева в „Пантеоне“ не состоялось».⁶

Есть некоторые основания считать, что этот комментарий по крайней мере не полон. Тургенев точно не стал сотрудником редакции «Пантеона», но внимательное знакомство с содержанием этого журнала 1840 года вызывает «тургеневские» ассоциации, возбуждающие острое желание проверить их верность. Я имею в виду одно большое по объему, юмористическое по характеру, анонимное стихотворение, помещенное в мартовском номере «Пантеона» 1840 года. Его начало — сатирическая характеристика журнальной жизни Петербурга — перекликается с описанием этой сферы столицы в цитированном мною письме Тургенева к Грановскому. Привожу этот фрагмент стихотворения:

Свет похож на торг, где вечно,
Надувать других любя,
Человек бесчеловечно
Надувает сам себя.
Все помешаны формально.
Помешался *сей* на том,
Что, потя, лист журнальный
Растянуть не мог на том;
Тот за устрицу с лимоном
Рад отдать и жизнь и честь;
Бредит тот Наполеоном
И успел всем надоесть.
Тот под пресс кладет картофель,
Тот закладывает дом,
Тот, как новый Мефистофель,
Щеголяет злым пером.
Тот надут боярской спесью,
Тот надут своей женой;
Тот чинам, тот рифмобесью
Предан телом и душой.
У того карман толстеет
Оттого, что тонок сам,
Что журнал его худеет

⁶ Там же. С. 456.

Не по дням, а по часам.
Тот у всей литературы
Снял на откуп задний двор,
С журналистом шуры-муры
Свел — и ну печатать вздор.⁷

У этого стихотворения *тургеневский* заголовок: «Наш век». Стихотворение под таким названием в незавершенном виде автор посылал на суд А. В. Никитенко при письме от 26 марта 1837 года, о котором я уже упоминал. Тургенев передал тогда на просмотр своему литературному поверенному драму, сочиненную в 16-летнем возрасте; незавершенную поэму «Повесть старика», которая была начата в 1835 году...

«И наконец, — писал далее Тургенев, — „Наш век” — произведение, начатое в нынешнем году в половине февраля, в припадке злобной досады на деспотизм и монополию некоторых людей в нашей словесности». И чуть ниже: «„Наш век” — не кончен — я работаю теперь над ним. Впрочем, от Вашего решения будет зависеть, должен ли я продолжать».⁸

В академическом комментарии к фрагменту письма о «Нашем веке» читаем: «По-видимому, речь идет о „триумvirате” Н. И. Греча, Ф. В. Булгарина и О. И. Сенковского (...) Произведение „Наш век” до нас не дошло; возможно, оно было только начато».⁹

Действительно, скорее всего, в 1837 году сатира на монополию журнального «триумvirата» была Тургеневым только начата. Сатирическое стихотворение с *тургеневским* названием, помещенное в мартовском номере «Пантеона», вполне соответствует в его начальной части изложенному Тургеневым замыслу, содержит в тексте реалии 1838—1839 годов. В издателе, который «снял на откуп задний двор» литературы и нанял в редакторы энергичного журналиста, легко угадывается Н. И. Греч. С марта 1838 года он передал «Сын Отечества» под негласную редакцию Н. А. Полевого, о неразборчивости которого Тургенев писал в цитированном выше письме к Грановскому.

Стихотворение «Наш век» (его объем более 80 строк) не ограничивается сатирическим изображением литературно-журнальной обстановки в Петербурге конца 1830-х годов. Далее, уже вполне добродушно, юмористически изображается всеобщий ажиотаж в связи с обрушившимися на теряющего голову обывателя научными открытиями и техническими изобретениями — действительными и ложными:

Телеграфы, микроскопы,
Газ, асфальт, дагерротип,
Светописные эстампы,
Переносный сжатый газ,
Гальванические лампы,
Каучуковый атлас,
Паровозы, пароходы,
Переносные дома,
Летоходы, весоходы,
Страховых компаний тьма!
Пневматические трубы,
Стеарин и спермацет,
Металлические зубы
Сбили с толку белый свет.
Доктора свои находки
Сыплют щедрою рукой,
Лечат солью от чахотки

⁷ Пантеон русского и всех европейских театров. 1840. № 3. С. 166.

⁸ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма. Т. 1. С. 133—134.

⁹ Там же. С. 451.

И водой от водяной;
 В бога здравья тянут воду,
 Воду всем тянуть велят
 И, того гляди, природу
 От сухотки уморят...

Эта часть стихотворения, как видим, уже не имеет ничего общего с известным нам замыслом Тургенева: во-первых, нет той «злой досады», которая «узнается» в первой части «Нашего века»; а во-вторых, куплеты о научно-техническом прогрессе писались незадолго до публикации стихотворения. Упомянутый в тексте дагерротип был изобретен в 1839 году.

Концовка этих куплетов (в оглавлении журнала название «Наш век» снабжено пометой «Куплеты») уже совсем бодрая:

Нет для нас уж тайны в море:
 Были на его мы дне;
 Кто же знает? Может вскоре
 Побываем на луне,
 А потом, как знать! с терпением
 Где не будет человек?..
 Малый с толком, с просвещением
 Далеко пойдет наш век!..

* * *

Итак, напечатанное в мартовском номере «Пантеона» 1840 года стихотворение «Наш век», по крайней мере в той его части, которая посвящена коммерциализации и монополизации петербургской журналистики, соответствует основной мысли и содержанию «недошедшей до нас» стихотворной сатиры Тургенева под тем же заглавием. Время же и место публикации этого стихотворения вполне соответствуют биографическим данным о Тургеневе.

Осмелюсь высказать предположение: если бы составители первого академического издания сочинений и писем Тургенева предприняли в свое время просмотр «Пантеона», стихотворение «Наш век» могло бы попасть по крайней мере в отдел стихотворного «dubia».

Этого не случилось, а случилось другое. В 1976 году А. М. Гаркави атрибутировал (лучше сказать осторожнее — приписал) «Наш век» Некрасову. Аргументация известного некрасоведа была весьма убедительной. «Принадлежность „Нашего века“ Некрасову, — указывал исследователь, — с очевидностью доказывается полным совпадением стихов 53—56 («Доктора свои находки сыплют щедрою рукой. Лечат солью от чихотки И водой от водяной») с известными куплетами из водеvila Некрасова „Шила в мешке не утаишь — девушки под замком не удержишь“. Водевиль был поставлен (под псевдонимом Некрасова «Н. А. Перепельский») в Александринском театре 24 апреля 1841 г.; опубликован в № 4 журнала „Репертуар русского театра“ за 1841 г. под тем же псевдонимом. С теми же куплетами почти совпадает и стих 57 „Нашего века“: „В бога здравья тянут воду“ (в водевиле: «В бога здравья воду тянут»). Полный текст указанных куплетов — в 1-м явлении 2-й картины водевиля...».¹⁰

Прибавлю, что в отделе «Стихотворения и куплеты» мартовского номера «Пантеона» помещены подписанные произведения А. Н. Струговщикова, Е. П. Ростопчиной, В. Г. Бенедиктова, Иевлева, А. П. Башуцкого; за ними следуют стихотворение «Мелодия» с подписью «Н. Некрасов», «Провинциальный подъячий в Петербурге (Снова

¹⁰ Гаркави А. М. Неизвестные строки Н. А. Некрасова // Жанр и композиция литературного произведения: Межвузовский сб. Калининград, 1976. Вып. II. С. 163.

здорово)» с подписью «Феоклист Боб», анонимное «Наш век» и стихотворение «Карета» с подписью «Ф. Кони».

В той же статье А. М. Гаркави предложил на правах *dubia* включить в корпус стихотворений Некрасова еще одно: «Толк с Новым годом», напечатанное в № 2 «Пантеона» за 1841 год без подписи (в оглавлении подпись — ***) с примечанием: «Эта статья прислана из отдаленной области православного царства русского — и потому так запоздала».

«На принадлежность его Некрасову, — указывал Гаркави, — с большой вероятностью указывают тематические и смысловые совпадения с (...) куплетами „Наш век“; та же тема мистификаций и обманов, связанных с изобретениями; те же или близкие детали: восходы, газ (осветительный), гальванические штуки (в «Нашем веке» — «гальванические лампы»), бричка без осей (в «Нашем веке» — «экипаж... на колесах трехаршинных») и т. п.»¹¹

Приписанные А. М. Гаркави Некрасову стихотворения «Наш век» и «Толк с Новым годом» были включены соответственно в основной корпус и раздел «*Dubia*» академического собрания сочинений поэта.¹²

* * *

Наши знания о жизни и творческих занятиях Тургенева и Некрасова в конце 1830-х годов так скудны и отрывочны, что окончательно решить вопрос об авторской принадлежности стихотворения «Наш век», быть может, не удастся никогда. Уверенно можно, пожалуй, только утверждать, что автором этого стихотворения мог быть как Тургенев, так и Некрасов. А далее все пока гадательно. Тургенев мог перед отъездом в Италию передать Ф. А. Кони свое произведение с условием анонимности публикации. И вполне можно допустить, что, переделывая повесть В. Т. Нарезного «Невеста под замком» в водевиль, Некрасов-Перепельский счел себя вправе использовать для куплетов фрагмент из анонимного стихотворения, напечатанного в том же театральном журнале.

Не исключено также, что «Наш век» — собственно некрасовская разработка тургеневского замысла, который стал ему известен через Кони. Более правдоподобным все же мне кажется вариант сознательной контаминации двух взаимодополняющих частей произведения: Тургенев передал Кони свою незавершенную сатиру на журнальных монополистов, а Некрасов дополнил ее юмористическими куплетами о научно-технической буме. В таком случае легко объясняется противоречие между «злым» началом и благодушной концовкой «Нашего века».

Возвращаясь к цитированному в начале этой статьи комментарию А. М. Гаркави к первой строфе стихотворения «Т(ургене)ву», беру на себя смелость сказать, что традиционное преувеличение роли гениального В. Г. Белинского в литературной судьбе всех, кто к нему приближался, порою искажает наши представления об их творческом пути.

Тургенев, еще не знакомый с Белинским, уже в конце 1830-х годов был достаточно зрел и независим (ум «светел» и очи «зорки»), чтобы самостоятельно и сознательно вступить «на путь общественной и литературной деятельности». Критику не пришлось много трудиться, чтобы поставить его на этот путь. Сам Белинский с начала личного знакомства был поражен умом, меткостью оценок и зоркостью Тургенева. 3 апреля 1843 года он с восхищением цитирует устные высказывания своего молодого друга:

«Вот что говорит Тургенев о всех Б(акунины)х, и сестрах и братьях, за исключением одного М(ишеля): все они созданы быть не чем другим, как несчастными. На-

¹¹ Там же. С. 165.

¹² Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. 1981. Т. 1. С. 277—279 и 433—434.

туры пламенные и порывистые, они лишены глубокого религиозного чувства и потому всегда наклонны наполовину помириться и с самими собою и с действительностию на основании какого-нибудь морального чувствованища или принципа; у них нет сил прямо смотреть в глаза черту. Как хочешь, Боткин, а тут правды больше, чем во всех наших нападках на них».¹³

Другое дело — Некрасов, который многократно признавал, что Белинский вывел его из «литературных бродяг» в высшее писательское сословие и что его «поворот к правде» во многом зависел от «писанья прозой, крит(ических) ст(атей) Белинского, Боткина, Анненкова и др(угих)».¹⁴ Примечательно, однако, что в той же программе воспоминаний, которую поэту не суждено было осуществить, за только что процитированным пунктом следует другой ряд имен — литераторы, о которых он мог сказать: «Мы вышли вместе». Первое место в этом ряду («Тургенев, Кр(аевский), Панаев, Панае(ва)»¹⁵) занимает Иван Сергеевич.

¹³ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 12. С. 152—153.

¹⁴ Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. СПб., 1997. Т. 13, кн. 2. С. 56.

¹⁵ Там же.

© Н. Н. Мостовская

MEMENTO MORI У ТУРГЕНЕВА И НЕКРАСОВА

Memento mori — помни о смерти — так приветствовали друг друга монахи ордена траппистов (1148—1636), члены которого были связаны обетом молчания. Есть и другие, более емкие значения этого выражения: мысль о неизбежности смерти; эмблема смерти; грозное напоминание о неотвратимости гибели, краха и т. д.¹ Все эти значения в какой-то мере соприкасаются.

Я остановлюсь лишь на некоторых наблюдениях о теме смерти в творчестве двух художников, близких друг другу, несмотря на их разрыв.

По существу речь пойдет о философской проблеме, разгадать которую человеку не дано. И связана она с размышлениями о жизни и смерти, неизбежными для каждого большого художника. В переломные эпохи эти раздумья были особенно актуальны, но никогда не исчезали вовсе.

Об этой проблеме много писали античные философы и философы вплоть до Канта, Шопенгауэра, Хайдеггера. Естественно она звучит в Священном Писании: «Смерть, где жало твое?» (Ос. 13 : 14), равно как и в фольклоре, и в древнерусской литературе. Например, в книге (известной в нескольких редакциях) «Прение живота со смертью» (Спор жизни и смерти) конца XV—XVII века.²

Существует и огромная святоотеческая литература, посвященная этой проблеме. Назову лишь «Слово о смерти» Игнатия Брянчанинова (СПб., 1905) и новейшее исследование афинского профессора Н. Василиадиса «Таинство смерти» (1998), в котором собран большой материал на эту тему.

В литературоведении Memento mori оставалось если не под запретом, то в тени; по-видимому, потому, что актуальнее и бодрее были традиционные сюжеты труда, героизма и т. д. Редким исключением являются исследования последних лет Ю. М. Логмана, которого глубоко занимала проблема философского осмысления смерти. Она своеобразно раскрывается в его монографии «Культура и взрыв» (М., 1992) в главе

¹ См.: Бабкин А. М., Шенденцов В. В. Словарь иноязычных выражений и слов. М.; Л., 1966. Т. 2. С. 859—860.

² См.: Дмитриева Р. П. Повести о споре жизни и смерти. М.; Л., 1964.

«Конец! Как звучно это слово...», в ряде работ 1991—1993 годов, известных читателю по публикации Т. Д. Кузовкиной «Тема смерти в последних статьях Ю. М. Лотмана» («Russian Studies», 1995, № 4), а также из новейшей монографии Б. Ф. Егорова «Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана» (М., 1999).

В искусстве, в художественной литературе проблемы жизни и смерти, бессмертия природы и неизбежного конца человека оставались актуальными всегда. Напомню, как проникновенно писал о сокровенном таинстве смерти Гоголь: «Соотечественники! Страшно!..»³

Другой писатель, Достоевский, обладал от природы острым чувством жизни и смерти. Заметим, это черта всей христианской культуры, исчезающая по мере ее религиозного истощения. Достоевский переживал страх смерти, почти умирал, при каждом эпилептическом припадке: «Страх смерти уже начинает проходить, но есть еще чрезвычайный», — писал он после одного из частых приступов.⁴

Предчувствия приближающейся болезни, беды, кончины постоянно преследовали Тургенева. Его письма изобилуют жалобами на страдания, на собственную уязвимость и беззащитность перед грозной и равнодушной природой.

П. В. Анненков писал по этому поводу в своих «Воспоминаниях»: «Уже с 1857 года Тургенев стал думать о смерти и развивал эту думу в течение 26 лет, до 1883, когда смерть действительно пришла, оставаясь сам все время с малыми перерывами совершенно бодрым и здоровым».⁵ Анненков упоминает о его бесконечных «ужасах перед холерой», о боязни простуды, подагры, о чтении им многочисленных медицинских сочинений. Об этом же вспоминают и другие современники, в том числе Некрасов, А. А. Фет, Н. В. Щербань, Я. П. Полонский, В. В. Стасов.

На долю Тургенева выпало много тяжелых и мучительных болезней. Но обращает на себя внимание и его суеверное отношение к ним.⁶ По-видимому, суеверие, действительно присущее Тургеневу, было связано с его развитым воображением и с отсутствием веры. По поводу первого Л. Толстой писал В. П. Боткину из Парижа в 1857 году после встречи с Тургеневым: «Страдает морально так, как может только страдать человек с его воображением».⁷

Неверие же в Бога осознавалось писателем как его личная ущербная особенность. Что значит вера для человека, Тургенев хорошо понимал, дружески общаясь с людьми глубоко религиозными (семья Аксаковых, Татьяна Бакунина, графиня Е. Е. Ламберт, семья Полонских). Сам он был лишен дара веры или не сумел его развить и от этого страдал.

Обладая высокими качествами души, которые можно назвать христианскими, Тургенев называл себя «плохим христианином» и отсутствие дара веры считал непоправимым «личным несчастьем». «Имеющий веру, — писал он Е. Е. Ламберт, — имеет всё и ничего потерять не может; а кто ее не имеет — тот ничего не имеет, — и это я чувствую тем глубже, что сам принадлежу к неимущим! Но я еще не теряю надежды».⁸

По-видимому, то, что Тургенев был «невером» (слова Л. Толстого), хотя внешне он соблюдал обряды (крестил свою внучку и внучек П. Виардо, ходил в церковь), несомненно усиливало в нем страх смерти, преследовавший его почти всю жизнь. Вот что вспоминал Я. П. Полонский по поводу крайне безотрадного пессимистического наст-

³ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Л., 1952. Т. 8. С. 221 («Выбранные места из переписки с друзьями. Завещание»).

⁴ Достоевский Ф. М. Записная тетрадь 1874—1875 гг. // Лит. наследство. 1971. Т. 83. С. 350.

⁵ Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983. С. 403.

⁶ Подробнее о суеверии Тургенева см.: Топоров В. Н. Странный Тургенев (Четыре главы). М., 1998. С. 12—53.

⁷ Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. М., 1984. Т. 17. С. 472.

⁸ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма. М.; Л., 1962. Т. 4. С. 306. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием П (Письма), С (Сочинения), тома и страницы.

роения Тургенева: «Никак не мог он примириться с тем равнодушием, какое оказывает природа — им так горячо любимая природа — к человеческому горю или счастью. (...) Что бы мы ни делали, все наши мысли, чувства, дела, даже подвиги будут забыты. Какая же цель этой человеческой жизни?»⁹

Известно, что эта мысль воплотилась и в его творчестве.

И тургеневские герои в большинстве своем отличались неверием. И хотя трагический Базаров принял смерть мужественно, без страха, все-таки именно он дважды заметил по-тургеневски. Первый раз в разговоре с Аркадием о мужике: «Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет, а дальше?» (С. Т. 8. С. 325). Сказано так, словно герой предчувствовал свой конец. И второй раз, перед смертью: «Да, поди, попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицает, и баста!» (С. Т. 8. С. 391). При этом он просит родителей, «в которых религия сильна», «поставить ее на пробу» (С. Т. 8. С. 389).

И в этой фразе умирающего Базарова нет ни тени иронии, едва ли уместной на смертном одре. Возможно, есть подсознательная надежда на чудо, хотя бы для стариков-родителей.

Нет страха смерти и у Лукерьи («Живые мощи»). Она ее ждет легко и сознательно как встречи с Богом. Пожалуй, этот образ и особенно образ Лизы Калитиной при всем религиозном нечувствии Тургенева приближал его к тому состоянию, когда перед ним открывался свет и сердце, казалось, готово принять Бога, открыться религиозному чувству. Но этого не произошло.

Хотя позднее писателем было создано стихотворение в прозе «Христос» — Христос с лицом, похожим на все человеческие лица. Стихотворение это отмечено теплотой, светом, добротой, близостью Христа. Но оно по своей тональности и теме единично в «Стихотворениях в прозе».

В большинстве тургеневских произведений не только звучит напоминание о смерти, но герои неизбежно кончают трагически: «Рудин», «Накануне», «Переписка», «Затишье», «Яков Пасынков», «Степной король Лир», «Фауст», «Новь», «Клара Миллих (После смерти)», «Стихотворения в прозе». Причем чаще всего они умирают не по-христиански, без покаяния, случайно или в результате несчастной любви, собственной несостоятельности, «тоски и томления невыразимого» или просто «сна-предчувствия».

Со сновидцем Харловым («Степной король Лир»), например, случилось «сонное мечтание». Во сне он увидел вороного жеребенка, который лягнул его в левый локоть, в самый «поджилок». «...Проснулся — ан рука не действует и нога левая тоже. (...) Это мне предостережение... К смерти моей, значит». И положил он в уме своем разделить имение свое между двумя дочерьми. А некоторое время спустя «передняя пара стропил, яростно раскаченная железными руками Харлова... рухнула на двор — и вместе с нею... рухнул сам Харлов...». Перед смертью он «произнес картавя: — Рас... шибса... — и, как бы подумав немного, прибавил: — Вот он, воро... ной жере... бенок!» (С. Т. 10. С. 204, 256—257). Скончался Харлов без покаяния, вспомнив лишь суеверный сон.

Предчувствием неизбежного конца проникнуты «Стихотворения в прозе», исполненные лиризма и философских раздумий («Последнее свидание»), ужаса от надвигающейся смерти, катастрофы («Насекомое», «Встреча», «Природа» и др.). Во всех этих произведениях причудливо и противоречиво переплетается свое личное, тургеневское, и творческое, порой еще не разгаданное до конца.

Для скрытного, почти постоянно пребывающего в состоянии внутреннего одиночества Некрасова автопризнания о религии, смерти почти невозможны. Пожалуй, единственный, с кем он был искренен до конца, — это Тургенев. В письмах к нему звучит не только поэзия, но и жалобы на болезни (даже неприличные), на потерю

⁹ И. С. Тургенев в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1969. Т. 2. С. 423.

легких, сильный голос, больное горло и грудь, на нечеловеческую усталость от невероятного количества работы; сетования на злость, разлитие желчи, раздражительность и уныние. Хотя в прении живота со смертью поэт был активным участником до самого последнего часа. В письме к Тургеневу 1854 года он посылает стихотворение, написанное в утешение себе:

Ничего! гони во все лопатки,
Труден путь, да легок конь,
Дожигай последние остатки
Жизни, брошенной в огонь!¹⁰

Известно, что поэт не любил философских рассуждений отвлеченного характера. Он мыслил образами, а все сокровенное, интимное держал про себя и высказывался только в творчестве. Тем более примечательно его суждение в письме к Л. Толстому 1857 года. Оно как будто об особенностях некрасовской поэзии. На самом деле смысл его сущностнее и шире. Приведу это высказывание:

«Человек брошен в жизнь загадкой для самого себя, каждый день его приближает к уничтожению — страшного и обидного в этом много! На этом одном можно с ума сойти. Но вот Вы замечаете, что другому (или другим) нужны Вы — и жизнь вдруг получает смысл, и человек уже не чувствует той сиротливости, обидной своей ненужности, и так круговая порука (...) Человек создан быть опорой другому, потому что ему самому нужна опора. Рассматривайте себя как единицу — и Вы придете в отчаяние» (П. Т. 14, кн. 2. С. 70).

На «посылке к другим», на «круговой поруке» зиждется эпическое творчество, — заметил Н. Н. Скатов.¹¹ Продолжу эту мысль. Корни этой «посылки к другим» связаны с основами христианской религии, с Храмом, явленным в поэзии Некрасова как символ православной Руси и человеческого братства, как знак покаяния и душевного успокоения, как якорь спасения, без которого человеку в утилитарно-прагматическом мире грозит гибель.

Эта тема особенно ярко раскрывается в поэме «Тишина», в стихотворении «Рыцарь на час». Не случайно священник Иван Горчаков прочитал в Храме всю вторую часть «Рыцаря на час». Я имею в виду «Слово профессора, священника Ивана Горчакова, произнесенное при гробе Некрасова в церкви С.-Петербургского женского монастыря».¹²

Кстати, сказанное в письме к Л. Толстому о том, что человеку «нужна опора», явственно присутствует и в поэме «Несчастные»:

Но кто ни Богом не отмечен,
Ни даже любящей рукой
Не охранен, не обеспечен,
Тот долго бродит как слепой:
Кипит, жаждет, тратит силы
И, поздним опытом богат,
Находит у дверей могилы
Невольных заблуждений ряд...

(С. Т. 4. С. 37)

¹⁰ Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Письма. СПб., 1998. Т. 14, кн. 1. С. 191. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием П (Письма), С (Сочинения), тома и страницы.

¹¹ См.: Скатов Николай. Н. А. Некрасов — литературный критик // Н. А. Некрасов. Поэт и гражданин. М., 1982. С. 21.

¹² См.: Мостовская Н. Н. Как отпевали русских писателей // Христианство и русская литература. СПб., 1996. Сб. 2. С. 202—215.

По существу эти строки проникнуты философской мыслью, как бы внеположной Некрасову-поэту. Но ведь таинство смертного часа не просто жизненный итог, а нечто неподвластное человеческому разуму.

А этой темой отмечено почти все творчество Некрасова, начиная от ранних стихотворений и до последнего вздоха поэта: «Ангел смерти», «Могила брата», «Гробок», цикл стихотворений «О погоде», «Похороны», «Я покинул кладбище унылое», «Железная дорога», «Пророк», «Орина, мать солдатская», «Мороз, Красный нос», «Кому на Руси жить хорошо», «Последние песни» и даже, казалось бы, не имеющее отношения к этой проблеме стихотворение «Поэт и гражданин», где Поэт в диалоге с Гражданином произносит: «Угрюм и полон озлобленья, / У двери гроба я стою...» (С. Т. 2. С. 12).

В поэзии Некрасова тема смерти раскрывалась по-разному. Известно, что художественный мир поэта конкретен, вещен.

Солдат, несущий детский гробок, — грустная, но, как ни парадоксально, почти бытовая будничная деталь большого города (стихотворение «Гробок»), равно как и сцена в цикле стихотворений «О погоде». Картина похорон бедного чиновника, почти выпавшего из гроба, окрашенного охрой, четырнадцать раз погоревшего и угодившего в могилу с водой, — безусловно, трагическая. Но это тоже часть пейзажа некрасовского утреннего Петербурга.

В цикле «О погоде» есть и высокая тональность. Ею окрашены поиски автором-повествователем «одной незаметной могилы, где уснули великие силы», — могилы Белинского. И здесь у Некрасова переплетается бытовое и бытийное: «А где нет ни плиты, ни креста, / Там, должно быть, и есть сочинитель» (С. Т. 2. С. 177—178). Бытийный настрой ощутим и в стихотворении «20 ноября 1861»: «Я покинул кладбище унылое, / Но я мысль мою там позабыл» (С. Т. 2. С. 125), где поэт вспоминает о Добролюбове как о живом, духовно одаренном, близком ему человеке.

И еще одна характерная особенность для темы смерти, воплощенной в творчестве Некрасова: строгое соблюдение христианского похоронного обряда. Вот почему такой горестный финал в стихотворении «Похороны», где речь идет о том, как хоронили молодого самоубийцу:

Без церковного пенья, без ладана,
Без всего, чем могила крепка...
Без попов!

(С. Т. 2. С. 112)

Стрелок кончил жизнь по своей воле, без покаяния, а это в народном сознании «горе горькое», «беда страшная», грех. Между тем мотивы покаяния, искупительной жертвы, подвижничества — ведущие в творчестве Некрасова (притча «О двух великих грешниках», «Молебен», «Влас» и другие уже называвшиеся произведения) — приметы подлинной духовности и, по сути, краеугольные камни христианского православия, евангельского и народного христианства.

Эти приметы присутствуют и в скорбном стихотворении «Орина, мать солдатская». По воспоминаниям сестры поэта, «Орина сама ему рассказывала свою ужасную участь» — историю смерти сына, — и он несколько раз посещал ее, «чтобы поговорить с ней, а то боялся сфальшивить».¹³

Кроме достоверности, в этом стихотворении воплотилось и христианское народное представление о смерти во всей глубине и многообразии. Приведу несколько некрасовских строк:

Грех мирянам-то показывать
Душу — Богу обреченную!

¹³ Лит. наследство. 1946. Т. 49—50. С. 178.

и еще:

Немота перед кончиною
Подобает христианину.
(С. Т. 2. С. 162, 163)

В этих стихах тонко сочетаются и дух народного терпения, и фольклорные корни, и библейская стилистика. «Да молчит всякая плоть перед лицом Господа!» (т. е. перед кончиною) (Зах. 2: 13). Эта цитата, точнее, суть ее, художественно переосмыслена в стихотворении Некрасова.

В поэме «Мороз, Красный нос» смерть приобретает значение подлинной трагедии. По существу здесь речь идет о нескольких смертях: смерть отца и матери Некрасова (это личное, упомянутое в посвящении) и смерть Прокла и Дарьи.

Но Дарья замерзает как бы в «заколдованном», волшебном сне. Она действительно гибнет, но при этом ей чудятся прекрасные сны, и не могущественный Мороз-воевода ласкает ее и говорит ей нежные слова, а ее муж Прокл. «Ибо крепка, как смерть, любовь». Смысл этого афоризма из Книги Песни Песней Соломона (Песн. 8: 6) вполне отражает душевное состояние героини Некрасова.

По своей поэтичности, основанной на вековой народной культуре, одной из черт которой является сочетание быта с высокой фантазией, эта поэма резко выделяется из всего творчества Некрасова. При всем трагизме, она излучает свет добра, красоты, неземного и вечного. Это тем более удивительно, что поэт писал о реальных событиях, используя и фольклорный материал: обряды похорон, причитания, заклинания и т. д.

Невольно возникает аналогия с «Кларой Милич (После смерти)» Тургенева, с ее финальной символикой, очевидной недосказанностью и двойственностью конца повести.

Проникнутый верой в нетленную силу человеческого духа и его высшего проявления — любви, финал поэмы Некрасова тоже символичен. С одной стороны, поэма заканчивается скорбными строками о смертном часе:

Ни звука! Душа умирает
Для скорби, для страсти...

Рядом соседствуют волшебные стихи о «глубоко-бесстрастном» лесе, полном чудес, о лесе, «влекущем неведомой тайной»... В заключительных и словно недосказанных строках поэмы ощущается и вечная философская мысль: жизнь — сон — смерть, родственная и фольклорным представлениям.

А Дарья стояла и стыла
В своем заколдованном сне...

(С. Т. 4. С. 108, 109)

Авторский комментарий в поэме отсутствует. Все это усиливало чувство необычного, создавало иносказательный язык, присущий высокой поэзии, что великолепно сочеталось у Некрасова с реальным бытовым сказом. Известно, что поэт написал и эпилог с благополучным концом и без символики: заржавший Савраска помог Дарье очнуться и вернуться домой к детям. Но он никогда не публиковал его, очевидно, чтобы не нарушать высокого трагизма и романтического настроения поэмы.

И наконец, «Последние песни» Некрасова,¹⁴ перекликающиеся со «Стихотворениями в прозе» Тургенева, с «Выбранными местами из переписки с друзьями» Гоголя. Они характерны не только раздумьями о предназначении искусства и нравственной ответственности художника, диалогом с читателем. В этих темах доминирует глав-

¹⁴ См.: Краснов Г. В. Последняя книга поэта // Некрасов. Последние песни. М., 1974. С. 217—268.

ное — настроение прощания с жизнью, покаяния, предчувствие неумолимо надвигающейся смерти.

В одном из писем 1869 года Некрасов писал: «Я о себе был всегда такого мнения, что все могу выдержать» (П. Т. 15, кн. 1. С. 108). И с мучительным недугом он боролся «до скрежета зубов», надеясь на свою Музу. Многие стихотворения «Последних песен» пронизаны библейской символикой: «Надгробный камень отвали» — это обращение к Музе.

В отличие от Тургенева Некрасов и перед кончиной мужественно сопротивлялся. Вот что писал по этому поводу П. В. Анненков Тургеневу в марте 1877 года: «Вы собираетесь положить перо на полку и это можно. Но вот чего нельзя — это находиться в смутном или мутном, как сказали, состоянии духа, даже по поводу старости и немощей ее. Полубуйтесь-ка на Некрасова. Мне сообщают, что он наотрез отказывается умирать, выписывает из Вены Бильрота, чтобы тот новоизобретенным способом вычистил ему желудок и развлекается, диктуя свою автобиографию (...) в общем видно, что он не упал духом и при истинной беде, и собирается обыграть ее и пустить по миру (...) однакож сдается, что на этот раз он попал на доку еще сильнее себя. Вот с кого нам брать пример надлежит».¹⁵

Спор живота со смертью Некрасов проиграл и был погребен на Новодевичьем кладбище 30 декабря 1877 года как православный, с соблюдением всех религиозных обрядов. И дело, естественно, не в обрядности, а в воспетой всем миром вечной памяти достойному из граждан. Евангельские изречения: «Кто возлюбил много, тому много и простится» и «Претерпевший до конца спасен будет», послужившие обрамлением храмового надгробного слова священника Горчакова, — не только соблюдение церковного чина. Они определили тональность и смысл сказанного им о трагизме поэзии Некрасова, о судьбе человека и писателя. Мысль о поэте-страдальце, о его подвижничестве как залого обновления для всех стала главной в речи Горчакова.

Именно в этом храмовом слове воплотилось литургическое (т. е. всеобщее) содержание траурного события. В ряду многоголосного хора на смерть поэта это событие — и тайна, и последняя веха в его биографии, и оценка его творчества, в котором переплеталось «Божеское» и суетное, церковно-культурная традиция и литературная.

¹⁵ ИРЛИ. Ф. 7, № 12. Л. 7—8, об.

© С. М. Балусев

К ИСТОРИИ ТЕКСТА «ПУТЕВЫХ ОЧЕРКОВ» А. Ф. ПИСЕМСКОГО

Художественно-публицистический цикл А. Ф. Писемского «Путевые очерки» обязан своим появлением на рубеже 1850—1860-х годов известной экспедиции русских писателей в российские поречья и поморья.¹ Соглашаясь ехать в низовья Волги и на Каспий — в один из намеченных правительством для обследования районов, Писемский, как и другие участники экспедиции, принимал на себя обязательство искать решения занимавших государственную администрацию проблем.

В правительственных сферах рассматривался вопрос о возможности рекрутирования во флот людей, «которые с малых лет привыкают к жизни и занятиям на воде».² В связи с этим командированным в места расположения крупнейших водных объектов литераторам предлагалось написать специально предназначенные для помещения

¹ См.: Максимов С. В. Литературная экспедиция (По архивным документам и личным воспоминаниям) // Максимов С. В. Литературные путешествия. М., 1986. С. 80—108.

² Там же. С. 85.

в журнале «Морской сборник» путевые очерки и заметки.³ Подготовленные материалы должны были произвести на публику «нравственное впечатление», как отмечалось в циркуляре, содержащем программу этого официального органа печати, намеченную одним из инициаторов экспедиции, руководившим флотом на правах морского министра, великим князем Константином Николаевичем.⁴

На основании наблюдений, сделанных в десятимесячном путешествии (с 9 января по 9 ноября 1856 года⁵), Писемским были составлены следующие произведения: «Путевые очерки», «Армяне», «Татары», «Поездка на Бирючью косу», «(Поездка) в Баку», «(Поездка) в Новопетровское укрепление», «Поездка в Красный Яр» и «Астраханские калмыки».⁶

При их публикации писатель столкнулся с затруднениями. В «Морском сборнике» были помещены «Путевые очерки» (1857. № 2. Отд. 3. С. 235—256; впоследствии эту работу автор озаглавил «Астрахань»⁷), а также объединенные общим заголовком «Морские поездки»: «Бирючья коса», «Поездка в Баку» (второй очерк позже выходил в свет под названием «Баку»⁸), «Тюк-Караганский полуостров и Тюлень острова» (1857. № 4. Отд. 3. С. 231—251). Очерки об армянах, татарах и калмыках были отвергнуты редакцией «Морского сборника».

Писемский тем не менее не отказался от мысли о завершении публикации цикла. Вскоре представилась возможность сделать это в столичном журнале «Библиотека для чтения», соредактором которого писатель стал в октябре 1857 года. Там были напечатаны: «Астраханские армяне (Из путевых записок)» (1858. № 10. Отд. 1. 3-я пагинация. С. 1—16), «Татары» (1858. № 11. Отд. 1. 6-я пагинация. С. 1—10) и «Калмыки» (1860. № 1. 4-я пагинация. С. 1—34).

Разногласия с «Морским сборником», которым в тот период руководил секретарь великого князя Константина Николаевича А. В. Головнин,⁹ привели к тому, что первоначальный замысел Писемского-очеркиста не был реализован. Авторское видение внешней стороны архитектоники цикла представлено лишь во второй публикации, в четвертом томе сочинений Писемского, выпущенном в 1867 году (изд. Ф. Т. Стелловского). Там части цикла размещены следующим образом: «Астрахань», «Татары», «Астраханские армяне», «Калмыки», «Бирючья коса», «Баку», «Тюк-Караганский полуостров и Тюлень острова».

Данный вариант воспроизводился только один раз в «Посмертном полном издании» сочинений Писемского (Соч.: В 20 т. СПб.; М., 1883—1886), подготовленном издательством М. О. Вольфа при участии С. А. Венгерова. Правда, работа над творческим наследием Писемского известного издателя и видного литературоведа была подвергнута в научной периодике резкой критике.¹⁰ В дальнейшем редакторы Полного собрания сочинений автора «Путевых очерков» (2-е изд. В 24 т. СПб.; М., 1895—1896; 3-е изд. В 8 т. СПб., 1910—1911) игнорировали последнюю творческую волю писателя.

В этих изданиях в цикл в качестве восьмой части, отсутствовавшей в тексте прижизненного четырехтомника (Соч.: В 4 т. СПб., 1861—1867), были включены два

³ Плеханов С. Н. Писемский. М., 1986. С. 140.

⁴ См.: Циркулярная записка е. и. в. вел. князя Константина Николаевича, предназначенная к рассылке всем главным чинам управления // Русская старина. 1891. № 5. С. 360.

⁵ См.: Рейсер С. А. Комментарий к письму А. Ф. Писемского к Е. П. Писемской от 19 февр. 1856 года // Писемский А. Ф. Письма. М.; Л., 1936. С. 613.

⁶ Писемский А. Ф. Письмо к Д. А. Толстому от 3 дек. 1856 года // Писемский А. Ф. Письма. С. 103—104.

⁷ См.: Писемский А. Ф. Соч.: В 4 т. СПб., 1867. Т. 4. С. 3.

⁸ Там же. С. 36.

⁹ См.: Яновский А. Е. Головнин (Александр Васильевич) // Энцикл. словарь / Под ред. И. Е. Андреевского, К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевского. Т. 1—41а (Доп. Т. 1—2). СПб., 1893. Т. 9. С. 74.

¹⁰ См.: Полевой П. А. Ф. Писемский, по его собственным автобиографическим заметкам // Исторический вестник. 1889. № 11. С. 277.

материала. Первый — «Пребывание черноморцев в Москве» — не принадлежит перу автора «Путевых очерков», что давно признано исследователями творчества писателя.¹¹ Второй — «Прием черноморцев в Астрахани (Письмо в редакцию «Мор. сб.»)» — был ранее опубликован в «Морском сборнике» за подписью Писемского (1856. № 6. Отд. 3. С. 168—172). Необходимая ясность в вопрос о присоединении «Приема черноморцев в Астрахани» к «Путевым очеркам» до настоящего времени не внесена; ошибочность этого действия не пояснялась.¹²

Между тем имеется возможность привести необходимые в данном случае аргументы. Во-первых, «Письмо в редакцию „Мор. сб.“» не включено в состав цикла в издании Стелловского. Во-вторых, приступая к публикации в частном журнале отвергнутых правительственным органом печати очерков, Писемский присоединил к тексту «Астраханских армян» редакционное подстрочное примечание: «Начало этих записок помещено в „Морском сборнике“ 1857 года»,¹³ т. е. после выхода из печати «Приема черноморцев в Астрахани». Наконец, в-третьих, «Письмо» не фигурирует в составленном писателем в декабре 1856 года в ответ на запрос директора канцелярии морского министерства Д. А. Толстого отчете о командировке, в который включен единственный известный план «Путевых очерков».¹⁴

Приведенные факты свидетельствуют, что «Прием черноморцев в Астрахани (Письмо в редакцию «Мор. сб.»)» нельзя считать частью «Путевых очерков», а также необходимо научное издание этого цикла художественной публицистики Писемского, текст которого в XX веке был представлен читателю и с упомяннутыми привнесениями, и фрагментарно,¹⁵ но не в соответствии с авторским замыслом.

¹¹ Клеман М. К. Судьба литературного наследия Писемского // Писемский А. Ф. Письма. С. 14.

¹² Рошаль А. А. Примеч. к «Путевым очеркам» // Писемский А. Ф. Собр. соч.: В 9 т. М., 1959. Т. 9. С. 621—622.

¹³ Писемский А. Ф. Астраханские армяне (Из путевых записок) // Библиотека для чтения. 1858. № 10. Отд. I. 3-я пагинация. С. 1.

¹⁴ Писемский А. Ф. Письма. С. 103—104.

¹⁵ См.: Писемский А. Ф. Путевые очерки // Писемский А. Ф. Собр. соч.: В 5 т. М., 1982. Т. 2. С. 231—264 и др. изд.

© М. В. Михайлова

ПИСЬМА КН. ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА КРОПОТКИНА В. П. ЖУКУ

(К ИСТОРИИ ПЕРЕВОДА КНИГИ П. А. КРОПОТКИНА
«ИДЕАЛЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»)

Письма Петра Алексеевича Кропоткина В. П. Жуку (34 ед.) хранятся в фонде Василия Павловича Жука (ок. 1850—1930) в International Institute of Social History (IISH) (Международный институт социальной истории, Амстердам) (папка 2 и 3). В. П. Жук (наст. фамилия Маслов-Стокос Василий Павлович, др. псевд. В. Батурицкий, В. Баранов) в юности примкнул к народокольцам, с середины семидесятых годов жил в эмиграции в Великобритании, за границей в 70-х годах издавал журнал на украинском языке «Громада», в середине 1900-х — принимал участие в издании газеты «Прогресс». Из-за границы регулярно посылал корреспонденции в российские издания, иногда навещал Москву и Петербург. Публицистические статьи и заметки, а также переводы печатал в «Историческом вестнике», «Вестнике всемирной истории», «Новом слове», «Русской мысли», «Вестнике Европы», «Русском вестнике», «Русской школе», «Южном крае». В 1900-е годы он был достаточно известен как исследователь русской литературы. К числу наиболее популярных работ В. Батури-

ского относятся: «Западники 40-х годов» (Великая реформа. Т. III. М., 1911); «А. И. Герцен, его друзья и знакомые. Материалы для истории общественного движения в России» (Т. 1. СПб., 1904; часть работы напечатана во «Всемирном вестнике» — 1904. № 12); «К биографии Тургенева» (Минувшие годы. 1908. № 8); статья о Чехове, опубликованная в «Чеховском юбилейном сборнике» (М., 1910). Постоянно контактировал с анархистами, жившими за границей, в 1920 году публиковался в органе анархистов — газете «Голос труда», выходящей в Аргентине.

Переписка П. Кропоткина и В. Батурина возникла в 1903 году в связи с необходимостью перевода на русский язык написанной Кропоткиным на английском «Истории русской литературы», которая была создана на основе лекций, прочитанных им в начале 1900-х в США и Канаде. Книга была издана под названием «Идеалы и действительность в русской литературе» в переводе В. Батурина под редакцией автора (СПб., 1907). По окончании этого перевода Кропоткин попросил Василия Павловича о согласии на перевод своих книг «В русских и французских тюрьмах» (1906) и «Взаимная помощь как фактор эволюции» (1907), что и было осуществлено. Переписка носила в основном сугубо деловой характер, в личном плане ограничиваясь передачей поклонов жене и упоминаниями о нездоровье. По окончании этой работы переписка, по всей видимости, оборвалась. Письма Кропоткиным посылались из Англии, графство Кент, городок Бромли, его предместье Виола или непосредственно из самого города, а также из Франции, местечко Ротнёф, куда Кропоткин в августе 1906-го выезжал на отдых с семьей (в эмиграции Кропоткин находился с 1876-го по 1917 год).

Письма Кропоткина существенно дополняют его высказывания о литературе, нашедшие отражение в книге «Идеалы и действительность в русской литературе». Философско-эстетическая система П. А. Кропоткина представляет собой целостное, незаурядное явление, и его литературно-критические оценки также выглядят оригинальными и значительными. Его наследие в этой области невелико по объему и интересно во многом потому, что тесно связано с его этической системой, основные принципы которой раскрыты им в работах «Этика» (1922) и «Взаимопомощь среди животных и людей» (1904). Литературно-критические взгляды Кропоткина, изложенные в книге «Идеалы и действительность в русской литературе», получили некоторое развитие и дополнение в отдельных выступлениях на страницах периодических изданий, в частности в статье «Толстой» (Утро России. 1910. 21 ноября). И хотя он действительно избегал подробной характеристики современной ему литературы, считая, что это «потребовало бы детального рассмотрения (...) хаотических условий, в которых страна живет за последние тридцать лет»,¹ тем не менее изучение философом процессов, происходящих в литературе рубежа веков, отличается и основательностью, и полнотой. Стоит напомнить, что его литературные оценки пользовались непререкаемым авторитетом, например в среде анархистов, о чем свидетельствует публикация его литературно-критических выступлений (в переводе с испанского!?) в органе анархистов, выходящем в Аргентине, уже после его смерти. В газете «Голос труда» был опубликован отрывок о Чехове из книги «Идеалы и действительность в русской литературе» (1928. 1 июля) и отрывок из лекции «Толстой» (1928. 1 окт.). Но они были значимы и для всей либерально-демократической критики начала XX века.

Известно, что в русском общественном сознании на рубеже веков соседствовало несколько этических систем. Это утилитаризм, руководствовавшийся пользой для большинства; универсализм, который более всего ценил искренность и чистоту намерений человека; концепция справедливого распределения всех благ и желание личной свободы как необходимого условия развития личности. Каждое из этих направлений существовало во множестве модификаций, но Кропоткин не укладывается ни в одну

¹ Кропоткин П. А. Идеалы и действительность в русской литературе. СПб., 1907. С. 330. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

из них. Можно сказать, что Кропоткин создал по-своему уникальную этико-эстетическую систему, основными положениями которой руководствовался при оценке художественных творений, что и нашло отражение в книге «Идеалы и действительность в русской литературе», которая, как уже сказано выше, была составлена на основе курса лекций, прочитанных им в 1901 году в США и Канаде. Лекции были рассчитаны на широкие круги зарубежных читателей, поэтому содержали в себе довольно беглый и поневоле популярный обзор всей русской литературы, но при этом не стали безликим сводом информации, а сохранили печать самобытности, которую на нее наложила личность автора. Это касается не только характеристик выдающихся художников (так, Толстого и Тургенева Кропоткин считает «двумя величайшими беллетристами России», а Чехова — «великим поэтом»), но и в целом всего литературного процесса, широкий охват которого прямо-таки поражает в столь малом объеме текста.

Тем интереснее отметить, что сам Кропоткин очень невысоко ценил свои литературно-критические способности. Так, он писал В. Батуриному: «...я, ведь, знаете, не литературный критик: наслаждался нашей русск(ой) лит(ерату)рой, а „критикой“ не интересовался, — только в молодости наслаждался Добр(олюбовы)м, Писаревым (отчасти, иногда)». ² Эти слова очень показательны, во-первых, как свидетельство об источнике, из которого черпал свои первые представления о критических принципах Кропоткин, а во-вторых, они объясняют, почему он, маститый ученый, с таким вниманием прислушивался к советам, мнениям своего переводчика, почему столь охотно вносил коррективы и поправки в свои построения.

Именно компетентность В. Батуриного в вопросах литературы и послужила для Кропоткина основанием для того, чтобы выбрать его в качестве переводчика и даже просить его постоянно, по ходу перевода присылать свои критические замечания, к которым Кропоткин охотно прислушивался и многие из которых активно использовал в своей работе. ³

Тем не менее его книга поражает концептуальностью, выверенностью оценок, сложным единством в подходе к литературному материалу. В целом она может быть рассматриваема как яркий пример позднероднической критики, в которой сохранен дух объективной социологичности и пристрастия к реализму изображения. Так, безмерно высоко ставя художественные достижения Л. Толстого, Кропоткин убежден, что беллетристы-народники «в деле истинного реализма» (с. 239) стоят выше всех писателей. Показательно, что в заслугу им он ставил то, что они «воздерживались даже от изображения типов и даже от изложения индивидуальных драм нескольких типических героев. Они сделали чрезвычайно смелую попытку изобразить самую жизнь в последовательности мелочных событий, совершавшихся в серой и скучной обстановке» (с. 240). Это высказывание Кропоткина, на первый взгляд, позволяет причислить его к лагерю защитников бытового натурализма, который рьяно поддерживался проводниками народнической эстетики 1870-х годов. Если бы не один момент, присутствие которого убеждает, что Кропоткин причастен именно к сложной эстетической системе художественных открытий XX века. Это слово «жизнь». Прежде всего попыткой воспроизвести подробное, нескончаемое, непрекращающееся движение в мире, дыхание самой жизни привлекали его писатели-народники. В основе этого отношения лежало представление Кропоткина об изоморфизме природного и человеческого миров: человек — лишь часть бесконечно богатого мира общей космической жизни, поэтому так важна «натуральность» его описания. А вырывание из природного «контекста» грозит ему искусственной изоляцией, что особенно опасно в художественном творчестве, приобретающем вследствие этого причудливый, фантазийный характер.

² Письма П. А. Кропоткина В. П. Жуку // Указ. фонд. Письмо № 13 от 5 июля 1906 года.

³ Об этом см. мою статью в сб. «Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики» (Гродно, 1998).

Именно этим, на взгляд Кропоткина, грешил Достоевский, бывший для него писателем «неудобочитаемым». Его мнение, высказанное на страницах книги, прозвучало явным диссонансом в согласном хоре почитателей Достоевского, каковой по сути представляла из себя почти вся критика начала XX века, за исключением, пожалуй, А. Белого, В. Вересаева и марксистов. Весьма интересно, что у Кропоткина находятся точки соприкосновения и с А. Белым, и с Вересаевым: с первым его сближает неприятие психологизма Достоевского, со вторым — убеждение в нежизненности изображенных им ситуаций. При этом Кропоткин отдает должное «захватывающим сценам бедности и нравственного падения» (с. 183), «характерам, (...) часто встречающимся в жизни» и бесконечно «реальным» (с. 181). «Печать истинного гения» (с. 185) лежит на страницах, где изображаются дети, пьяницы, нищие, страдалницы типа Сони, т. е. на тех, где есть «истинный реализм» (с. 185). Он считает «безупречными в художественном отношении» (с. 181) «Записки из Мертвого дома».

Но в целом неприятие экзальтированности Достоевского, или, как он выражается, «атмосферы сумасшедшего дома» (с. 180), явно прочитывается в книге. Кропоткин почти повторяет мнение Н. К. Михайловского о «жестоком таланте» писателя, говоря о том, что он находит истинное удовольствие в описании моральных и физических унижений, «он наслаждается, изображая те умственные страдания, ту полную безнадёжность и ту придавленность человеческой природы, которая характеризует нервно-патологические случаи» (с. 181). Но — главное — его не удовлетворяет романтический, как ему кажется, способ взаимоотношения автора и героев. Он убежден, что «за спиной героя» всякий раз оказывается автор, который не изучает реальную жизнь, а ставит эксперимент на самом себе. Так, например, художественную задачу «Преступления и наказания» он интерпретирует следующим образом: «За изображением Раскольникова я чувствую самого Достоевского, который пытается разрешить вопрос: мог ли бы он сам, или человек вроде него, быть доведен до совершения преступления, как Раскольников, и какие сдерживающие мотивы могли бы помешать ему, Достоевскому, стать убийцей» (с. 184). Кропоткин считает такую задачу некорректной именно с психологической точки зрения: «...дело в том, что такие люди не убивают». Ту же ошибку, на его взгляд, совершает Достоевский и в отношении Свидригайлова: «Люди свидригайловского типа не рассуждают о своих пороках, а те, которые рассуждают, не достигают порочности демонического героя этого романа» (с. 181). Раздражает Кропоткина, особенно в позднейших романах Достоевского, и обилие героев, «страдающих какой-либо психической болезнью или являющихся жертвой нравственной извращенности» (с. 187). Ему кажется, что это в свою очередь питается психической неуравновешенностью автора.

Подтверждение этой мысли он находит в новейших исследованиях, посвященных Достоевскому, у Д. Мережковского и В. Розанова (чему, кстати, по всей видимости, он тоже был обязан Батуриновскому), из которых он вычитал доводы о «болезненной психологии» писателя, о том, что «его любовь к обиженным судьбою вытекала» не из «потребности религии», которая, к сожалению, «затмила его понимание живой действительности», так как это было «не религиозное чувство простого человека, а какое-то требование религиозной дисциплины», способной удерживать человека «от соединения самых низких порывов с высшими» (с. 188). Однако это единственное, что он внес в свою книгу (и то в примечании) после прочтения работ Мережковского и Розанова. Зато много интересных соображений по поводу существа природы религиозного чувства Достоевского, характеристики его, предложенной Розановым, различия между христианством Достоевского и Толстого высказал он в приводимой ниже переписке. Кроме того, нельзя не заметить, что многие оценки Достоевского в книге он смягчил — в письмах они звучат более определенно и резко.

Кропоткин очень проницательно уловил внутреннюю связь Достоевского и Горького и в то же время почуствовал различие этих писателей, чему и посвятил несколько строк в письме от 3 сентября 1906 года. Отметим, что в книге сцена из повести «Трое»

истолкована иначе, и, возможно, это связано с несогласием, которое вызвало последнее утверждение Кропоткина у В. П. Жука. Горький, по словам критика, «предпочитает закончить жизнь своего героя гораздо более прозаически», он показывает его «пред читателем дрянным, слабым, мелким в его нападении на жену околоточного надзирателя, заставляя даже пожалеть эту женщину...» (с. 280).

Интересно рассуждение Кропоткина о допустимости в искусстве идеализации в чистом виде. Мы уже поняли, что он является противником романтического насилия, несурезности, подтасовки фактов, «выдуманности, фальши» (см. указ. письмо), по его терминологии. Но в его сознании идеалом искусства является «реализм», который он понимает как «реалистическое описание характеров и событий, подчиненное идеалистическим целям» (с. 231). А выделенный им из фаланги писателей начала века Горький остался и «приверженным к правде», и одновременно «перестал бояться (...) идеализации» (с. 274), следовательно, найдено «счастливое соединение реализма с идеализмом» (там же), которое и отвечает запросам искусства нового времени.

Кропоткин принимает идеализацию в искусстве как выражение «симпатий» художника, а не как насилие над жизненными процессами. Если воспользоваться его удачным определением сложности жизни из письма к брату: «...вой ветра в трубе, передвижение тени от луны, постоянный шум из отдушников, щелканье часов (...) все это заставляет меня задумываться о вечной неустанной работе — жизни во всем, в токах воздуха, в разложении камней (...) о том, какие усилия должен употребить куст, чтобы снова ожить...»,⁴ то можно сказать, что художник, «симпатизирующий» «вою ветра» или «щелканью часов», вправе изобразить эти явления с большим тщанием, обратить на них большее внимание. Но это не значит, что он может изображать только их, в ущерб другим, нарушая тем самым пропорции и тончайшую связь явлений бытия. «Художественное произведение неизбежно носит личный характер; как бы ни старался автор, но его симпатии отразятся на его творчестве, и он будет идеализировать то, что совпадает с его симпатиями» (с. 274). Так, для Кропоткина вполне очевидно, что Горький сочувствует пропаганде социализма, и это сочувствие прочитывается в его произведениях, но он не «сделал Илью выдающимся участником в рабочем движении», потому что это означало бы «переход за границу позволительной идеализации» (с. 280). В то же время эту границу, на взгляд Кропоткина, переходит Достоевский, который, будучи противником материалистических воззрений, настойчиво проводил в романе «Преступление и наказание» мысль, что именно они способны «довести честного молодого человека до (...) преступления». Но даже ему настойчивое проведение этой идеи давалось с трудом, и он вынужден «нагромоздить (...) случайные причины» (с. 184), чтобы сделать эту линию романа правдоподобной.

В соответствии с установившейся в критике начала века традицией Кропоткин противопоставлял по способу отражения и воспроизведения действительности Достоевскому Толстому, в котором ценил стремление к универсальному охвату жизненных явлений и следование логике саморазвития характеров. Среди особо ценимых им писателей значился и А. И. Эртель. И именно потому, что он рисует «жизнь массы народа» и при этом дает возможность рассмотреть отдельные фигуры, «каждая из которых живет своей жизнью, и каждая из них поставлена в то положение относительного значения, которое она занимает в действительной жизни».

При характеристике творчества Эртеля Кропоткин вступает в спор со всей русской критикой, которая подошла к этому писателю традиционно, выделив из общей массы героев несколько фигур, показавшихся ей центральными, и посвятив «суровому разбору» их «образ мысли» (с. 331). Кропоткин подчеркивает, что в созданном Эртелем типе романа (имеются в виду «Гарденины») нет главных героев, «и можно лишь пожалеть, что автор, платя дань своему времени, отдал этим молодым людям (Ефрему и Николаю) больше внимания, чем они заслуживают, так как они не что иное, как

⁴ Кропоткин П. А. Переписка. М.; Л., 1933. Т. 2. С. 122—123.

равные всем другим действующие лица в громадной картине помещицкой жизни, которая развертывается перед нами» (с. 331).

Таким образом, апелляция Кропоткина к правдоподобию обуславливалась не только народническими требованиями фактографизма, а его убежденностью в могуществе и непреборимости «живой жизни», которая прежде всего подразумевает свободнотворческое развитие человека в атмосфере альтруизма. Эту «живую жизнь», трактуемую в духе анархического сопротивления, он обнаруживал даже в Платоне Каратаеве Толстого, считая, что тот в своем поведении воплощает не роевое и фаталистическое начало, а здоровый народно-практический взгляд на мир, совсем не чуждый особого рода действительности. И он утверждает, что новый этап в развитии литературы связан с изображением именно крупных пластов действительности, «приводных ремней» социального механизма, приводящих в движение целые области жизни, способствующих рождению новых классов и «образованию зародышей новых наслоений» (с. 332).

Для публикации отобраны письма, имеющие непосредственное отношение к злободневным проблемам истории русской литературы. Письма печатаются с учетом современной орфографии и пунктуации. Авторские знаки (например, тире в конце предложения после точки как интонационное выражение перехода к другой мысли) в отдельных случаях сохранены. Авторские подчеркивания выделены курсивом. В отдельных случаях — там, где речь идет о незначительных подробностях, не имеющих отношения к основному содержанию письма, публикатором сделаны купюры. В текстах, цитируемых по книге П. Кропоткина, в частности в примечаниях В. Батуринского, библиографические сведения, приводимые им, восстановлены полностью.

Rotheneuf, par Parame Stt et Vilaine, 22 августа 1906.

Дорогой Василий Павлович.

Дошел до «Толстого»¹ и прочел сейчас Ваши заметки к переводу. Спасибо большое-пребольшое за них. Всеми воспользуюсь с большою благодарностью.

Есть, однако, две,² касающиеся Тол(стого), — одна о вероятном влиянии на него народнического движения, которое вы отрицаете, а другая о хри(стианст)ве, о которых хочется написать вам подробнее.

Вероятное влияние народнического движения — моя догадка, с кот(орой), я знаю, большинство читателей не согласится. А м(ежду) т(ем), мне сдается, она верна.

Только, конечно, не Нечаевское движение 1869—72 года, а движение 1873—76 года, и в особенности Моск(овский) процесс 50-ти.³

А затем — только я умолчал об этом, т(а)к к(а)к пришлось бы много распространяться, тем более, что люди, всегда все *упрощающие* при чтении, прочли бы просто: «зависть» — а затем — успех Тург(еневско)й *Нови*, его «примирение с молодежью» и оказии ему от молодежи.

Я знаю не только «аристократизм», но левый реакционизм Т(олсто)го в начале 70-х годов. Переворот начинается только, когда он кончил «Анну Кар(енину)».

Я себе представляю дело так: процесс 50-ти, процесс Долгушина,⁴ Субботин⁵ (его ссылки) и при этом успех *Нови* — ее-то он прочел — тогда как он считал своего соперника Тургенева похороненным (именно за его революц(ионные) наклонности), а к нему, Толстому, — самое резкое отношение критики.

Все это вместе, да еще, того и гляди [еще моя догадка, хотя, впрочем, «Крейц(ерова) сон(ата)» имеет действит(ельные) подкладки], увлечения его жены, а м(о-жет) б(ыть), и собственные — все это вместе заставило его опомниться от катковщины и ростовщины⁶ [«и для чего, мол, я хотел самарские именные, и табуны и прочее!»⁷]. Тогда, чт(обы) не польститься, он вернулся к полнейшему православия, с евхаристией включительно, а потом к состоянию ума времен яснополянского обыска,⁸

когда он передавал Ал(ександру) П-му через тетку, статс-даму, что эмигрирует в Лондон («не к Герцену, а особо»), если перед ним не извинятся за обыск.⁹ Вообще — к тому времени, когда Руссо был его излюбленным писателем (книгу Руссо¹⁰ он возил за пазухой, даже в походе на Тереке. Прудона¹¹ — тоже уважал), смрад, нагнанный браком, женитьба на туго натянутом (1 сл. нрзб.) разлился, и он вернулся в состоянии ума юных лет — *минус* обожание коммиль-фотизма.

Вот как мне представляется развитие этого ума. Это мои догадки. Если я ошибся — не беда. Со временем, к(а)к говорил Белинский, он все-таки «попадет на свою полочку».

Ну, а насчет рационального хр(истианст)ва, это тоже была смелая догадка.¹² Но представьте, что в недавно вышедшей бирюковской биографии¹³ дано извлечение из очень раннего дневника Т(олстого), где он выражал именно это желание построить всемирную рационалистическую религию. Он считал себя вообще продолжателем миссии Руссо — даже дневник вел, такой же откровенный, как его мемуары (его-то и читал жандарм при обыске, в присутствии тетки).

К сожал(ению), Т(олстой) *никогда не был неверующим*, хотя он и говорит, что был (это опять видно из бир(юковской) биографии, т. е. из того, что в ней принадл(ежит) Толстому). А потому из его попытки ничего не вышло — даже если бы такая попытка была осуществима. Но было время («Христ(анское) уч(ение)»¹⁴), когда он искал, что в Христе есть такого, что могло бы быть принято всеми, в том числе и атеистом. И эту сущность всех религий он хотел выразить.

Ну, конечно, из этого ничего не вышло — не потому, что он не понял истор(ическо)го Христа, а потому, что он б(ыл) слишком привержен тому опортюнизму, кот(орый) содержат евангелия. — Я говорю «опортюнизм», п(отому) ч(то) за то, что содержат евангелия, не за что было вешать данного Христа.¹⁵

Несомненно, однако, что Христос иудейского восстания этих годов проповедовал уничтожение как родовой, так и судебной (государственной) мести, уничтожение госуд(арственных) учреждений и возврат к коммунистич(ескому) родовому быту — рядом со всякой ахинеей насчет Страшного Суда, скорого 2-о пришествия и т. д.

Евангелисты и авторы Апост(ольских) посланий, писавшие через 90—120 лет после казни этого Христа, сделали из этих учений такое же причесанное учение, какое нын(ешние) соц(иалист)ы-госуд(арственни)ки сделали из коммунистическо-го учения 30-х и 40-х годов.

Толстой этого не понял, и я старался передать ему, что то, чем он восхищается в хр(истианстве), есть (кроме отрицания родовой и судебной мести) достояние *всех*. Это общечеловеческое состояние, заимствованное, к(а)к я теперь стараюсь доказать в *Этике*,¹⁶ из наблюд(ений) животного мира. Но хр(истианст)во, будучи религией, привнесло к этому всю ту же мразь всех религий, наваянную боязнь сверхъестеств(енных) сил. Но Толстой слишком боится смерти и Христ(ианско)го бога, чт(обы) стать на такую точку зрения. Он дитя московского дворянского православия.

Если бы я *теперь* писал о Т(олстом), когда он вернулся к православ(ному) богу, с бородой, то я с ним (? — М. М.) бы бился (?) — м(ожет) б(ыть), я то и сделаю в примечании.¹⁷ Но тогда, когда я писал, он еще стоял на точке зрения, изложен(н)ой в его катехизисе.¹⁸ А это — была попытка всемирной религии, без бородатого старосты.

Хр(истианст)во я разбираю в своей *Этике*. Лучшая критика была, насколько я знаю, Фурье¹⁹ (Ницше²⁰ далеко до Ф(урье), хотя художественнее). Но и та не касается сути.

Суть эта лучше всего выступила, когда Т(олстой) выставил основным положением непротивление, т. е. в действительности *отказ от мести и судебного преследования*. Исторически это един(ственная) заслуга буддизма и хр(истианст)ва. [Но именно это и не (1 сл. нрзб.).] Все же прочее, включая «люби ближнего, яко...», есть во *всех* кодексах нравст(венности): в Левите (Моисеева книга), у алеутов, у новогвинейцев, у коз, у (1 сл. нрзб.) и т. д.²¹

Но в том-то и горе, что, проповедуя отказ от мщения, хр(истианст)во везде говорит о Боге — злом, мстительном, о его «геенне огненной»... Вот почему у Толстого вырвалась эта сильная фраза, что, не будь Христа, люди были бы ближе к «хр(истианст)ву»,²² т. е. к отрицанию мести и к этике, основанной на равенстве.

Ну, довольно. Не посетуйте за длинное письмо. Во всяком случае не отвечайте. Не стоит. Это так — заметки в ответ на ваши.

Буду ждать рукописи. Присылайте сюда сколько есть. (...)

Сердечный привет обоим.

П. К. (...)

¹ Подразумевается раздел, посвященный Л. Толстому в книге П. Кропоткина, включающий в себя следующие главы: «Детство» и «Отрочество»; Во время и после Крымской войны. «Юность»; В поисках за идеалом; Мелкие рассказы, «Казачи»; Педагогические труды; «Война и мир»; «Анна Каренина»; Религиозный кризис; Главные черты христианской этики; Толкование христианского учения; Художественные произведения последних лет.

² Имеется в виду: две заметки.

³ Кропоткин выделяет несколько этапов народнического движения: организацию Сергеем Генриховичем Нечаевым (1847—1882) тайного общества «Народная расправа», которое ориентировалось на методы мистификации и провокации; кружок «чайковцев», объединившийся с кружком С. Перовской, осуществлявший издание революционной литературы и «хождение в народ»; «Процесс 50-ти», проходивший в 1877 году над членами группы «москвичей», состоявшей из интеллигенции и рабочих, в том числе П. А. Алексеевым, С. И. Бардиной, которые проводили революционную пропаганду в 1874—1875 годах.

⁴ Александр Васильевич Долгушин (1848—1885) — деятель революционного движения 1870-х годов. В конце 1860-х создал кружок «сибиряков», члены которого были арестованы по делу С. Г. Нечаева, но на процессе «нечаевцев» оправданы. В 1872 году сложился кружок «долгушнцев», который вел пропаганду в «народе». В 1873 году Долгушина арестовывают и приговаривают в 1874 году к 10 годам каторги.

⁵ Субботин — предположительно: или Иннокентий Михайлович (1855—?), высланный за участие в студенческих беспорядках в 1879 году в Новгородскую губ., или Авдей (ок. 1842—?), в 1874 году высланный в Вологодскую губ., а затем в Тотьму. Однако в своей книге П. Кропоткин упоминает о сестрах Субботинных, приговоренных по «процессу 50-ти».

⁶ Производное от «Катков» (Михаил Никифорович Катков, 1818—1887, публицист, издатель журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости») и «Ростов» (вероятнее всего, глава семейства Ростовых в романе «Война и мир», воплощающий патриархальные настроения).

⁷ Парафраза слов Л. Толстого из «Исповеди»: «„Ну, хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии — 300 голов лошадей, а потом?“... И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше» (Толстой Л. Собр. соч.: В 22 т. М., 1983. Т. 16. С. 116).

⁸ Яснополянский обыск имел место 6 июля 1862 года.

⁹ Л. Н. Толстой 22 августа подал через дежурного флигель-адъютанта письмо государю, в котором просил, «чтобы были, ежели не наказаны, то обличены виновные...» (Островский А. Молодой Толстой в записях современников. Л., 1929. С. 448).

¹⁰ Известно, что Толстой больше всего ценил у Руссо «Эмиля» и «Исповедь», отмечая, что они оказали на него «огромное» влияние.

¹¹ Прудон Пьер Жозеф (1809—1865) — французский социалист, теоретик анархизма, выдвигал проекты экономического сотрудничества классов и ликвидации государства. Л. Толстой совершил специальную поездку к Прудону, который только что окончил свою книгу «Война и мир» (труд по философии и истории войны), в Брюссель. Как видим, Кропоткин настойчиво проводит параллели между мировоззрением Л. Толстого и анархистскими теориями.

¹² В своей книге о русской литературе Кропоткин высказал предположение, что предлагаемое Толстым христианское учение есть «совершенно освобожденное от гностицизма и мистицизма, (...) чисто духовное учение о мировом духе, ведущем человека к высшей жизни — жизни равенства и дружелюбных отношений между всеми людьми» (С. 151—152).

¹³ Бирюков П. И. Л. Н. Толстой. Биография. Т. 1. СПб., 1906.

¹⁴ Брошюра Л. Толстого «Христианское учение» (1902) содержит изложение его религиозных взглядов в форме коротких законченных параграфов.

¹⁵ Кропоткин имеет в виду «отшлифованность» и «приглаженность» христианского учения, каким оно, на его взгляд, предстает в Евангелиях, пройдя соответствующую «обработку» в устах Апостолов.

¹⁶ Над своей этической теорией Кропоткин работал вплоть до самой смерти. В книгу «Этика. Т. 1. Происхождение и развитие нравственности» (Пг.; М., 1922) вошли в переработанном виде «Необходимость нравственности в наши дни» и «Нравственность в природе». Второй том остался в рукописи. Кропоткин предполагал «положить начало нравственности, свободной

от религий, и более высокой, чем религиозная...» (цит. по: *Бонч-Бруевич В. Д.* Избр. соч.: В 3 т. М., 1963. Т. 3. С. 408), считая, что основой этому служат представления о добре и зле, об общественном инстинкте, которые можно наблюдать у всех насекомых и животных, живущих совместно.

¹⁷ Примечания такого рода в книге Кропоткина отсутствуют.

¹⁸ Катехизисом Кропоткин называет работу Л. Толстого «Христианское учение».

¹⁹ Кропоткину, несомненно, была близка содержащаяся в «Теории четырех движений» (1808) Фурье критика образа жизни монахов, уверенность философа, что «в основе религии лежат легенды, которые были необходимы вождям, чтобы вести человечество в заблуждение и увести от воспоминаний о счастливом первобытном обществе», а также утверждение, что «Бог (...) достоин порицания из-за того, что привел нас к созданию общества, отвратительного по своим порокам». Для Фурье было неоспоримо, что религия «умеет делаться полезной для самых хищных» и что человек должен быть «сотворцом Бога», а не слепым исполнителем его воли, как он писал в статье «О свободе воли». И хотя в своей философии Фурье положительно решал проблему Бога, это не спасло его от обвинения в безбожии, против философа выступила католическая церковь, а папа Григорий XVI издал энциклику, в которой осуждалась «социетарная теория» французского мыслителя.

²⁰ Имеются в виду работы Ф. Ницше «Так говорил Заратустра», «Человеческое, слишком человеческое», «Антихристианин», «Воля к власти», в которых содержится резкая критика христианства как учения, лишаящего человека полноты жизни, культивирующего его бессилие и слабость.

²¹ Как видим, Кропоткин твердо стоит на той точке зрения, что нравственные понятия суть «понятия зоологические, а не только человеческие» (Этика. Происхождение и развитие нравственности. Пб.; М., 1922. С. 19).

²² Кропоткин в своей книге цитирует слова Л. Толстого из работы «В чем моя вера?»: «Ужасно сказать (но мне иногда кажется), не будь вовсе учения Христа с церковным учением, выросшим на нем, то те, которые теперь называются христианами, были бы гораздо ближе к учению Христа, т. е. разумному учению о благе жизни, чем они теперь» (цит. по: Полн. соч. Л. Н. Толстого, запрещенные русской цензурой: В 8 т. Изд. В. Черткова, 1904. Т. 4. С. 145).

Rotheneuf, par Parame Stt et Vilaine.

3 сентября (1906 года).

Завтра едем в Виолу.

Дорогой Василий Павлович!

Сейчас получил рукопись, 218—325,¹ и от души благодарю вас и за перевод, и за ваши поправки, и за внимание, с которым вы относитесь ко всем этим мелочам, которые в такой книге вовсе не мелочи.

Все исправлю, как вы пишете. Вот только насчет Достоевского. Смягчу мой отзыв, но представьте — двух наших писателей не выношу: Дост(оевского) и Щедрина. И это — не навязанное, а что-то органическое. Когда я, бывало, читал *все*, что попадало под руку, начиная с «о воронах (1 сл. нрзб.)» Чичерина² (вероятно, мало понимая) вплоть до мелких повестей в *Современнике* или *Биб(лиоте)ке для Чт(ения)*, я никогда не мог читать Дост(оевского) (кроме *Униж(енных)* и *Оск(орбленных)*) — брал и бросал.

Недавно, когда писал книгу, я взял всего Дост(оевского). — Прочел *Пр(еступле)ние* и *Нак(азание)*, *Униж(енных)* и *Оскорбл(енных)*, прочел *Бр(атьев) Кар(амазовых)*... но последнее — с каким трудом! Зевая, зевая! (от чтения Щедр(ина) у меня бывает *болезненная зевота*). Едва я заставил себя прочесть *Бр(атьев) Кар(амазовых)*, а *Идиота* так и бросил...

А м(ежду) т(ем), представьте, я способен читать Zola от доски до доски (с принудкой), читаю Лилова³ и даже Шеллера⁴ (скудно-таки). Но в Дост(оевском) есть что-то, что глубоко противно моему складу ума. Ведь я *знаю*, что сумасшедшие Дост(оевско)го вовсе не сумасшедшие (у Гаршина — да!), а выдуманные люди.

Я знаю, что Дост(оевски)м увлекаются в Герм(ании). Но кто! Эстеты, да еще эх-эстеты, старики (? — М. М.), люди, кот(оры)х жестоко интересуют «ненатуральные страсти» — не потому ч(то)б у них было к ним влечение, а потому, что они —

«не натуральны». Люди надломленные и, прежде всего, *слабые*, которые и за Ницше и за христ(иански)х мистиков хватаются.

Все у Дост(оевско)го, за *исключ(ением) бытовых сцен из жизни бедняков* — реальных сцен, — такое ходульное, не верное, не реальное.

Léviès — это б(ыл) студент в Париже, кот(орый) захотел быть последовательным «дарвинистом» и убил закладчицу. Когда его везли гильотинировать, в карете везли, — он все время пел и свистел. И — верно говорил себе: «*Cor basson!*» (дается приблизительно. — М. М.), как Расплюев.⁵ А Раскольников — ерунда. Это Дост(оевский) отозвался на теорию сенсуализма (или дарвинизма, если хотите) и заявил: «Вот до чего дойдет человек с такой теорией!» А чтобы написать это в виде повести, взял *себя* и стал думать, что произошло бы, если бы он, Дост(оевский), принял такие теории и как он убил бы. Но, как художник, он почувствовал, что теории ему было бы малс, — он и напелл десяток причин, ч(то)б убедить Раск(ольнико)ва в необходимости убить закладчицу. А потом раскланялся в православно-толстовском вкусе.

Между тем *Достоевские не убивают*, убивают Léviès'ы да еще герой из *Трое* Горького.⁶ А потому весь роман *Прест(упление) и Нак(аказание)* — ерунда, несмотря на убедительную трогательную красоту отдельных сцен, Сони и т. д.

В «Трое» тот же тип безумного вернее и был бы совсем реальным, если бы не нелепая последняя сцена с женой квартального и мозгами.⁷

Так-то во всем, что писал Дост(оевский). Во всем я чувствую *выдуманность*, фальшь. Даже его сумасшедшие выдуманы.

Вы упоминаете о Стоюнине.⁸ В том-то и дело, что Стоюнины и Леонидовы⁹ (дается приблизительно. — М. М.) больше *делают* (обыкн(овенно) втихомолку), а те, кто болтают, — не делают. Стоюнин и Леонидов — не Достоевские типы: он таких не знал и *не понимал*. Его типы — это Эжен Сюевские монстры,¹⁰ но без их силы.

Вообще я утверждаю — против всех говоривших о психопатии Дост(оевско)го, что его психопатия мне кажется выдуманной и выдуманной человеком хорошим, неплохим наблюдателем и моралистом толстовского типа, а не художником.

Во всяком случае спасибо большое за указания. Прочту присланную брошюру — и скажу немного: когда стоишь один против чуть не всех, толково (? — М. М.) спросить себя: есть ли тут в чем-нибудь ошибка... Хотя! Чем больше думаю о Д(остоевском) (я не только думал по поводу (2 сл. нрзб.) Garnett'a¹¹), тем больше мне кажется, что я прав.

Ну, довольно болтать.

Послал чек в 15 f. И сердечно жму руку обоим вам.

¹ Имеются в виду страницы присланной рукописи.

² Борис Николаевич Чичерин (1828—1904) — юрист, историк, философ. Вероятно, имеется в виду какое-то устоявшееся выражение из работ Чичерина шестидесятых годов, с которыми Крпоткин мог познакомиться в ранней юности.

³ Лиллов — возможно, речь идет об Александре Ильиче Лилове, авторе книги «О зловредных действиях иезуитов в отношении к православной церкви в России в конце XVI и в нач. XVII в.» (1856) и «О так называемой Кирилловой книге» (1858).

⁴ Александр Константинович Шеллер (псевд. Михайлов, 1838—1900) — русский писатель, автор популярных в 60—80-х годах романов на злободневные темы, отличавшихся морализаторством.

⁵ Крпоткин упоминает героя пьес А. В. Сухова-Кобылина «Свадьба Кречинского» и «Смерть Тарелкина». Однако подобной реплики на французском языке (?) в тексте пьесы нет. Возможно, это обобщение черт самодовольства и апломба, присущих Расплюеву.

⁶ Имеется в виду убийство Ильей Луневым купца Ползуктова.

⁷ Крпоткин подразумевает финал повести «Трое», когда Лунев, убегая от полиции, сознательно бросается на стоящую перед ним стену и разбивает голову. Перед этим он признается в совершенном убийстве и в любовной связи со своей квартирной хозяйкой, Татьяной Автономовой, ее мужу и его гостям.

⁸ Возможно, речь идет о Владимире Яковлевиче Стоюнине (1826—1888) — российском педагоге и методисте-словеснике, написавшем большое количество трудов по педагогике, истории педагогики, а также руководство по методике преподавания литературы.

⁹ О ком идет речь, установить не удалось.

¹⁰ Подразумеваются герои авантюрно-сентиментальных романов французского писателя Эжена Сю (наст. имя Мари Жозеф, 1804—1857).

¹¹ Речь идет об английской переводчице русской литературы Констанции Гарнетт, переведшей «Преступление и наказание» и «Братьев Карамазовых». О ее переводе «Грозы» А. Н. Островского Кропоткин упоминает в своей книге (с. 15).

Bromley. Kent. 14 сент(ября) 1906.

Дорогой Василий Павлович.

Письмо за письмом.

Я хочу поставить так в тексте:

«В России говорили, что во время его нахождения в каторжной тюрьме он был подвергнут за какой-то мелкий проступок телесному наказанию и что к этому времени относится начало его болезни, эпилепсии, от кот(орой) он не мог освободиться всю послед(ующую) жизнь».¹ И тут ваше примечание.²

Можно ли изменить его «подвергнут телесн(ому) наказанию» на «наказание розгами», чтобы тут удалить всякое сомнение.

Посылаю примеч(ание) на случай, если бы вы захотели что-ниб(удь) прибавить.

¹ В напечатанном виде этот текст звучит так: «В России упорно носился слух, что во время его (Достоевского. — М. М.) нахождения в каторжной тюрьме он был подвергнут, за какой-то мелкий проступок, наказанию плетью, и что к этому времени относится начало его болезни, эпилепсии, от которой он не мог освободиться всю свою последующую жизнь» (с. 179).

² В этом месте (с. 179) было дано следующее примечание переводчика: «Легенда о телесном наказании, которому будто бы подвергали Достоевского на каторге, опровергается его биографами (см. Биографию, Письма и Заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского, СПб., 1883, С. 140—141), близко знавшим его д-ром Яновским и братом писателя. Падучей Достоевский страдал, по словам А. П. Милюкова, близко знавшего его в 40-х годах, до ссылки, но припадки были слабыми и редкими; болезнь, несомненно, обострилась на каторге. По новейшему исследованию Мартынова (Дела и люди века, т. III, с. 263), Достоевский телесному наказанию на каторге не подвергался, хотя был однажды случай, когда плац-майор Кривцов хотел наказать его розгами, но об этом немедленно дали знать генералу де-Граве, который сделал Кривцову публичный выговор. Из собранных Мартыновым материалов о пребывании Достоевского и Дурова на каторге видно, что некоторые из начальствовавших лиц (генерал Бориславский и др.) всячески старались смягчить участь петрашевцев в Омске, насколько это, конечно, было возможно в то суровое время».

Bromley. 16 сентября 1906.

Дорогой Василий Павлович.

Большое спасибо за ваше милое и ужасно интересное письмо.

О Розанове мне уже говорила одна наша хорошая приятельница, мистик,¹ и описывала его именно так, к(а)к вы, т. е. к(а)к искреннего, увлекающегося и необыкновенно симпатичного человека. По всей вероятности, ваше определение его — вернее моего.

Но его книга² — книга (1 сл. нрзб.) иезуитского ответа. У него, как и у Дост(оевского), не нашлось ни слова опровержения против конца легенды об Инквизиторе.

Христос Достоевского — не Христос народа, не Христос Руссо или Толстого, а Христос-иезуит.

Под впечатлением нашей переписки и книги Розанова я рассказал об этом одному хорошему приятелю, ученому, бельгийскому профессору, кот(орый) работает сейчас в British Museum. Его, как libre pro(fe)seur'a, поразила эта легенда, и он сейчас же взял Достоев(ского) и прочел ее. — «Какой сильный, могучий аргумент против католич(еской) церкви», говорил он. Им надо пользоваться... Но вот — Христос в конце ее.

Ведь он не возмущился обманом, не возмущился тем, что его именем пользуются, ч(то)б обманом держать людей в руках. Он не объявил, что сметет их с лица земли... Инквизитор его *убедил*. И выходит: *Выше божества и выше черта стоит Церковь*. Что мне за дело, что Розанов вместе с Побед(оносцевым)! Милые бранятся — только тешатся. Ведь этот спор — «чья церковь — твоя или моя?» «Центральный пункт» его учения, и учения Побед(оносцева), и учения иезуитизма — пункт, кот(орый) *все* доминирует, тот, что *бог бессилен против людской злобы*, что бог слишком абстрактен, слишком отвлеченно судит людей (вот как идея республики в глазах самодержца — представлена, или как идея анархии в глазах соц(иал)-демократа, или социализма в глазах буржуя). А вот Церковь, та знает людей (умнее бога). *И она подготовит их к принятию учений бога*.

Это и есть суть, сущность сущностей католич(еского) иезуитизма, его святая святых, и почему я имею право сказать, что Побед(оносцев) и Роз(анов) стоят на одном, умрут одним, и оба — иезуиты.³

Заметьте разницу с Толстым. Для Толстого, *Церковь — враг Христа*. Не было бы Христа с его учением и евангелиями, *люди ближе были бы к христианству*. Это совсем наоборот тому, что учит Церковь и что признав(али) Дост(оевский) и Розанов. Толстой стоит (пока, или вернее, *стоял*) на протест(антской), а Дост(оевский) и Роз(анов) — на католической точке зрения.

Вы думаете, что Церковь еще скажет свое слово. Сомневаюсь. В совр(еменном) об(щест)ве вырабатываются уже *высшие основы нравственности*, «чем христианские». Недаром Дост(оевско)му для Зосимы пришлось брать не умного (?) христ(иани)на, а Тихона Задонского!!!⁴ Легенду!!! такой Великий хр(истиани)н, как Иннокентий (Амурский — позже (?) митроп(олит) Моск(овский)⁵ — отрицал нравств(енную) силу хр(истианст)ва.⁶

Ну, крепко жму руку.

П. К.

¹ О ком идет речь, установить не удалось.

² Кропоткин характеризует книгу В. Розанова «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария», с которой, по всей видимости, его познакомил адресат, посылавший ему многочисленные литературные новинки.

³ Показательно, что в примечаниях, опубликованных в книге и возникших, очевидно, именно в результате ознакомления с книгой Розанова в процессе работы над переводом, отсутствуют все те резкие характеристики, которые использованы в переписке с Батуриным, что, скорее всего, обусловлено требованиями цензуры, не позволившей в негативном контексте употреблять имя обер-прокурора Синода (1880—1905) Константина Петровича Победоносцева (1827—1907). Напротив, в них дана в целом очень высокая оценка трудов Розанова и Д. Мережковского: «О Достоевском было написано очень много, и в последнее время на русском языке явились две выдающиеся работы, посвященные разбору основных мотивов его творчества: „Легенда о Великом Инквизиторе“ В. В. Розанова (2-е изд. СПб., 1902 г.) и большое исследование в двух томах Д. С. Мережковского „Л. Толстой и Достоевский“ (СПб., 1901 и 1902 г.). Обе работы в высшей степени поучительны, а в последней во множестве рассеяны, кроме того, удивительно тонкие и меткие замечания о художественных достоинствах отдельных мест Достоевского. Для выяснения болезненной психологии самого Достоевского обе работы, и в особенности вторая, являются драгоценным пособием — по крайней мере, для выяснения той раздвоенности мирозерцания, которая заставляла Достоевского так страстно желать религиозной дисциплины, — чтобы удержать человека от способности соединять самые низкие порывы с высшими. Кроме того, из обоих сочинений, а особенно из разбора Мережковским последней трилогии Достоевского, становится ясным до очевидности, что лучшие стороны Достоевского — его любовь к обиженным судьбою — вытекали из совершенно другого источника, чем его потребность религии. Не она вдохновила его лучшие страницы — этого она очевидно не могла, так как это даже не было религиозное чувство простого человека, а какое-то требование религиозной дисциплины, но она, несомненно, затмила его понимание живой действительности и толкала его в тот лагерь, где, именно из-за лучших порывов его натуры, на его смотрели, как на врага, — вернее даже не религии, а церковной дисциплины, чтобы не давать людям „переходить черту“».

⁴ Тихон Задонский (1724—1783) — святой, знаменитый иерарх и духовный писатель, воплотивший народные представления о святости.

⁵ Иннокентий (в миру Иван Евсеевич Попов-Вениаминов; 1797—1879) — видный миссионер в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (возможно, поэтому назван П. Кропоткиным Амурским), обратил алеутов в христианство, изучив алеутский язык. Распространил христианство по всем Алеутским островам. С 1840-го по 1868 год — епископ Камчатский. С 1868-го по год смерти — митрополит Московский и Коломенский. Необычайно яркая фигура Русской Православной Церкви, которая причислила его к лику Святых. В его наследии имеются этнографические и лингвистические труды, он перевел Священное Писание на алеутский, курильский и якутский языки. Его «творения» изданы в Москве в 1887 году И. Барсуковым, написавшим и его биографию «Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский».

⁶ Это утверждение Кропоткина, возможно, основывается на том, что Иннокентий особенно интенсивно выделял в качестве основы христианского вероучения Богодухновенность и Откровение, а не его нравственно-этические принципы.

© Г. Н. Павлова

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ И СЕМЬЯ ВЕЛИГОРСКИХ

С семьей Велигорских связан значительный период жизни Л. Н. Андреева. Андреевым уже известен ряд фактов, позволяющих предполагать, что, еще будучи гимназистом, в Орле Л. Н. Андреев познакомился с членами семьи своей будущей жены.

В последние годы в архивах Москвы (Центральный государственный исторический архив г. Москвы и Московской области) и Орла (Государственный архив Орловской области) удалось обнаружить ранее неизвестные документы, воссоздающие более полную картину орловского периода жизни Велигорских.

Большой объем сведений дают формулярные списки о службе главы семьи Михаила Михайловича Велигорского. Из них следует, что М. М. Велигорский родился 2 ноября 1840 года в дворянской семье.¹ Образование он получил такое же, как и отец Л. Н. Андреева. В апреле 1863 года по окончании курса наук в землемерно-таксаторских классах при киевской 2-й гимназии со званием «частного землемера и таксатора» М. М. Велигорский был «определен в Черниговскую межевую палату» младшим землемерпомощником.²

Постепенно продвигаясь по служебной лестнице, М. М. Велигорский в 1867 году был произведен в коллежские регистраторы со старшинством, в 1879 году — в губернские секретари и т. д. А в ноябре 1872 года предписанием управляющего Межевой частью Велигорский был уволен от службы, согласно прошению, «по домашним обстоятельствам».³ Отставка длилась семь лет, до 1879 года.

К этому времени Михаил Михайлович был уже женат на Ефросинье Варфоломеевне Шевченко. В графе сведений об имениях записано, что своего имени у Велигорского нет, а есть имение (40 десятин земли) у жены его в селе Местищи Козелецкого уезда Черниговской губернии. Возможно, что в Местищах Велигорские жили с 1872-го по 1879 год, пытаясь заниматься хозяйством.

Формулярные списки о службе Михаила Михайловича позволяют уточнить даты рождения детей в семье Велигорских (по старому стилю):

Елизавета — 24 января 1868 года (по имеющимся ранее данным, годом ее рождения считался 1871);⁴

Екатерина — 21 ноября 1869 года;

¹ ЦГИА г. Москвы. Ф. 364. Оп. 1. Т. 1. Ед. хр. 84. Л. 142.

² ЦГИА г. С.-Петербурга. Ф. 515. Оп. 73. Ед. хр. 552. Л. 402.

³ Там же. Л. 403.

⁴ Митрофанов В. П. Леонид Андреев и семья Добрых // Андреевский сборник. Исследования и материалы. Курск, 1975. С. 256.

Петр — 22 февраля 1874 года;

Павел — 1 января 1875 года;

Александра — 4 февраля 1881 года.⁵

В сентябре 1879 года М. М. Велигорский поступил на службу в Киевскую удельную контору, которой был командирован помощником окружного надзирателя в 14-й удельный округ, находившийся в «Подольской губернии, Балтском уезде, в местечке Голованевске», где он «и жил с семейством»⁶ и где позднее родилась младшая его дочь Шурочка (как сообщил английский литературовед Р. Дэвис, метрическое свидетельство о ее рождении хранится в Русском архиве г. Лидса).

В 1883 году по распоряжению Департамента уделов М. М. Велигорский был переведен из Киевской в Московскую удельную контору, и в его формуляре появилась очередная запись: «Приказом по Удельному ведомству за № 1 назначен окружным надзирателем 6 Северо-Трубчевского округа 2 разряда, Московской удельной конторы с 1 января 1883 года».⁷

Московская удельная контора, располагавшаяся на Пречистенском бульваре в собственном доме,⁸ была одним из подразделений Департамента уделов, учрежденного в 1797 году Павлом I. К концу XIX века уделы представляли собой источник образования денежных средств, из которого каждый член императорской фамилии получал назначенные законом ежегодные или единовременные суммы.

Удельные земли Севского и Трубчевского уездов Орловской губернии принадлежали великому князю Георгию Александровичу, родному брату последнего российского императора. Общая площадь орловских владений великого князя составляла 37 691 десятину земли.⁹ Кроме лесных дач на этих землях находились заводы: лесопильные, винокуренный, льнотрепальный, маслобойный, древесноскипидарный, которые значились как наиболее крупные в губернии.¹⁰ Шестой Северо-Трубчевский округ Московской удельной конторы, работу которого возглавлял М. М. Велигорский, включал в себя семь лесных дач общей площадью 1583,92 десятины.¹¹

Квартировав М. М. Велигорский в Трубчевске, а семья его по-прежнему оставалась в Голованевске. О причинах такого положения Михаил Михайлович писал в записке на имя заведующего Московской удельной конторой К. В. Бобановского: «Служивши помощником окружного надзирателя и получая ограниченное содержание, едва хватавшее на пропитание семьи и лечение жены, я не мог сделать никаких сбережений. Не имея положительно никаких средств, я вынужден был оставить свое семейство, состоящее из больной жены и пяти маленьких детей, на произвол судьбы в м. Голованевске, отстоящем от г. Трубчевска в 1168 верстах, на перевозку шести душ через такое пространство нужно более 400 рублей, а жить на два дома не хватит того содержания, какое я получаю.

Находясь в таком критическом положении, я прибегаю с всепокорнейшею просьбою (...) исходатайствовать подъемные деньги, необходимые для перевозки моего семейства из м. Голованевска в г. Трубчевск».¹²

Однако, как свидетельствуют документы, получив подъемные деньги, семью в Трубчевск Михаил Михайлович не перевез, а, взяв летом 1883 года отпуск, отправился в г. Феодосию Таврической губернии — новое место жительства семьи: «для сви-

⁵ ЦГИА (С.-Петербург). Ф. 515. Оп. 73. Ед. хр. 552. Л. 401—402.

⁶ ЦГИА (Москва). Ф. 364. Оп. 1. Т. 1. Ед. хр. 84. Л. 8.

⁷ ЦГИА (С.-Петербург). Ф. 515. Оп. 73. Ед. хр. 552. Л. 392.

⁸ Ныне — Гоголевский бульвар, дом 10. На доме установлена мемориальная доска в память о пребывании в нем И. С. Тургенева.

⁹ Орловские губернские ведомости. 1900. 11 марта. № 20. С. 2.

¹⁰ Памятная книжка Орловской губернии на 1898 г. С. 210—211.

¹¹ ГАОО. Ф. 688. Оп. 2. Ед. хр. 47.

¹² ЦГИА (Москва). Ф. 364. Оп. 1. Т. 1. Ед. хр. 84. Л. 8, об.

дания с семейством, устройства семейных дел и определения детей в учебные заведения».¹³

Очевидно, переезд в Феодосию был связан с состоянием здоровья Ефросиньи Варфоломеевны. И лишь в середине сентября 1884 года она переехала с детьми в Орел. В связи с этим М. М. Велигорский подал в кантору прошение о пятнадцатидневном отпуске с 14 сентября 1884 года: «Семейство мое во второй половине сентября переезжает из Феодосии в Орел и мне в это время необходимо быть в Орле и заняться переводом детей моих из Феодосийских в Орловские учебные заведения».¹⁴

В своих воспоминаниях В. П. Митрофанов утверждает, что вскоре после переезда в Орел Ефросинья Варфоломеевна «разошлась с мужем».¹⁵ Однако документального подтверждения этот факт не получил. Возможно, имел место неофициальный распад семьи, так как в просмотренных мною документах о службе М. М. Велигорского он до 1898 года значится женатым на Ефросинье Варфоломеевне. Более того, среди этих документов сохранилось множество записок, прошений, телеграмм, проникнутых заботой о детях, стремлением переехать из Трубчевска в Орел, жить одним домом. Непосредственное начальство пыталось помочь ему в этом, но Департамент уделов налагал резолюцию «отказать».

Подростающим детям нужно было дать образование, и это могло стать важной причиной того, что Ефросинья Варфоломеевна поселилась с детьми не в уездном городке, где по долгу службы обязан был жить ее муж, а в губернском городе Орле. Она сняла комнаты в доме капитана Батурина на 2-й Посадской улице.¹⁶

В 1884 году в 1-й основной класс Орловской мужской гимназии, в которой уже с 1882 года учился Л. Н. Андреев, поступили братья Петр и Павел Велигорские. В классном журнале этого учебного года в списках учащихся они записаны не по алфавиту, а последними, так как приступили к занятиям во второй половине сентября.¹⁷ Также последней в списках учащихся значится и их сестра Екатерина, зачисленная в четвертый класс частной женской гимназии госпожи Чибисовой.¹⁸

Ученицами этой гимназии в 1884 году были двоюродные сестры Л. Н. Андреева Елена Пацковская (1-й класс) и Зоя Пацковская (2-й класс), дочери священника Казанского Глафира и ее сестра Антонина (3-й класс), трагическая судьба которой легла в основу рассказа Л. Андреева «Молчание», посвященного старшей из сестер Велигорских — Елизавете. Гимназия г-жи Чибисовой располагалась в Орле на Болховской улице в доме Авилова.

Учеба детей требовала денежных затрат, которые становились с каждым годом все более непосильными. Материальные трудности усугублялись еще и тем, что жили по-прежнему на два дома. Попытки М. М. Велигорского перевестись на службу в 9-й Орловский округ и жить в Орле с семьей успеха не имели. Эти обстоятельства заставили Михаила Михайловича в 1886 году просить о зачислении его детей «вольноопределяющимися на счет Удела», так как «непосредственные расходы по воспитанию детей, по содержанию семьи в Орле и себя в Трубчевске поглощают не только все мои собственные материальные средства и получаемые от Удела, но заставляют входить в долги».¹⁹ Этот документ представляет интерес тем, что в нем идет речь лишь о троих детях: двух сыновьях, «обучающихся в мужской классической гимназии», и дочери — «ученице шестого класса частной женской гимназии». Следовательно, старшая дочь Велигорских Елизавета не жила и не училась в Орле, но могла приезжать в гости к родным.

¹³ Там же. Л. 14.

¹⁴ Там же. Л. 26.

¹⁵ Андреевский сборник. Курск, 1975. С. 256.

¹⁶ ГАОО. Ф. 64. Оп. 1. Ед. хр. 312. Л. 51, об.

¹⁷ Там же. Ед. хр. 1004.

¹⁸ Там же. Ф. 493. Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 32.

¹⁹ ЦГИА (Москва). Ф. 364. Оп. 1. Т. 1. Ед. хр. 84. Л. 34—34, об.

В прошении о зачислении детей вольноопределяющимися на счет Удела М. М. Велигорскому было отказано, в следующем 1887 году ему было выдано единовременное пособие в 100 рублей «по крайне стесненным обстоятельствам» на воспитание детей.²⁰ Сумма же, необходимая для оплаты детей в гимназии, составляла 180 рублей в год.

В 1889 году, когда женская гимназия принадлежала уже госпоже А. А. Сухотиной, Екатерина Велигорская успешно окончила это учебное заведение.²¹ В отличие от сестры братья Петр и Павел испытывали трудности в учебе, и в четвертом классе Петр Велигорский был оставлен на второй год.²² Позднее братья, очевидно, покинули гимназию, их имен нет в списках ее выпускников.

Среди орловчан, близких в те годы к семье Велигорских, можно назвать адвоката Евлампия Петровича Случевского, жившего на Болховской улице в доме Орлова.²³ В 1886 году, во время начавшегося судебного процесса о злоупотреблениях в Орловском городском банке, Случевский был защитником подсудимого Н. Н. Пацковского, родного дяди Леонида Андреева.²⁴ А в 1890 году Е. В. Велигорская стала крестной матерью сына Е. П. Случевского Владимира.²⁵ К сожалению, более подробных сведений о взаимоотношениях этих семей разыскать не удалось. Но сам факт существования такой связующей нити между Андреевыми и Велигорскими, несомненно, представлял интерес.

М. М. Велигорский все эти годы жил в Трубчевске «в доме Ядренкина на Садовой улице»,²⁶ сохранившей свое название по сей день. В архивных документах по Трубчевскому уезду фамилия «Ядренкин» не встречается, но упоминается фамилия «Едренкин», многочисленные обладатели которой до сих пор живут в Трубчевске.

Жалованья, получаемого Михаилом Михайловичем, не хватало для содержания себя и семьи. Плохо обстояли и дела в имении. В сентябре 1887 года М. М. Велигорский вновь просит отпуск: «...по домашним обстоятельствам и для устройства моих дел по хозяйству мне необходимо в сентябре быть в Черниговской и Киевской губерниях».²⁷ Отпуск ему задерживают из-за невозможности заменить его другим человеком, и тогда он пишет новое прошение: «...мне крайне необходимо 21 сентября быть у нотариуса г. Козелецка, Черниговской губернии, и если я не явлюсь на означенный срок, то должен буду уплатить штраф 1600 рублей».²⁸ Отпуск наконец был получен, и на какое-то время хозяйственные дела уладились. Последняя отчаянная попытка спасти остатки состояния была предпринята М. М. Велигорским в сентябре 1889 года. Прося об отпуске в очередной раз, он писал: «...с этим отпуском связаны мои хозяйственные интересы и материальные средства, потеря которых равносильна моему разорению и банкротству».²⁹ В более поздних документах М. М. Велигорского говорится, что имения ни у него, ни у жены его нет.³⁰

²⁰ Там же. Л. 43.

²¹ ГАОО. Ф. 493. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 9—9, об.

²² Там же. Ф. 64. Оп. 1. Ед. хр. 312. Л. 133, об.—134.

²³ Адрес-календарь Орловской губернии на 1890 год. С. 23. В этом доме у Случевского квартировал его племянник Александр Смирнов, ученик Орловской мужской гимназии (см.: ГАОО. Ф. 64. Оп. 1. Ед. хр. 312. Л. 67, об., 1887 г.). Мне не удалось установить, не тот ли это студент-орловец Смирнов, которому в 1897 году Л. Н. Андреев сообщил в письме о своей деятельности в Орловском студенческом землячестве. Письмо было перехвачено жандармами, после чего Андреев попал на заметку полиции, где ему, в числе прочего, вменялось в вину знакомство с Павлом Велигорским.

²⁴ Орловский вестник. 1886. 28 сент. № 258. С. 1.

²⁵ ГАОО. Ф. 200. Оп. 1. Ед. хр. 837. Л. 105, об.—106.

²⁶ Там же. Ф. 64. Оп. 1. Ед. хр. 312. Л. 133, об.

²⁷ ЦГИА (Москва). Ф. 364. Оп. 1. Т. 1. Ед. хр. 84. Л. 45.

²⁸ Там же. Л. 47, об.

²⁹ Там же. Л. 78.

³⁰ Там же. Л. 144—145.

10 февраля 1891 года в семье Велигорских произошло важное событие — бракосочетание их старшей дочери Елизаветы Михайловны Велигорской (1868—1942) с доктором Филиппом Александровичем Добровым (1869—1941). Венчались они, как установила орловский краевед Л. В. Иванова, в Орле в Успенской (Михаила Архангела) церкви, в которой в 1871 году был крещен будущий писатель Леонид Андреев.³¹ Супруги Добровы впоследствии фактически станут матерью и отцом своему племяннику, сыну знаменитого писателя — Даниилу Андрееву, чье творчество в конце XX века всколыхнет всю читающую Россию.

Возможно, что в связи со свадьбой Елизаветы Михайловны в Орел в 1891 году приехал ее дедушка Варфоломей Григорьевич Шевченко (родственник Т. Г. Шевченко). О его пребывании в Орле напоминает фотография с внучкой Шурочкой, хранящаяся у потомков Варфоломея Григорьевича в Киеве (копию этой фотографии передала в Орловский музей Л. Н. Андреева родственница Велигорских киевлянка О. В. Ройцина). Очевидно, именно с такой фотографии позднее Леонид Андреев сделал копию-портрет, о котором пишет в своих воспоминаниях В. П. Митрофанов.³² Фотография была выполнена 11 февраля 1891 года в фотоателье Л. А. Кубельского на Болховской улице.

В 1892 году умер В. Г. Шевченко. Вероятно, вскоре после его смерти Ефросинья Варфоломеевна с детьми переехала на Украину, а Михаил Михайлович остался в Трубчевске.

После реорганизации Департамента уделов, последовавшей в 1892 году, удельные округа были переименованы в удельные имения, а окружные надзиратели стали называться управляющими имениями. Таким образом, М. М. Велигорский оказался управляющим первого разряда Шестого Трубчевского имения Московского удельного округа. Как видно, был он в уезде человеком уважаемым, не случайно в 1890-е годы его избрали гласным Трубчевской земской управы, членом Трубчевского училищного совета.³³

В 1894 году начались преобразования внутри самого Шестого Трубчевского удельного имения,³⁴ в декабре оно уже именовалось не Трубчевским, а Севским, и управляющий имением М. М. Велигорский переселился из Трубчевска в Севск, тоже уездный центр Орловской губернии. А 26 августа 1894 года он принял участие в совместном заседании севского уездного земского собрания и городской думы, на котором обсуждался вопрос о правилах торговли сельхозпродуктами в пределах губернии. Протокол этого заседания вел дядя Л. Андреева, секретарь и бухгалтер Севской уездной земской управы А. Н. Кудрявцев, прослуживший на своей должности вплоть до 1917 года.³⁵

Собственный дом А. Н. Кудрявцева на Киевской улице в Севске, великолепный сад, цветы, которые он с любовью выращивал, подробно описывает в своих воспоминаниях сестра Л. Андреева Римма Николаевна Верещагина. Полный текст этих воспоминаний хранится в фондах Орловского Гослитмузея И. С. Тургенева. В них описана трагикомическая история поездки тети и дяди Кудрявцевых из Севска в Москву на свадьбу Л. Н. Андреева и А. М. Велигорской в 1902 году.

Как известно, накануне свадьбы на квартире писателя был произведен обыск: искали письма Горького, но, найдя лишь письма «какого-то Пешкова», жандармы ушли ни с чем. «Дядюшка Кудрявцев, перепуганный обыском, оделся как на свадьбу — сюртук парадный, одел медаль, нацепил белый галстук и белые перчатки, бледный, как полотно, все время уверял пристава, что он вполне благонадежен».³⁶ А в соседней

³¹ ГАОО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 3433. Л. 128. В ОГЛИМТ хранится ксерокопия этого документа, переданная Л. В. Ивановой.

³² Андреевский сборник. Курск, 1975. С. 263.

³³ Адрес-календарь Орловской губернии на 1894 год. С. 213.

³⁴ ЦГИА (Москва). Ф. 364. Оп. 1. Т. 1. Ед. хр. 84. Л. 143.

³⁵ ГАОО. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 63.

³⁶ ОГЛИМТ. Ф. 12. № 5693. оф. Л. 47.

комнате в это время приводили в чувство его жену Софью Николаевну. На следующий же день перепуганные супруги уехали в Севск, не оставшись на свадебное торжество.

Возвращаясь к событиям 1894 года, можно сказать, что еще задолго до свадьбы Л. Андреева и А. М. Велигорской пересеклись пути их родственников.

1890-е годы были для М. М. Велигорского по-прежнему наполнены заботами о семье, но, в отличие от предыдущих лет, теперь он чаще ездил в Москву и Московскую губернию, что явствует из его прошений на предоставление отпусков. В 1895 году весной М. М. Велигорский просит разрешения приехать «на три дня в Москву по экстренному семейному делу».³⁷ В августе 1896 года, собираясь поехать в Московскую губернию, он сообщает: «Семейные дела требуют моего присутствия», а в сентябре вновь посылает телеграмму в Удельную контору с просьбой разрешить ему выехать «в Москву на три дня в связи с болезнью жены».³⁸ Все эти сохраненные временем документы говорят о М. М. Велигорском как о заботливом муже и отце. Да и дети, судя по всему, отвечали ему любовью.

Летом 1897 года к отцу в Севск приезжала погостить младшая дочь Шурочка, будущая жена Л. Н. Андреева. 1897 год — это период расцвета их любви.

В своем «Дневнике» 1897—1906 годов, копию которого передала Орловскому музею родственница писателя Е. Г. Федченко, влюбленный Л. Андреев многие страницы посвящает Шурочке. 1 июня 1897 года он записывает: «Царицыно кажется мне пустым, потому что Шурочка уехала (на все лето в Севск) — в то же время хочется пожить в Царицыно, потому что она там была».³⁹ А рядом еще одна запись: «Ефросинья Варфоломеевна начинает высказывать мне чуть ли не бывшее расположение — это очень важно для меня в отношении Шурочки, которая, быть может, займет в моей будущей жизни важное место».⁴⁰

Судя по дневнику Л. Андреева, брат Шурочки Петр Велигорский тоже приезжал в Севск: есть упоминание о том, что он блистал на танцах в севском городском саду. Вспоминая расставание с Шурочкой, Андреев писал 10 июня 1897 года: «Шурочка за несколько минут до моего ухода ушла с террасы и начала рвать жасмин. Я это видел и чувствовал, что она ушла для меня и хотел хорошо проститься с ней, но ко мне пристал этот несчастный Петр с скучнейшими разговорами о Севске, о том кому там кланяться. Проститься пришлось на его глазах».⁴¹

С 27 мая по 4 августа 1897 года Шурочка гостила у отца в Севске.⁴² Андреев в это лето часто бывал у Велигорских и Добровых, а 12 октября на свадьбе Петра Михайловича Велигорского (1874—1912) и Веры Дмитриевны Гнусиной начал решительное объяснение с Шурочкой. «Сверх ожидания объяснение принято благосклонно», — отмечает он в дневнике.⁴³

Той же осенью 1897 года в Севске у отца побывал и Павел Велигорский. Как известно, в студенческие годы Л. Н. Андреев и Павел М. Велигорский были деятельными членами Орловского студенческого землячества. И оба в 1897 году оказались на заметке полиции как политически неблагонадежные. В справке о неблагонадежности Л. Андреева в числе прочего в вину ему вменялось знакомство с П. М. Велигорским, который к этому времени уже был выслан из столицы.

П. М. Велигорскому было запрещено жительство в столицах и столичных губерниях сроком на два года, считая срок с 10 марта 1897 года. Местом своего пребывания он избрал городок Остер Черниговской губернии, о чем содержатся сведения в документах Орловского областного архива.

³⁷ ЦГИА (Москва). Ф. 364. Оп. 1. Т. 1. Ед. хр. 84. Л. 108.

³⁸ Там же. Л. 109, 111.

³⁹ ОГЛИМТ. Ф. 12. № 27062 оф. Л. 49.

⁴⁰ Там же. Л. 49.

⁴¹ Там же. Л. 55.

⁴² Там же. Л. 146.

⁴³ Там же.

13 октября 1897 года севский исправник докладывал орловскому губернатору, что «дворянин Павел Михайлов Велигорский из г. Остер Черниговской губернии прибыл на жительство в г. Севск и негласный надзор полиции за ним установлен». ⁴⁴ А 21 ноября последовал новый рапорт: «Состоящий под негласным надзором полиции дворянин Павел Михайлов Велигорский, выбывший из г. Севска в г. Трубчевск 26 октября, (...) принят Трубчевским уездным по воинской повинности присутствием 3 ноября в военную службу и, отправляясь на службу в 25 Драгунский Казанский полк по тракту на г. Севск, был в г. Севске у своего отца 8-го сего ноября, а на другой день выбыл в г. Киев». ⁴⁵

Для отбывания ссылки Павел Велигорский не случайно выбрал г. Остер, в этом городке жили его родственники по отцовской линии. В архивных материалах сохранилась телеграмма М. М. Велигорского в Удельную контору: 17 августа 1897 года он просит разрешить ему семидневный отпуск, «чтобы выехать в г. Остер, Черниговской губернии на похороны сестры». ⁴⁶ Можно предположить, что и сам М. М. Велигорский позднее, в 1900-х годах, жил в Остере, и именно поэтому туда совершили в 1902 году свое свадебное путешествие молодожены Андреевы; впоследствии Михаил Михайлович стал крестным отцом их первенца Вадима.

М. М. Велигорский закончил службу на Орловщине в 1898 году. В декабре 1897 года он подал прошение об отставке, «не имея возможности вследствие расстроенного здоровья продолжать службу», и попросил о назначении ему «пенсии из Государственного казначейства и эмеритальной, кои желаю получать из Севского уездного казначейства». ⁴⁷ Рассмотрев в феврале 1898 года это прошение и медицинские документы, в Департаменте уделов пришли к выводу, что препятствий к увольнению и получению пенсии по сокращенному сроку службы у М. М. Велигорского нет, а удельные владения Шестого Севского имения присоединили к Седьмому Орловскому имению, упразднив при этом должность, которую он занимал.

Как утверждает О. В. Ройцина, в 1900-е годы М. М. Велигорский жил на Украине и умер в Киеве в 1906 году (других данных о его смерти пока не обнаружено). Его жена, Ефросинья Варфоломеевна, последние годы своей жизни провела в Москве с семьей старшей дочери Е. М. Добровой.

Но орловские связи Велигорских продолжали существовать. Особенно близок был им старинный русский городок Трубчевск. ⁴⁸ Своим любимым городом называл его внук М. М. Велигорского поэт Даниил Леонидович Андреев (1906—1959).

Даниил Андреев родился 2 ноября 1906 года в Берлине. Его мать Александра Михайловна Андреева (урожд. Велигорская) скончалась вскоре от послеродового заболевания. Его отец, популярнейший в те годы русский писатель Леонид Николаевич Андреев, был потрясен смертью любимой жены, с трудом понимал происходящее вокруг: «Был целый месяц, когда разум мой просто-напросто мутился. Потом тоска, удивительная тоска, когда однажды почувствовал я, что дошел до предела скорби, до того таинственного предела, который отделяет скорбь от чего-то нового, непостижимого, не то смерти, не то жизни», — писал он А. М. Горькому. ⁴⁹ Новорожденного Даниила взяла на воспитание его тетя, сестра матери, Елизавета Михайловна Доброва, жена известного уже в те годы московского врача. Так детство и вся последующая жизнь будущего поэта оказались связаны с Москвой.

С детских лет Даниил конечно же слышал о Трубчевске от своих родственников, потом встретил это название в книгах по русской истории, которой он очень интересовался. Таким образом, Трубчевск был овеян для него ореолом семейных и истори-

⁴⁴ ГАОО. Ф. 580. Оп. бывш. секретн. Д. 165. Л. 2.

⁴⁵ Там же. Л. 4.

⁴⁶ ЦГИА (Москва). Ф. 364. Оп. 1. Т. 1. Ед. хр. 84. Л. 115.

⁴⁷ Там же. Л. 119.

⁴⁸ В настоящее время Трубчевск — районный центр Брянской области. Во времена Л. Н. Андреева Брянск, Севск, Трубчевск были уездными центрами Орловской губернии.

⁴⁹ *Афонин Л. Н.* Леонид Андреев. Орел, 1959. С. 169.

ческих легенд. Но лишь в 1930-х годах, будучи уже взрослым человеком, он совершил свое первое самостоятельное путешествие на орловско-брянскую землю. А потом, полюбив этот тихий скромный городок, приезжал туда часто. Не одно лето провел Даниил Андреев в Трубчевске, бродя по его окрестностям, останавливаясь на ночевки в лесу или на берегу Неруссы. И не только красота природы, тишина, живая русская старина, которые можно было найти во многих других уголках России, притягивали Даниила в Трубчевск, но и его обитатели, «семьи многочадные», хранившие память о его семье, о его предках, и которых немало было в Трубчевске. В 1930-е годы еще жили в Трубчевске люди, которые помнили и дедушку Даниила Андреева, и его родителей. Одним из таких людей был земский врач Евлампий Николаевич Улященко (1874—1946).

Впервые это имя мне встретилось в архивных документах Орловской мужской гимназии за 1887 год. Евлампий Улященко учился в одном классе с братьями Велигорскими Петром и Павлом. В книге адресов проживания гимназистов записано, что он, сын гласного Трубчевской земской управы, живет в Орле «у Ефросиньи Варфоломеевны Велигорской, на 2-й Посадской улице, дом Батурина».⁵⁰ Его отец Николай Андреевич Улященко родился в крестьянской семье. Был он умным, порядочным, грамотным, трудолюбивым человеком и красивым мужчиной, благодаря чему удачно женился на помещице из своего родного села Темного Екатерине Федоровне и, таким образом, приобрел положение в обществе. Трубчане оценили его честность и деловые качества, избрав его гласным уездной земской управы, где он прослужил верой и правдой более двадцати лет. Его заслуги перед земством были отмечены тем, что в здании Трубчевской земской управы повесили его портрет рядом с портретами других почетных граждан уезда. В земской управе Н. А. Улященко познакомился с М. М. Велигорским. А когда Велигорский перевез в Орел с Украины свою семью и определил детей в гимназию, то Н. А. Улященко попросил взять на квартиру его сына Евлампия и присматривать за ним в течение учебного года. Поселившись в Орле у Велигорских, Евлампий Улященко постепенно стал своим человеком в этой семье, а когда их старшая дочь Елизавета Михайловна вышла замуж за Ф. А. Доброва, он подружился и с Добровыми.

Гимназист, а затем студент Московского университета Евлампий Николаевич хорошо знал Леонида Андреева, часто навещал Добровых. В 1899 году он закончил учебу на медицинском факультете по специальности «участковая медицина» и с 1 января 1900 года был определен Трубчевской земской управой на должность «врача для командировок». В ноябре 1915 года его назначили заведующим трубчевской земской больницей.⁵¹ Старожилы Трубчевска до сих пор хранят добрую память о Е. Н. Улященко, называя его «чеховским доктором». В любую погоду, в любую даль шел он к больным, часто принося им не только лекарство, но и продукты, купленные на свои деньги.

Приезжая в Трубчевск, Даниил Андреев непременно навещал семью Улященко. У Евлампия Николаевича и его жены, Ольги Викторовны (урожденной Лопухиной, дочери председателя Трубчевской земской управы), было восемь детей. Жили скромно. Интересовались музыкой, театром, литературой. В 1932 году у Евлампия Николаевича родился внук Владимир, крестным отцом которого охотно согласился быть глубоко верующий человек Даниил Андреев. Многие годы Владимир Владимирович Улященко (1932—1993) жил в Трубчевске. Говорят, что он мало что мог рассказать о своем крестном отце, но очень гордился тем, что был крестником Даниила Андреева.

В 1992 году мне удалось разыскать в Орле дочь Е. Н. Улященко, бывшую учительницу русского языка и литературы Любовь Евлампиевну Мельникову (1915—1996), которая рассказала мне много интересного о своей семье, об отце, о встречах с Даниилом Андреевым.

⁵⁰ ГАОО. Ф. 64. Оп. 1. Ед. хр. 312. Л. 55, об.

⁵¹ Формулярный список о службе Е. Н. Улященко хранится в семейном архиве его потомков.

Любови Евлапиевне было пятнадцать лет, когда она впервые увидела Даниила Андреева, тогда еще просто сына известного писателя. Ей запомнились его скромность, интеллигентность и полная беспомощность в быту: однажды он вместо гречневой крупы для каши купил коноплю, которой так богат был трубчевский край. Когда он приходил к ним домой, Евлампий Николаевич уводил его в свой кабинет (семья жила в доме при больнице), там они вдвоем пили чай и подолгу беседовали. О чем были эти беседы, нам теперь остается только догадываться. Наверное, о многом, и, конечно, Евлампий Николаевич делился своими воспоминаниями о юных Леониде Андрееве и Шурочке Велигорской.

Приветливые люди, красивая природа, богатая история — все это составляло неповторимую ауру, питавшую творчество Даниила Андреева. Многие его произведения навеяны именно пребыванием на орловско-брянской земле. Таким образом, земля, давшая России, в числе других писателей-орловцев, Леонида Андреева, была творческой родиной и для его сына-поэта. А то, что Трубчевск явился для него своеобразной ниточкой, связывающей его с отцовскими и материнскими орловскими корнями, лишь усиливало интерес Даниила Андреева к этому городку и его жителям.

ИЗ НЕИЗДАННОЙ КНИГИ Ф. Д. БАТЮШКОВА «ОКОЛО ТАЛАНТОВ» «В СЕМЬЕ МАЙКОВЫХ»

(ПУБЛИКАЦИЯ © П. Р. ЗАБОРОВА)

В наши дни о Федоре Дмитриевиче Батюшкове (1857—1920) вспоминают сравнительно часто: видный ученый, литератор, театральный и общественный деятель, он внес весьма ощутимый вклад в русскую культуру, и не заметить этого при сколь угодно серьезном ее изучении поистине невозможно. Однако для ознакомления современного читателя непосредственно с литературным наследием Батюшкова сделано еще очень и очень мало: перепечатан небольшой фрагмент его книги «В. Г. Короленко как человек и писатель» и — с купюрами — заметка о В. М. Гаршине;¹ опубликован ряд его писем — к М. Горькому, А. Ф. Кони, А. В. Луначарскому, В. Г. Короленко и Е. П. Летковой-Султановой;² наконец, впервые увидели свет его доклад «Гуманизм и революция»³ и два очерка из книги «Около талантов» — «Стихийный талант (А. И. Куприн)» и «Вечер у Л. Н. Толстого».⁴

Книга эта была задумана как некое подведение предварительных итогов. К середине 1910-х годов, когда она в основном писалась, Батюшков прошел уже довольно длинный жизненный и творческий путь, на котором ему встретилось немало замечательных людей. В 1880—1890-х годах он всецело поглощен научными занятиями в области романо-германской филологии, с увлечением работает над магистерской диссертацией «Спор души с телом в памятниках средневековой литературы» и в 1891 году успешно ее защищает, совершенствует свои знания за границей, делает, хотя и без

¹ В. Г. Короленко в воспоминаниях современников. М., 1962. С. 277—308; Современники о В. М. Гаршине. Воспоминания. Саратов, 1977. С. 165—166.

² См.: М. Горький: Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Вып. II. С. 263—288, 293—296; Исторический архив. 1959. № 1. С. 50—60; Куприн А. И. Собр. соч. М., 1958. Т. VI. С. 793; Летопись жизни и творчества А. М. Горького. М., 1959. Вып. 3. С. 117. Несравненно лучше обстоит дело с публикацией писем к Батюшкову — Александра Веселовского, А. П. Чехова, М. Горького, Г. В. Плеханова, А. И. Куприна, В. Г. Короленко, общее число которых превышает 80.

³ Из творческого наследия советских писателей. Л., 1991. С. 261—280 (автор публикации — В. А. Прокофьев).

⁴ См.: Русская литература. 1963. № 4. С. 214—221; К. Н. Батюшков, Ф. Д. Батюшков, А. И. Куприн. Вологда, 1968. С. 125—149 (автор обеих публикаций — П. П. Ширмаков).

особого рвения, университетскую карьеру; в этот период среди его знакомых и друзей по преимуществу — коллеги, учителя и сверстники, а также ученики. Затем постепенно наступает охлаждение к этому роду деятельности: историко-литературным штудиям и преподаванию в Петербургском университете и на Высших Женских курсах он все больше предпочитает теперь критику и журналистику и в конце концов почти полностью посвящает себя литературному труду. Батюшков постоянно печатается в самых разных изданиях, выступая с критическими статьями, очерками, рецензиями и т. п. Одновременно он возглавляет русский отдел журнала «Cosmopolis» (1897—1898), редактирует журнал «Мир Божий» (1902—1906), в течение двух лет (1906—1908) состоит в редакции журнала «Русский современник», в качестве помощника редактора отдает много сил «Журналу Министерства народного просвещения». С 1900 года он входит в состав Комитета Литературного фонда и Театрально-литературного комитета при Дирекции императорских театров. Соответственно круг его общения расширяется и изменяется: теперь в нем доминируют писатели, переводчики и критики, драматические артисты и режиссеры, знатоки и любители театра. Рассказать о некоторых из этих людей, оставивших наибольший след в его жизни, — в этом Батюшков и видел свою задачу, приступая к работе над книгой «воспоминаний и характеристик», объединенных им под общим названием «Около талантов». ⁵

В названии этом получила отражение исходная позиция Батюшкова-мемуариста: менее всего писать о себе самом. Героями его повествования явились люди выдающегося дарования, «талантливые натуры», к которым он относился с особым уважением и восхищением и превосходство которых над собой ощущал и признавал; свою же роль в общественно-культурном движении оценивал весьма скромно, хотя и не приносил ее и тем более не отрицал: чувством собственного достоинства он был наделен в высокой степени и сохранял его как в годы полного благополучия, так и в последний период, когда после решительного отказа сотрудничать с советской властью на посту главного управляющего государственными театрами он был уволен распоряжением народного комиссара по просвещению и едва не арестован.

Позицию эту Батюшков подробно обосновал во вводной заметке «Вместо предисловия. Немного о себе и о своих» с указанием на полях: «писано на ст. Бологое 1913 г.» (в оглавлении вторая часть этого заголовка была затем снята). К сожалению, текст ее дошел до нас не полностью, однако страницы, которыми мы располагаем, представляют все же несомненный интерес для понимания жизненной философии автора и своеобразия его труда. ⁶ «Я только позже прояснил себе, — писал Батюшков, — ту роль в жизни, которую наметил себе с довольно раннего времени: „поставить себя вторым“, т. е. никого не заслонять, а наивозможно выдвигать других, помогая полному выявлению их индивидуальности, направленной к положительным идеалам. Моим девизом было: не повелевать и не подчиняться, а идти рядом, на правах равенства, даже при неодинаковости значения, для этого ставить себя вторым, чтобы не возбуждать вопроса о первенстве. (...) Никто вперед не может и не должен угадывать результаты, к которым он придет в конце жизни, а по ним уже будет составлена ему оценка — второстепенный, третьестепенный и т. д. Это не важно, как вас будут со временем классифицировать — я говорю о роли „быть вторым“ в смысле положения, которого добиваешься в жизни, независимо от ваших *возможных* качеств и свойств. Я не рекомендую другим этого идеала, а рассказываю, что во мне он рано зародился, с годами стал проясняться и наконец остался на всю жизнь, так что я больше приглядывался к другим, следил за чужими жизнями, наблюдал, воспринимал, иногда содействовал выходу из затруднений, так сказать, больше „активно со-

⁵ Сведения об этой книге см. в научном описании архива Ф. Д. Батюшкова, принадлежащем К. Д. Муратовой (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1972 год. Л., 1974. С. 28—48).

⁶ ИРЛИ. Ф. 20. № 15 780. Л. 1—8.

зеркал”, чем сам жил. Это обратная сторона придуманной мною роли, и я ее признаю. Как и почему сложилась во мне указанная черта — это все равно.⁷ Героизм, первенство мне казались каким-то нарушением чувства справедливости ко всем людям. (...) Но я хочу использовать присущую мне черту, чтобы рассказать о других, отметив наперед еще одно давнее желание, которое было во мне: встретить в жизни истинно великого человека. (...) Расскажу о немногих встречах и знакомствах, которые мне более всего запечатлелись. Никакой предвзятой мысли нет в этих очерках-воспоминаниях, написанных без претензий».

В первоначальном плане в эту книгу должно было войти, помимо вводной заметки, 14 этюдов: «В семье Майковых»; «Александр Н[иколаевич] Веселовский. (Опыт характеристики по воспоминаниям и письмам)»; «У Кардуччи в Болонье»; «Владимир Сергеевич Соловьев»; «Интеллигентская душа (Вс. М. Гаршин)»; «Вечер у Льва Толстого»; «Две встречи с А. П. Чеховым»; «И. Е. Репин как иллюстратор Чехова и Горького»; «М. Г. Савина»; «М. Горький на пороге к славе»; «Н. Ф. Анненский „под арестом“»; «Леонид Андреев»; «Стихийный талант (А. И. Куприн)»; «Приезд Верхарна в Петроград».

Однако с течением времени план этот претерпел некоторую трансформацию: этюд о Веселовском был передан в сборник памяти ученого;⁸ к этюду о Л. Андрееве, по всей вероятности, Батюшков вообще не приступал. Работа над книгой еще какое-то время продолжалась, но как бы по инерции: издание ее в условиях гражданской войны и разрухи становилось все более сомнительным, да и появиться она теперь могла лишь в сильно изувеченном виде. После же смерти автора о ней совершенно забыли, и понадобилось несколько десятилетий для того, чтобы ею вновь заинтересовались специалисты.

Между тем книга Ф. Д. Батюшкова «Около талантов» отнюдь не потеряла своего значения. Живые свидетельства умного и наблюдательного современника о корифеях отечественной культуры, о духовной атмосфере и быте давно ушедшей эпохи, изложенные просто и ясно, превосходным, хотя и слегка архаичным, языком, не могут оставить равнодушными ни профессионалов, ни обычных читателей: первым они позволят глубже понять объект их исследований, вторым — многое узнать, лучше ощутить время и уловить его аромат.

Все это относится в полной мере и к публикуемому ниже очерку, посвященному семье Майковых, с которой автор был тесно связан не один десяток лет. В центре повествования — монументальная фигура Аполлона Николаевича Майкова (1821—1897). Важное место занимают в нем младшие братья поэта — Владимир (1826—1885), литератор и издатель, и Леонид (1839—1900), историк литературы, фольклорист, этнограф, а также жена В. Н. Майкова — Екатерина Павловна (урожденная Ка-

⁷ К этой фразе Батюшков сделал любопытное примечание, которое, судя по содержанию, может быть датировано 1918-м — началом 1920 года: «Указанная черта мне весьма пригодилась и в тех случаях жизни, когда в силу внешних обстоятельств я именно был в положении „первого“: для примера укажу на роль ответственного редактора, т. е. „первого“ лица в редакции; председателя в разных обществах, председателя в Театральном комитете, управляющего государственными театрами и т. п. Мне кажется, что меня так охотно выбирали на разные такие должности именно потому, что знали или чувствовали, что я никогда не выдвигал свою личность для „первенствования“. У меня выработалась своя система управления, причем руководство делами вытекало из сущности дела, которое я вменял себе в обязанность изучить наизвозможно досконально. Не буду скрывать, что, смолоду в особенности, я очень чувствителен был к вопросам самолюбия и научился его подчинять достоинству человека. Сознание достоинства человека есть моральная сила, перед которой совершенно ступшевыается мелкое, фривольное, никчемное самолюбие, которое еще Вольтер так остроумно сравнивал с баллоном, надутым воздухом: „Gratitez-le, il en sort des tonnères et ... du vent“ («Надавите на него, и наружу выйдут шум и... ветер». — П. З.)» (Там же. Л. 2).

⁸ Вместо 1916 года сборник увидел свет лишь в 1921-м; отдел воспоминаний в нем отсутствовал, соответственно не вошел в него и данный этюд. Текст последнего (со следами редакционной разметки) находится в архиве Батюшкова (№ 15 711).

лита, 1836—1920) и их сын Валериан (1857—1899). Среди прочих действующих лиц — И. А. Гончаров, А. Н. Бекетов, его жена и дочери, «барышни Вышнеградские» и другие.

Конечно, в зарисовках этих немало субъективного, встречаются в них и отдельные неточности, а кое-что давно утратило свою новизну. Но ценности очерка это отнюдь не снижает. Перед нами — содержательная и яркая картина жизни русской дворянской интеллигенции конца XIX — начала XX века, нарисованная одним из ее незаурядных и литературно одаренных представителей.

Текст очерка воспроизводится по рукописи: ИРЛИ, ф. 20, № 15 780, л. 8—41. Орфография, как правило, модернизирована; сокращенное написание слов (в первую очередь — имен и отчеств) заменено полным без каких-либо специальных обозначений.

В семье Майковых

Первый настоящий писатель, с которым мне пришлось познакомиться, — Аполлон Николаевич Майков. Он не был, далеко не был «властителем дум» нашего поколения. Мы даже мало знали и читали его; помнили стихи, вошедшие в хрестоматию, знали «Три смерти» — вот, пожалуй, и все.¹ Но все-таки он был настоящий поэт, и когда судьба свела меня с ним, я с интересом в него всматривался и ждал от него некоторых «откровений». Сблизился я с семьей Майковых по случайным обстоятельствам, о которых приходится сперва рассказать.

В университете моим товарищем на историко-филологическом факультете, на который я поступил в 1876 г., побыв раньше год вольнослушателем на физико-математическом факультете, был Валерьян Владимирович Майков, племянник Аполлона и Леонида Николаевичей. Жил он с младшим братом у Леонида Николаевича, а сестра его — у Аполлона Николаевича.²

Странно сложилась судьба этого талантливой юноши, с историей которого я вскоре познакомился: она тоже одним краем захватывает литературные отношения и является некоторой изнанкой «идейных» увлечений. Его мать, слышавшая красавицей и передовой женщиной в движении женской «эмансипации», послужила прообразом Веры в «Обрыве» Гончарова. Гончаров, когда-то дававший уроки Аполлону Николаевичу и ставший близким человеком в семье Майковых, познакомился с ней, когда она уже была замужем за Владимиром Николаевичем Майковым, братом Аполлона и Леонида, издававшим детский журнал «Подснежник». Гончаров принимал участие в этом журнале и, как передавали Майковы, в течение многих лет, с конца 50-х до половины 60-х годов, был «почтительным обожателем» жены Владимира Николаевича. В эту же пору, т. е. в 64 или 65 году, подвернулся «Марк Волохов», которым увлеклась «изящная красавица», как величал Гончаров свою пассию в «Лучше поздно, чем никогда».³ Привязанность Гончарова оставалась чисто платонической, а новый «нигилист», имя которого никем не повторялось, настоял на разрыве с мужем.⁴ Г-жа Майкова ушла, забрав детей, и поселилась со своим возлюбленным где-то на Петербургской стороне, в «коммунистической квартире». Валерьяна Майкова, которому в ту пору было лет 8, посылали на улицу торговать спичками и всякой мелочью, чтобы приучить к самостоятельному труду. Результаты такого воспитания были довольно плачевны. Вскоре, так как в Петербурге были неподходящие условия для устройства заправской «фаланстери», г-жа Майкова вместе со своим другом решила переехать на Кавказ. Тогда-то детей их разобрали братья мужа, а сам Владимир Николаевич, потрясенный семейным горем, уже был не способен к какой-либо самостоятельной деятельности. Его жизнь была надломлена окончательно. Поселился он где-то в Финляндии, где пробовал завести хозяйство; изредка приезжал в Петербург, но родным редко показывался. Я виделся с ним несколько раз по просьбе Валерьяна и

даже съездил к нему на хутор в Финляндию. Была при нем какая-то женщина, которая заботливо за ним ухаживала и, помню, очень задушевно пела цыганские романсы. Слушая ее, Владимир Николаевич заливался слезами и говорил, что его жизнь разбита, что его жена была идеальная женщина, что Гончаров в нее был платонически влюблен, а тот, другой... он никогда не договаривал. Действительно, это был конечный человек, а когда-то, по рассказам, он подавал большие надежды, был талантлив, умен, широко образован. Круто оборвалась его жизнь от несчастной любви к жене. С ней мне так и не пришлось встретиться. Она вернулась в Петербург много позже, виделась с сыновьями и даже одно время поселилась с младшим из них, Владимиром (уже после смерти Валерьяна). Говорят, она жива поныне, вернулась на Кавказ, в Сочи, где заведует общественной библиотекой, несмотря на свой уже очень приличный возраст.⁵ Очень сочувственно отзывались об ней знавшие ее лично Елизавета Григорьевна Бекетова, жена Андрея Николаевича, бывшего ректора университета, и Анна Романовна Воронина, секретарь Общества вспоможения Высшим Женским Курсам.⁶ Ее считали выдающимся человеком, сожалея лишь о неудачном выборе «руководителя». Как бы то ни было, вся эта романтически-интеллигентская история, хотя и подсказала сюжет «Обрыва» Гончарова, тяжелым камнем легла на судьбу причастных к ней лиц и разбила несколько жизней.

Как известно, Гончаров задумал роман о Райском еще раньше встречи с «Верой» и «Волоховым», но, конечно, без этих двух персонажей никакого «Обрыва» бы не было. Напечатан роман в 1870 году, но замысел его надо отнести к второй половине 60-х годов, причем Гончаров по художественным соображениям Веру представил незамужней молодой девушкой; Марк Волохов, по-видимому, целиком списан с натуры.⁷

Историю действительных отношений, послуживших Гончарову для его романа, я узнал спустя некоторое время после нашего знакомства от Валерьяна Майкова, отчасти и от его дядей. Раньше Валерьян в разговорах урывками намекал, что он провел очень тяжелое детство, рассказывал, что Гончаров был сильно увлечен его матерью, но это было вполне «благородная» привязанность. Когда все обстоятельства его детства развернулись полной картиной, как-то странно было при чтении романа Гончарова чувствовать близость лиц, которые в той или другой мере были причастны к событиям, изложенным в художественном произведении: вымысел и действительность переплетались причудливыми узорами, и хотелось в правде реальных отношений найти проверку и основу того, что претворилось в фантазии художника в ирреальные создания. Конечно, смысл художественного произведения не в тех его привязках к жизни, которые составляют только условие творчества. Значение образа независимо от той «натуры», по которой работал художник; однако ведь не будь Фортарини, возможно, что не было бы и «Сикстинской Мадонны».⁸

Во всяком случае, Валерьян Майков — этот сын Веры из «Обрыва» Гончарова — приобред какой-то особый интерес в моих глазах. Должен добавить, что еще с самого начала нашего знакомства он располагал к себе качествами, которые внушали мне даже некоторую зависть. Прекрасно зная древние языки, он вообще был образцовым студентом-филологом, быстро ориентируясь во всех вопросах разных филологических дисциплин; отлично записывал лекции, выделяясь и своими ответами на практических занятиях; вообще он отличался какой-то дисциплинированной умственной культурностью в работах и спокойной уверенностью, благодаря хорошей подготовке. Все это не могло не произвести некоторого впечатления на «казанского дикаря», каким я себя еще долго чувствовал после зачисления на филологический факультет.* А это ведь вечная тема, особенно увлекавшая в молодые годы.

* Постановка преподавания древних языков в провинциальных гимназиях в конце 70-х годов была очень слаба. В казанской 1-ой гимназии, где я воспитывался, латинист у нас был чех (Писецкий), едва говоривший по-русски. Занятия шли через пень в колоду, причем он бессовест-

Первые два года знакомства я почти не расспрашивал его об его семейных отношениях. Валерьян Майков бывал часто на наших студенческих собраниях, засиживался днями в более тесном кружке четырех-пяти товарищей, с которыми мы особенно сблизились за общей работой, иногда и за легкими кутежами в приятельской компании. По его просьбе я раза два заходил к его дяде, Леониду Николаевичу, но на первых порах мне там не полюбилось: чопорно, сухо, холодком веяло. Повторных посещений я избегал.

Однажды перед экзаменом со второго на третий курс — жил я тогда в маленькой комнате на Подъяческой, на дворе, — раздался резкий звонок и еще более резкий голос, когда открыли дверь, — спрашивающий: «Где тут живет Батюшков»? Не постучавшись ко мне, входит с цилиндром в руках Леонид Николаевич и сердито окликнул: «Где Валерьян?» — «Не знаю, я его уже дня три не видал; его в университете эти дни не было на лекциях». — «Вы, может быть, скрываете?» — «Я вас не понимаю, Леонид Николаевич, — что и с какой стати я стал бы скрывать?» — «Да вот племянника», — уже как-то смущенно проговорил Леонид Николаевич, потупившись. «Прошу вас — съдьте, снимите шубу, если хотите, и объясните, в чем дело». После долгой паузы Леонид Николаевич присел на диванчик, как-то весь сморщился и, к моему удивлению, вдруг зарыдал. Я подал ему стакан воды и с недоумением выжидал, как это объяснится. Немного успокоившись, Леонид Николаевич мне сказал: «Простите, не выдержал... Ведь уже две ночи не возвращался Валерьян. Я вас подозревал, что вы с ним кутите... Он часто пропадает и всегда в оправдание себе приводит, что будто занимался с вами, поздно засиделись, и он остался переночевать». — «Уверяю вас, что он ни разу у меня не ночевал, да и это было бы смешно, так как вы живете через улицу отсюда, два шага пройти. Теперь мы с ним и не работаем вместе, так как готовимся по разным предметам; так вышло, что я в одном, он в другом отстал». — «Значит, продолжается прежнее, — уныло протянул Леонид Николаевич. — Уходит один, пьет втихомолку, а то с какими-нибудь неизвестными собутыльниками... Вы знаете ли, что отец его алкоголик, почему я должен так строго следить за Валерьяном... Кроме того, у него было ужасное детство... Я держал его с наивозможной строгостью». — «То-то, что уж очень много строгости отталкивает, — вставил я. — Простите мои возражения, но исправляют людей, привлекая их, лучше, чем запугивая». — «Вы думаете? Может быть, вы правы, я несколько сух, у меня своих детей никогда не было. Да и занят я очень, некогда вдумываться». — «Однако вы уже задумываетесь, и это хорошо. Войдите немного во внутреннюю жизнь вашего племянника; может быть, сблизившись с ним, вы лучше будете на него влиять, привлечете его сердцем, а не той формальной благодарностью, которой он себя чувствует обязанным вам за то, что вы его воспитали». Разговор продолжился с час времени, принимая все более задушевный характер. Когда Леонид Николаевич стал уже прощаться, я обещал помочь в розысках Валерьяна и прежде всего посоветовал навести справку у его двоюродного брата, который больше в курсе его похождения, чем я.¹² Последнее время к тому же я был действительно поглощен разными личными заботами. Валерьян в тот же день к вечеру отыскался, и Леонид Николаевич ни слова не

но «фантазировал» при переводе с латыни, уверяя, что так «по-русское». Иногда задавали вопросы, притворяясь, что не понимаем такого значения слова. Прославился наш Писецкий объяснением слова vitulus⁹: «Это, дескать, маленькая коровка — быкин сын»... Карикатурами на Писецкого пестрели наши тетради. Впрочем, в старших классах вступил к нам умный и толковый грецист (Кочкин).¹⁰ Благодаря ему я прочел осмысленно Гомера, «Антигону», «Аякса»,¹¹ некоторые диалоги Платона и вошел во вкус греческого языка. Все-таки предубеждение к классицизму было в нас так сильно, что считалось позором поступить на историко-филологический факультет. Помню, что из всего выпуска только один из моих товарищей рискнул это сделать, оправдываясь своей крайней беднотой, в надежде получить стипендию с первого курса. Хотя меня всего сильнее влекло к историко-филологическому факультету, но я сперва записался на физико-математический факультет и только через год решился перейти к изучению гуманитарных наук.

сказал ему о своем посещении меня, но через него передал мне приглашение прийти к ним отобедать и вообще чаще бывать. С той поры возникла у нас большая дружба с Леонидом Николаевичем, несмотря на разницу возрастов, дружба, продолжавшаяся с лишним двадцать лет. Не осуществив своего раннего намерения быть профессором университета, Л. Н. Майков сохранял близкие отношения к профессорам историко-филологического факультета, благодаря своему положению редактора «Журнала Министерства народного просвещения» и научной деятельности. Он, так сказать, «добровольцем» руководил занятиями молодежи, оказав деятельную поддержку многим из молодых историков литературы. Большой начетчик и любящий книгу какой-то особой, привязчивой любовью, как к живому существу, Леонид Николаевич выделялся не столько дарованиями, как глубокой преданностью интересам науки и образованности в широком смысле слова. Правда, образованность его была исключительно книжная и историко-литературная. Другие науки, даже смежные с филологией, его нисколько не интересовали. Впечатления жизни, переживания, да и сама жизнь как-то отступала на второй план. Без книг он не понимал жизни, и книги занимали три четверти его интересов. Свою молодость он как-то коротко резюмировал: «Немного покутил, пока водились деньги; потом влюбился, женился, до сих пор влюблен в жену, а в книгах моя жизнь». И когда представилась ему возможность занять должность помощника директора Публичной библиотеки — это было для него радостным днем. Впоследствии, когда он получил высшее назначение, стал вице-президентом Академии наук и должен был отказаться от службы в Публичной библиотеке, — это настолько его огорчало, что на первое время заслонило удовольствие от более почетной должности.¹³ Зло и несправедливо оговорил Леонида Николаевича Скабичевский в своих воспоминаниях «Из прошлого» («Русское богатство» 1907 г.).¹⁴ Никакой «протекции» Аполлон Николаевич не оказывал своему брату, который обязан исключительно себе в пройденной карьере. Со стороны чиновничьей карьеры я очень мало интересовался судьбой Леонида Николаевича, однако он сам мне подробно рассказывал, как он получал то или иное назначение и, повторяю, при этом никакие посторонние влияния не играли никакой роли. Ценили его качества, о которых и сам Леонид Николаевич не стыдился, когда нужно, напомнить, ибо действительно дорожил службой, не имея никакого личного обеспечения. Вся семья Майковых состояла из «служилых» людей; я не знаю, были ли у них когда-либо поместья, но действительно они как-то больше льнули к классу людей состоятельных, ценили родовитость, положение в обществе, быть может даже карьеру, но в скромном смысле достижения достаточного обеспечения, чтобы иметь возможность отдаваться чисто умственным интересам. Карьера не из тщеславия, а ради положения среди так называемых «порядочных людей». Они образовали как бы интеллигенцию в высших слоях общества.*

С Аполлоном Николаевичем у Леонида Николаевича не было большой душевной близости. Они бывали друг у друга в определенные дни: по воскресениям у Аполлона Николаевича, пока жива была их мать, по четвергам — у Леонида Николаевича, хотя постоянным посетителем этих четвергов Аполлон Николаевич не был, и Леонид Николаевич мне определенно говорил, что он не разделяет слишком «правых» воззрений

* О Леониде Николаевиче Майкове я дал после его смерти отдельный очерк — «Гуманист-академик» (см. «Критические очерки»). Кстати, доскажу судьбу Валерьяна. После описанного посещения Леонида Николаевича легко понять, почему первоначально просто товарищеские отношения к его племяннику приняли и у меня характер некоторой духовной опеки над ним: жизнь — не роман, а из-за романа погибла молодая жизнь. Одно время Валерьян даже переселился ко мне, так Леонид Николаевич почему-то уверился, что я могу иметь на него влияние. Вполне спасти человека не удалось, но все же Валерьян продержался несколько лет и после окончания университета, пока не переехал в Нарву, где служил преподавателем гимназии. В Нарве он женился, вскоре вернулся в Петербург, напечатал несколько прекрасных переводов од Пиндара, готовил диссертацию по древнегреческой лирической поэзии, написал несколько историко-литературных заметок, но умер в молодых еще годах от чахотки.¹⁵ Его единственный сын, моряк, вскоре после смерти отца погиб двадцатилетним юношей при Цусиме.

своего брата. Тем не менее по желанию Леонида Николаевича и я стал посетителем воскресных приемов у «бабенки» и застал остаток «салона Майковых», державшегося по традиции, но во многом уже утратившего свое значение «литературного салона». ¹⁶ Не показывался там больше Гончаров, бывшей его «душою». Не приходил более Достоевский, который вносил страстность темперамента в горячих речах. Нам — молодежи — об них постоянно напоминали. Оставался лишь уравновешенный, тишайший и страшно замкнутый в себя Н. Н. Страхов — собеседник «под сурдинку». ¹⁷ Аполлон Николаевич был всегда приветлив, любезен, но словно искал, на чем сойтись для более непринужденной беседы. Как-то попросил он меня зайти к нему днем, в предобеденный час, когда посетителей нет. Его интересовала средневековая поэзия, и ему хотелось познакомиться с ней более непосредственно, не по французским переложениям, которые он читал, а в буквальной передаче. Я ему принес несколько своих переводов, отвечающих именно требованиям точности. Аполлон Николаевич заставлял меня подтверждать их подлинным текстом, объяснять слова, конструкцию стиха, форму стихосложения и т. п. Он сделал две поправки в переводах, а потом, вдохновляясь темой, говорил: «Вот этот стих лишний, ослабляет впечатление; тут надо бы добавить, усилить, здесь оборвать, тут изменить темп...». — «Аполлон Николаевич, — заметил я, — ведь это уже будет не перевод». — «Что поделать, — сказал Аполлон Николаевич, — вижу, дословно переводить невозможно. Замысел поэтичен, образы есть, но ведь в настоящее время совсем нельзя так писать стихи». — «Поддерживала песнь трубадура музыка, — напомнил я, — музыка, ключ к которой не вполне подобран». — «Разве что музыка. Но стихи сами по себе ужасно прозаичны. Я не то ожидал от трубадуров. Ну а поэзия скальдов?» — «Их *visur* ¹⁸ покажется вам еще прозаичнее». Я сообщил ему примеры. «Почему же, — спрашивал Аполлон Николаевич, — „Слово о полку Игореве“ так поэтично и для нас поныне, откуда эта тайна вечной поэзии... ¹⁹ Ведь есть же вечно прекрасное... А классический мир...»

Меня интересовало, как Аполлон Николаевич слагал свои поэмы из области скандинавской мифологии (о Бальдуре), какими он пользовался источниками. ²⁰ Но Аполлон Николаевич не рассказал о них. Какие-то намеки, указания возбуждали его самостоятельную работу мысли; он забывал источники и видел перед собой картину и спешил передать в стихах, в безотчетном экстазе перед видением. Филология и поэзия не раз расходятся. Аполлон Николаевич полюбостествовал заглянуть в работу филолога, и художественный темперамент требовал перелить ее в иные формы, и только тогда образы древности принимали для него настоящий вид. * Темами песен Бертраана де Борн Аполлон Николаевич так никогда и не воспользовался. ²² По его желанию я прочел позже свои «буквальные» переводы, без рифм, но с соблюдением ритма, в Литературном обществе, предпослав переводам краткие объяснения. ²³ Впечатление и на слушателей-литераторов, среди которых были Плещеев, Мережковский, Фофанов, Андреевский ²⁴ и др., оказалось однородным с тем, которое высказал Аполлон Николаевич, и «резюлюция» — «дословно не следует переводить несовершенные памятники». На современном языке поэзии возможны лишь переложения старинных мотивов, но точность вредит восприятию поэтического замысла именно как такового. Мы не чувствительны к архаической форме выражений, и поэзия идет врознь с эрудицией. Недавно одно из стихотворений Бертраана де Борн — того провансальского трубадура, с которым хотел познакомиться Ап. Н. Майков, появилось в вольном переложении А. Блока (см. «Роза и Крест»): оно очень красиво в этом переложении. Поэт обошелся с темой средневекового трубадура именно так, как указывал Аполлон Николаевич,

* Напомним, что в эту пору именно по вопросу о том, как следует переводить художественные памятники старины, уже Леконт де Лиль провозгласил, что время неточных переводов миновало безвозвратно, и именно для соблюдения невозможной верности передачи он перевел «Илиаду» прозой. Правда, такую мерку мог выдержать Гомер. ²¹

что надо было это сделать, т. е. жертвуя точностью в интересах «поэтичности» воспроизведения старинного мотива. И современному читателю это ближе и понятнее.²⁵

Аполлон Николаевич прекрасно читал свои стихи. Немного в приподнятом тоне, несколько напевно, декламируя, но его стихотворения так и надлежало читать. Именно декламация Аполлона Николаевича раскрывала настоящее значение многих его стихов, которые в простом чтении проигрывали. Пушкина нельзя декламировать; его следует читать просто и либо в небольшом интимном кружке, либо самому для себя. Он как-то вас захватывает внутренне, и позже я слышал, что Комиссаржевская признавалась, что она совсем не может читать Пушкина с эстрады. Что-то глубокое и волнующее пропадает при декламации Пушкина. Это неоднократно я наблюдал и слушая в чтении пресловутое письмо Татьяны, и последнее объяснение с Онегиным, — два отрывка, которые чаще всего читают с эстрады. Савина умно оттеняла эти отрывки, но впечатление от чтения про себя все же было сильнее.*

У Майкова, наоборот, стихи напрашиваются на декламацию. Когда Аполлон Николаевич читал их вслух, он принимал вдохновенный вид. Красивая голова его, точно выточенная тонким резцом, слегка откидывалась, глаза блестели и даже очки не портили их выражения; голос повышался, он мерно и несколько однообразно размахивал правой рукой, ясно, четко и выразительно произносил каждое слово, повышая и понижая голос — выходило очень эффектно и увлекательно. Я любил его слушать.²⁷

Аполлон Николаевич очень настаивал на субъективности акта творчества. Внешний мир играл в его глазах какую-то служебную роль. Помню, зашла речь о статье Владимира Соловьева о красоте в природе.²⁸ Аполлон Николаевич был очень недоволен ею. «И что вы, господа, ученые и философы, ищите какие-то объективные признаки красивого и безобразного, хотите в природе самой по себе что-то найти.. Нет, ничего этого нет; только в нас самих, в душе живет красота... Изнутри мы создаем, из себя выводим образы... все дело в чувстве, в умении чувствовать...» Старик разволновался и бил себя в грудь: «Как вы этого понять не хотите!» Мне статья Соловьева, наоборот, очень нравилась, и я рискнул некоторые возражения в ее защиту. «Может быть, может быть, — заметил Аполлон Николаевич, — и все-таки, если в вас самих нет чувства красоты, вы не создадите ее никакими рассуждениями... Надо уметь чувствовать — это главное».

С историками литературы, в частности, между прочим, с профессором Александром Николаевичем Веселовским, ставившим вопросы о тайнах творчества, которые желательно было бы проанализировать и вскрыть с наивозможной полнотой, Аполлон Николаевич держал себя сдержанно. Я присутствовал при одной такой беседе, причем Аполлон Николаевич довольно резко сказал: «Зачем вам это знать — откуда и как берутся образы в душе поэта? Довольствуйтесь тем, что он вам дает. Разбирайте, критикуйте, но чувство не поддается анализу. Вдохновение не подчиняется воле, не подвластно и наблюдению». Впрочем, Веселовский как чистый историк не особенно и интересовался психологией творчества.²⁹

Вскоре круг обычных посетителей «салона» Майковых увеличился новым составом. Дело в том, что в университете у нас завелся свой «салон» — в квартире ректора университета — Андрея Николаевича Бекетова.³⁰ Андрей Николаевич, человек очень добрый, любивший молодежь и старавшийся привлечь ее для некоторого руководства в периоде все возраставших студенческих волнений, устроил у себя «субботы», на которые все студенты университета могли приходиться, даже не дожидаясь особого приглашения. Но, конечно, приходили только после личного знакомства, правда, приводя с собой товарищей, которых тут же представляли Андрею Николае-

* И «Анчар» в чтении Стрепетовой проигрывал: она вносила в передачу какую-то истерическую страстность, нарушающую пластичность образа.²⁶

вичу и его семье. Мне пришлось несколько ближе сойтись с нашим ректором после одной студенческой истории. Он усердно звал к себе потолковать вообще и так радушно и тепло отнесся при первом знакомстве, что я пришел и в «субботу» и вскоре почувствовал себя в семье Бекетовых, как в близком, родном доме. Собиралось по субботам много народу. Иногда человек 150—200, которые, однако, свободно размещались в просторной ректорской квартире, расположенной в двух этажах, во флигеле, что выходил фасадом на набережную Невы. (Позже квартира ректора была иная, во дворе.) Большинство проходило в кабинет Андрея Николаевича, в нижнем этаже, и там велись горячие споры на разные вопросы, волновавшие тогда молодежь. Андрей Николаевич, обуздывая слишком горячих и стремительных «революционеров», старался всем внушить свою полную уверенность в близости введения у нас конституции (это было до 81-го года) и настаивал на необходимости готовиться к общественной самодеятельности. При своей несомненной благожелательности и испытанном либерализме, А. Н. Бекетов пользовался большой любовью и популярностью среди молодежи, но влияние его вряд ли было очень значительно. Он привлекал больше душевными качествами, чем логикой аргументации, и не проявлял оригинальности мышления. В два-три разговора он весь исчерпывался и затем только повторялся. И все же эти приемы могли сыграть значительную роль в судьбах петербургского студенчества, если бы они не были вскоре запрещены верховной властью. Но связь с семьей Бекетовых установилась другим путем благодаря женскому элементу — жене и дочерям Андрея Николаевича.³¹ Из кабинета ректора поднимались во второй этаж, где принимали гостей уже не для споров о политике и студенческих делах, а для разговоров о музыке, поэзии, о театре, о литературе и пр., словом, все попадали в ту атмосферу, которая обычно создается под влиянием умной и просвещенной женщины-хозяйки. Елизавета Григорьевна Бекетова умела принимать гостей и сразу придать интересный и непринужденный характер беседе. Она к тому же была недурной музыкантшей и после того, как «отбывала повинность», как она шутя выражалась, налив в столовой несметное количество стаканов чая для нижних посетителей, она поднималась наверх, садилась за рояль «отвести душу» за Шуманом или Бетховеном, иногда исполняла и Шопена. Играла она без виртуозности, но умело оттеняла музыкальное произведение, которое в ее исполнении становилось как-то особенно близким и понятным.

Вскоре определился более интимный кружок, который и потом не могли разогнать никакие запрещения свыше. Четыре дочери Андрея Николаевича, каждая из них с очень определенной индивидуальностью, служили центром, вокруг которого группировалась молодежь. Старшая, Екатерина Андреевна, писала стихи, напечатала две-три повести, много переводов и вообще выдавалась литературным образованием. Ее сестры отчасти следовали по ее стопам, но некоторые из них проявляли большие наклонности к музыке. Из подруг Бекетовых всего чаще бывали две дочери И. А. Вышнеградского: рознь во взглядах родителей не мешала самой тесной дружбе между детьми.³² Начав с официальных посещений по субботам, я и некоторые из моих товарищей, в том числе и Валерьян Майков, стали бывать и в другие дни, наконец, почти ежедневно, в промежутках между лекциями или по вечерам, засиживаясь иногда до 3—4-х часов ночи. Дом Бекетовых стал для многих из нас почти своим и в то же время он служил культурным очагом, где вырабатывались взгляды, формировался вкус, приобреталось художественное воспитание и «вежество» в обхождении, что также было не лишним для многих.

И вот почти целиком кружок этот, т. е. старшие две дочери Бекетова, барышни Вышнеградские, еще две-три их подруги и несколько человек студентов, переключал в «салон» Майковых, нарушив его чопорность и замкнутость. Екатерина Андреевна Бекетова вдруг как бы «открыла» значение поэзии Майкова, заверив Аполлона Николаевича, что она стала его надлежащим образом понимать, лишь прослушав его чтение. У Майковых, так же как у Бекетовых, пели, музицировали, читали стихи, играли в *bouts-rimés*, в *secrétaire* и т. п., что делалось, конечно, и на всяких других

журфиксах,³³ но присутствие в доме поэта придавало собраниям большую значительность. Аполлон Николаевич охотно вмешивался в наши разговоры и умел быть с молодежью благодушно-приветливым. В противоположность «субботам» у Бекетовых, где все-таки политика по временам проступала и в разговорах «наверху», и политика в весьма определенно-прогрессивном направлении, Аполлон Николаевич тщательно избегал всякого разговора, который мог бы заставить его высказать свои взгляды. Это было с его стороны тактично. Помню, один только раз он со мной заговорил на тему о государственном устройении, причем пытался доказать примерами из жизни животных, что всякая «порода» стремится к своей особой форме общественной организации. «Могут ли пчелы обходиться без царицы? — ставил он вопрос. — Не то же ли мы видим в людском обществе?..» Но, впрочем, как умный человек, он тут же сообразил, что путем сравнений очень трудно что-либо доказать, ибо *comparaison n'est pas raison*.³⁴ В другой раз завязался было спор о значении Ивана Грозного, но Аполлон Николаевич очень скоро прекратил его, заметив, что его стихи, посвященные Грозному,³⁵ не произвели на нас впечатления, и больше не возвращался к темам ни о внешней, ни о внутренней политике.

Валерьян Майков мне как-то высказал: «Дядя Аполлон считает тебя „красным“, но говорит, что и в красных можно найти некоторые хорошие черты. А потом у тебя есть светскость обращения, которую он очень ценит». Я поблагодарил за указание на «смягчающие вину обстоятельства», но нашел, что отзыв о «красности» немного напоминает определения светских дам, которые по поводу всякого независимого суждения восклицают: «*Mais vous parlez comme un vrai rouge!*»³⁶ Отнюдь не примешивая «политики» к вопросам чистого знания и «самодовлеющей красоты», ценя больше всего критерий истинной художественности в оценке произведений искусства, я, правда, и в молодых годах представлял себе значение литературы и искусства не иначе как на базе определенных гуманитарных идеалов. И Аполлон Николаевич именно как поэт, казалось мне, не мог от них отступить. Мне пришлось все-таки заметить в нем некоторое раздвоение, отчасти подтверждавшее мой взгляд о различии критериев для оценки писателя и человека. Это выяснилось мне по поводу стихотворения Аполлона Николаевича «Савонарола», в печатном издании которого был пропуск «по условиям цензуры». Как раз в пропущенных стихах поэт высказывал большую терпимость (между прочим, и к евреям) и широкий взгляд на общегуманитарное значение христианства. Леонид Николаевич сказал мне, чтобы я попросил Аполлона Николаевича вычеркнутые стихи, которые у него остались в записи. Когда я завел об этом речь с Аполлоном Николаевичем, он поморщился, сказал, что никакой записи у него нет, что выпущенные строки не имеют значения и об них не стоит и вспоминать. «Чиновник»³⁷ не сочувствовал тому, что создано было поэтом, и здесь в особенности я почувствовал в Майкове два разных «я». Позже мне все-таки удалось восстановить пропущенные строки благодаря артисту Р. Б. Аполлонскому,³⁸ который запомнил их в той редакции, которую несколькими годами раньше продиктовал сам Аполлон Николаевич для прочтения на каком-то литературном вечере.

После смерти Аполлона Николаевича я напечатал эти стихи в статье о «Двух мирах». Привожу их здесь как выявление того лучшего Майкова-поэта, который, к сожалению, давал себя заслонить Майковым-цензором, хотя и служившим в Комитете *иностранной* цензуры, но пассивно подчинявшимся и цензуре внутренней, которую добровольно принимал. Вот эти когда-то запрещенные строки о Савонароле:

Христос, Христос! Но, умирая
И по следам твоим ступая,
Твой подвиг сердцем возлюбя,
Христос, он понял ли тебя?
Ты не хотел, средь мук гонимый,
Врагам анафему изречь;
Ужели мир, Тобой любимый

Хотел ты трауром облечь?
 О, нет! Ты призвал к жизни вечной
 Евреев, варваров, эллин —
 В семье народов бесконечной
 Тобой не презрен ни один!
 Благословил Ты в людях чувство,
 Стремленье к истине святой,
 И вдохновенье, и искусство,
 Любовь и труд, и ум прямой.
 И человек, в твоём ученье
 Познав себя в Твоих словах,
 С восторгом видит откровенье —
 Чем ты велик, и свят, и благ!
 Как ты, на рамена тяжелый
 Подъемлет крест Савонарола.
 Так жизнь кляня, как жизни враг,
 Бесплодной жертвы пал монах.
 Где был костер его, — чредою
 Опять справлялся карнавал
 Одушевленную толпою
 И говор радости звучал.
 В кофейнах — игры, карты, кости...
 И жизнью занятый, без злости
 Народ монаха вспоминал,
 Как бурю, унятую Богом...
 Он понимал, что Бог любви,
 Создавший мир в порядке строгом,
 Сказал созданию: живи!

Можно, пожалуй, не слишком удивляться, что цензура вычеркнула эти стихи, ибо мало ли глупостей проделывала наша дореформенная цензура, но, конечно, нельзя не подивиться тому, что Аполлон Николаевич сам так легко от них отрекся. Если бы не вспомнил Леонид Николаевич об этом пропуске и если бы не удивительная память Р. Б. Аполлонского, который запомнил стихи, то эти строки так бы и погибли. Между тем они много дают для уяснения в надлежащем смысле того христианства, которое внутренне ненавидел Аполлон Николаевич Майков, и того светлого, вполне гуманного и жизнелюбовного мирозерцания, которое озаряло его поэтическое творчество.³⁹

Незадолго до своей смерти Аполлон Николаевич как-то обратился ко мне с просьбой сообщить ему новости по французской поэзии. Я привез с собой из Парижа томик стихов Сюлли Прюдома, там, где напечатана его поэма «Le Bonheur», и занес его Майкову. Аполлон Николаевич порадовался: «Я люблю Сюлли Прюдома и Леконта де Лиль, — сказал он. — Мне, старику, уже не под силу братья за самостоятельные вымыслы, но переводить я еще смогу. Авось подвернется что-нибудь подходящее».

Однако новых переводов ему не привелось дать. Прочел он половину тома очень внимательно и сделал ряд карандашных пометок на полях. Эти замечания виртуоза стиха по поводу произведений тоже виртуоза формы — Сюлли Прюдома — весьма любопытны. Аполлон Николаевич довольно строго отнесся к французскому поэту, и против целого ряда мест сделаны пометки: «проза», «mignardise»,⁴⁰ «вычурно», «риторика»... Подчеркнуты все обороты со словами — *ainsi, mais, donc, ou bien, c'est pourquoi*,⁴¹ а в одном случае добавлено: «ужасно donc! В переводе — следовательно». Но одобрительно отозвался Аполлон Николаевич по поводу нескольких мест, ставя на полях: «хорошо», а в отделе «*Maïoга саnаtus*», ст(ихотворение) V, надписал сбоку: «*Вся пьеса от стр. 65 хороша, а заключение бесподобно! Поэтично, сжато, сильно!*» Против последнего куплета снова добавлено: «чудесное окончание». Вот эти строки. Речь идет о человеке вообще:

Et sous l'Infini qui l'accable,
 Prosterné désespérément
 Il songe au silence alarmant
 De l'Univers inexplicable;
*Le front lourd, le cœur dépouillé,
 Plus troublé d'un savoir plus ample,
 Dans le cendre du dernier temple
 Il pleure encore agenouillé.*

Отчеркнуты четыре последние стиха.

Отдел «Pour les arts» не удовлетворил Аполлона Николаевича, который сделал пометку: «Весь этот отдел плох. Все натянуто и вымучено. Непонимание искусства». Однако он сделал исключение для одного стихотворения, посвященного Аполлону Бельведерскому, выделив в особенности три последних стиха:

Ton regard dans la forme humble encore devine
 Le pur contour élu par son type accompli:
 On te la livre humaine, et tu la rends divine.

В этой оценке сказался страстный поклонник античного мира, каким был Аполлон Николаевич Майков.

Страницы томика Сюлли Прюдома разрезаны только до половины. Аполлон Николаевич не успел его дочитать. После его смерти книжка была мне возвращена вдовой поэта, и этот экземпляр издания 1888 года с карандашными пометками Аполлона Николаевича Майкова сохранился у меня как приятная реликвия знакомства с поэтом.⁴²

Семейство Майковых представляло вообще интересное явление русской культуры на почве родового быта. Фамильные предания у них бережно хранились, а вели они свою генеалогию еще от Нила Сорского.⁴³ Этот дальний предтеча XV века образованного русского деятеля, хотя и замкнувшегося в области церковных интересов, словно маячил им из глубины веков в направлении культурно-просветительной деятельности. И в XIX столетии выделилась в том же роду группа талантливых людей, по-разному сыгравших свою роль в истории нашего просвещения. Уже в первой половине минувшего века один из Майковых занимает пост директора императорских театров.⁴⁴ Выдающимся художником выступает Николай Аполлонович,⁴⁵ и все четверо его сыновей, по своим дарованиям и способностям, конечно, в разной степени и в разных направлениях, носят печать талантливой «породы», сохраняя заветы художественной просветительной деятельности. Некоторую аналогию «литературной семье» Майковых представляет семья Аксаковых, но Аксаковы — более почвенная семья, помещичьего пошиба, и связанная глубокими привязями с русской деревней.⁴⁶ Майковы — настоящие петербуржцы, и западное влияние, особенно романских народностей, на них весьма ощутительно. В итальянской школе воспитался Николай Аполлонович Майков, картины которого носят яркий след изученных им на Западе образцов. Аполлон Николаевич тоже был горячим поклонником Италии, когда-то путешествовал по этой дивной стране, драпируясь в плащ и надев широкую мягкую шляпу, чтобы и самому принять облик настоящего итальянца.⁴⁷ Рассказывал он о своем пребывании в Италии всегда в повышенном тоне и до конца жизни остался страстным поклонником итальянской музыки. Все Майковы были большими меломанами и не пропускали абонеента в Итальянской опере.⁴⁸ К русской музыке относились скептически; исключение делалось только для Глинки и отчасти Серова, по личным отношениям, но из опер Серова признавалась только «Юдифь».⁴⁹ К Чайковскому Аполлон Николаевич относился с явным предубеждением и, когда поставили «Евгения Онегина», помню, говорил мне, что это профанация Пушкина, что заимствование сюжета избличает скучность фантазии музыканта...⁵⁰ Он явно переборщил в своей антипатии к Чайковскому и не мог, конечно, серьезно отстаивать, что Бомарше, Гете

и десяток других мировых поэтов не потеряли от музыкальных переложений; но отсюда, конечно, не следует, чтобы оперный композитор, хотя и ограничивающий сюжет по условиям музыкальной интерпретации, лишался бы вследствие этого права писать оперы на канву литературных произведений. О «кучкистах»⁵¹ нельзя было и заикаться в салоне Майковых, оставшихся до конца верными традициям так называемой «итальянщины». Л. Н. Майков увлекался французским театром, который посещал еженедельно,⁵² и вряд ли когда бывал в Александринке иначе, как по какому-нибудь исключительному случаю. И в научной области он всего ближе тяготел к трудам французских ученых и лучше других знал французскую литературу. Жена его,⁵³ между прочим, кичилась тем, что в жизни не прочла ни одной немецкой книжки и не чувствует себя от этого хуже. Аполлон Николаевич был женат на немке⁵⁴ и к немецкой поэзии относился с большим вниманием и сочувствием, но все-таки романский мир его сильнее пленял, несмотря даже на экскурсии в область скандинавской мифологии. Но западные вкусы, отчасти и западное воспитание, не мешали тому, что, например, Леонид Николаевич сильно тяготел к славянофильству, а Аполлон Николаевич считал себя сторонником исконных «русских» начал.

Я не застал в живых Валерьяна Николаевича Майкова, этого талантливого критика, особенно проникшегося поэзией Кольцова. Как известно, он погиб в молодых годах. Об нем редко вспоминали, и только Леонид Николаевич заинтересовался изданием его произведений. С Аполлоном Николаевичем, кажется, они шли врозь.⁵⁵

Как бы то ни было, и свое и чужое переплеталось в атмосфере настроений, господствовавших в семье Майковых, но самым ценным была именно эта атмосфера — поэзии, искусства, науки, преобладание интересов, возвышающихся над буднями жизни и вполне бескорыстных в смысле чисто духовной деятельности. Была, пожалуй, даже некоторая оторванность от жизни в ее наиболее существенных, неотложных общественных задачах. Несколько пахло оранжерей. Обо многом не принято было совсем говорить. Но все-таки много и положительного выносилось из общения с этой семьей. Все это поколение — Аполлон, Валерьян, Владимир, Леонид, из которых только двое средних рано погибли, не дав всего, что могли дать, а старший и младший брат, в разном направлении, достигли весьма определенных результатов, представляются как бы всходами удачного посева. Где-то, когда-то запало в народе зерно, которое дало свой первый росток: отец Нила Сорского был простым крестьянином. Через века то же семя продолжало питать поколения за поколениями, с неравными всходами; затем сразу наступил чрезвычайный урожай — образовалась семья талантов с передачей наследственных качеств от отца к сыновьям в разных направлениях: живопись, поэзия, критика, наука — в каждой из этих областей человеческого творчества род Майковых имел своего одаренного представителя.

¹ Хрестоматийными стали такие стихотворения Майкова, посвященные русской природе, как «Ласточки» (1856), «Нива» (1857), «Весна! Выставляется первая рама», «Летний дождь» (1858) и др. «Три смерти» — драматическая поэма, одно из самых значительных его произведений (1842—1851, опублик. 1857).

² У В. Н. и Е. П. Майковых было трое детей — дочь Евгения и сыновья Валериан и Владимир. О последнем см.: Сотрудники Российской национальной библиотеки — деятели науки и культуры. Биографический словарь. СПб., 1995. Т. 1. С. 335—339.

³ Имеются в виду следующие слова в «критических заметках» И. А. Гончарова «Лучше поздно, чем никогда» (1879): «Разве многие изящные красавицы не пошли с ними [т. е. «нигилистами»] на их чердаки, в их подвалы, бросив одни родителей, другие — мужей и — еще хуже — детей?» (Гончаров И. А. Собр. соч. М., 1955. Т. 8. С. 95).

⁴ Этот «нигилист» — Федор Васильевич Любимов (р. 1845), сибиряк, сын бедного священника, недоучившийся семинарист; в 1864 году приехал в Петербург для поступления в университет, в 1867 году, наконец, добился этого, но вскоре перешел в Медико-хирургическую академию, откуда был два года спустя отчислен; в пору неудач пользовался материальной поддержкой Майковых, некоторое время был домашним учителем Валериана.

⁵ О семейной драме Майковых и ее отражении в творчестве Гончарова см.: *Темна О. М.* Создание двух романов. Гончаров и шестидесятница Е. П. Майкова. М., 1966. Ср.: *Гейро Л. С.* Из истории создания романа И. А. Гончарова «Обрыв» // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1973 год. Л., 1976. С. 51—73.

⁶ О А. Н. и Е. Г. Бекетовых см. ниже. Воронина Анна Романовна (урожденная Казыцына, по первому мужу Дебегорий-Мокриевич, 1836—1903) — деятельница женского движения.

⁷ Замысел романа возник двумя десятилетиями раньше, а ко второй половине 1860-х годов относится заключительный этап творческого процесса.

⁸ Форнарина (ит. *foragnina* — булочница) — прозвище дочери римского булочника красавицы Маргариты, возлюбленной Рафаэля, неоднократно служившей ему моделью.

⁹ Теленок, бычок (лат.).

¹⁰ Имеются в виду Писецкий Максимилиан Иванович и Кочкин Петр Петрович; впоследствии первый был учителем Самарской гимназии, второй — инспектором студентов Казанского университета; оба дослужились до чина статского советника (см., например: Список должностных лиц Казанского учебного округа на 1899—1900 уч. год. Казань, 1900. С. 9, 135).

¹¹ «Антигона» и «Аякс» — трагедии Софокла.

¹² Речь идет об одном из трех сыновей А. Н. Майкова.

¹³ Л. Н. Майков — академик (1891); в 1868—1882 годах был помощником редактора, в 1882—1890 годах — редактором «Журнала Министерства народного просвещения»; в 1882—1893 годах — помощником директора Публичной библиотеки; с 1893 года до конца жизни — вице-президентом Академии наук; в 1872—1886 годах возглавлял этнографическое отделение Русского Географического общества, с 1889 года — Археографическую комиссию.

¹⁴ Скабичевский Александр Михайлович (1838—1911) — критик народнического направления; название приведено по памяти вместо «Из воспоминаний о пережитом». Л. Н. Майков охарактеризован там следующим образом: «Леонид Майков (...) не отличался блестящими или даже сколько-нибудь выдающимися дарованиями. Он брал более всего усидчивостью, как усердный и кропотливый исследователь-библиограф. (...) На университетскую карьеру он, по-видимому, не дерзал и [не] рассчитывал, и если достиг впоследствии таких видных административных постов, как помощник директора Публичной библиотеки, вице-президент Академии наук, председатель этнографического отделения Географического общества и пр., то все это главным образом благодаря протекции и сильным связям своего брата Аполлона, этого официального поэта, уже в юности приобретшего известность и силу в придворных сферах воспеваемыми высокопоставленных лиц» (Русское богатство. 1907. № 7. С. 51—52). Последнее замечание было связано в первую очередь со стихотворением «Когда по улице, в откинутой коляске...», содержащем прославление Николая I (об этом см.: *Ямловский И.* Поэты и прозаики. Л., 1986. С. 130—141). Очерк Батюшкова «Гуманист-академик. Памяти Леонида Николаевича Майкова» был впервые опубликован в журнале «Мир Божий» (1900. № 6. С. 13—20), а затем перепечатан в его «Критических очерках и заметках» (СПб., 1902. Ч. 2. С. 224—248).

¹⁵ Все переводы Вал. Вл. Майкова из Пиндара увидели свет на страницах «Журнала Министерства народного просвещения» в 1892—1898 годах (см.: Античная поэзия в русских переводах XVIII—XX вв. Библиографический указатель / Сост. Е. В. Свиасов. СПб., 1998, по указателю имен). Там же были опубликованы его статьи «О не дошедших до нас произведениях Пиндара» (1892. Ч. 279. Янв. Отд. V. С. 1—14) и «Сказка „О рыбаке и рыбке“ Пушкина и ее источники» (Ч. 281. Май. Отд. II. С. 146—157). Ср. отклик Батюшкова на смерть Вал. Вл. Майкова в помеченном 21 августа 1899 года примечании к статье о трагедии А. Н. Майкова «Два мира», ее происхождении и критиках: «Знаток античной поэзии и автор прекрасных переводов эпикений Пиндара Вал. Вл. Майков скончался в цветущем возрасте, с надеждами, которым не суждено было сбыться...» (Критические очерки и заметки. [Ч. I]. СПб., 1900. С. 79).

¹⁶ Литературный кружок, возникший в середине 1830-х годов и позднее превратившийся в литературный салон (о нем см.: *Деркач С. С.* И. А. Гончаров и кружок Майковых // Русская литература XIX—XX веков. Учен. зап. ЛГУ. 1971. № 355. Сер. филол. наук. Вып. 76. С. 18—38). Мать А. Н. Майкова (она же — «бабенька») — Майкова Евгения Петровна (урожденная Гусятникова, 1803—1880), писательница.

¹⁷ Страхов Николай Николаевич (1828—1896) — философ, критик и публицист «почвеннического» направления; сотрудник журналов «Время», «Эпоха» и «Заря».

¹⁸ Виса (древнесканд.) — жанр скальдической поэзии.

¹⁹ Майкову принадлежал поэтический перевод «Слова о полку Игореве» (1870).

²⁰ Речь идет о поэме «Бальдур. Песнь о солнце, по сказаниям Скандинавской Эдды» (1871); скандинавским эпосом была также навеяна поэма Майкова «Брингильда» (1888).

²¹ «Илиада» в переводе главы французских «парнасцев» Шарля-Мари Леконта де Лиля (1818—1894), вышла в 1867 году (*Homère. Iliade / Traduction nouvelle par Leconte de Lisle.* Paris: Alphonse Lemerre, éditeur). Положенный в его основу переводческий принцип был сформулирован в издательском предисловии, где, в частности, говорилось: «Время неверных переводов прошло. Обнаруживается явный поворот к точной передаче смысла и буквальной — слова. То, что еще несколько лет тому назад представляло собой лишь рискованный опыт, стало осознанной потребностью всех возвышенных умов».

²² Вне поля зрения Батюшкова осталось стихотворение Майкова «Рыцарь (из Bertrand de Born)» — вольный перевод романса этого провансальского трубадура (Книжки «Недели». 1892. Март. С. 51).

²³ Переводы эти Батюшков опубликовал в сборнике в честь Н. И. Стороженко (Под знаменем науки. М., 1902. С. 282—290) со следующим пояснением: «Ввиду полного отсутствия русских переводов древнепровансальской поэзии, мы решились представить несколько образцов произведений Бертрана де Борн в насколько возможно точной передаче, с соблюдением размера, близкого к подлиннику, но без рифм: погоня за последними, при слишком большой разнице строк и состава языков, неизбежно повлекла бы за собой отступления от текста оригинала. Мы приложили посильное старание, чтобы перевод не обращался в переложение».

²⁴ Андреевский Сергей Аркадьевич (1847/48—1918) — поэт, переводчик и литературный критик.

²⁵ Имеется в виду «Песня первого менестреля» из IV действия (сц. 3) драмы А. Блока «Роза и Крест». По указанию самого поэта, она представляла собой «свободный перевод трех строк (I, II и IV) знаменитой сирвенты Бертрана де Борн „Be me platz le dous temps de pascor“ (все чередования рифмы соблюдены)» (Блок А. Собр. соч. М.; Л., 1961. Т. 4. С. 519). Ранее Блок перевел всю эту сирвенту прозой (см.: *Жирмунский В.* Драма Александра Блока «Роза и Крест». Литературные источники. Л., 1964. С. 45—46).

²⁶ Стрелетова Полина Аваньева (1850—1903), Савина Мария Гавриловна (1854—1915), Комиссаржевская Вера Федоровна (1864—1910) — драматические актрисы.

²⁷ Ср. размышления на эту тему самого поэта, а также свидетельства его современников, приведенные И. Г. Ямпольским в комментарии к письмам Майкова (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980. С. 200—203).

²⁸ Статья «Красота в природе» была впервые опубликована в 1889 году; вошла в Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева (СПб., 1904. Т. 6. С. 33—74).

²⁹ Веселовский Александр Николаевич (1838—1906) — ученый-филолог, один из основоположников отечественной историко-литературной науки; с 1872 года профессор Петербургского университета, академик (1880); Батюшков был его учеником, последователем и многолетним сотрудником; в течение долгого времени их связывали и дружеские чувства (см.: *Веселовский Александр.* Избр. труды и письма. СПб., 1999. С. 285—287).

³⁰ Бекетов Андрей Николаевич (1825—1902) — ученый-ботаник, в 1863—1897 годах — профессор, в 1876—1883 годах — ректор Петербургского университета; почетный академик (1895). О «субботних вечерах» у Бекетова в бытность его ректором см.: История Ленинградского университета. Очерки. Л., 1969. С. 112—113. См. также весьма ценную для понимания его общественной позиции тезис «Характеристику студентов, особенно петербургских», составленную им около 1877 года (впервые опубликована в кн.: Ленинградский университет в воспоминаниях современников. Петербургский университет. 1819—1895. Л., 1963. Т. I. С. 195—199, 299).

³¹ Жена А. Н. Бекетова — Елизавета Григорьевна (урожденная Карелина, 1834—1902), переводчица. Дочери их — Екатерина (1855—1892, в замужестве Краснова), поэтесса и переводчица; Софья (1857—1919, в замужестве Кублицкая-Пиоттух); Александра (1860—1923, в первом браке Блок, во втором — Кублицкая-Пиоттух), переводчица и детская писательница, мать А. Блока; Мария (1862—1938), писательница и переводчица.

³² Вышнеградский Иван Алексеевич (1831/32—1895) — ученый, специалист в области автоматического регулирования, профессор Технологического института, почетный академик (1888); в 1888—1892 годах — министр финансов; его дочери — Софья и Варвара (1863—1921, в замужестве Сафонова).

³³ Буриме, секретарь (фр.) — салонные игры; журфикс (от фр. jour fixe) — определенный день недели, предназначенный для приема гостей.

³⁴ Сравнение — не довод (фр.).

³⁵ Стихотворение «У гроба Грозного» (1888), в котором жестокость царя оправдывалась государственным интересом.

³⁶ Но вы говорите, как настоящий красный (фр.).

³⁷ С 1852 года до конца жизни Майков состоял на службе в Петербургском комитете иностранной цензуры, а с 1875 года был его председателем.

³⁸ Аполлонский Роман Борисович (1865—1928) — драматический актер.

³⁹ Стихотворение «Савонарола» было опубликовано в «Библиотеке для чтения» 1857 года с большой купюрой и в таком виде неоднократно перепечатывалось. Изъятые цензурой строки были приведены Батюшковым в статье «„Два мира“, трагедия А. Н. Майкова, ее происхождение и ее критики» (Cosmopolis. 1897. Т. VI. № 18. С. 215—216), вошедшей затем в его «Критические очерки и заметки» (Ч. I. С. 75—76).

⁴⁰ Жеманство (фр.).

⁴¹ Так, но, следовательно, или же, вот почему (фр.).

⁴² Сюлли Прюдом Арман (1839—1907) — член Французской Академии (1881), первый лауреат Нобелевской премии по литературе (1901). Имеется в виду его сборник: *Oeuvres de Sully Prudhomme. Poésies. 1879—1888. Le Prisme. Le Bonheur. Paris: Alphonse Lemerre, éditeur,*

[1888]. Батюшков приводит фрагмент поэмы «Le tourment divin» («Божественное мучение»), которой завершается цикл «*Majoga sapamus*» (это латинское название является цитатой из «Буколик» Вергилия (IV, 1) и означает «Давайте воспевать более важное»), а также заключительные строки сонета «*Devant l'Apollon du Belvédère*» («Пред Аполлоном Бельведерским») из цикла «*Pour les arts*» («Ради искусств»). Перевод стихотворных отрывков: 1) «И безнадежно распростертый под гнетом Вечности, он думает о пугающем безмолвии непостижимой Вселенной; с тяжелой головой, с опустошенным сердцем, в отчаянии, нарастающем по мере того, как раздвигаются пределы знания, он рыдает, все еще коленапреклоненный, на пепелище последнего храма»; 2) «Твой взгляд угадывает в еще ничем не примечательной форме то безусловно правильное очертание, которое образ его стремится в конце концов принять: из человеческой ты превращаешь ее в божественную».

⁴³ Нил Сорский (ок. 1433—1508) — церковный деятель и писатель.

⁴⁴ Майков Аполлон Александрович (1761—1838) — поэт и драматург; в 1821—1825 годах — директор петербургских императорских театров.

⁴⁵ Майков Николай Аполлонович (1796—1873) — художник, академик живописи.

⁴⁶ Речь идет о семье Сергея Тимофеевича Аксакова (1791—1859) — его сыновьях Константине (1817—1860) и Иване (1823—1886), а также о дочери Вере (1819—1864). См.: *Бороздин А. К. Семья Аксаковых // Бороздин А. К. Литературные характеристики. Десятинадцатый век. СПб., 1905. Т. 2. Вып. 1. С. 143—290; Анненкова Е. И. 1) Семья Аксаковых в истории русской культуры // Абрамцево. Материалы и исследования. Аксаковские чтения 1985 и 1987 годов. С. 2—5; 2) Аксаковы. СПб., 1998 (сер. «Преданья русского семейства»).*

⁴⁷ В Италии Майков побывал дважды — в 1842—1843 и 1858 годах.

⁴⁸ Речь идет об итальянских оперных спектаклях в Петербургском Большом театре.

⁴⁹ Серов Александр Николаевич (1820—1871) — композитор и музыкальный критик, автор опер «Юдифь» (1862), «Рогнеда» (1865) и «Вражья сила» (1871). О «самых дружеских отношениях» Серова с А. Н. Майковым и его семейством сообщает В. С. Серова (Серovy, Александр Николаевич и Валентин Александрович. Воспоминания В. С. Серовой. СПб., 1914. С. 47).

⁵⁰ Подобное отношение к этой опере, а точнее, к ее либретто было в то время едва ли не преобладающим. Брат композитора, М. И. Чайковский, утверждал, например, что именно такой была реакция «огромного большинства публики», а «выразителем» ее считал И. С. Тургенев, имея в виду его письмо к Л. Н. Толстому от 15 ноября 1878 года (см.: *Шольц А. Е. «Евгений Онегин» Чайковского. Очерки. Л., 1982. С. 5—22*).

⁵¹ Речь идет о «могучей кучке» — творческом содружестве русских композиторов, сложившемся к началу 1860-х годов и существовавшем как единое целое до середины следующего десятилетия; членами его были М. А. Балакирев (его возглавлявший), А. П. Бородин, Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргский и Н. А. Римский-Корсаков, а идеологом являлся В. В. Стасов. По сообщению В. С. Серовой, прозвище «кучкисты» было придумано их «антагонистом» А. Н. Серовым (см.: Серovy, Александр Николаевич и Валентин Александрович. С. 135).

⁵² Французская драматическая труппа существовала в Петербурге постоянно; выступала по преимуществу на сцене Михайловского театра.

⁵³ Майкова Александра Алексеевна (урожденная Трескина, 1841—?).

⁵⁴ Майкова Анна Ивановна (урожденная Штеммер, 1830—1911).

⁵⁵ Майков Валериан Николаевич (1823—1847; умер во время купания от апоплексического удара) — литературный критик и публицист; его статья «Стихотворения Кольцова» появилась в конце 1846 года в «Отечественных записках», где он заведовал критическим отделом после ухода В. Г. Белинского в «Современник». Замечание Батюшкова не вполне справедливо: в автобиографических заметках 1850-х годов А. Н. Майков утверждал совсем иное: «... всем моим гуманическим образованием я более обязан младшему брату моему Валериану, который тоже бросил юридические науки (по выходе из университета), стал заниматься философией, естественной историей и политической экономией и увлек меня за собой» (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1975 год. Л., 1977. С. 79—80). «Критические опыты» Валериана Майкова с биографическим очерком и библиографией его статей были изданы стараниями Л. Н. Майкова в 1891 году.

«ФИЛОСОФ В ФЕЛЬЕТОНИСТАХ...»

(В. В. РОЗАНОВ)

Осенью 1902 года Мережковские и П. Перцов начали подготовку к изданию журнала «Новый путь». Журнал был вполне светский, но в программе значилось обсуждение религиозных вопросов «в духе Вл. Соловьева», а также печатание стенографических отчетов Религиозно-философских собраний. Литераторов, работающих в журнале, было изрядное количество: и литературная молодежь (Блок, Семенов, Пяст), и литераторы постарше (Вяч. Иванов, Мережковский, Философов, Гиппиус), даже Брюсов согласился писать ежемесячные обзоры иностранной литературы. «О Розанове что и говорить, — вспоминала З. Н. Гиппиус. — Он был несказанно рад журналу. Прежде всего — упросил, чтобы ему дали постоянное место, „на что захочет“, и чтобы названо оно было „В своем углу“». ¹

Первый номер «Нового пути» в скромной лиловой обложке (без «прелестных» рисунков, которые предлагал Бакст и которые отклонил редактор Перцов) вышел в начале 1903 года. А уже в апрельском номере В. Розанов из «своего угла» отвечал «серьезным критикам» издания: «„Новый путь“, сколько бы он ни имел в себе неосторожностей и ошибок, — родился все-таки как вдохновение, и входит вдохновенно в ряды старой журналистики». ²

Розанов знал, что говорил: впервые его вдохновение не просто обрело «свой угол», теперь он стал обладателем не только «дара речи», но и «места встречи», здесь он мог быть самим собой и думать вслух. Каждый литератор, сотрудничавший в журналах и газетах, да просто каждый здравомыслящий человек может оценить полученное Розановым преимущество. Не «В своем ли углу» Розанов впервые предался лирической стихии, преодолев отвлеченный пафос нововременского журнализма? Здесь он вполне мог чувствовать себя «*уединенно*», ловить «*мимолетные*» настроения и ввиду приближающейся осени готовить короба для «*опавших листьев*». Момент созревания его литературного таланта приходится на начало XX века. Нам кажется, что обретение «своего угла» этому способствовало.

Словосочетание «свой угол» и «в своем углу» имело в судьбе В. Розанова некий жизнесоудержательный смысл. Поскольку мы, костромичи, считаем Розанова своим земляком, нам интересно уяснить, был ли «наш угол» для него «своим» и в какой степени память о костромской провинции формировала самоопределение Розанова в пространстве Российской империи, в «организме» его биографии и в его творчестве.

Костромской угол в сознании Розанова, автора «Уединенного» и «Опавших листьев», возникал как необжитый, холодный, обезлюбленный. «Я вышел из мерзости запустения» — так начинается «опавший лист», запечатлевший воспоминание 50-летней давности. «Все нас дичились, и мы дичились всех. Мы все были в ссоре. Прекрасная Верочка (старшая сестра Розанова. — Т. Ё.) умерла так рано (мне было лет 8—7), и когда умерла, то все окончательно заледенело, захолодело, а главное замусорилось». ³

Удивительно, как этому певцу семейственности, утверждавшему, что «семья есть самая *аристократическая* форма жизни» (с. 73), посвятившему проблемам семьи фундаментальное двухтомное исследование, ⁴ как удавалось ему обойти горький дет-

¹ Гиппиус З. Н. Живые лица. Л., 1991. С. 131.

² Розанов В. Серьезный критик // Новый путь. 1903. Апрель. С. 109.

³ Розанов В. В. Соч. Л.: Васильевский остров, 1990. С. 388. Далее ссылки на это издание в тексте.

⁴ Розанов В. В. Семейный вопрос в России. СПб., 1903.

ский опыт. Почему Розанов не учитывал его и не был запуган им? Воспоминания о вдове из дворянского рода Шишкиных, которая с семерыми детьми приехала в Кострому, чтобы воспитать их, и теряла их одного за другим, угасая сама, не умея поддержать детей, не умея распорядиться назначенной пенсией, домом, коровой, парниками, — все это оставалось за пределами его гимнов семейному очагу.

И только в позднем творчестве, когда Розанов стал складывать в короба «опавшие листья» своих воспоминаний, — тогда возникли «доисторические» впечатления, одно страшнее другого. То вспомнится сахарница с пятью кусочками сахара вместо шести — и детский ужас охватит его душу от зрелища матери, бурно вцепившейся в белые волосы младшего брата, то в памяти возникнет хлебный мякиш из рук умирающей Верочки...

Рассказ об «испуганном и замученном» детстве, избилующий реалистическими подробностями, все-таки очень далек по интонации и смыслу от физиологических очерков. У Розанова нет никакого «аппетита» к решению коренного вопроса русской интеллигенции: «Кто виноват?» Пафос его горьких воспоминаний далеко не обличительный.

«Как же вы меня убедите в правоте Лассалья и Маркса?»

И кто нас „притеснял“? Да мы были свободны, как галки в поле или кречеты в степи. И — проклятие, отчаяние и гибель.

А могли бы быть не только удовлетворены, но счастливы» (с. 414).

Сама по себе свобода — ничто, она, напротив, с легкостью может привести к отчаянию и гибели. И никто не виноват, когда не было в семье гармонии: печь пламенела, но ничего в ней не варилось, иконы теснились в красном углу, но не горела возле них лампадка. «И потом эта память: ее молитвы ночью (без огня), и толстый „акафистник“ с буро-желтыми пятнами... (...) Но на наш „не мирный дом“ как бы хорошо повеяла зажженная лампадка» (с. 166). Не случайно Розанова называли символистом: его тексты буквально пронизаны символами, а возникающие перед читателями образы являются не «сколками реальности», а персонифицированной мыслью. Мать, молящаяся за своих детей, обращает свой голос из тьмы во тьму. Горячность материнского радения не имеет обнадеживающего ориентира — лампадки, этого символа связи тьмы со Светом, человека с Богом...

По сути дела, символ на «молекулярном», на «клеточном» уровне утверждал связь человека-творца с Богом, с Космосом. Искусство символизма и рождено потребностью выйти за пределы только бытового, только сегодняшнего, нащупать нить, ведущую человека к бессмертию, связующую его с тем, что выше его, — преодолеть одиночество.

Унижение детства долго оставалось саднящей глубоко спрятанной обидой, но со временем унижение «перешло в такое душевное сияние, с которым не сравнится ничто»: отсутствующая «лампадка» загорелась и «духовный абсолюте» был обретен. Розанову открылся опыт, навеки сокрытый для тех, «кто вечно торжествовал, побеждал, был наверху». Костромское знание, горькое само по себе, стало катализатором иного знания и иного бытия.

Выхваченные из потока сознания впечатления детства в целом и в мелочах противоречат розановским гимнам семейному очагу и многочадию — и не противоречат им, поскольку автор и герой этой прозы тот самый мальчик, который, по собственному признанию, в своих сущностных качествах «не изменился с Костромы (лет 13)» (с. 184). Только теперь он в окружении детей — и фотография вклеена для убедительности, где все розановское семейство запечатлено. Он не изменился и ничего не забыл, а потому свою жизнь построил иначе. Вектор движению был дан в детстве: представления «о должном» корректировались памятью «о былом». «Два ангела сидят у меня на плечах: ангел смеха и ангел слез. И их вечное перерекание — моя жизнь» (с. 47). По закону «вечного перерекания» складывались и «опавшие листья» в короб Розанова. Легли два листа и поведали миру: один — о Костроме, другой — о Санкт-Петербурге; один — о родительской семье, другой — о собственной.

Путь Розанова из провинции в Санкт-Петербург кажется воплощением в жизнь какого-то грандиозного и хорошо продуманного проекта или моделью поведения провинциала, мечтающего о столице. Учитель русской провинциальной гимназии пишет философский трактат «О понимании» (М., 1886), все 737 страниц которого зывали к пониманию. Он вложил в этот труд усилия своего духа; пять долгих лет, из ночи в ночь, он обращался к небесам, но они не вняли его призыву. Неудача с трактатом заставила его искать иные пути к пониманию. Розанов избирает теперь не философский безадресный посыл, а интимную переписку с теми людьми, к чьему мнению он давно и настороженно прислушивался; это были К. Н. Леонтьев, Н. Н. Страхов и С. А. Рачинский. Это были действительно заметные, интересные люди: Страхов тесно сотрудничал с Достоевским, дружил с Толстым; Леонтьев писал Розанову из Оптиной Пустыни, где находился под духовным водительством знаменитого старца Амвросия; Рачинский хотя и жил в деревне, преподавая крестьянским детям в собственной церковной школе, но эта школа бывшего университетского профессора была известна всей России. «Само это сближение Розанова с известными людьми достаточно поразительно, — замечает исследователь творчества Розанова В. А. Фатеев, — ведь, кроме книги „О понимании“, которой никто не читал, никаких особых заслуг или приметных достоинств, способных привлечь внимание именитых „собеседников“, за Розановым не числилось».⁵

И это так. В лице молодого, пылкого и впечатлительного провинциала его масти-тые корреспонденты увидели приверженца православно-славянофильских идей, который горячо поддерживал дорогой их сердцу консерватизм. Оказалось, что не только безвестный провинциал, но и столичные знаменитости страшно одиноки и нуждаются в единомышленниках. В переписке Розанова с Леонтьевым и Рачинским, в дружбе со Страховым видны не столько Божий промысел или перст судьбы, сколько человеческая зоркость и интеллектуальная одаренность молодого корреспондента, в котором его адресаты сумели увидеть «гениальное порождение русской провинции» и нашли возможность помочь ему переехать в столицу, о чем впоследствии не пожалели.

Памяти Константина Леонтьева, переписка с которым длилась только год, ставший последним в жизни философа, Василий Розанов посвятил одну из самых прозорливых своих статей. А на излете своей жизни Розанов, подобно Леонтьеву, переехал в Троице-Сергиеву лавру. Розанову всегда казалось, что человеческая биография — не случайное нагромождение случайных поступков, а «живой организм», в котором каждый значительный шаг детства и юности имеет соответствие в зрелости и старости. Не являются ли доказательством этой мысли расположенные по соседству на кладбище Черниговского скита Троице-Сергиевой лавры две могилы — К. Леонтьева и В. Розанова?

После университета Розанову не предложили остаться на кафедре, он не нашел себя в преподавательской деятельности, первый и единственный философский трактат остался без читателей. Дороги, которые возникали перед ним, были неприемлемы и по типу темперамента, и по таланту, который еще предстояло открыть. «Есть дар слушания голосов и дар видения лиц», есть дар писателя и дар оратора, которые никогда не совмещаются в одном человеке, даже ютятся эти таланты в разных местах: «Тайна писательства в кончиках пальцев, а тайна оратора в его кончике языка» (с. 206).

Однако вернемся к феномену розановской переписки и заметим, что уже в 90-х годах Василий Васильевич научился отыскивать в человеческих душах «свой угол». Мысль Розанова набирала силу, в интимном эпистолярном жанре он учился «ввинчивать мысль» в душу человеческую. Умение влиять на человеческую психику, находить с людьми точки соприкосновения Розанов будет целенаправленно совершенствовать.

⁵ В. В. Розанов: pro et contra: В 2 кн. СПб., 1995. Кн. 1. С. 18.

«Что однако для себя я хотел бы во влиянии?»

Психологичности. Вот этой ввинченности мысли в душу человеческую, — и рассыпчатости, разрыхленности их собственной души (т. е. у читателя)» (с. 117).

Новая, необычная манера письма Розанова-журналиста провоцировала читателей, звала их к разговору — и чем дальше, тем настойчивее звала. Даже в суворинской газете «Новое время», которая читалась повсеместно и распространялась широко, посыпались письмами. И он пошел дальше по этому пути: он стал публиковать эти письма с собственными комментариями — так в столице робко, но настойчиво зазвучал голос русской провинции.

При всей размашистости и открытости Розанова, при всей его доверчивой искренности в каждую минуту бытия были в его судьбе события, которые напоминают некоторые философские эксперименты, причем эксперименты эти затрагивают наиболее интимные стороны жизни. Невозможно отделаться от мысли об эксперименте, когда думаешь о женитьбе Розанова на демонической возлюбленной Достоевского А. Сусловой. Не искал ли Розанов «тайных путей» к Достоевскому через союз с Аполлинарией? Если учитывать последующий обостренный интерес Розанова к фаллическим культам, эта мысль не кажется такой уж вздорной. Далее, наиболее глубокие человеческие взаимоотношения учительства—ученичества возникли у Розанова со Страховым, спутником, другом и тайным обличителем Достоевского. Любовь и дружба Розанова были искренни, но имели некий прагматично-гнозисный интерес, в обоих случаях направленный к постижению одного человека — Федора Достоевского. Его гений навсегда остался для Розанова притягательным и таинственным. Мы никогда не узнаем, чем он обязан Сусловой и Страхову, но знаем, чем он обязан Достоевскому: первый успех Розанова, подлинный, без привкуса скандальности, пришел к нему после публикации критического комментария к Легенде о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского.⁶ Наконец, отношения с будущей женой Варварой Бутягиной начались не с ослепляющей влюбленности, а с удивления. В корне их взаимоотношений была не страсть, а душевное потрясение: Розанову открылось, что жизнь не только «хаос, мучение и проклятие», но умение не обижать, не завидовать и прощать.

«До встречи с домом „бабушки“ (откуда взял вторую жену) я вообще не видел в жизни гармонии, благообразия, доброты. Мир для меня был не Космос (космос — украшаю), а Безобразие, и, в отчаянные минуты, просто Дыра. (...) И вдруг я встретил этот домик в 4 окошечка, подле Введения (церковь, Елец), где все было *благородно*. (...) Я был удивлен. Моя „новая философия“, уже не „понимания“, а „жизни“ — началась с великого удивления...» (с. 166—167).

Его суждения о доме, семье, браке, укорененные в безрадостной памяти о Костроме и в самомучительном опыте с фуриозной Аполлинарией, не дарили надежд, а вселяли страх. Теперь, обретя свою семью, Розанов имел возможность затаиться в собственном *благословенном уголке*, как то положено философу или писателю, — и никому не завидовать: ни Канту, ни Толстому.

«И она меня пожалела как сироту.

И я пожалел ее как сироту... Оба мы были поруганы, унижены.

Вот вся наша любовь.

Церковь сказала „нет“. Я ей показал кукиш с маслом.

Вот вся моя литература» (с. 425).

«Любовь» и «литература» уравниваются в этом отрывке, писатель хочет яснее запечатлеть момент перехода «жизни» в «литературу», а быта в бытие. Так на новом этапе творчества Розанова быт будет перемешан с божественным глаголом; теперь он научится «не забывать о быте, слушая глагол», а смотря на быт, будет всегда помнить,

⁶ Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского: Опыт критического комментария. СПб., 1894.

что он слышал, однако, и глаголы. Теперь, переезжая из Ельца в Белый, из Белого в Петербург, он чувствовал рядом опору и знал, что человек, находившийся рядом, даст ему благословенную возможность жить «в своем углу». Теперь, говоря словами А. Д. Синявского, мироощущение Розанова совпало с его самоощущением, «а жизнь и образ жизни — с жизнью внутри себя».⁷ Как бы ни складывались его отношения в разных редакциях, теперь он мог вернуться в свой угол и петь гимны частной жизни.

В советском жилищном законодательстве существовало понятие «угловой жилец». Так называли человека, прописанного на данной жилплощади, но не имеющего на нее прав. Первые годы жизни в Санкт-Петербурге В. Розанов иногда чувствовал себя таким бесправным «угловым жильцом». В воспоминаниях П. Перцова сохранилось весьма выразительное свидетельство подобного состояния. Он рассказал, как Розанов, уже известный газетный полемист, сотрудник водевильного количества газет и журналов, пришел на журфикс к декадентам: «Появление Василия Васильевича произвело эффект, и весь вечер внимание было устремлено на него. Но он сам был решительно сконфужен. Главное, его смущало, что он, тогда еще очень консервативно настроенный и хорошо сохранившийся провинциальный „дичок“, попал на вечер к „декадентам“, которые неизвестно еще, как ведут себя. Подозрительно оглядывался он по сторонам, как бы ожидая появления чего-нибудь неподобающего...»⁸ Пребывание на виду у всех, открытость всем взглядам и мнениям, необходимость официального общения смущали провинциала, для которого руководящим образцом поведения в литературе и жизни был благодушно-старомодный Н. Н. Страхов. После окончания вечера Розанов спросил то ли у Перцова, то ли у самого себя: «Разве Страхов пошел бы к ним больше одного раза?» Но Розанов не Страхов, и очень скоро он научился входить в любые двери и быть своим в любом обществе. Он избавился от страха перед декадентами, напротив, именно у них Розанов встретил понимание своих тогда еще новых идей, которые немислимой дерзновенностью пугали самого писателя.

Чтобы преодолеть свою застенчивость и не напрягать слабых голосовых связок, Розанов, находясь в гостях, научился отвоевывать в собственную власть небольшие углы хозяйского пространства. Он не любил больших сборищ, публичных выступлений, беседовал с ближайшими соседями. «Он, впрочем, везде был немножко один, или с кем-нибудь „наедине“, то с тем, то с другим, и не удаляясь, притом, с ним никуда: но такая уж у него была манера. Или никого не видел, или, в каждый момент, видел кого-нибудь одного, и к нему обращался».⁹ Иными словами, опыт интимной переписки стал моделью для преодоления провинциальной робости. Собеседников Розанов выбирал безупречно, впрочем, трудно было противиться его натиску: он буквально «врезался» в людей, отыскивая в их сердцах *угол* для себя — и находил. Его речь была адресна, разговор конкретен, его тон всегда заинтересован, а тема всегда возбудительна.

Розанов с доверчивой легкостью входил во все двери, будучи уверен, что Бог его не оставит, так же гостеприимно открывал он по вечерам и двери своего дома. На гордый взгляд иноплеменный, ничем изящным не отличались ни меблировка гостиной, ни сервировка стола, ни подаваемые к вечернему чаю печенья, но сам хозяин, но его гости, но разговоры за столом были бесподобны!¹⁰ Здесь собирались «профессора духовной академии, синодальные чиновники, священники, монахи — и настоящие „люди из подполья“, анархисты-декаденты. Между этими двумя сторонами, — вспоминал Д. С. Мережковский, — завязывались апокалиптические беседы, как будто выхваченные прямо из „Бесов“ или „Братев Карамазовых“. Конечно, нигде в современной Европе таких разговоров не слышали».¹¹ Мережковский, только что вер-

⁷ В. В. Розанов: pro et contra. Кн. 2. С. 446.

⁸ Перцов П. Литературные воспоминания: 1890—1902. М.; Л., 1933. С. 109.

⁹ Гиппиус З. Н. Указ. соч. С. 112.

¹⁰ См.: Бенуа Александр. Мои воспоминания: В 5 кн. М., 1993. Кн. IV. С. 293.

¹¹ Мережковский Д. С. Не мир, но меч. СПб., 1908. С. 109.

нувшийся из долгой заграничной поездки, знал, что говорил, и ему было, с чем сравнивать. В его похвале «розановским воскресным посиделкам» с их пламенными темами звучат не русофильские амбиции, а искренние удивление и радость.

Известность пришла к Розанову, как и к Чехову, через журналистику и фельетон. Очень остроумный комментарий этому факту дал в свое время А. А. Измайлов: «Фельетонист в философах — чепуха. Философ в фельетонистах — один из величайших капризов русского бытия, — вовсе, однако, недурных, если у этого философа не слог Канта. Такое сочетание являл Розанов».¹²

А теперь задумаемся, является ли философ в фельетонистах капризом русского бытия? Не проявилась ли в этом тенденция XX века, которая превращала мечтателей в практиков: делала из возвышенных эстетов мастеров агитационной поэзии, заставляла художников-графиков заниматься искусством плаката и книжной графикой, учила архитекторов оформлению интерьеров, а художников делала дизайнерами. В XX веке искусство пустило корни в бытовой среде, и писателю, и поэту негоже было оставаться в «башне из слоновой кости» — все они искали новые средства языковой выразительности, новые формы общения с читателем. Никогда еще не было такой жажды перейти от творчества произведений искусства к творчеству самой жизни, и эта тенденция после революции будет нарастать.

Литература начала XX века неудержимо стремилась выйти за свои пределы. Никогда еще так остро не стояла проблема отношения искусства и жизни, творчества и бытия. В своем творческом иступлении человек желал сотворить нечто, никогда еще не бывшее, болезненно сознавая несоответствие творческого задания творческим возможностям.

Это обстоятельство определило особый характер философствования В. В. Розанова: у него не было стремления выстроить последовательную систему доказательств, он не разрабатывал понятийный аппарат, не выстраивал непротиворечивое учение. В его работах читатели увидели попытку самовыражения, желание передать внутренний личный опыт, настроение, непосредственное эмоциональное переживание. Как известно, философия и литература вверены *таинству слова*, поэтому Розанову не нужно было менять инструмент: словом он владел. Став писателем, он изменил только *угол зрения*: как философ он исследовал смысл бытия, как поэт он прикасался к *священному*.

«Авраама призвал Бог: а я сам призвал Бога... Вот и вся разница», — скромно обозначил Розанов в «Уединенном» свои взаимоотношения со *священным*. Призыв к Богу шел из глубины его естества, его моление к Богу Отцу было настойчиво и требовательно. Бога он ощущал как реальность, он знал не просто присутствие Бога, но его вторжение, водительство, защиту: «Не всегда это бывало в одинаковом напряжении: но иногда это убеждение, эта вера доходила до какой-то раскаленности» (с. 77).

Розанова называли мыслителем-однородомом, в его системе координат оси абсцисс и ординат назывались не «прогресс» и «польза», как у большинства его современников, а «Бог» и «пол». Ему удалось развернуть свою тему в целое мирозерцание, он сумел показать неисчерпаемое богатство этой темы, уводя ее к фаллическим культам древности, в библейские дали взаимоотношений Иеговы с народом Израиля, к первым векам христианства. В истории Розанова интересовали не войны и полководцы, не герои и гении, а проблемы беременности, родов, воспитания младенцев, обряды, связанные с таинством брака и деторождения.

До Розанова тема пола находилась в стыдливой тени; следуя за трактатом Соловьева «О смысле любви», его поклонники и последователи рассуждали о платоническом эресе, превращая бесполою и однополую влюбленность в культ. У Розанова пол и семья составляли сердцевину раздумий, его доклад о браке и поле вызвал бурный интерес на Религиозно-философских собраниях, прения по нему длились три вечера.

¹² В. В. Розанов: pro et contra. Кн. 2. С. 94.

Розанов боролся за возвращение к святине брака и святине семьи, ему было свойственно прозительное ощущение святости естества, он бунтовал против принижения священных для него предметов, старался развеять мрак, освятить пол. Пол — это «точка, покрытая темнотой и ужасом; красотой и отвращением; точка, которую мы даже не смеем назвать по имени, и в специальных книгах употребляем термины латинского, т. е. мертвого, не ощущаемого нами с живостью языка».¹³

Петр Губер назвал Розанова «тайновидцем пола». Это очень точное определение, в нем зафиксирован розановский *угол зрения* на проблему пола, а именно: пол как тайна, дарованная человеку Богом. «Связь пола с Богом — бóльшая, чем связь ума с Богом, даже чем связь совести с Богом, — выступает из того, что все а-сексуалисты обнаруживают себя и а-теистами» (с. 72). В поле Розанов видел сакральное начало, через семейно-половые отношения человек может стать угоден Богу, может выполнить его завет — «плодитесь, умножайтесь». Таким образом, Розанов развернул тему пола не к эросу, как это было характерно для эстетики Серебряного века, а к семье — к чадорождению и чадолюбию, к православному браку, к историческим и священным его корням.

Учение Розанова о таинстве брака представляет собой специальную хорошо разработанную богословскую тему, в ней он выступил как религиозный реформатор, «здесь было сказано Розановым очень много глубокого».¹⁴ С чрезвычайной скорбью Розанов констатировал падение религиозного отношения к браку, он называл современную цивилизацию «неплодущей», ему казалось, что христианство гнушалось полом и браком.

«Сам я, возможно, и бесталанен, но тема моя — гениальная», — заметил однажды Розанов. Новой и скандальной теме он сумел придать библейскую серьезность, а когда того хотел, — ерническую остроту. Его подозревали во всех смертных грехах, потому что он, скоро забыв о провинциальной робости, бесподобно научился дразнить литературных «гусей» и возлюбил лай собак из всех газетных подворотен. И до последнего времени розановский интерес к вопросам пола считали чем-то не просто спорным, но постыдным — вспомним, что Флоровский видел в Розанове загадку, «очень соблазнительную и страшную»,¹⁵ а Лосев — «половых дел мастера».¹⁶

Органически связанный с культом семьи и пола, Василий Розанов, однако, был очень далек от Зигмунда Фрейда, хотя его неоднократно именовали русским Фрейдом. Общее у Розанова и Фрейда одно — загнипнотизированность темой пола. Фрейд увидел, что под тонким слоем гуманистической этики дремлют затаившиеся сексуальные вождления; он ниспровергал кумиры, уверяя, что даже святое материнство включает в себя половой элемент — сексуальное наслаждение младенца, а сам Господь Бог есть не кто иной, как видоизмененный «господин папа». Представить себе, что Бог Отец является не Создателем мира, а продуктом «либидозного» ревнивого возбуждения ребенка, для Розанова не просто кощунственно или нелепо, но не заслуживает внимания.

В восприятии Розанова немислимым нигилизмом «разило» от самой попытки научно исследовать человеческую душу. Принципиальная разница в решении проблем пола видна, например, в таком афоризме: на вопрос, что есть соитие мужчины и женщины, он отвечал: «Как бы Бог хотел сотворить *акт*: но не исполнил движение свое, а дал его *начало* в мужчине и *начало* в женщине. Отсюда его сладость и неодолимость» (с. 124). Если Фрейд низводил Бога к полу, то Розанов, напротив, возносил пол к Богу и утверждал, что при бесспорно животном существе семья имеет бесспорно мистическую, религиозную сущность.

¹³ Розанов В. В. В мире неясного и нерешенного. М., 1995. С. 21.

¹⁴ Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа. М., 1997. С. 109.

¹⁵ Флоровский, прот. Георгий. Пути русского богословия. Киев, 1991. С. 462.

¹⁶ Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. С. 76.

Его, Розанова, рассуждения о поле никогда не останавливались на проблеме сексуального наслаждения, а всегда шли к семье и деторождению. Этим он отличался от своих современников (Соловьева, Мережковских, Бердяева), которые искали в эресе преображенной плоти, а не преумноженной. Они мечтали о коренной перестройке человека по сверхчеловеческой или андрогинной модели, — Розанов смиренно удовлетворялся наличной природой человека, созданного из праха земного, но по образу и подобию Господа. И он не устал это повторять.

Розанов нашел «свой угол» в интеллектуальном пространстве России рубежа XIX—XX веков, нашел свою тему — это стало главным открытием его жизни; прощательно посмотрел он окрест и возблагодарил судьбу, ниспославшую ему жену, семью, дом, — весь счастливый опыт жизни земной, которая с беспримерной необходимостью открывала ему путь к Богу.

Не надо думать, что к небесным вратам Розанов стремился мимо жизни, — напротив, мельтешащий, мешкотный быт был знаком и дорог ему. Он знал всегда, что каждая земная тварь каждым своим дыханием славит Творца, он чувствовал смысл бытия, в котором «мгновения-то и вечны, а Вечное — только „обстановка“ для них, квартира для жильца». Назвать судьбу человека «чулком» жизни, а Вечность — «квартирой» для живущих в ней мгновений мог только Розанов — художник, для которого аскетический, мироотречный принцип был глубоко чужд и, напротив, бытовая Русь была ему более всего дорога, интимно близка и сочувственна.

В его писаниях встает Русь обывательская, мещанская, с сушеными грибами, сметанкой, творожком, вареньем и роскошным ритуалом чаепития после бани; Розанов искусно создавал атмосферу сладостного быта и собственного счастливого погружения в этот быт. Были доверчивые читатели, которые приняли ролевую маску за подлинное лицо, были другие, которые заклеили Розанова пошляком и мещанином. Л. Троцкий, например, назвал Розанова «поэтом интерьерчика, квартиры со всеми удобствами»,¹⁷ а В. Полонский не менее выразительно заметил, что Розанов возвел пошлость в принцип, он бархатался в ней, «словно в лазурных волнах» Средиземного моря, что он после этого, как не «Великий Пошляк Русской Литературы».¹⁸

Напомним, однако, что Василий Розанов — центральная фигура русского культурного ренессанса, он слишком умен, чтобы быть пошляком, но достаточно талантлив, чтобы органично сыграть эту роль.

Не стоит преувеличивать размягченности и обывательщины Розанова. Настоящий Розанов тверд и неподатлив, он «несклоняемый», бесприютный и бесконечно одинокий, даже в своей семье. Он был больше наблюдателем, чем участником жизни, и порой в разгар невинных своих игр, оглядываясь окрест, бормотал под нос, всегда с небольшим внутренним смехом: «Мы еще погимназистничаем» (с. 384). Весьма прощательно сказал о Розанове английский писатель Д. Г. Лоуренс: «Он чувствовал, что только созерцает жизнь, вместо того чтобы участвовать в ней. (...) Насколько человек, лишенный реальных страстей, может любить, он любил свою вторую жену, „друга“. Он изо всех сил старался ее любить, и у него это в конце концов получилось. Однако в его любви всегда присутствовал оттенок „жалости“, и она, бедная, наверно, очень страдала».¹⁹

Попробуем объяснить, почему именно роль мещанина и защитника мещанства так приглянулась Розанову, почему его внимание привлек не герой революционер, не разочарованный романтик, а мещанин, погруженный в сладостный быт. Не потому ли, что все революционные костры возжигались на костях обывателей мира, что все романтические самомнения выявлялись только на фоне мещанской толпы. И при этом мещанская среда была безгласна и безымянна. Создавая свой «плюшкинский заповед-

¹⁷ В. В. Розанов: pro et contra. Кн. 2. С. 319.

¹⁸ Там же. С. 277.

¹⁹ Там же. С. 496.

ник» — калейдоскоп мелочей обывательского быта — Розанов порою чувствовал себя пророком с мещанской улицы провинциальной Руси. Как Господь Бог Ветхого Завета шел по пустыне с народом Израиля, днем принося иудеям тень, а ночью обращаясь в огромный столп, так и Розанов опекал и защищал своих чад. Не исключено, что таким артистическим способом, вживаясь в роль мещанского пророка, он до тонкостей прочувствовал роль Бога Отца. Он и с Сыном-то поссорился из ревнивой любви к Отцу Небесному, восстал Розанов против аскетизма Иисуса, против Его апостолов «лунного света», против романтического высокомерия и брезгливости к суете сует.

Современники Розанова и наши современники в один голос говорят, что в истории мировой культуры не было такого оригинального и острого «вопрошателя христианства» (даже в среде научных атеистов), каким был Розанов. Он посмотрел на взаимоотношения Иеговы и Христа с какой-то новой — внутрисемейной — стороны, обвинив Сына в бунте против Отца, сотворившего мир. Оказалось, что этот доступный каждому опыт никогда не экстраполировался на столь авторитетные фигуры. Вначале Розанов, приступая к Христу, ревниво спрашивал Его, почему в Евангелии никто не влюбился, почему у Христа не было жены и детей, почему следовавшим за Ним апостолам нужно было оставлять свои семьи. От смешных и детских вопросов Розанов дошел до представления о исторической и метафизической непримиримости Отца и Сына, Ветхого и Нового заветов: «Солнце загорелось раньше христианства. И солнце не потухнет, если христианство и кончится. (...) Христианство не космологично, „на нем трава не растет“. И скот от него не множится, не плодится. А без скота и травы человек не проживет» (с. 479). «„Сказуемое“ — это еда, питье, совокупление. О всем этом Иисус сказал, что — „грешно“, и — что „дела плоти соблазняют вас“. Но если бы „не соблазняли“ — человек и человечество умерли бы. А как „слава Богу — соблазняют“, то — тоже „слава Богу“ — человечество продолжает жить» (с. 487). Иными словами, розановский бунт против Бога Сына в основе своей имел намерение защитить мир, созданный Богом Отцом. Таким образом, даже космогоническая тема получила у Розанова оригинальный угол зрения, его философская закваска чувствовалась везде.

Розанову удивительно удавалось именно это — отвоевать собственный угол. Будь это угол бытового пространства, или угол чужой души, или необычный угол зрения — везде его усилия были направлены именно к этому — к интимному контакту с вещами, с душами, с явлениями бытия.

© Е. Р. Пономарев

ЛЕВ ТОЛСТОЙ В ЛИТЕРАТУРНОМ СОЗНАНИИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ 1920—1930-х ГОДОВ

Революция и гражданская война привели к серьезному переосмыслению русской литературной традиции. В страшные годы «русской смуты» она ощущается «надеждой и опорой» — источником духовной силы и отдохновения от ужасающей реальности. Л. Н. Толстой и другие классики русской литературы воспринимаются как непрекращаемые авторитеты, служащие нравственным ориентиром среди вопиющей безнравственности войны. Толстой занимает в общественном сознании особое место среди русских писателей, поскольку именно его нравственная, антивоенная и антиреволюционная проповедь была актуальна для многих россиян в эпоху, предшествующую войне и революции.

Именно так в эти годы относится к памяти Толстого И. А. Бунин,¹ которого З. Н. Гиппиус полушутя-полусерьезно назвала «политическим вождем русской эмиграции».² В статье 1919 года, приуроченной к девятой годовщине смерти Толстого, он приводит большие цитаты и пересказывает фрагменты из письма Толстого Александру III, из «Письма революционеру», из статей «О значении русской революции», «Единое на потребу», «Конец века», «Обращение к русским людям: К правительству, революционерам и народу», «Об общественном движении в России». И комментирует: «Выписывая со страниц Толстого эти отрывки, напоминая истинную суть его учения, я думаю, что я делаю дело, которое он горячо одобрил бы и счел гораздо более нужным, чем выражение скорби, что уже нет его в мире в эти жестокие и темные дни».³ О важности нравственного начала, присущего толстовству, писал позднее в своих воспоминаниях и близко знавший Толстого В. А. Маклаков: «...но в годы исканий настоящей дороги они (толстовцы. — Е. П.) были ценны моральными требованиями к отдельному человеку и целому обществу...»,⁴ противостояли «аморальности» революционеров, ценивших в политических делах то, что в них было звериного.

В первые годы эмиграции чрезвычайно важна культурная ориентация на прежнюю, предвоенную жизнь России. Отсылки к «прежнему», которое осмысляется как «подлинное», по сравнению с призрачным настоящим, становятся доминантой этого времени. В первой половине 1920-х годов переиздаются многие дореволюционные работы о Толстом. Так, Л. Шестов в четвертый раз печатает «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше»;⁵ П. Б. Струве выпускает отдельной книгой «Статьи о Льве Толстом»,⁶ публиковавшиеся еще в 1900-е годы в «Русской мысли». Републикации демонстрируют, с одной стороны, инерцию восприятия Толстого, с другой — желание переосмыслить предреволюционные десятилетия. Авторы, по-видимому, считают свои прежние сочинения непонятыми, требующими более внимательного прочтения с учетом исторического опыта русских революций.

Центральный мотив всей эмигрантской литературы — исключительная сложность Толстого. По мнению практических всех авторов, дать исчерпывающее определение Толстого невозможно. Репрезентативна по своему пафосу книга М. А. Алданова «Загадка Толстого», изданная в 1923 году. Ее стержневая идея отражена в заглавии. «Кто может сказать, что понял Льва Толстого?»⁷ — этим риторическим вопросом завершает Алданов свою книгу.

С этой же точки зрения по-новому рассматривается семейная трагедия Толстых. О ней пишут по обе стороны границы. Ю. И. Айхенвальд публикует в 1925 году в Берлине книгу под заглавием «Две жены», в которой соединяет воспоминания С. А. Тол-

¹ В дневнике Бунина этого времени сообщения о чтении Толстого чередуются с размышлениями о самых близких ему людях: «Стал сегодня читать Толстого (...) и вспомнилась наша жизнь — Юлий, Евгений, и стало невыносимо тяжело» (Запись от 8.01.1922 (26.12.1921) года: Устами Буниных: Дневники: В 3 т. Frankfurt/a. M., 1981. Т. 2. С. 72). Именно в это время Бунин узнал о смерти старшего брата Юлия и очень тяжело ее переживал. За духовной поддержкой он обращается к произведениям Толстого. В дневниковой записи от 10(23) января 1922 года излагаются разные ощущения, тесно связанные одно с другим: «Ночью вдруг думаю: исповедоваться бы у какого-нибудь простого, жалкого монаха где-нибудь в глухом монастыре, под Вологодой. Затрепетать от власти его, унизиться перед ним, как перед Богом... почувствовать его как отца... По ночам читаю биограф(ию) Толстого, долго не засыпаю. Эти часы тяжелы и жутки. Все мысль: „А я вот пропадаю, ничего не делаю“. И потом: „А зачем? Все равно — смерть всех любимых и одиночество великое — и моя смерть!“» (Там же. Т. 2. С. 75). Мысль о смерти, желание найти духовного наставника и тема Толстого взаимосвязаны.

² Из архива Мережковских: Письма З. Н. Гиппиус к И. А. Бунину // *Cahiers du Monde Russe et Sovétique*. 1981. Vol. XXII. N 4. P. 442 (письмо от 6 апреля 1928 года).

³ Бунин И. А. Публицистика 1918—1953 годов. М., 1998. С. 36.

⁴ Маклаков В. А. Из воспоминаний. Нью-Йорк, 1954. С. 86.

⁵ Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше: Философия и проповедь. 4-е изд. Берлин, 1923.

⁶ Струве П. Статьи о Льве Толстом. София, 1921.

⁷ Алданов М. Загадка Толстого. Берлин, 1923. С. 127.

стой и А. Г. Достоевской. Т. И. Полнер выпускает книгу «Лев Толстой и его жена. История одной любви».⁸ В Москве в 1928 году выходит исследование В. А. Жданова «Любовь и жизнь Льва Толстого».⁹ Общим является стремление примирить правду Толстого с правдой его жены. Так, Айхенвальд в статье «Две жены», замыкающей упомянутые мемуары, пишет о крайней несправедливости книги В. Г. Черткова «Уход Толстого». В 1923 году в Праге выпускает свои воспоминания Лев Львович Толстой. Первый раздел посвящен Софье Андреевне. Сын говорит о непонятном «великом подвиге этой редкой женщины»,¹⁰ вполне сопоставимом с великой деятельностью ее мужа.

В 1920—1930 годы Толстой представляет наибольший из всех писателей прошлого интерес для русской эмиграции. Об этом можно судить, например, по хранящимся в РГАЛИ фондах Союза русских писателей и журналистов в Югославии и Союза ревнителей чистоты русского языка в Югославии.¹¹ Основу фондов составляют так называемые библиотеки, включающие в себя сброшюрованные тетради с вклеенными в них газетными вырезками. Каждая тетрадь — это подборка статей из эмигрантских газет на определенную тему. Некоторые сборники посвящены тому или иному писателю. Больше всего «писательских» сборников содержат материалы о личности и творчестве Л. Н. Толстого.

Эти сборники позволяют составить впечатление об интересе к толстовской теме в эмигрантской прессе тех лет. Публикуется большое количество воспоминаний о Толстом, в том числе и эмигрировавших детей писателя. В газетах появляются текст доклада Т. Л. Сухотиной-Толстой в Сорбонне, статьи Л. Л. Толстого, А. Л. Толстой. С проблемными статьями о Толстом выступают видные литературные деятели эмиграции — А. В. Амфитеатров, К. Д. Бальмонт, З. Н. Гиппиус. Появляются рецензии на новые книги о Толстом, вышедшие в эмиграции. Рецензируются многие книги о Толстом, выходящие в СССР (активно обсуждаются, например, новое издание биографии Толстого, составленной Н. Н. Гусевым,¹² книга В. А. Жданова и др.), — причем настолько подробно, что каждый новый том юбилейного полного собрания сочинений рецензируется отдельно. Юбилейное собрание сочинений вообще привлекает очень пристальное внимание: так, например, перепечатаются из советской прессы статья А. В. Луначарского «По поводу юбилейного издания сочинений Толстого», статья М. А. Цявловского «Как издавался Толстой», появляются сообщения «о редакционной коллегии издания».

С другой стороны, по окончании гражданской войны в эмиграции усиливается критическое отношение к Толстому — к его нравственной проповеди и социальной теории. Многие деятели эмиграции говорят о необходимости борьбы с идеями Толстого, сыгравшими, по их мнению, далеко не последнюю роль в разрушении России. Так, Струве пишет, что Толстой — «один из самых мощных разрушителей нашего старого порядка».¹³ А Ф. А. Степун в предисловии к книге «Встречи» высказывает следующее мнение о сочинениях позднего Толстого, прямо противоположное мнениям Бунина и Маклакова: «По-новому увидел я после революции и Толстого. Читая его раньше, я не чувствовал устрашающей глубины его отрицания церкви и двусмысленной переключки между его анархической этикой и большевистским отрицанием вся-

⁸ Полнер Т. И. Лев Толстой и его жена. История одной любви. Париж, 1928.

⁹ Интересно, что, прочитав книгу Жданова, Бунин записал в дневнике: «Гадко — до чего обнажили себя муж и жена на счет своей крайней интимности!..» (Из дневников И. А. Бунина // Новый журнал. 1974. № 116. С. 162).

¹⁰ Толстой Л. Л. В Ясной Поляне: Правда об отце и его жизни. Прага, 1923. С. 8.

¹¹ РГАЛИ. Ф. 2481, 2482.

¹² Рецензент А. Гольденвейзер, отмечая многие достоинства книги, указывает на ее главный недостаток — дидактизм. «Так Н. Н. Гусев, памятуя о напутственных инструкциях Черткова, портит свою хорошую книгу» (цит. по: РГАЛИ. Ф. 2482. Оп. 1. Ед. хр. 52. Л. 19).

¹³ Струве П. Указ. соч. С. 22.

кой этики».¹⁴ Интересно, что многие государственные деятели и в СССР считают идеи Толстого опасными. А. В. Луначарский в 1925 году начинает доклад о Толстом с тезиса: в настоящее время в России и других странах существуют две идеологии, разделяющие человечество — это марксизм и толстовство, поскольку «непротивление злу есть выгодная форма оппозиции...»¹⁵

В 1925 году И. А. Ильин выпускает книгу «О сопротивлении злу силою», направленную против учения Толстого. Во вступлении говорится, что гибель России заставила по-новому взглянуть на интеллигентское философствование, предшествовавшее ей. Нравственная теория Толстого, по мысли Ильина, — одна из идейных ошибок, незаметно внедрившаяся в души: непротивление злу есть самопредание злу. Борьба со злом, пишет Ильин, имеет значение не сама по себе, а лишь во имя любви. Поэтому бороться со злом надлежит не избранными, а абсолютно любыми средствами.¹⁶

Реакция эмигрантов на книгу Ильина не была однозначной. Н. А. Бердяев посвятил ей большую статью, в которой писал: «Удушение добром было и у Л. Толстого, обратным подобием которого является И. Ильин. ...Добро И. Ильина очень относительное (...), приспособленное для целей военно-походных».¹⁷ Но многие приняли эту книгу сочувственно. Так, Н. О. Лосский в своем труде по этике подробно изложил ее основные мысли как новейшее этическое учение.¹⁸

Интересно, что Бунин, с пиететом относившейся к памяти Толстого, несколько раз с большой симпатией высказался об идеях Ильина. Мнение философа, по-видимому, совпало с его размышлениями о поразительной безответственности интеллигенции в своих высказываниях.¹⁹ 19 июня 1925 года В. Н. Муромцева-Бунина записывает в дневнике: «Только сегодня прочла „Идеи Корнилова“ Ильина. Интересная тема, интересное учение о сопротивлении злу насилем».²⁰ Далее записаны слова Бунина: «Ильин — тоже дворянин, оттого и идет напролом туда, куда душа тянет. Я еще не продумал его теорию, но помнишь, что я говорил о возмездии, что, если видишь издевательство, нужно броситься на мучителя. И ведь не зло руководит тобою, а добро».²¹ По-видимому, эти идеи оформились у Бунина во время пребывания в Одессе. В дневнике 1919 года (без упоминания Толстого) он пишет: «Какая зверская дичь! „Невмешательство“! Такая огромная и богатейшая страна в руках дерущихся дикарей — и никто не смирит это животное!»²² Горячая поддержка Буниным Белой армии связана именно с такого рода настроениями. На эту связь указывает запись о другой статье Ильина из дневника Муромцевой-Буниной от 6 февраля 1926 года: «Статья Ильина „Дух преступления“ великолепна. Воображаю, какое негодование вызовет она у левых. Он назвал своим именем громко то, о чем мы всегда говорили. (Впрочем, Ян говорил и публично об этом.) Недаром Павел Юшкевич упрекал его в „уголовной точке зрения на революцию“».²³

¹⁴ Цит. по: *Степун Ф.* Встречи. М., 1998. С. 8.

¹⁵ *Луначарский А. В.* О Толстом. М.; Л., 1928. С. 12.

¹⁶ *Ильин И. А.* О сопротивлении злу силою. Берлин, 1925. См. также: *Ильин И. А.* Путь к очевидности. М., 1993. С. 5—132.

¹⁷ *Бердяев Н. А.* Кошмар злого добра // Путь (Париж). 1925. № 4. С. 462.

¹⁸ *Лосский Н. О.* Условия абсолютного добра. М., 1991. С. 169—171 (глава «Борьба со злом силой»).

¹⁹ Эту же интеллигентскую традицию высмеял М. А. Алданов в книге «Загадка Толстого»: «...уж так завелось с восьмидесяти годов прошлого столетия, что каждый русский гражданин считал своим правом и обязанностью время от времени помогать советом Льву Николаевичу в трудных делах жизни. Такой, видно, был неопытный, беспомощный человек, что никак ему нельзя было обойтись без дельных руководителей и товарищеской помощи» (*Алданов М. А.* Указ. соч. С. 95).

²⁰ Устами Буниных: Дневники. Т. 2. С. 144.

²¹ Там же.

²² Из дневников И. А. Бунина // Новый журнал (Нью-Йорк). 1973. № 109. С. 176—177.

²³ Устами Буниных: Дневники. Т. 2. С. 153.

Но, соглашаясь с пафосом работ Ильина, Бунин был далек от однозначного восприятия Толстого как пособника революционеров. Он говорил о том, что у Толстого, безусловно, были ошибки, которые тот, в отличие от многих, признавал и старался исправить. Так, в «Заметках», опубликованных в «Южном слове» в 1919 году, Бунин писал: «Я не русофоб, невзирая на то, что имел смелость сказать о своем народе немало горьких слов, основательность коих так ужасно оправдала действительность... оправдал даже Л. Н. Толстой, которым меня еще до сих пор укоряют и который, однако, сам, собственными устами сказал в 1909 году буквально следующее (Булгакову):

„Если я выделял русских мужиков как обладателей каких-то особенно привлекательных сторон, то каюсь, — каюсь и готов отречься от этого“ (курсив Бунина. — Е. П.).²⁴ Это неточная цитата из воспоминаний В. Ф. Булгакова. 1 марта 1909 года Булгаков записал спор Толстого с Д. П. Маковицким о национализме вообще и еврейском вопросе в частности. «Если я сам видел особенные черты в русском народе, выделял русских мужиков как обладателей особенно привлекательных сторон, то каюсь. Каюсь и готов отречься от этого. Симпатичные черты можно найти у всякого народа. И у евреев есть выдающиеся черты...»²⁵ Контекст фразы игнорируется, тем самым создается нужный Бунину смысл.

Однако восприятие Толстого как идейного предшественника революции было распространено в эмиграции долгие годы. Например, уже в 1955 году в Нью-Йорке вышла книга доктора медицины профессора Д. Котсовского «Достоевский, Толстой и революция»,²⁶ где рассматривался вклад двух крупнейших писателей в подготовку русского бунта.

Революционному «имиджу» Толстого способствовало и особое отношение, которое питали к нему партийные и государственные деятели СССР. Изучение и увековечивание памяти великого писателя стало сложным процессом, параллельно проходящим в метрополии и эмиграции. Дневники и письма Толстого, воспоминания о нем активно издавались по обе стороны границы (в СССР, естественно, в большем объеме). Поток литературы о Толстом значительно увеличился к 1928 году — столетию со дня его рождения, которое широко отмечалось как в эмиграции, так и в СССР. Развернулась «борьба за толстовское наследство» — за право освятить авторитетом писателя собственные действия.

Еще в 1919 году (в «Заметках» для газеты «Южное слово») Бунин писал, комментируя выписки из публицистических произведений Толстого: «Нужно это напоминание еще и потому, что часто теперь защищают даже его именем эти дни, и я боюсь, что нынче многие из тех, о которых он говорит в этих отрывках, будут его именем кощунствовать, будут повторять только то из его писаний, что им выгодно и что, будучи выхвачено из этих писаний, зло искажает их».²⁷ Бунин во многом оказался прав. Советская идеологическая пропаганда придавала фигуре Толстого двойственное значение, важнейшей составляющей которого было представление о писателе как противнике самодержавия и несправедливости капиталистического строя. Другую сторону его деятельности — «хлюпика» и «помещика, юродствующего во Христе» — старались замечать как можно реже. В связи с «кричащими противоречиями» его творчества, подчеркнутыми в статьях Ленина, творчество писателя прочитывалось в СССР, по удачному выражению Г. В. Плеханова, «отсюда и досюда».²⁸ Торжественное празднование столетия Толстого в Москве было политическим жестом — советское правительство заявляло о том, что оно считает себя идейным наследником Толстого.

²⁴ Бунин И. А. Публицистика 1918—1953 годов. С. 43.

²⁵ Булгаков В. Ф. Л. Н. Толстой в последний год его жизни: Дневник секретаря Л. Н. Толстого. М., 1989. С. 100.

²⁶ Котсовский Д. Достоевский, Толстой и революция. Нью-Йорк, 1955.

²⁷ Бунин И. А. Публицистика 1918—1953 годов. С. 39.

²⁸ Плеханов Г. В. Сочинения. М.; Л., 1927. Т. XXIV. С. 185.

Приуроченные к 1928 году советские издания сочинений Толстого, книг и материалов о нем также имели политическое значение. Интересен в этом отношении выпущенный Коммунистической Академией объемный труд Д. Ю. Квитко «Философия Толстого»,²⁹ в которой взгляды писателя изложены, разумеется, «с разоблачением». Но в основе этой идеологии лежит мысль о внутренней близости Толстого коммунистической идее. Ее высказывали и прокоммунистически настроенные эмигранты. Например, Давид Бурлюк в 1928 году написал поэму о Толстом под заглавием «Великий кроткий большевик», суть которой заключалась в нескольких строках:

Провозглашал он
БОЛЬШЕВИЗМ
Не проводя активно...³⁰

В ответ эмиграция провела собственное чествование Толстого, главный пафос которого можно выразить словами из речи В. А. Маклакова «Толстой и большевизм», произнесенной еще в 1921 году: «Нет ничего общего между Толстым и большевизмом»,³¹ поскольку великий писатель последовательно отрицает государство, насилие (и революцию как один из видов его), теорию прогресса. Не случайно наибольшее количество «толстовских» сборников Союза русских писателей и журналистов в Югославии и Союза ревнителю чистоты русского языка в Югославии приходится именно на 1928 год. В газетах появилось множество юбилейных материалов: статьи и воспоминания, анкеты с вопросами о Толстом (ответы европейских писателей начинались статьёй Т. Манна), репортажи о праздновании юбилея в Берлине, Праге и других центрах русской эмиграции. Особое место занимали сообщения из Советской России, а также отклики на мероприятия, проведенные в СССР, — например, статья В. Ф. Булгакова «Большевистская цензура и юбилей Толстого». В противовес советским изданиям, имевшим возможность печатать все новые и новые толстовские материалы, эмигрантская пресса тоже публиковала неизданные письма и неизвестные главы из произведений великого писателя.

Юбилейными материалами полны «Современные записки». Среди них серьезные статьи П. М. Бицилли,³² Н. О. Лосского,³³ В. А. Маклакова³⁴ с анализом творчества писателя. Появляются новые воспоминания. Так, И. А. Бунин написал свои воспоминания «О Толстом» в 1927 году, приурочив их к юбилею.³⁵ Не случайно рецензии на воспоминания хранились в архиве Бунина с ошибочной датой — 1928 год.³⁶ Отзвуки этой «борьбы за Толстого» можно найти и позднее — в трактате Бунина «Освобождение Толстого». Он цитирует статью Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции», не считая нужным комментировать ее, — как пример величайшей глупости, сказанной о великом писателе.

Говоря о теме Толстого в литературе эмиграции, необходимо учитывать, что столетний юбилей великого русского писателя практически совпадает с десятилетним юбилеем советской власти. Примерно в это время общественное сознание эмиграции приходит к мысли о том, что большевизм победил всерьез и надолго. Эмигранты понимают, что им не суждено вернуться на родину и придется умереть изгнанниками на чужбине. Так, В. Н. Муромцева-Бунина записывает в дневнике 11 февраля 1932 года:

²⁹ Квитко Д. Ю. Философия Толстого. М., 1928.

³⁰ Бурлюк Д. Толстой. Горький. Поэмы. Нью-Йорк, 1928—1929. С. 18.

³¹ Маклаков В. А. Толстой и большевизм. Париж, 1921. С. 33.

³² Бицилли П. М. Проблема жизни и смерти в творчестве Толстого // Современные записки (Париж). 1928. № 36. С. 274—304.

³³ Лосский Н. О. Л. Н. Толстой как художник и мыслитель // Современные записки (Париж). 1928. № 37. С. 234—241.

³⁴ Маклаков В. А. Толстой — как мировое явление // Современные записки (Париж). 1929. № 38. С. 224—245.

³⁵ Бунин И. А. О Толстом // Современные записки (Париж). 1927. № 32. С. 5—18.

³⁶ РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. Ед. хр. 149.

«А в Россию нам не вернуться, раньше жила где-то на дне надежда, а теперь и она пропала. Надолго там заведена песенка.

И я вспомнила в сотый раз Ростовцева, как он в первый год эмиграции говорил:

— В Россию? Никогда не попадем. Здесь умрем. Это всегда так кажется людям, плохо помнящим историю. А ведь как часто приходилось читать, например: „не прошло и 25 лет, как то-то или тот-то изменились”? Вот и у нас будет так же. Не пройдет и 25 лет, как падут большевики, а может быть, и 50 — но для нас с вами, Иван Алексеевич, это вечность...»³⁷

В связи с переломом в сознании эмиграции Толстой перестает восприниматься как политическая злоба дня. Толстовство отходит на второй план, его историческое значение часто преуменьшается. А. А. Кизеветтер пишет в воспоминаниях, изданных в Праге в 1929 году: «Но это течение (толстовство. — *Е. П.*) никогда не получало такого широкого развития, чтобы про него можно было сказать, что оно налагало печать на духовный склад целого поколения».³⁸ Несколько иначе об этом говорит В. А. Маклаков: «„Толстовство” прошло без влияния на строй русского общества; толстовцы были хорошие, но все-таки единичные люди. Они задавались недостижимой целью — сочесть мир и культуру с учением Христа, то есть повторяли то, что сделал весь мир, когда стал считать и называть себя „христианским”. (...) Поэтому их попытки забыли, зато не забыли и не забудут самого Толстого, который хотел воскресить перед людьми настоящего Христа, освободить его от внесенных в его учение мирских компромиссов».³⁹ Маклаков отделяет значение моральной проповеди Толстого от значения толстовства как общественного движения.

В 1920-е годы сознание эмиграции было направлено вовне, ее миссией была борьба с большевизмом. В 1930-е годы эмиграция обращается к себе и собственной судьбе, что приводит к созданию идеологических концепций, согласно которым русская эмиграция стоит в авангарде человечества. Разумеется, периодизация более чем условна. Она касается общественного сознания в целом. В реальности кто-то пришел к таким выводам раньше, кто-то позже, а кто-то вообще не разделял подобной точки зрения. Например, еще 16 февраля 1924 года Бунин открыл вечер «Миссия русской эмиграции» речью, в которой, в частности, утверждал: «Можно ли говорить, что мы чьи-то делегаты, на которых возложено некое поручение, что мы предстательствуем за кого-то? Цель нашего вечера — напомнить, что не только можно, но и должно».⁴⁰ И несмотря на то, что в этой речи еще звучит надежда на падение большевиков и возвращение в Россию, в ней появляются и иные нотки, подготовляющие настроения 1930-х годов: «А кроме того, есть еще нечто, что гораздо больше даже и России и особенно ее материальных интересов. Это — мой Бог и моя душа».⁴¹

Во второе десятилетие эмиграции о Толстом говорят как о человеке, затронувшем основные вопросы бытия, своеобразном «мирском философе». П. М. Бицилли выпускает в конце 1920-х годов книгу «Проблема жизни и смерти в творчестве Толстого»,⁴² а В. А. Маклаков в ранее уже упоминавшейся юбилейной статье в журнале «Современные записки» заявляет: с основным утверждением Толстого приходится согласиться — жизнь в обычном ее понимании действительно бессмысленна.⁴³ В 1930-е годы эмиграция выделяет у Толстого проблему смерти и практически сводит к ней все творчество великого писателя.

³⁷ Устами Буниных: Дневники. Т. 2. С. 263—264.

³⁸ *Кизеветтер А. А.* На рубеже двух столетий (Воспоминания. 1881—1914). Прага, 1929. С. 172.

³⁹ *Маклаков В. А.* Из воспоминаний. С. 86.

⁴⁰ *Бунин И. А.* Публицистика 1918—1953 годов. С. 148.

⁴¹ Там же. С. 155.

⁴² *Бицилли П. М.* Проблема жизни и смерти в творчестве Толстого. Прага, 1929.

⁴³ *Маклаков В. А.* Толстой — как мировое явление. С. 233.

В 1930-е годы тема смерти становится чрезвычайно злободневной, так как среди эмигрантов преобладают люди пожилые. Г. Н. Кузнецова отмечает в «Грасском дневнике», что эмиграция живет в «атмосфере беспрестанных смертей».⁴⁴ К этому добавляется историко-культурное самосознание зарубежья. После юбилея советской власти возникает острое ощущение, что русская культура умерла, — и похороны видных деятелей эмиграции приобретают символическое значение похорон России. Окрашенное же русским имперским сознанием, с одной стороны, и осмыслением политической ситуации 1930-х годов, с другой, это мироощущение превращалось в гамлетовское «порвалась связь времен», в мысль о свершившейся мировой катастрофе.

Рассматривая разные произведения 1930-х годов, где основной темой является дробление и распад жизни, тленность и призрачность бытия, мы почти всегда можем обнаружить толстовские мотивы. Например, в «Распаде атома» (1938) Г. В. Иванова дважды упоминается имя Толстого. Иванов пишет о мистерии полового акта — неразделимости красоты и безобразия. И заканчивает: «Желанье описало полный круг по спирали, закинутой глубоко в вечность, и вернулось назад, в пустоту. „Это было так прекрасно, что не может кончиться со смертью“, — записывает после брачной ночи молодой Толстой».⁴⁵ Любовь и смерть объединены, это таинство одного порядка. Но в самом конце своего произведения Иванов поправляет Толстого: «Это было так бессмысленно, что не может кончиться со смертью». Предметом рефлексии главного героя становится, в числе прочего, толстовское понимание чувственной любви. Цитата из «молодого Толстого» вступает в кажущееся противоречие с поправкой повествователя, которая, по сути, напоминает идеи Толстого времен «Крейцеровой сонаты» и «Дьявола». Понятие «прекрасное» уступает свое место «бессмысленному», поскольку любовь и любимый не вечны. Но, по мысли Иванова, от этого еще более убедительна необходимость бессмертия, поскольку в земной любви должен быть смысл. Значит, он за гробом.

В романе В. В. Набокова «Приглашение на казнь» (1936) Цинциннат Ц. живет в «мнимом мире мнимых вещей». По ходу действия этот мир все более разрушается, демонстрируя свою рукотворность и неистинность. Жизнь героя после приговора — хотя Цинциннат знает о том, что должен умереть, ему не сообщают дату казни — воспринимается как аллегория человеческой жизни. Этому способствует и семантика заглавия. В своих записях герой рассуждает о собственной участи: «...как и всякий смертный, смертного своего предела не ведаю и могу применить к себе общую для всех формулу: вероятность будущего уменьшается в обратной зависимости от его умозримого удаления».⁴⁶ По форме (математически-формульное определение смысла жизненных отрезков) это очень напоминает толстовские мысли из книги «Путь жизни», например: «Ценность жизни обратно пропорциональна квадратам расстояния до смерти».⁴⁷ О предстоящей смерти Цинциннат пишет толстовскими словами: «На меня этой ночью, — и случается так не впервые, — *нашло* (слово из гоголевских «Записок сумасшедшего». — *Е. П.*) особенное: я снимаю с себя оболочку за оболочкой (излюбленное Толстым понятие «освобождения от плоти», использованное Буниным в книге о нем. — *Е. П.*), и наконец... не знаю, как описать, — но вот что я знаю: я дохожу путем постепенного разоблачения до последней, неделимой, твердой, сияющей точки, и эта точка говорит: я есмь!»⁴⁸ «Сияющая точка», залог спасения и вечной

⁴⁴ Кузнецова Г. Н. Грасский дневник. М., 1995. С. 233 (запись от 20 января 1932 года). В дневнике есть еще несколько записей такого рода. Например, 6 декабря 1930 года Кузнецова записывает: «Смерти идут как-то гроздьями, сразу смерть нескольких знакомых» (Там же. С. 187).

⁴⁵ Иванов Г. В. Распад атома // Иванов Г. В. Собр. соч.: В 3 т. М., 1994. Т. 2. С. 23—24.

⁴⁶ Набоков В. В. Приглашение на казнь // Набоков В. В. Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 4. С. 50.

⁴⁷ Толстой Л. Н. Путь жизни. М., 1993. С. 386.

⁴⁸ Набоков В. В. Приглашение на казнь. С. 50.

жизни, увиденная Иваном Ильичом вне себя, в романе Набокова обретена героем в глубине своей души — может быть, поэтому он и непрозрачен, как все остальные персонажи романа.

Переход от жизни к смерти Цинциннат сравнивает с переходом от сна к яви: во сне есть больше «истинной действительности», чем наяву, поскольку «явь есть полусон, дурная дремота, куда извне проникают, странно, дико изменяясь, звуки и образы действительного мира». В этом пассаже значительно более заметна философская традиция символизма, нежели толстовства, но заканчивается рассуждение вовсе не по-символистски: «Но как я боюсь проснуться!»⁴⁹ Здесь вспоминается страшное и мучительное «пробуждение от жизни» князя Андрея Болконского, которому Бунин в «Освобождении Толстого» посвятил целую главу.

Во многих эмигрантских произведениях 1930-х годов, затрагивающих тему смерти, появляются аллюзии или цитаты из Толстого. В этом контексте неудивительно, что Бунин, задумав книгу о Толстом, выделил ее как основную в творчестве великого писателя. Но пишет о ней Бунин в совершенно ином ключе. Первые строки — цитата из буддийского текста: «Отверзите уши ваши: освобождение от смерти найдено».⁵⁰ Жизнь Толстого становится «благив вестью» людям, а текст, созданный Буниным, — новым Евангелием, повествованием о человеке, победившем смерть.

Толстой, по мысли Бунина, — один из гениев человечества, стоящий в одном ряду с Буддой, Соломоном, Магометом, Христом. Такой человек необычайно одарен всеми земными благами, но, осознав их суетность и бессмысленность, освобождается от них — от одного за другим — и, наконец, от самой жизни. Освобождение от жизни оказывается и освобождением от смерти: Толстой, пишет Бунин, еще при жизни вышел за сферу действия законов человеческого бытия. Он ощущал присутствие Бога в явлениях этого мира — и спасся своей неколебимой верой.

Такое понимание жизненного пути Толстого вызвало гневную отповедь со стороны Русской Православной Церкви за рубежом. О. Иоанн (Шаховской) написал книгу, полемически направленную против Бунина.⁵¹ В ней указывается на смешение буддийских и христианских идей в сознании Бунина. Нельзя, например, говорит о. Иоанн, считать признаком святости постоянную мысль о смерти. С точки зрения буддизма, всякое духовное беспокойство блаженно, но христианство делит духовные феномены на светлые и темные. Поэтому предсмертный уход, с его точки зрения, — не освобождение, а крах. Беда Толстого в том, заключает о. Иоанн, что он не знал личного Бога. Всю жизнь он каялся перед самим собой, перед людьми, миром, но никогда — перед лицом Господа.

О. Иоанн, безусловно, прав с той точки зрения, что в концепции Бунина нашла отражение как его собственная идеализация Толстого, так и общеэмигрантские настроения 1930-х годов. Тема смерти человека в соединении с темой смерти России — доминанта сознания русского зарубежья. Умершей представляется эмиграции и русская культура. В связи с этим чрезвычайно распространяется жанр биографии — в основном музыкантов (два романа Н. Н. Берберовой «Чайковский»⁵² и «Бородин»⁵³) и писателей («Жизнь Тургенева» Б. К. Зайцева,⁵⁴ «Державин» В. Ф. Ходасевича⁵⁵ и т. д.). Появление этих сочинений вызвано осознанием необходимости сохранить, зафиксировать умершую русскую культуру. Их герои наделяются идеальными чертами, часто для этого используются формулы житийного канона. Бунин пишет книгу о

⁴⁹ Там же. С. 52.

⁵⁰ Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 7.

⁵¹ Архиеп. Иоанн (Шаховской). К истории русской интеллигенции (Революция Толстого). Нью-Йорк. [Б. г.].

⁵² Берберова Н. Н. Чайковский: История одинокой жизни. Берлин, 1936.

⁵³ Берберова Н. Н. Бородин. Берлин, 1938.

⁵⁴ Зайцев Б. К. Жизнь Тургенева. Париж, 1932.

⁵⁵ Ходасевич В. Ф. Державин. Париж, 1931.

Толстом именно в этом контексте (первоначально выпустить ряд биографий планировалось единым циклом, наподобие серии ЖЗЛ в СССР). Он усиливает идеализирующие мотивы и темы, доводя сложившуюся традицию до логического конца. Таким образом, Толстой вновь, как и в 1920-е годы, становится знаменем эмиграции в ее борьбе за сохранение русской культуры.

© В. В. Перхин

П. И. ЛЕБЕДЕВ-ПОЛЯНСКИЙ КАК ЦЕНЗОР

П. И. Лебедев-Полянский (1882—1948) известен как деятель Пролеткульта и литературовед, издатель и литературный критик.¹ Его цензорская деятельность привлекла внимание только в последнее время.² Она началась в политическом отделе Государственного издательства. Одним из руководителей этого отдела он был с момента его создания в 1920 году. В 1922 году Лебедев-Полянский стал председателем Главлита. Эта должность требовала быть как контролером, так и идеологом цензуры. В основу концепции цензуры Лебедев-Полянский положил продуманные моральные, политические и эстетические принципы.

Моральное сознание Лебедева-Полянского формировалось в Муромском духовном училище, а затем во Владимирской духовной семинарии, где он изучал богословие с 14 до 20 лет. В 1947 году он с гордостью вспоминал, что закончил семинарию «по первому разряду»³ и был рекомендован в Духовную академию. Изучение Святого писания, религиозных трудов повлияло на этику будущего цензора. Например, богословские традиции «требовали мягкой снисходительности к явлениям культуры (если это, впрочем, не безусловное зло) ради их исправления, а не грубого обличения их».⁴ Исправлять, воспитывать непролетарских писателей будет стараться Лебедев-Полянский-цензор. Религиозно-духовное понимание мира как «авторитарного общества с верховным авторитетом, „божеством” над ним»⁵ оставило след в его политическом сознании.

Однако политические взгляды Лебедева-Полянского подверглись существенной корректировке в процессе столкновений с самодержавной властью в России. Как участник социал-демократического, революционного движения он неоднократно арестовывался (1904, 1906—1907, 1908, 1917 годы), дважды ему грозила смерть.⁶ В тех условиях Лебедев-Полянский стал приверженцем установления пролетарской диктатуры при руководящей роли партии рабочего класса. Вероятно, ему было известно сформулированное В. И. Лениным в 1906 году понятие диктатуры пролетариата как власти, «ничем не ограниченной, (...) непосредственно на насилии опирающейся», неоднократно впоследствии разъясняемое.⁷

¹ См.: Яковлев Б. Критик-боец (о П. И. Лебедеве-Полянском). М., 1960.

² Блюм А. За кулисами «министерства правды»: Тайная история советской цензуры. 1917—1929. СПб., 1994. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

³ Лебедев-Полянский П. И. Автобиография // Лит. наследство. 1948. Т. 55. С. 580.

⁴ Дмитриев А. П. Духовные писатели как литературные критики (1855—1900). Автореф. канд. дис. СПб., 1995. С. 11.

⁵ Богданов А. А. О художественном наследстве // Богданов А. Вопросы социализма. Работы разных лет. М., 1990. С. 431.

⁶ Лебедев-Полянский П. И. Автобиография // Энцикл. словарь / Гранат. 1925. Т. 41. Вып. 2. Стлб. 287—288.

⁷ Цит. по: Замалеев А. Ф., Осипов И. Д. Русская политология. Обзор основных направлений. СПб., 1994. С. 159. См. также: Ленин В. И. Государство и революция // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 88.

В годы гражданской войны как председатель Всероссийского Пролеткульта и апологет рабочего коллективизма Лебедев-Полянский требовал автономии этой организации, отделения ее от Наркомпроса. В 1920 году после Письма ЦК РКП(б) «О Пролеткультах» он окончательно утвердился на позиции целенаправленного государственно-го управления культурой.

В начале 1920-х годов один из его идейных ориентиров в политике — Л. Д. Троцкий, брошюру которого «Терроризм и коммунизм» Лебедев-Полянский считал «прекрасной».⁸ Троцкий, член Политбюро, был сторонником всепроникающего политического контроля. Он ратовал за «беспощадное государство, которое повелительно охватывает жизнь со всех сторон».⁹ Этой цели должна была служить и цензура. Осенью 1923 года Троцкий заявлял: «И у нас есть цензура, и очень жестокая».¹⁰

Усиление централизации, верность принципам «беспощадного государства» — такова главная линия Лебедева-Полянского на посту лидера Главлита. В разработанных им документах развиваются установки «Положения о Главном управлении по делам литературы и издательства (Главлит)». Оно было утверждено председателем Совета народных комиссаров А. И. Рыковым 6 июня 1922 года.¹¹ В соответствии с теорией государства диктатуры пролетариата и требованием «Положения...» об объединении «всех видов цензуры печатных произведений» Лебедев-Полянский стремился ликвидировать «множественность органов и учреждений», руководивших печатью (с. 82), и утвердить единое понимание функций и сущности цензуры.

Между тем в начале 1920-х годов по вопросу о цензуре существовали различные мнения. Одно из них возникло после февраля 1917 года. Оно базировалось на концепции правового государства, отрицании классово-борьбы как движущей силы общественного развития и на идее создания коалиционной власти, способной уберечь страну от опасностей диктатуры.¹² 21 декабря 1921 года подобная точка зрения была выражена в письме Правления Всероссийского союза писателей. Оно было направлено А. В. Луначарскому, народному комиссару просвещения, и подписано Ю. И. Айхенвальдом, Н. А. Бердяевым, И. В. Жилкиным, Б. К. Зайцевым, В. Г. Лидиным, И. А. Новиковым. В нем подчеркивалось, что политическая цензура присваивает себе функции литературного критика, историка литературы, «последнего судьи в вопросах научного историоведения», а также «в вопросах религиозной совести» (с. 276). В подтверждение авторы письма указывали на то, что Лебедев-Полянский запретил рецензию А. А. Кизеветтера на книгу С. Ф. Платонова по той причине, что она «не совпадает с рецензией на нее М. П. Покровского» (с. 276). Покровский был заместителем Луначарского, поэтому авторы письма расценили действия Лебедева-Полянского как «редкое проявление духовного сервизма». Они призывали упразднить контроль за творчеством: «Цензура должна быть политическим сторожем у ворот литературы, а не хозяином в ее доме» (с. 277). Они выражали надежду, что в дальнейшем писатель будет отвечать только «перед судами Республики» (с. 277).

Идеи правового регулирования отношений писателя и власти Лебедев-Полянский даже не заметил. В ответе на имя Луначарского, который был написан, вероятно, совместно с Н. А. Мещеряковым как соруководителем политотдела ГИЗа, Лебедев-Полянский объяснял, что цензура защищает диктатуру пролетариата и руководствуется «директивами Политбюро ЦК РКП».¹³ Он не оставлял авторам письма никаких

⁸ Полянский В. Гершензон и Замятин. (Современные литературные настроения) // Современник. 1922. № 1. С. 154.

⁹ Цит. по: Замалеев А. Ф., Осипов И. Д. Указ. соч. С. 165.

¹⁰ Троцкий Л. Д. Литература и революция. М., 1991. С. 29.

¹¹ РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 113. Ед. хр. 271. Л. 151—152. См. также: История советской политической цензуры. Документы и комментарии. М., 1997. С. 35—36.

¹² См.: Зыкова Г. В. Жилкин Иван Васильевич // Русские писатели. 1800—1917 // Биографический словарь. М., 1992. Т. 2. С. 269.

¹³ Из переписки А. В. Луначарского с П. И. Лебедевым-Полянским / Публикация А. В. Блюма // De visu. 1993. № 10(11). С. 17—22.

надежд: «Пролетариат не может примириться с той ролью, которую они ему отводят. Пролетариат — хозяин жизни и поэтому он будет не сторожем у ворот буржуазной литературы (...) а будет заглядывать внутрь дома, чтобы посмотреть, что там делается, и, в случае надобности, прекратить безобразие» (с. 279). Действительно, вскоре трое из авторов письма (Айхенвальд, Бердяев, Зайцев) были высланы за границу, другие «остепенелись». Таким образом, директивы ЦК РКП(б) и классовый интерес были объявлены единственными регуляторами отношений между цензурой и писателями.

Эта тенденция закрепились в дальнейшем. В 1924 году Лебедев-Полянский писал Луначарскому: «Представитель Отдела печати ЦК РКП принимает весьма деятельное участие в делах Главлита — всякий сомнительный вопрос, принципиальный или конкретный, всегда согласуется с Отделом печати. Связь самая прочная и крепкая...» (с. 119). В 1925 году, объясняя запрет московской «Радио-газеты», Лебедев-Полянский утверждал: «„Радио-газета“ была задержана и окончательно не разрешена по инициативе и согласованию вопроса с Отделом печати ЦК РКП» (с. 115).¹⁴

Осенью 1926 года Лебедев-Полянский направил в ЦК ВКП(б) программную «Докладную записку о деятельности Главлита», в которой пришел к следующим выводам: «Необходимо: а) Более приблизить Главлит к Центральн(ым) партийным органам; б) Передать Главлиту предварительный и последующий просмотр всей литературы, до сих пор изъятой из его ведения».¹⁵ Таким образом, он подтвердил линию на централизацию и дальнейшее расширение сферы контроля за литературой со стороны «беспощадного государства».

Вместе с тем история возникновения «Докладной записки...» показывает, что позиция Лебедева-Полянского отличалась от требований партийных экстремистов. «Докладная записка...» была вызвана нападка в связи с появлением статьи Н. В. Устрялова в журнале «Новая Россия» (1926, № 3), выходявшем под редакцией И. Г. Лежнева, и публикацией в «Красной нови» «Повести непогашенной луны» Б. А. Пильняка. Один из таких экстремистов, оставшийся безымянным, доносил в ЦК ВКП(б): «Сменовеховский журнал окончательно обнаглед и выступает со статьей Устрялова явно контрреволюционного содержания. И номер разрешен нашей цензурой, состоящей из коммунистов (...) Они на деле свободу печати Лежневым и Устряловым из „Новой России“ дают, спокойно позволяя им открыто вести в „Новой России“ проповедь против монополии внешней торговли, за предоставление политических прав кулаку».¹⁶ В «Новой России» публиковались также произведения М. А. Булгакова, Е. И. Замятина, Б. А. Пильняка. Поэтому автор донесения заключал: «Наша печать должна быть печатью пролетарской диктатуры. Наша печать должна быть независимой от влияния сменовеховцев, Пильняков, Булгаковых и им подобных».¹⁷

Объясняя ЦК ВКП(б) эти промахи, Лебедев-Полянский писал: «Все время печатно и устно упрекали в неразумной жестокости. Эта обстановка вынуждала Главлит иногда быть мягче, чем он находил нужным. Но в общем он стоял на позиции: не нарушая культурных интересов страны, не принимая внешне свирепого вида, не допускать того, что бы мешало советскому и партийному строительству».¹⁸

Экстремисты менее всего заботились о «культурных интересах страны». Они требовали «сковать всю Россию, а потом и весь мир, цепью одинаковости мысли и чувства». «Государство, — призывал напостовец И. В. Вардин в мае 1924 года на совеща-

¹⁴ О цензуре радиогает см.: Горьева Т. М. Журналистика и цензура (По материалам советского радиовещания 20—30-х годов. Источниковедческий аспект) // История СССР. 1990. № 4. С. 112—118.

¹⁵ РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 113. Ед. хр. 271. Л. 126. Благодарю Д. Л. Бабиченко за указание на этот источник.

¹⁶ Там же. Л. 155.

¹⁷ Там же. Л. 156.

¹⁸ Там же. Л. 125.

нии в ЦК ВКП(б), — и духовно нужно сковать. Литературная чека нам необходима». ¹⁹ За призывами следовали соответствующие дела. О них С. Н. Сергеев-Ценский сообщал в декабре 1926 года в письме к М. Горькому: «У нас только (...) со всяким искусством вообще ведут победоносную, конечно, борьбу, то ликвидируя одного деятеля искусства, то другого». ²⁰

В ряду таких «ликвидаций» было закрытие журнала «Новая Россия» и запрет на журнальные публикации Пильняка в наказание за «Повесть непогашенной луны». 26 мая 1926 года Лебедев-Полянский предложил цензорам «впредь до особого распоряжения не допускать помещения произведений Б. Пильняка в толстых партийно-советских журналах» (с. 229). В. М. Молотов в октябре 1926 года уточнил: «Пильняка с год не пускать в основные три журнала, а в других можно печататься». ²¹ И. В. Сталин согласился: «Думаю, что этого довольно». ²² Суждения Молотова и Сталина, не слишком жесткие, позволяют понять внутренний смысл предложения Лебедева-Полянского о более тесной близости Главлита к центральным партийным органам. Это означало: подальше от экстремистов. Лебедев-Полянский не был против административных мер, но не разделял призыв руководить писателями с помощью «литературной чеки»: он хотел «исправления», а не уничтожения.

Однако в аппарате ЦК ВКП(б) были сильные сторонники жестоких репрессий. Заведующий отделом печати В. Н. Васильевский добавил в подготовленный Лебедевым-Полянским проект решения Оргбюро ЦК ВКП(б) две «ближайших задачи Главлита»: «1. Всемерное ограничение проникновения в печать произведений сменеховского характера; 2. Твердый курс на сокращение инако-партийных частных издательств». ²³

Эти дополнения свидетельствуют, что экстремисты хотели, чтобы Главлит стал инструментом уничтожения новой экономической политики. В ответ сторонники продолжения НЭПа выступили против того, чтобы «орудие критики в 1926 году заменять критикой оружием, административным воздействием». Они предлагали и Булгакова, и Пильняка, и «Новую Россию» «разнести», «разделить острой критической статьей». ²⁴ В ряду таких коммунистов был А. В. Луначарский.

Луначарский всегда имел свое мнение по вопросу о власти и о взаимоотношении государства и литературы. В 1921 году он опубликовал статью, в которой, ратуя за усиление «диктатуры государственной власти» и цензуры, предупреждал об опасности «превращения сильной пролетарской власти (...) в полицейщину, аракчеевщину». ²⁵ Источник этой опасности он видел в идее «государственного руководства литературой». ²⁶ Вероятно, Луначарский разделял мнение А. А. Богданова, который еще в 1918 году пронзительно подметил: «Авторитарный мир отжил, но не умер». ²⁷ Богданов улавливал опасность «процесса преобразования организации» в организацию «строгой авторитарной дисциплины, „твердой власти“». ²⁸ Этим тенденциям Луначарский противопоставлял опору на мнение литературной и советской общественности и голос низов.

Со своих позиций нарком оценивал работу подведомственного ему Главлита. В 1924 году он писал: «Надо уметь читать произведение, надо уметь критиковать,

¹⁹ Наука и жизнь. 1988. № 10. С. 122.

²⁰ Архив М. Горького. КГ.-П71.2.12.

²¹ Цит. по: «Исключить всякие упоминания...». Очерки истории советской цензуры. Минск; Москва, 1995. С. 69.

²² Там же. С. 70.

²³ РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 113. Ед. хр. 271. Л. 148.

²⁴ Там же. Л. 155.

²⁵ Луначарский А. В. Свобода книги и революция // Печать и революция. 1921. № 1. С. 8.

²⁶ Там же.

²⁷ Богданов А. А. Вопросы социализма. С. 431.

²⁸ Богданов А. А. Всеобщая организационная наука (Тектология). Л.; М., 1927. Ч. 2. С. 134. См. также: Богданов А. А. Тектология. Всеобщая организационная наука. М., 1989. Кн. 2. С. 108.

нужен опытный читатель. Но в цензурном отношении нужно быть возможно более широкими». ²⁹ 12 декабря 1924 года Лебедев-Полянский отправил Луначарскому письмо, в котором не согласился с «косвенным осуждением нашей деятельности, неоднократно проскальзывавшим и ранее в Ваших статьях» (с. 119).

Луначарский продолжал отстаивать свою позицию. Он призывал слышать «огромную крестьянскую Русь, которая больше в шесть-пять раз рабочей Руси», не допускать, «чтобы было только то, что пройдет через партийное сито». ³⁰ В 1926 году в «Тезисах о политике РКП в области литературы» Луначарский настаивал: «Все талантливое должно находить возможно более свободный доступ на книжный рынок. Только при наличии такой широкой литературы мы будем иметь перед собой настоящий рупор, в который будут говорить все слои и группы нашей огромной страны, только тогда мы будем иметь достаточный материал и в субъективных высказываниях этих писателей как представителей этих групп, и в объективных наблюдениях над нашей действительностью, взятых с различных точек зрения». ³¹

Накануне упомянутых событий 1926 года, связанных с «Новой Россией», Пильняком и «Докладной запиской...» Лебедева-Полянского, нарком пытался убедить коллег по партии: «Сейчас в портфелях цензуры находятся некоторые пьесы, написанные коммунистами, ставящие жгучие вопросы нашей действительности, ставящие, может быть, неудачно. Не отрицая, что в некоторых случаях такого рода пьесы по условиям времени могут быть совершенно вредны и должны быть запрещены, я в общем нахожу, что мы сами обезоруживаем себя, сами лишаем себя художественной изюминки, если будем задерживать от выхода в свет подобные произведения вместо того, чтобы противопоставить им нашу критику...» ³² Этой точки зрения Луначарский придерживался и позднее: «В большинстве случаев критика бывает полезнее запрета». ³³ И был решительно против того, чтобы «ограничить писательские права» Е. И. Замятина, А. Белого, А. Н. Толстого, «подвергнуть их более суровой цензуре». ³⁴

7 марта 1927 года планировалось рассмотреть «Докладную записку...» на заседании Оргбюро ЦК ВКП(б). В тот день Луначарский направил в секретариат Оргбюро следующую телефонограмму: «Сегодня на повестке дня стоит обсуждение резолюции по докладу Главлита. Между тем по вопросу этому возникли серьезные разногласия, которые могут быть улажены лишь в течение ближайших дней. Поэтому от имени всей коллегии НКП прошу снять этот вопрос с сегодняшней повестки». ³⁵

Однако деятели, которых не интересовала «художественная изюминка» и которые стремились ликвидировать «различные точки зрения» на действительность и литературу, были неутомимы. Вместе с тем сохранялось противоречие между партийно-государственной концепцией цензуры Лебедева-Полянского и «плюралистической» концепцией Луначарского. 17 февраля 1929 года в докладе «Классовая борьба в искусстве», прочитанном в Большом зале Московской консерватории, Луначарский согласился со сталинской идеей усиления классовой борьбы: «Наш классовый натиск должен быть усилен». Но он предостерегал от переноса «линии в политике» в область культуры. «Можем ли мы, например, — говорил Луначарский, — сказать: так как сто-процентная коммунистическая литература важнее и лучше всего для страны, то остальная литература должна молчать, а так как она не хочет молчать добровольно, то можно запретить ей разговаривать? Нет, это будет иметь отрицательный результат. В действительности нам нужно, чтобы говорил и беспартийный пролетариат и крестья-

²⁹ Луначарский А. В. Вопросы литературы и драматургии // Луначарский А. В. Собр. соч.: В 8 т. М., 1964. Т. 2. С. 265.

³⁰ Там же.

³¹ Лит. наследство. 1965. Т. 74. С. 31.

³² Там же. С. 43.

³³ Луначарский А. В. Собр. соч.: В 8 т. Т. 2. С. 424.

³⁴ Лит. наследство. Т. 74. С. 31.

³⁵ РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 113. Ед. хр. 271. Л. 184.

янин, чтобы говорила интеллигенция. Прямо против нас направленную, контрреволюционную литературу мы пресекаем цензурой. Но трудовой интеллигенции и крестьянству мы должны дать возможность высказаться...»³⁶

В 1929 году такое понимание вещей расходилось не только с требованиями экстремистов, но и с «генеральной линией» власти, которая все меньше хотела слушать крестьянство и «остальную литературу», все более отвечала требованиям экстремистов. Начинало сбываться пророчество А. А. Богданова о преобразовании организации с «едва заметной авторитарностью» в организацию «твердой власти». Партийно-государственное все более подменялось авторитарным. Цензура была орудием этого процесса.

Начиная с 1929 года цензоры должны были следить за тем, чтобы газетные клише портрета Сталина были изготовлены только со снимков, полученных «Пресс-клише» РОСТА (с. 128). Против этого Лебедев-Полянский не возражал. Такая уступчивость была предопределена элементами политического и морального сознания, сформированного в годы семинарской подготовки к учебе в Духовной академии. Религия, по мнению А. А. Богданова, вводит человека в «авторитарный строй жизни», «ставит на определенное место в его системе и дисциплинирует его для выполнения той роли, какая ему в этой системе предудказана».³⁷

Однако идеолог пролетарского коллективизма не мог стать певцом авторитарной политики, безоглядно ей следовать. В многочисленных письмах Лебедева-Полянского к Луначарскому в 1930—1931 годах нет ни слова об отношении к сталинской деятельности, но есть отдельные фразы, выражающие его недовольство усилением абсолютной власти «непогрешимых Энгельсов»,³⁸ т. е. тех деятелей, которые утверждали сталинскую линию в области философии и исторической науки. Это недовольство, а также элементы православной этики обусловили внутренний конфликт в его деятельности последних двух лет на посту начальника Главлита.

В начале 1931 года Лебедев-Полянский выступил с большим докладом на совещании заведующих обкрайлитами. Это было время, когда осуществление политики уничтожения кулачества как класса требовало оправдания любой жестокости «беспопачного государства». Инакомыслие предлагалось «выжигать каленым железом».³⁹ Ведущим был лозунг «союзник или враг». Уклонившиеся от политической линии получали ярлык «классового врага» и «фальсификатора в области художественной литературы».⁴⁰

В докладе Лебедева-Полянского прозвучали требования пропускать в печать только то, что «„нам нужно“, что заставляет чувствовать жизнь» (с. 181). Стараясь соответствовать новому времени, председатель Главлита говорил о том, что цензуре «надо быть *пожестче* с художественной литературой» (с. 236). Вместе с тем его указания были лишены политического экстремизма, он по-прежнему был против «грубого обличения» и «свирепого вида», так как установку «быть *пожестче*» он предлагал сочетать с «внимательным и проникновенным отношением» (с. 237) к тем, кто отстает от политической линии, проработки делать «как-то культурно» и даже их «отложить». «Может быть, вам, — советовал Лебедев-Полянский, — где нужно сейчас ударить, по ряду тактических соображений и не нужно ударять» (с. 232). Это уже слишком было похоже на всегдашнее отрицание «тактики удара», свойственное Луначарскому. Сказать в 1931 году, что эта тактика вредна, Лебедев-Полянский не решался из-за свойственной ему «психологии подчинения», но он не требовал «уничтожать» и «выжигать каленым железом». Он хотел быть снисходительным, он предлагал воспи-

³⁶ Луначарский А. В. Статьи о советской литературе. М., 1971. С. 129.

³⁷ Богданов А. А. Вопросы социализма. С. 431.

³⁸ РГАЛИ. Ф. 279. Оп. 2. Ед. хр. 404. Л. 2, об.

³⁹ Динамов С. От редакции // Лит. газ. 1931. 20 мая.

⁴⁰ См.: Перхин В. В. Два письма Андрея Платонова // Русская литература. 1990. № 1. С. 228—229.

тывать в стенах Союза писателей, не спешить с передачей дел в ГПУ. «Наша точка зрения, — намекал Лебедев-Полянский, — должна быть тоньше...» (с. 236).

Можно утверждать, что в 1931 году Лебедев-Полянский стремился как усвоить требования новой эпохи, так и сохранить верность исходным принципам. Со всей очевидностью эта двойственность проявилась в цензорских оценках конкретных явлений литературы. Однако они зависели не только от его концепции цензуры, но и от его эстетической программы.

Взгляды Лебедева-Полянского на искусство формировались под воздействием учения А. А. Богданова. Он был секретарем руководимой Богдановым богостроительской группы «Вперед» с момента ее возникновения в 1909 году. Теоретическую аргументацию он черпал в главном труде Богданова «Всеобщая организационная наука» (1913—1922) и особенно в его пореволюционных статьях об искусстве. Богданов утверждал, что «пролетариату необходимо искусство коллективистическое». ⁴¹ Лебедев-Полянский весьма прямолинейно проводил эту мысль в созданном им журнале «Пролетарская культура». Он боролся против искусства, проникнутого «индивидуалистически-интеллигентскими настроениями», например с поэзией С. А. Есенина. Прочитав есенинские строки «Я хочу быть тихим и строгим», Лебедев-Полянский утверждал: «Ни один серьезный и последовательный коммунист не сможет примириться с желаниями автора. Коммунист не ищет „голубого покоя“, он горит огнем красного энтузиазма. Такая поэзия мешает и раздражает». ⁴²

Мешала и раздражала Лебедева-Полянского поэзия А. А. Блока и А. Белого, а также «попутчики». В 1921 году Лебедев-Полянский запретил публиковать рассказ Б. К. Зайцева «Уединение» за «неопределенное настроение» (с. 275). В поисках «красного энтузиазма» он обратился к стихам А. И. Безыменского, который способен «за каждой мелочью Революцию мировую найти», выявить «активность». ⁴³ Это суждение почти дословно повторяет мысль Троцкого из его предисловия к книге стихов Безыменского «Как пахнет жизнь». ⁴⁴ Для обоих политическая актуальность была ценнее эстетических достоинств. Напротив, В. Я. Брюсов был невысокого мнения о тех же стихах Безыменского, потому что поэт ограничился переложением «в стихи марксистских положений» и лозунгов. ⁴⁵ Кстати, цензура не разрешила опубликовать это мнение, противоречившее взглядам могущественных представителей политической власти.

Чтобы обосновать необходимость и правомочность утилитарной литературы, Лебедев-Полянский вновь обращался к идеям Богданова. Он развивал два тезиса: 1. Искусство есть «воспитательное средство», «орудие социальной организации людей»; 2. «Воспитание же есть организаторская деятельность». ⁴⁶ Литература, разъяснял Лебедев-Полянский, «прямо и косвенно является средством организации». Более того, «каждое литературно-художественное произведение, не исключая и произведений „чистого искусства“, разрешает какую-либо организационную задачу, иногда личную, иногда широкообщественную». ⁴⁷ В современную эпоху, писал Лебедев-Полянский, когда ведущим классом стал пролетариат, «класс организаторский», и когда «эпоха наша исключительно организационная, вся жизнь перестраивается на совершенно новых принципах», художник должен «взять нужный материал и обработать его, не разойдясь с требованиями времени». ⁴⁸ Требования времени, по Лебедеву-Полянскому,

⁴¹ Богданов А. А. Вопросы социализма. С. 422.

⁴² Пролетарская культура. 1919. № 6. С. 42.

⁴³ Полянский Валерьян. Вопросы современной критики. М., 1927. С. 180, 74.

⁴⁴ Троцкий Л. Д. Предисловие // Безыменский А. Как пахнет жизнь. М., 1924. С. 4.

⁴⁵ Лит. наследство. 1976. Т. 85. С. 210.

⁴⁶ Богданов А. А. Вопросы социализма. С. 421.

⁴⁷ Полянский Валерьян. Вопросы современной критики. С. 89.

⁴⁸ Там же.

всегда идеологические, классовые, пролетарские. Поэтому художественное произведение всегда должно иметь «идеологически-организационный смысл».⁴⁹

Эти взгляды многое определяли в цензурной оценке произведений. Показательна в этом отношении судьба двухтомника А. А. Ахматовой, подготовленного «Издательством писателей в Ленинграде» в 1929 году. По поручению Правления издательства К. А. Федин составил записку, в которой обосновал необходимость издания: «Анна Ахматова занимает в поэзии место бесспорное. Обойти ее в истории русского стиха так же невозможно, как невозможно обойти Тютчева, Блока, Хлебникова. Современный серьезный поэт, писатель, историк, теоретик, критик литературы не может пренебречь обстоятельным изучением творчества Ахматовой».⁵⁰ Однако Лебедев-Полянский «категорически заявил о запрещении издавать стихи Ахматовой».⁵¹ В марте 1930 года Федин имел полуторачасовую беседу с Лебедевым-Полянским: «Я выхожу на улицу и так разбит, словно весь день таскал камни. Порядочно на свете я видел дураков; но столь законченного вижу впервые».⁵² Эстетическую аргументацию Федин главный цензор не принял. Это понятно: в лирике Ахматовой не было «нужного материала», соответствующего «требованиям времени» — эпохи сплошной коллективизации.

Вместе с тем Лебедев-Полянский стремился не только запрещать, но и воспитывать, исправлять недостатки, чтобы после переработки произведение стало «средством организации», обрело «идеологически-организационный смысл». Примером достижения этической и эстетической целей может служить его воздействие в конце 1920-х годов на таких писателей, как И. Л. Сельвинский и Б. А. Пильняк.

В ноябре 1928 года Лебедев-Полянский дал отзыв, запрещающий издание романа Сельвинского «Пушторг», так как в нем отразились «глубоко обывательские настроения» и «социально-политического понимания у автора нет». «Может быть, автор не хотел этого, — писал Лебедев-Полянский, — но получился роман, который может подрывать наше хозяйственное строительство, вызывая возмущение обстановой и убивая веру в созидательские силы. Идиоты, мерзавцы хозяйничают, честные погибают, не в силах преодолеть враждебное, бездарное, чванное, хвастливое».⁵³

Сельвинский понял задачу, сумел усилить тему борьбы партии против обывателей.⁵⁴ В 1929 году вышло отдельное издание романа, в 1931-м последовало переиздание.

В 1929 году Пильняку вновь предъявили политические обвинения. Поводом стала публикация в «белой прессе» его повести «Красное дерево».⁵⁵ Лебедев-Полянский, узнав об этом, устроил Пильняку допрос в стенах Главлита. Были предложения передать дело в ГПУ. Но по инициативе председателя решили «использовать Союз писателей» — «пускай они своего друга, члена, по-семейному, так сказать, выпорют» (с. 232). Как в то время осуществлялись «идеологические порки», ясно из «Дневника» К. А. Федина. 25 сентября 1929 года он записал: «Три дня назад — общее собрание Союза писателей (...) Правление высекло себя, дало себя высечь. Все считают, что в утрате достоинства состоит „стиль ЭПОХИ“, что „надо слушаться“, надо понять бесплодность попыток вести какую-то особую линию, линию писательской добропорядочности (...) Сейчас нужны люди вроде историка литературы (В. Е.) Евгеньева-Максимова, который (...) письменно выразил обиду на Гос. изд-во за то, что оно не уведо-

⁴⁹ Там же. С. 83.

⁵⁰ Цит. по: Художник и общество (Неопубликованные дневники К. Федина 20—30-х годов) // Русская литература. 1992. № 4. С. 168.

⁵¹ Там же.

⁵² Там же. С. 172.

⁵³ Архив РАН. Ф. 597. Оп. 3. Ед. хр. 15. Л. 9.

⁵⁴ Обзор мнений политических критиков, совпадавших с оценками Лебедева-Полянского, см.: Резник О. Жизнь в поэзии (О Сельвинском). М., 1981. С. 128—154.

⁵⁵ См.: Любимова М. Ю. Е. И. Замятин и Б. А. Пильняк (материалы к биографиям) // Историко-литературное изучение памятников письменной культуры. Сб. научн. тр. СПб., 1994. С. 103.

мило его о запрещении написанного им предисловия к собранию сочинений Некрасова, ибо если бы оно — изд-во — уведомило, то он — историк литературы — переделал бы предисловие по указаниям Гублита, „требованиям которого всегда отвечали все мои статьи и книги”. Вот это человек эпохи! Я был раздавлен происходившей 22 сентября поркой писателей. Никогда личность моя не была так унижена.⁵⁶

Напротив, Лебедев-Полянский был доволен. «Ну, попарились, — рассказывал он заведующим облкрайлитами, — а вы знаете, как пар на русского человека действует, каждый желает, чтобы градус был выше, а веник крепче, раз, два, четыре, кости размяли, и все улыбались» (с. 232).

То, что Федин считал унижением и подавлением личности, то Лебедев-Полянский называл «служением обществу», подчинением писателя «планам, созданным рабочим классом». Апология пролетарского коллективизма исключала признание личного достоинства. «Мы, — писал А. К. Воронский, — воспитываем иные добродетели, чем уважение к общим гражданским правам, к тому, что нельзя красть носовых платков, что личность священна согласно кантовским императивам».⁵⁷ Правда, Воронский в конце 1920-х годов уже понимал односторонность такой этики. Не то Лебедев-Полянский. Он продолжал добиваться подчинения личности «беспощадному государству». И ему это удавалось: Пильняк «взял свое „Красное дерево” и перерабатывает...» (с. 232). Действительно, основную сюжетную линию «Красного дерева» писатель включил в производственный роман «Волга впадает в Каспийское море» — о строительстве в Коломне плотины. Это произведение, имевшее «идеологически-организационный смысл», было опубликовано в 1930 году. Сдержав обещания, данные Главлиту, Пильняк получил возможность печататься и ездить в заграничные командировки. «Вот так надо строить работу», — поучал коллег Лебедев-Полянский в январе 1931 года.

Однако воспитательное воздействие Лебедева-Полянского не могло быть прочным. В процессе творчества одаренный писатель забывал о своих обязательствах перед Главлитом: талант брал верх над политическим заданием. Так случилось, например, с П. С. Романовым. 12 июля 1927 года он писал Лебедеву-Полянскому: «Дорогой Павел Иванович (...) мне хотелось бы продолжить добрые отношения с Цензурой. Тем более что теперь я больше, чем прежде, имею основание рассчитывать на таковые же со стороны цензуры: я все больше и больше иду в сторону изображения положительных сторон жизни. С моими сатирическими склонностями это очень трудно».⁵⁸

«Изображение положительных сторон жизни» означало, что Романов учитывает «требования времени», помогает перестроить жизнь «на совершенно новых принципах». Это заслуживало поддержки. В 1929—1930 годах было осуществлено 12-томное собрание сочинений Романова. Но «сатирические склонности» взяли верх в новом романе «Товарищ Кисляков». Три месяца он лежал в цензуре. 3 июля 1930 года писатель обратился к Лебедеву-Полянскому. Напомнив о «своих безоблачных отношениях с цензурой, которыми (...) всегда так гордился», Романов подчеркнул: «От Вас лично не имел никогда ничего, кроме самого внимательного, ласкового и доброго отношения».⁵⁹

Обращение помогло. В 1930 году роман увидел свет в 18-й книге альманаха «Недра». Политическая критика встретила его враждебно. Она не поверила в то, что автор хотел показать сближение русской интеллигенции с пролетариатом. «П. Романов, — писал А. А. Бек, — разоблачает Кислякова с точки зрения отвлеченных норм интеллигентской морали, с точки зрения „заветов русской интеллигенции”. Выше всего надо ценить свою личность, которая не должна ни перед кем сгибаться, которая

⁵⁶ Художник и общество (неопубликованные дневники К. Феина 20—30-х годов). С. 169.

⁵⁷ Воронский А. К. Искусство видеть мир. Портреты. Статьи. М., 1987. С. 547.

⁵⁸ Архив РАН. Ф. 597. Оп. 4. Ед. хр. 63. Л. 1.

⁵⁹ Там же. Л. 4.

обязана всегда и везде идти против течения. Таковы, примерно, заветы, с точки зрения которых смотрит на мир П. Романов». ⁶⁰ «Романов, — заключал критик, — выразил идеи классового врага». ⁶¹

Можно не сомневаться, что Лебедев-Полянский предвидел такую реакцию. Но пошел на это, вероятно, не из личной симпатии к Романову, а руководствуясь своей этикой: быть нетерпимым только к «безусловному злу». Похоже, он разделял также этический принцип Богданова: «Надо помнить, что всякое объективно лишнее истребление и разрушение, всякая ненужная жестокость преступны по отношению к человечеству, деморализуют коллектив и уменьшают энергию, которой он может располагать в борьбе и в труде. Член великого коллектива не должен уподобляться жалким дикарям-погромщикам, опустошающим завоеванную страну — свое достояние». ⁶² «Непогрешимые Энгельсы» от литературной мысли как раз становились такими «дикарями-погромщиками», политический догматизм ставили выше идеи коллектива.

В 1930—1931 годах, когда такие экстремисты стали играть ведущую роль в политике и литературе, когда активизация террора напоминала о 1919 году, ⁶³ Лебедев-Полянский санкционировал издание книг, запрещенных облкрайлитами, в частности Ленгорлитом. В 1930 году вышли мемуары В. И. Гедройц, ранее отвергнутые как «дворянские». ⁶⁴ В 1931 году он дал ход книге В. А. Пяста «Современное стихосложение», которую местная цензура задержала весной 1930 года, ⁶⁵ вероятно, потому, что в марте автор был отправлен ГПУ в ссылку. ⁶⁶ В этом ряду поступков Лебедева-Полянского надо рассматривать и эпизод с Е. И. Замятиным.

Преследование Замятина, начатое осенью 1929 года статьей Б. М. Волина в «Литературной газете» и хорошо описанное в научной литературе, ⁶⁷ было продолжено в 1930—1931 годах в связи с появлением его статьи «Закулисы». ⁶⁸ Она подтверждала приверженность писателя «философии неореализма», утверждающей «смещение планов в пространстве и времени» как «логически необходимый метод». Размышления Замятина о цвете, звуке, ритме прозы, «лейтмотивах звуковых», «лейтмотивах зрительных», ссылки на А. Белого говорили о его внимании к эстетической стороне литературного произведения. С этих позиций он отвергал критические суждения «бойкого молодого человека», которого, по мнению Замятина, надо гнать в три шеи из литературы. ⁶⁹

Юные, «бойкие» политические критики 22-летний Г. Н. Бояджиев, 24-летний Г. А. Бровман во главе с Л. Л. Авербахом увидели в этом суждении Замятина «злобу классового врага», который смеет «поплевывать на марксистскую критику». ⁷⁰ Это было мнение, вдохновленное политическим экстремизмом: «(...) страна строящегося социализма может обойтись без такого писателя». ⁷¹ Молодые критики, возможно, сами того не понимая, вели дело к уничтожению Замятина. Они создавали соответствующее общественное мнение. Опираясь на него, цензор Ленгорлита в марте 1931 года

⁶⁰ Бек А. Роман, направленный против советской интеллигенции // Рост. 1930. № 5. С. 31.

⁶¹ Там же.

⁶² Богданов А. А. Законы новой совести // Богданов А. А. О пролетарской культуре. Л.; М., 1924. С. 341.

⁶³ См.: Художник и общество (Неопубликованные дневники К. Федина 20—30-х годов). С. 171.

⁶⁴ Там же. С. 170.

⁶⁵ Там же. С. 172.

⁶⁶ Там же. С. 173.

⁶⁷ Барабанов Евг. Комментарии // Замятин Е. Сочинения. М., 1988. С. 529—537.

⁶⁸ Замятин Е. И. Закулисы // Как мы пишем. Л., 1930. С. 29—47.

⁶⁹ Замятин Е. Сочинения. С. 472.

⁷⁰ Бояджиев Г. Союзник или враг? // На подъеме (Смоленск). 1931. № 6. С. 164; Бровман Г. Реакционная литература и ее творческий метод // Молодая гвардия. 1931. № 15—16. С. 118; Авербах Л. За большое искусство большевизма // Там же. № 13—14. С. 107.

⁷¹ Лит. газ. 1929. 7 окт.

потребовал от издательства «Academia» снять очерк жизни и творчества Р. Б. Шеридана, написанный Замятиным для отдельного издания комедии «Школа злословия».

Отношение Лебедева-Полянского к творчеству Замятина в 1920-е годы было резко отрицательным. Он не сомневался, что писатель в своих произведениях «издевается над пролетариатом».⁷² В январе 1931 года, выступая перед цензорами облкрайлитов, Лебедев-Полянский сказал: «Замятин даже ухитрился выпустить сказку, политический смысл которой таков: как бы большевики ни пытались построить новое общество, они его построить не смогут, потому что на крови, на костях нельзя строить...» (с. 233).

Между этим январским выступлением Лебедева-Полянского и мартовским запретом печатать статью Замятина о Шеридане, безусловно, есть прямая связь. Вместе с тем надо отметить, что ленинградский цензор не усвоил воспитательный метод Лебедева-Полянского: лозунг «быть *пожестче*» сочетать с требованием «быть тоньше», т. е. подавление личности не доводить до ее уничтожения, не совершать «лишнего истребления и разрушения», «ненужной жестокости».

Напротив, Замятин, кажется, хорошо понимал метод Лебедева-Полянского. «Уважаемый Павел Иванович, — писал он в связи с запретом своей статьи, — я помню — однажды Вы говорили мне, что Главлит в своих суждениях исходит всегда из содержания рукописи, а не из подписи автора. Это, конечно, единственно возможный и правильный принцип в работе руководимого Вами учреждения. К сожалению, этот принцип грубейшим образом нарушен ленинградским Областлитом...»⁷³ Возможно, Лебедев-Полянский не заметил иронии: под маской одобрения Замятин осуждал пренебрежение цензоров к художественной специфике литературы, к творческой индивидуальности писателя. Но буквальный смысл — признание главенствующей роли содержания — мог быть только приятен пролеткультовскому деятелю. Вместе с тем Замятин дальновидно подчеркивал, что в его статье «нет ничего такого, что могло бы встретить возражение с идеологической стороны», и сообщал, что книга сопровождается «статьей профессора П. С. Когана о Шеридане с установкой на политический анализ английского общества соответствующей эпохи».⁷⁴ Одним словом, не было никакой надобности в «ненужной жестокости». Лебедев-Полянский смог «быть тоньше» своих подчиненных. Статья увидела свет вопреки всем политическим обвинениям в адрес Замятина.

Но такая снисходительность, чреватая очередной «идеологической поркой», Замятина не устраивала. В июне 1931 года, добиваясь выезда за границу, он писал И. В. Сталину: «Недавно, в марте месяце этого года, ленинградский Обллит (...) не только запретил статью, но запретил издательству даже упоминать мое имя как редактора перевода. И только после моей апелляции в Москву, после того, как Главлит, очевидно, внушил, что с такой наивной откровенностью действовать все же нельзя, — разрешено было печатать статью и даже мое криминальное имя».⁷⁵ Замятин защищал свое личное достоинство, право личности не прислуживать «маленьким людям». Не имея возможности обратиться в суд, он апеллировал к лидеру государства.

Лебедев-Полянский не мог предвидеть такого развития событий. В том же месяце, сразу после письма Замятина к Сталину, он был снят с должности председателя Главлита.⁷⁶ Его преемником стал Б. М. Волин, начавший осенью 1929 года политическую травлю Замятина, объявив его «недопустимым явлением». Это решение показывало, что отныне власть доверяет только методу экстремистов — бороться с несогласными до их уничтожения. Конфликт 1926 года между партийно-государственным и экстремистским пониманием цензуры завершился. Главлит превратился в небывалый инструмент авторитарной власти.

⁷² Полянский Валерьян. Вопросы современной критики. С. 161.

⁷³ Замятин Е. Сочинения. С. 560.

⁷⁴ Там же. С. 561.

⁷⁵ Там же. С. 490—491.

⁷⁶ См.: Лит. газ. 1931. 25 июня.

НОВАЯ КНИГА ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ*

Московский фольклорист В. А. Бахтина уже давно известна своими трудами, посвященными научному наследию выдающихся собирателей и исследователей народной поэзии братьев Б. М. и Ю. М. Соколовых.¹ Плодом ее многолетней работы над этой темой стала недавно вышедшая рецензируемая нами монография «Фольклористическая школа братьев Соколовых. (Достоинство и превратности научного знания)».

Хотим сразу же подчеркнуть особую значимость данного труда. Он важен не только как исследование персонального плана, в котором выпукло и объемно прорисовываются фигуры ученых, внесших весомый вклад в развитие российской фольклористики. Гораздо важнее, на наш взгляд, то, что в книге сделана попытка (и весьма успешная) проанализировать сложные процессы перерастания академической дореволюционной фольклористики в советскую науку. Совершенно очевидно, что осмысление состояния фольклористики именно в первые два десятилетия послеоктябрьской эпохи является самой актуальной задачей в области изучения истории российской науки об устной словесности. С высоты нового столетия открывается возможность объективно оценить те разнонаправленные процессы, которые происходили в науке после 1917 года: преемственность с дореволюционной фольклористикой, отрицание старых методологических установок, выявление новых аспектов в устной народной культуре, обогащение методологической базы фольклористики в 20-е годы и трагическое по своим последствиям ее сужение в последующее десятилетие. Таким образом, появление книги В. А. Бахиной нельзя не признать как одну из попыток осмыслить указанный период

в развитии отечественной науки о народной поэзии.

К безусловным достоинствам монографии принадлежит ее надежная фактологическая база. Исследовательница опирается на обширный архивный фонд братьев Соколовых, хранящийся в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ. Ф. 483), — письма фольклористов, их дневниковые заметки, полевые записи фольклора, научные труды. Эти материалы щедро цитируются в книге, благодаря чему читатель имеет возможность погрузиться в атмосферу фольклористики 1910—1930-х годов. (В скобках заметим, что хотелось бы пожелать автору, чтобы в самом тексте исследования, а не в примечаниях регулярно назывался жанр цитируемого документа, что, безусловно, помогло бы лучшему его читательскому восприятию.) В приложении к монографии публикуется целый ряд материалов, проливающих дополнительный свет на творческое наследие Соколовых: разбор Б. М. Соколовым книги А. П. Скафтымова «Поэтика и генезис былин»; его же статья «Два сказителя» (об оловецких былинщиках Ф. А. Конашкове и Г. А. Якушове); составленная одной из учениц Б. М. Соколова таблица «Генеалогия сказителей» и статья Ю. М. Соколова «Сергей Есенин и русская песня».

Работа В. А. Бахиной построена не по биографически-хронологическому, а по проблемному принципу. В первой главе — «В поисках метода (пути изучения эпоса)» — последовательно рассматриваются такие вопросы, как отношение Б. М. Соколова к научным взглядам В. Ф. Миллера, его оценка знаковой для фольклористики 1920-х годов книги А. П. Скафтымова, интерпретация теории аристократического происхождения эпоса в работах Соколовых, полемика в области былинovedения в 1930-е годы Ю. М. Соколова с немецким ученым Г. Науманном, социологические аспекты изучения фольклора. Вторая глава посвящена анализу взглядов Б. М. и Ю. М. Соколовых на взаимовлияние литературы и фольклора. Глава «Развитие собирательских и текстологических традиций» сосредоточивает внимание читателя на ранних белозерских экспедициях ученых (1908—1909 годы) и на знаменитых заонежских экспедициях 1920-х годов «По следам Рыбникова и Гильфердинга». Важное место в монографии занимает глава «Фольклор в высшей школе», в которой впервые подробно проанализи-

* Бахтина В. А. Фольклористическая школа братьев Соколовых. (Достоинство и превратности научного знания). М.: Наследие, 2000.

¹ См.: «Верю, мы для России пригодимся»: Переписка Б. М. и Ю. М. Соколовых (1921—1923) // Из истории русской фольклористики. СПб., 1998. С. 9—216; Соколов Б. М. Большой стих о Егории Храбром: Исследования и материалы / Подг. текста, вступ. статья и коммент. В. А. Бахиной. М., 1995; Бахтина В. А. Б. М. Соколов и историческая школа // Русский фольклор: Эпические традиции. СПб., 1995. Т. 28. С. 84—96, и др.

зировав вклад братьев Соколовых в развитие вузовской науки советского времени. Послеоктябрьскому периоду посвящена и последняя глава монографии «Формирование науки в новых условиях (проблемы многонациональной фольклористики)».

Хочется отметить взвешенный и тактичный анализ исследовательницей взглядов братьев Соколовых периода конца 1920-х — начала 1930-х годов. Те очевидные промахи в применении социологического метода Б. М. и Ю. М. Соколовыми в отношении к русскому эпосу, которые получили политически негативную оценку уже в середине 1930-х годов, в работе В. А. Бахтиной находят конкретно-историческое объяснение. Обратим внимание также на следующий аспект рецензируемого исследования. Не секрет, что в среде современных фольклористов о Ю. М. Соколове негласно сложилось мнение как о политическом конъюнктурщике, умевшем приспособиться к тоталитарной власти. В. А. Бахтина же в последних главах своей книги рисует перед читателем образ выдающегося организатора науки, порой сознательно идущего на политический компромисс ради спасения фольклористики как научной дисциплины. Весь ход изложения убеждает читателя в правильности того вывода, который звучит в заключении монографии: «Утвердившееся в фольклористике мнение о вполне благополучной судьбе обоих братьев как следствие избранной ими лояльной тактики по отношению к ведущей идеологии и официальным доктринам не более как внешнее и весьма поверхностное представление об их жизни и деятельности» (с. 293).

Естественно, что в рецензируемой монографии отнюдь не все аспекты научного наследия братьев Соколовых оказались одинаково скрупулезно проработанными. Позволим себе высказать несколько замечаний. Полагаем, что в разделе «Б. М. Соколов и Вс. Ф. Миллер» исследовательница излишне заострила дискуссионное начало в отношении Б. М. Соколова к методу былиноведческой исторической школы, главой которой был его учитель В. Ф. Миллер. Тот факт, что в своих рабочих заметках 1910-х годов ученый порой оспаривал некоторые конкретные выводы В. Ф. Миллера относительно исторической основы той или иной былины, еще не означает, что молодой исследователь критически воспринимал сам метод исторической школы. Напротив, Б. М. Соколов был верным последователем идей своего учителя. В отличие от другого ученика В. Ф. Миллера, известного фольклориста А. В. Маркова, Б. М. и Ю. М. Соколовы никогда не вступали в открытую научную полемику с главой исторической школы.

Тезис В. А. Бахтиной о том, что в симбиозе разных научных школ (теории «бродячих сюжетов», самозарождения, историческая школа и др.) Б. М. Соколов, в противоположность своему учителю, видел возможность «нащупать инструментарий нового научного анализа» (с. 22), как нам кажется, не совсем состоятелен в одном пункте: ведь и сам В. Ф. Миллер в своих работах, равно как и Б. М. Соколов, отлично со-

знавал, что природа былин — это «бродячий сюжет» плюс конкретно-исторический факт, наложившийся на него. Внимательное изучение работ В. Ф. Миллера убеждает, что он отнюдь не замыкался только на поисках исторических прототипов для былинных героев. К сожалению, сегодняшняя фольклористика до сих пор не имеет исследования, в котором было бы заново прочтено и проанализировано научное наследие В. Ф. Миллера. Отсутствие такого труда, по-видимому, и заставляет современных ученых, увлеченных «своим» персонажем, выделяя безусловные достоинства его научных взглядов, противопоставлять его В. Ф. Миллеру. Научные взгляды молодого Б. М. Соколова, повторяем еще раз, полностью укладываются в рамки исторической школы его учителя. К тому же исповедовал он идеи позднего В. Ф. Миллера, который подчеркивал значение XVI—XVII веков в истории былин, когда, по его мнению, произошла их коренная переработка.²

Еще одно замечание касается раздела «Сказки и песни Белозерского края» (текстологический опыт). Говоря об этом знаменитом сборнике братьев Соколовых (М., 1915), В. А. Бахтина, на наш взгляд, упустила некоторые возможности текстологического анализа опубликованного там материала. Если собирательские принципы молодых ученых в монографии раскрыты достаточно полно, то их текстологические установки требуют дополнительных разъяснений. Сохранившиеся полевые рукописи кириллово-белозерских экспедиций Б. М. и Ю. М. Соколовых позволяют судить о принципах работы ученых с фольклорным материалом. Так, очевидно, что собиратели, как и другие фольклористы того времени, подчас не записывали повторяющиеся строки, а обозначали их прочерком, впоследствии вписывая недостающий текст. Таким образом, например, в былине «Дунай» восстановлены строки 40—41 («Другую зелена вина, Третью меда сладкого») — по аналогии со стихами 32—33 (ср.: сборник «Сказки и песни Белозерского края», № 4, и РГАЛИ, ф. 483, оп. 1, № 2949, л. 40—54).

Сравнение полевых рукописей с опубликованными текстами показывает, что Б. М. и Ю. М. Соколовы позволяли себе в отдельных случаях вносить редакторские изменения в фольклорные тексты. При публикации отрывкам, рассказанным сказителями как проза, придан стихотворный вид. Например, в той же былине «Дунай» строки 102—110 в рукописи имеют прозаическую форму (следовательно, были рассказаны исполнителем, а не пропеты); в сборнике же текст искусственно разбит на стихи. В публикации оказались пропущенными некоторые строки, что явно вызвано стремлением собирателей придать тексту более стройный вид. Так, ст. 25—26 в рукописи выглядит следующим образом: «И солнышко Вла-

² Подробнее об этом см.: *Иванова Т. Г.* Русская фольклористика начала XX века в биографических очерках. СПб., 1993. С. 60—85.

димир князь молодой, / Может ли тебе Дунаюшко Повалин сын / Найти такую невесту?» Неуклюжий стих «Найти такую невесту» в публикации был опущен.

Позволяли себе Б. М. и Ю. М. Соколовы и изменять некоторые из сказительских стихов. Так, из записанной одной строки «Котора девица станом статна и лицём бела» при публикации они сделали два стиха, употребив прием подхвата, популярный в народной поэзии: «Котора девица станом статна, / Станом статна и лицём бела» (ст. 10—11). Жанр рецензии не позволяет нам множить примеры текстологического редактирования, проведенного братьями Соколовыми над записанными ими фольклорными текстами; к тому же сами мы владеем лишь материалом, касающимся былинных записей. Без сомнения, скрупулезный анализ сохранившихся полевых рукописей выявит и другие особенности работы Соколовых с собранным ими материалом. Приходится только пожалеть, что такого рода исследование не сделано в рецензируемой монографии.

Однако достоинства книги В. А. Бахтиной определяются не отдельными упущенными автором возможностями анализа, а реализованным им потенциалом исследовательской мысли. Нам уже неоднократно приходилось озвучивать формулу, которой определяется значимость того или иного научного труда: серьезное исследование не только закрывает определенные проблемы, но и высвечивает новые ее грани. После прочтения «Фольклористической школы братьев Соколовых» выкристаллизовываются новые темы, еще ждущие своего исследователя. Так, неоднократное упоминание имен Б. М. и Ю. М. Соколовых в связи с Государственной академией художественных наук (ГАХН, Москва) заставляет остро почувствовать, как нужны современной фольклористике развернутые очерки по истории научных учреждений, составляющих лицо этой гуманитарной дисциплины в 20-е годы. Необходимо тщательное фактологическое воссоздание деятельности фольклорной подсекции ГАХН. Выполнение этой задачи вполне по силам современным исследователям: ведь в РГАЛИ в архивном фонде братьев Соколовых сохранились многочисленные до-

кументы, касающиеся этого научного учреждения. Столь же насущно необходима история создания фольклорного архива в Государственном литературном музее (Москва), ставшего в определенной степени преемником фольклорной подсекции ГАХН.

Попутно скажу, что своих историков ждут научные учреждения, с которыми герои книги В. А. Бахтиной непосредственно не были связаны: фольклорная секция Российского (государственного) института истории искусств; этнографическое отделение Географического института (географический факультет Ленинградского государственного университета); Комиссия по изучению народной музыки и Комиссия по изучению детского быта и фольклора, состоявшие при Русском географическом обществе; секция «Живая старина» в Научно-исследовательском институте сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока; Государственная академия истории материальной культуры (все учреждения находились в Ленинграде) и др.

Вторая задача, которая с очевидностью встает после прочтения трудов, подобных монографии В. А. Бахтиной, — это публикация личной переписки всех участников фольклористической науки 1920—1930-х годов (братья Соколовы, М. К. Азадовский, П. Г. Богатырев, П. С. Богословский, Д. К. Зеленин, Е. Г. Кагаров, А. М. Астахова, В. Я. Пропп и др.). Кое-что в этой области уже сделано, но пока что публикация эпистолярного наследия ведущих фольклористов послеоктябрьской эпохи все еще не приняла целенаправленного характера. Без сомнения, введение в научный оборот этого документального потенциала позволит лучше осмыслить скрытую (не официальную) историю советской фольклористики, о необходимости прочтения которой так убедительно говорит В. А. Бахтина на с. 297 своей монографии.

Тема, которой посвящена книга «Фольклористическая школа братьев Соколовых. (Достоинства и превратности научного знания)», — история российской фольклористики в 1910—1930-е годы — исследованием В. А. Бахтиной не закрыта. Она ждет своего дальнейшего изучения.

© А.-Э. Н. Тахиаос (Греция)

ИЗ ПРОШЛОГО РУССКОЙ ВИЗАНТИСТИКИ В С.-ПЕТЕРБУРГЕ*

Русская византистика как самостоятельная историко-филологическая дисциплина может гордиться своей историей. В 1994 году отмечалось столетие со дня выхода в С.-Петербурге первого тома «Византийского временника» — старейшего в России журнала по византистике, издававшегося Императорской Академией наук. Журнал публиковал статьи не только на русском и западноевропейских языках, но и на греческом. Ныне, по прошествии целого столетия, эта традиция продолжается, причем «Византийский временник» по-прежнему выходит под эгидой Российской Академии наук. Русская византистика выдвинула

на авансцену мировой науки много выдающихся ученых, их вклад в изучение византийской цивилизации высоко оценивается специалистами. В рецензируемой книге, вышедшей под редакцией известного петербургского историка И. П. Медведева, исследуются архивы классиков русской византистики, малоизвестные подробности их жизни и творчества. Отдавая дань традиции, редактор книги присвоил ей двуязычное заглавие — на греческом и русском языках. Очень уместно посвящение всего труда приснопамятной Евгении Эдуардовне Гранстрем, хранительнице греческих рукописей в Государственной публичной (некогда Император-

* Архивы русских византистов в Санкт-Петербурге / Под ред. И. П. Медведева. СПб.: Дмитрий Буланин, 1995. 464 стр.

К переводу на русский язык. Труды греческих филологов и историков, тем более их отклики на издания, выходящие в России, нередко, в связи с языковым барьером, ускользают от внимания специалистов. Читателям предлагается рецензия одного из ведущих греческих славистов и византистов А.-Э. Н. Тахиаоса (Фессалоники), первоначальный вариант которой был опубликован на греческом языке (Klèronomia. Thessalonikè, 1997. Т. 29. Теύχη Α'— Β'. S. 377—386). Предметом рецензии является книга, повествующая о недавнем прошлом русской историко-филологической науки. Книга эта посвящена византистам С.-Петербурга конца XIX — первой половины XX века и целиком построена на архивных материалах. Следует заметить, что историю русской византистики невозможно написать без обращения к архивам, ибо ее естественное развитие было прервано в годы советской власти. Соответственно, значительная часть проектов и исследований русских византистов, чей авторитет признавался во всем мире, так никогда и не увидела света, отложившись в их архивах. Следует вместе с тем подчеркнуть, что русская византистика в период ее расцвета никогда не была погруженной в себя наукой замкнутой касты. Напротив, смыкаясь, с одной стороны, с классической филологией, византистика, с другой стороны, распространяла свои интересы на памятники славянской средневековой культуры, развивавшейся, как известно, под определяющим влиянием Византии. Широта взглядов русских византистов позволяла им, в частности, осуществлять издания и исследования в области славянских литературных древностей, которые, в связи с упадком в России филологической культуры и обособлением византистики от смежных дисциплин, стали более или менее невозможны. Укажем для примера такие работы, выполненные одновременно на греческом и славянском материале, как иссле-

дование «Синодика в Неделю православия» Ф. И. Успенского или комплексное изучение греческой и славянской литургики А. А. Дмитриевского. Подобный комплексный подход к материалу лежит в основе трудов по каноническому праву В. Н. Бенешевича или сочинений по византийско-славянской иконографии, принадлежащих Н. П. Кондакову. История древнерусской литературы не может обойтись без тех памятников, которые опубликовали византисты Н. П. Лихачев и Х. М. Лопарев, как и без тонких исследований византиста Д. В. Айналова. Все названные ученые являются героями рецензируемой книги. На страницах византистических изданий — «Византийского временника», «Известий Русского археологического института в Константинополе», «Православного Палестинского сборника», история которых рассмотрена в книге, было напечатано немало славянских текстов и немало исследований по истории и литературе Slavia Orthodoxa.

Представляя русскому читателю рецензию А.-Э. Н. Тахиаоса на книгу «Архивы русских византистов в Санкт-Петербурге», позволим себе добавить, что коллектив авторов, подготовивший рецензируемую работу, продолжил свои архивные разыскания по истории русской византистики. Результатом этих разысканий явилось продолжение «Архивов русских византистов в Санкт-Петербурге»: Рукописное наследие русских византистов в архивах Санкт-Петербурга / Под ред. И. П. Медведева. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. Как то было с героями первой книги — предмета настоящей рецензии, многие из ученых, которым посвящена вторая книга об архивах русских византистов, оставили по себе память не только в византистике, но и в славистике. Назовем имена архимандрита Антонина Капустина, Э. Г. Муральта, И. И. Толстого, В. Е. Вальденберга, Ф. И. Шмита и др.

Д. М. Буланин, И. П. Медведев.

ской библиотеке С.-Петербурга (ныне — Российская национальная библиотека), которая с необыкновенным усердием изучала это богатейшее собрание, внесла весомый вклад в византистику своими блестящими каталогами греческих манускриптов.

После предисловия в книге предлагается обзор переписки епископа Порфирия Успенского (1804—1885), неумолимого собирателя христианских древностей (с. 8—21). Обзор составлен Л. А. Герд. Сохранившаяся обширная переписка епископа Порфирия относится к периоду с 1840-х по 1880-е годы и отражает его многообразные связи не только с учеными-византистами, но и с высокопоставленными лицами, князьями, государственным чиновниками, дипломатами, с такими, например, как консул России в Фессалониках К. Мустоксидис. Переписка Порфирия Успенского показывает, как почтенный епископ не колебался, с необычайной дерзостью пользовался противозаконными, обманными и даже насильственными методами в удовлетворении своей жажды к приобретению рукописей и икон. Показательны в этом отношении его письма, в которых он прямо сознается в подобных способах их добычи. Например, в письме 1850 года, в котором он рассказывает о своей поездке в монастырь св. Саввы Освященного, епископ Порфирий пишет: «Из присоборной библиотеки... я взял... греческое Четвероевангелие 835 года, а из башни Иустиниана греческий профитолог 1054 года и одну толстую рукопись грузинскую in 12^o, которую, переплетая, разделил на три части». Большое беспокойство он проявлял о судьбе греческого рукописного Паремийника, приобретенного им в Фессалониках, который он опрометчиво отдал в канцелярию русского посольства для отправки в Россию. Дальнейшая судьба рукописи неизвестна. Интересны также данные о приобретении епископом Порфирием рукописей и икон на Святой Горе. Поражаешься, читая разделы, касающиеся адресованных Успенскому писем монаха Мелетия из карейской кельи Дионисия Фуруграфота, из которых явствует, что епископ самым ничинным образом выкрал из этой кельи несколько икон и «превосходную рукопись 1249 года, содержащую Синаксарь». Оставаясь ценным материалом для изучения биографии епископа Порфирия, его корреспонденция является также исключительно интересным источником для идентификации большого числа рукописей и реликвий Христианского Востока. Полезно было бы с этой точки зрения систематизировать содержащуюся в его переписке информацию. Очерк о Порфирии Успенском завершается публикацией двух писем к нему, датированных 1876 годом и принадлежащих известному немецкому филологу В. Гардтхаузену.

В прошлом веке в России жили и творили византилисты греческого происхождения. О. А. Белоброва, известная исследовательница русского средневекового искусства, представляет в рецензируемом труде личный архив выдающихся греческих ученых, жизнь которых оказалась связана с С.-Петербургом, — Спири-

дона Юрьевича Дестуниса (1782—1848) и его сына Гавриила Спиридоновича Дестуниса (1818—1895) (с. 22—35). В архиве Дестунисов, помимо обширной переписки, содержится большое число разного рода заметок, исследований, переводов — неопубликованных и очень ценных научных материалов. Большая часть архива Дестунисов хранится в Российской национальной библиотеке, но часть материалов находится в других учреждениях С.-Петербурга. Русские специалисты неоднократно обращались к архиву Дестунисов, специальную работу им посвятил греческий ученый Ф. Прусис.¹ В 1831 году в С.-Петербурге был издан русский перевод «Шестикнижия» Константина Арменопула, автором которого считался С. Ю. Дестунис. Позднее в атрибуции перевода возникли сомнения. В дополнении к очерку О. А. Белобровой А. Э. Шукурова излагает результаты своего исследования данной проблемы (с. 34—35). Исследовательница приходит к выводу, что сомнения в авторстве С. Ю. Дестуниса лишены оснований.

На с. 36—44, в свете архивных материалов из собраний Москвы и С.-Петербурга, Л. Н. Заливалова рассказывает об ученой деятельности академика В. Г. Васильевского (1838—1899). Здесь приводится много ценных сведений, касающихся научного наследия этого великого византиста, которое и сегодня еще сохраняет свое значение. Обзор личного архива академика Ф. И. Успенского (1845—1928) дает Е. Ю. Барсаргина (с. 45—57). Ф. И. Успенский известен не только как автор фундаментальных исследований, но и как директор Русского археологического института в Константинополе, с которым связаны многие его научные начинания. Очень интересны сведения о том, что вскоре после назначения Ф. И. Успенского на пост директора института этот институт вступил в переговоры с Французской археологической школой в Афинах (1895 год), причем была предложена широкая программа исследований исторических материалов Святой Горы. Проект предусматривал издание императорских, патриарших и других грамот, типиков (уставов) Афона и отдельных его монастырей, описание тех библиотек, которые не попали в труд Сп. Ламброса, издание и изучение житий святогорских святых, трудов ученых с Афона и многое другое. В конце концов, по экономическим причинам, предприятие было оставлено. Архив Ф. И. Успенского содержит полезные сведения о его научных экспедициях в страны Христианского Востока. Ф. И. Успенский был одним из тех крупных русских византистов, чье творчество продолжалось и в советскую эпоху, малоблагоприятную для занятий историей Византии. Поистине достоин восхищения его энтузиазм, когда, будучи уже в преклонном возрасте, он выдвигает программу «Константин Багрянородный», которая предусматривала критичес-

¹ Proussis Th. The Destunis Collection in the Manuscript Section of the Saltykov-Shchedrin State Public Library in Leningrad // Modern Greek Studies Yearbook. 1989. Vol. 5. P. 395—452.

кое издание трудов византийского императора русским переводом и комментариями. Одновременно он формулирует программу переиздания труда Ш. Дюканжа, по которой в 1927 году работало около 40 ученых-специалистов. И. П. Медведев, редактор книги, дополняет очерк об архиве Ф. И. Успенского заметкой, рассказывающей о его деятельности как редактора «Византийского временника» (с. 57—61). Ф. И. Успенский пережил два критических момента в истории журнала: сначала тот, который был связан с Первой мировой войной и обусловленными ею осложнениями в отношениях со странами на территории бывшей Византии, а затем и тот, который начался с наступлением советской эпохи и введением строгой цензуры. Со смертью Ф. И. Успенского в 1928 году издание этого замечательного журнала прервалось.

Русский археологический институт в Константинополе (РАИК) оказался по политическим причинам относительно недолговечным учреждением (1894—1914). Однако деятельность института была во многих отношениях весьма значительной. Укомплектованный прекрасными учеными, институт развернул широкую программу исследовательских работ, распространявшихся, помимо Константинополя и его окрестностей, на территорию нынешней Греции. Результаты этих работ публиковались в печатном органе института — «Известиях РАИК» (за 1896—1912 годы было опубликовано 16 томов). История и деятельность Русского археологического института известна греческой научной общественности по работе К. Папулидиса.² Помимо материалов, находившихся за пределами России, К. Папулидис основывался в своей книге, главным образом, на фондах Российского государственного исторического архива и Архива внешней политики Российской империи. Однако архивные материалы, относящиеся к истории института и оставшиеся до сих пор не изученными, находятся и в других русских учреждениях, прежде всего в С.-Петербургском филиале Архива Российской Академии наук. На них в первую очередь и опирается очерк Е. Ю. Басаргиной, в котором подробно говорится об учениках, которые были связаны с деятельностью института, и об их научном творчестве в рамках его исследовательской программы (с. 62—93).³

Далее в рецензируемой книге следует очерк И. В. Тункиной (с. 93—119), посвященный личному архивному фонду русского историка, специалиста в области русского и византийского искусства, академика Н. П. Кондакова (1844—1925). После революции 1917 года ученый эмиг-

рировал сначала в Софию, а затем в Прагу, куда он был приглашен для преподавания в Карловом университете. Именно в Праге был основан знаменитый «Кондаковский семинарий» — кружок молодых ученых, занимавшихся историей средневекового искусства Византии и Древней Руси. Уже после смерти Н. П. Кондакова «семинарий» начал выпускать известные периодические издания — «Seminarium Kondakovianum» и «Annales de l'Institut Kondakov», а также очень ценные монографические исследования. Огромный архив Н. П. Кондакова, оставшийся в России, равно как его библиотека, насчитывающая 5000 томов, и его собрание икон были переданы в 1930 году сыном ученого в Академию наук СССР. В очерке представлено в общих чертах содержание архивного фонда Н. П. Кондакова, и у читателя есть возможность оценить хранившиеся в нем богатства.

Одним из величайших литургистов всех времен был русский ученый Алексей Афанасьевич Дмитриевский (1856—1929). Богатый архивный фонд знаменитого литургиста хранится ныне в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки и включает 53 единицы хранения, составляющих в общей сложности 21 989 листов. Обзор рукописного наследия А. А. Дмитриевского предлагает видный литургист из Рима, профессор А. Арранц, имевший возможность изучить фонд во время своих занятий в С.-Петербурге (с. 114—133). А. Арранц отмечает необходимость дальнейшего исследования архива и обсуждает возможности продолжения трудов А. А. Дмитриевского и издания некоторых из его неопубликованных работ по литургике.

Императорское Палестинское общество было научным учреждением, аналогичным Русскому археологическому институту в Константинополе. Но одновременно оно преследовало и политические цели. Этот последний аспект его деятельности, по вполне понятным причинам не признававшийся русской стороной, специально исследовал Ф. Ставру.⁴ В рецензируемом томе публикуется пространный очерк о Палестинском обществе, написанный А. Г. Грушевым на базе петербургских архивов (с. 134—156). Научным органом Палестинского общества был «Православный Палестинский сборник», 63 выпуска которого вышли в период с 1881-го по 1917 год. С 1954 года издание было возобновлено под сокращенным названием «Палестинский сборник» — в соответствии с духом времени.⁵ Научная деятельность Палестинского общества

⁴ Stavrou Th. Russian Interests in Palestine, 1882—1914: A Study of Religious and Educational Enterprise. Thessaloniki, 1963.

⁵ См.: Андреев Г. Л., Троицкий А. Н. Христианские периодические издания на русском языке // Христианство: Энциклопедический словарь. М., 1995. Т. 3. С. 546. Издание продолжает выходить и сейчас, причем ему возвращается первоначальное заглавие. См. последний вышедший том: Православный Палестинский сборник. Вып. 98 (35): Сб. памяти Н. В. Пигулевской. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998.

² Papoulidis K. To Rōsikō Archaïologikō Institoūto Konstantinouplēōs. Thessalonikē, 1984; 2nd ed. 1987.

³ Е. Ю. Басаргина продолжила свои труды по истории Русского археологического института в Константинополе, которые вылились в монографию, недавно увидевшую свет. См.: Басаргина Е. Ю. Русский археологический институт в Константинополе. Очерки истории. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999.

была внушительной, с ним сотрудничали многие серьезные русские ученые, внесшие крупный вклад в изучение Палестины и Ближнего Востока. Тщательное изучение архивных материалов, хранящихся в С.-Петербурге, позволило А. Г. Грушевому обнаружить много интересных данных по истории Православного Палестинского общества.

Автором следующего очерка, озаглавленного «В. Э. Регель как основатель и редактор Византийского временника», является сам редактор тома И. П. Медведев (с. 156—180). Василий Эдуардович Регель (1857—1932) был тем скромным ученым, который, много и упорно трудясь, долгое время оставался в тени, а после смерти фактически был предан забвению. Между тем герой очерка был создателем наиболее авторитетного русского журнала по византистике. И. П. Медведев справедливо указывает на важность нескольких публикаций о В. Э. Регеле, принадлежащих Л. П. Лаптевой, без которых память об ученом могла бы угаснуть полностью.⁶ Помимо документов, касающихся подготовки томов «Византийского временника», в архиве ученого много подготовительных материалов к изданию актов афонских монастырей, которые публиковались в самом журнале и в приложениях к нему. Тогда же начинается выходить монументальная серия «Actes de l' Athos» — работа, которая получила свое продолжение и была осуществлена наилучшим образом Г. Милле, П. Лемерлем и их сотрудниками. В. Э. Регель приступил к публикации святогорских грамот, использовав громадный фотоматериал, собранный П. И. Севастьяновым. В кругу греческих ученых В. Э. Регель пользовался неизменным уважением: 12 марта 1909 года, по предложению Н. Веиса, К. Г. Зисну и К. Ралиса, административный совет Афинского Византийского общества избрал его своим действительным членом (см. с. 178, где публикуется в греческом подлиннике письмо К. Г. Зисну и Н. Веиса с сообщением об избрании).

Следующий очерк написан Л. Г. Климановым и озаглавлен «Н. П. Лихачев — византиноведение в рукописном наследии ученого» (с. 181—212). Герой очерка был ученым универсального профиля, в византистике он более всего известен как специалист в области сигиллографии и иконографии. Способности Н. П. Лихачева (1862—1936) обнаружили еще на студенческой скамье, на третьем курсе он написал 875-страничное сочинение о Четвертом крестовом походе. Составление коллекций столь любимых Н. П. Лихачевым сфрагистических памятников было прервано с началом Первой мировой войны, а их издание — в 1930—

1933 годах, когда ученый был арестован и сослан в Астрахань. После Н. П. Лихачева осталось много неизданных трудов, некоторые из них были опубликованы посмертно. Тем не менее в его архиве и сейчас хранится немало неизданных материалов, некоторые из них довольно подробно описываются в рассматриваемой книге. Другому крупному русскому византисту Хрисанфу Мефодьевичу Лопареву (1862—1918) посвящена статья Л. Н. Заливаловой (с. 213—225). Х. М. Лопарев занимался в основном византийскими и древнерусскими повествовательными источниками; его главнейший труд в этой области — «Греческие жития святых VIII и IX веков» публиковался на страницах «Византийского временника» в 1910—1912 годах. В статье приводятся некоторые подробности, касающиеся как изданных работ ученого, так и тех, которые остались неопубликованными.

Одной из самых обстоятельных статей в книге, с пространными выписками из архивных материалов и подробными примечаниями, касающимися побочных тем, является статья И. Ф. Фихмана, посвященная менее известному византисту — Григорию Филимоновичу Церетели, грузину по отцу и русскому по матери (с. 226—258). Уроженец С.-Петербурга (1870), Г. Ф. Церетели в результате углубленных занятий стал крупнейшим филологом, тонким знатоком греческого языка. Основной предмет его занятий — греческие рукописи и греческие тексты. Этого человека, судьба которого сложилась трагически (трижды арестовывался; в последний раз, в 1939 году, преследуемый Л. П. Берией, осужден на десять лет заключения и с тех пор исчез), отличал ужасный недостаток — шовинизм и ксенофобия. Свое отрицательное отношение к грекам Г. Ф. Церетели высказывал в письмах из Греции (см. с. 257, примеч. 150), он оскорбительно отзывался о А. И. Пападопуло-Керамевсе, которого презирал как ученого (с. 244). Совсем в другую атмосферу погружается читатель, когда переходит к очерку А. Н. Анфертьевой о Дмитрие Власевиче Айналове (1862—1939), известном историке византийского искусства (с. 259—312). Эта статья представляет особый интерес по двум причинам. Во-первых, потому что она фактически является первым обзором архива Д. В. Айналова, который в 1942 году, во время блокады Ленинграда, был передан его вдовой в Академию наук СССР и содержит ценные материалы и проекты путешествий на Святую Гору, в Константинополь, в Грецию и в другие места, где сохранились памятники византийского искусства. Во-вторых, потому что в очерке сообщается много нового о тех гонениях, которым подверглись византистике (как, впрочем, и славистика) и византисты в Советском Союзе в 1930-е годы. Заслуживает внимания и обширная переписка Д. В. Айналова с учеными-современниками, русскими и иностранными.

Александр Александрович Васильев (1867—1953), знаменитый русский историк-византист, известен самым широким кругам греческой научной общественности как автор «Исто-

⁶ Лаптева Л. П. 1) Регель Василий Эдуардович // Славяноведение в дореволюционной России: Библиографический словарь. М., 1979. С. 291; 2) В. Э. Регель как византист // Византия. Средиземноморье. Славянский мир. М., 1991. С. 130—140. См. также: *Laptevá L. P. V. E. Regel — ruský badatel Kosmy Pražské* // Slovanský přehled. 1977. N 2. S. 170—176.

рии Византийской империи», изданной в греческом переводе богословом Демосфеном Савралисом (1954). Величественное появление престарелого ученого на Международном конгрессе византистов в Фессалониках в 1953 году осталось жить в памяти тех, кто имел тогда возможность увидеть и услышать его. Уроженец С.-Петербурга, он умер в Вашингтоне месяц спустя после конгресса в Фессалониках. Личность ученого, какой она предстает в свете его неизданной переписки, — такова тема очерка И. В. Куклиной (с. 313—338). Здесь освещаются, главным образом, обстоятельства, при которых А. А. Васильев оставил Россию и обосновался в Америке. Интересно настойчивое желание ученого преподавать американцам историю Византии, повысить уровень американской византистики, который он нашел весьма низким. Данные, которые читатель найдет в рецензируемой книге, следовало бы дополнить материалами из американских архивов, показывающими решающую роль русского ученого в создании супружеской четой Роберт Вудз Блисс превосходного византийского собрания и библиотеки единственного в мире центра по изучению Византии — *Dumbarton Oaks*.

Следующую — весьма пространную — статью, озаглавленную «В. Н. Бенешевич: Судьба ученого, судьба архива», написал И. П. Медведев (с. 339—388). Речь идет об одном из ведущих специалистов по истории византийского права, прежде всего канонического, неутомимом исследователе и знатоке греческих рукописей. В. Н. Бенешевич, родившийся в 1874 году, закончил свои дни трагически — он был казнен в застенках НКВД 27 января 1938 года. Архив этого русского ученого представляет собой, по заключению И. П. Медведева, «банк данных», методично классифицированных самим автором. Здесь находятся его заметки о путешествиях в разные страны, о работе в библиотеках, в которых он изучал византийские рукописи юридического содержания. В автобиографической заметке, сохранившейся среди бумаг В. Н. Бенешевича, читается немало подробностей, касающихся его жизни и творчества. Причем сообщения о событиях личной жизни (аресты, преследования, ссылки) перемежаются с научной информацией большой ценности. Сохранившиеся 600 архивных единиц, тысячи страниц — это лишь треть всего архива В. Н. Бенешевича. В статье сообщается много подробностей об издании трудов ученого, о задуманных им публикациях и исследованиях, оставшихся незавершенными. Как явствует из корреспонденции В. Н. Бенешевича, в 1934 году он обращался к Федону Кукулесу с предложением, чтобы Афинское общество византийских исследований продолжило издание «Тактикона» Никона Черногорца.⁷ Совет общества принял решение

разделить издание на 10 выпусков. К сожалению, работа ученого, связанная с этим изданием, затерялась в архивах, и И. П. Медведев задается вопросом, действительно ли труд был вполне завершен (с. 349—350). Не лишена трагичности и программа сотрудничества В. Н. Бенешевича с Афинской академией по подготовке «Каталога каталогов греческих рукописей всего мира» (работа, которую впоследствии выполнил аббат Марсель Ришар). Об этой программе мы узнаем из письма В. Н. Бенешевичу Дмитрия Гиниса, отправленного 7 января 1938 года, когда русский ученый находился в тюрьме, за 20 дней до его расстрела.

Книга завершается публикациями материалов, извлеченных из архивов русских византистов (с. 389—429). В частности, здесь изданы письма К. Э. Цахариз фон Лингентала к А. А. Кунику (публикация подготовлена И. П. Медведевым и Т. Н. Таценко) и неизвестный каталог рукописей Вазелонского монастыря, составленный А. И. Пападопуло-Керамевсом (публикация И. П. Медведева). В библиографических материалах, касающихся ученого грека А. И. Пападопуло-Керамевса (1855—1912), которые предваряют последнюю публикацию, не учтена важная статья, опубликованная в 1962 году, в связи с 50-летней годовщиной со дня смерти ученого, в «Журнале Московской патриархии».⁸ Том завершается заметкой О. А. Белобровой об одном забытом портрете Н. П. Кондакова (с. 446—447) и весьма полезными указателями.

Следует поблагодарить И. П. Медведева и его сотрудников за этот блестящий труд, который сообщает всем интересующимся много неизвестных данных о жизни и научной деятельности великих русских византистов. Составители книги заслуживают благодарности и за проявленную ими объективность в изложении фактов — за то качество, которое было утрачено в России на протяжении многих десятилетий. Авторы не стесняются показать темные стороны в жизни и творчестве своих героев, например сомнительное поведение Порфирия Успенского или отвратительную ксенофобию Г. Ф. Церетели. Вместе с тем книга в полной мере демонстрирует то, что было свойственно всем русским византистам, и то, что заслуживает всеобщего восхищения. Это — любовь в предмету исследования и убеждение в непреходящей культурной ценности византийского наследия. Не следует забывать, что в годы советской власти чрезмерный интерес к византийской культуре мог сам по себе стать причиной политических репрессий. В 1930-е годы византистика и византисты подверглись в Советском Союзе таким же жестоким гонениям, как славистика и слависты. Если эти последние уже удостоились своего «мартиролога»,⁹ то в отношении византистов материалы для подобного «мартиролога» впервые представлены в рецензируемой книге.

⁷ Первый выпуск издания вышел в России: Тактикон Никона Черногорца: Греческий текст по рукописи № 41 Синайского монастыря св. Екатерины. Пг., 1916. Вып. 1. (Записки Историко-филологического ф-та Петроградского ун-та, т. 139).

⁸ Карманов Е. А. И. Пападопуло-Керамевс и его труды // Журнал Московской патриархии. 1962. № 8. С. 72—77.

⁹ Ашин Ф. Д., Аллатов В. М. «Дело славистов»: 30-е годы. М., 1999.

НОВЫЕ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «АЛЕТЕЙ»*

Петербургское издательство «Алетейя», завоевавшее заслуженный авторитет своими сериями «Античная библиотека» и «Византийская библиотека», объявило о начале новой серии — «Славянская библиотека», первая книга которой уже вышла в свет.

Подготовленная известными специалистами в области славяноведения и византистики — Б. Н. Флорей, А. А. Туриловым и С. А. Ивановым, — эта книга ценна прежде всего тем, что посвящена малоизученному периоду славянской письменности. Если деятельность Кирилла и Мефодия достаточно интенсивно исследовалась в последние десятилетия как отечественными, так и особенно болгарскими учеными, то к изучению славянской книжности XII—XIII веков обращались неизмеримо реже. В центре внимания авторов книги — Житие Климента Охридского, написанное, как убедительно доказывает С. А. Иванов, архиепископом Охридским Феофилактом в конце XI века. Решение этого спорного в мировой науке вопроса потребовало углубленного анализа состояния славянской книжности на Балканах и сложных болгаро-византийских политических, церковных и культурных связей. Поэтому исследование С. А. Иванова далеко выходит за рамки атрибуции Жития Климента, рассматривает тот фон, на котором это произведение появилось. Книга содержит также публикацию краткого жития Климента, написанного Дмитрием Хоматианом, и Жития Наума. Все названные жития написаны по-гречески, поэтому их научный перевод, осуществленный авторами книги и сопровождаемый обстоятельным научным комментарием, делает эти важнейшие памятники агиографии, ценные для изучения истории славянской книжности, доступными широкому кругу славистов. Обзор славянской письменности X—XIII веков, представленный в разделе, принадлежащем известному слависту А. А. Турилову, чрезвычайно актуален в связи с непрекращающимися спорами о датировке и локализации древнейших славянских кодексов. Книга несомненно вызовет интерес не только у специалистов — славистов и русистов, но и у всех читателей, интересующихся историей славянской книжности.

Другая книга, выпущенная издательством в текущем году, совершенно иного характера:

* *Флоря Б. Н., Турилов А. А., Иванов С. А. Судьбы Кирилло-Мефодиевской традиции после Кирилла и Мефодия. СПб.: Алетейя, 2000. (Серия «Славянская библиотека»); Макаров В. И. «Такого не бысть на Руси прежде...» Повесть об академике А. А. Шахматове. СПб.: Алетейя, 2000.*

это беллетризованная биография крупнейшего русского ученого — языковеда, текстолога, исследователя летописей академика А. А. Шахматова. Жанр литературной биографии очень рискованный: представляя читателям личность крупного ученого, легко удариться в крайности — либо засушить изложение сугубо научной проблематикой, доступной лишь специалистам, либо, напротив, утонуть в бытописательстве, в милых, но незначительных «мелочах жизни». На мой взгляд, В. И. Макарову удалось избежать обеих крайностей. Его повесть читается с интересом. Мы видим Шахматова не только как крупного ученого, но и как «живого», частного человека. Стоит особо подчеркнуть, что даже в основанной на письмах, документах и мемуарах повести автор не мог избежать диктуемого требованиями жанра вымысла, например диалогов и реплик персонажей, которые оживляют повествование, делают описываемые коллизии более зримыми. Так вот, эти, бесспорно вымышленные, диалоги не «режут ухо», выглядят совершенно естественными, абсолютно уместными в устах персонажей.

Когда же В. И. Макаров излагает собственные научные проблемы, которыми занимался Шахматов, то он делает это просто, внятно, и суть их становится понятной даже не искусственному в филологических проблемах читателю.

Но главное в том, что Шахматов предстает на страницах книги во всей многогранности своей личности — и как фанатично увлеченный ученый, и как организатор науки, и как гражданин, готовый бороться за права Академии, университетов, за судьбы студентов, и как «просто человек» — добрый, мягкий, обаятельный. А. А. Шахматов был тесно связан с крупнейшими учеными своего времени, и через призму их взаимоотношений читатель может «видеть» и Ф. И. Буслаева, и Ф. Ф. Фортунатова, и П. П. Вяземского, и И. В. Ягича, учеников и последователей Шахматова. Филологическая и университетская элита рубежа веков живо предстает перед нами со страниц книги.

Спасибо В. И. Макарову и издательству «Алетейя» за умную и добрую повесть об одном из самых выдающихся деятелей отечественной науки.

Но не могу не высказать огорчения: фотография Пушкинского Дома в Петербурге, Дома, с которым были связаны и сам Шахматов, и его дочь и зять, определен в подписи как «Дом Пашкова, „Румянцевский музей“, ныне Российская государственная библиотека». Это, пожалуй, единственная «ложка дегтя»...

© Р. Ю. Данилевский

ЖОРЖ САНД В РОССИИ*

В апреле 1999 года в Пушкинском Доме успешно прошла защита докторской диссертации О. Б. Кафановой, доцента, ныне профессора Томского государственного педагогического университета, ученицы Ф. З. Кауновой и Ю. Д. Левина. Работа защищалась в виде только что тогда изданной в Томске монографии. К сожалению, в печати пока не появилась полная библиография русской жоржсандианы, составленная диссертанткой как приложение к ее труду.

О. Б. Кафанова известна, в частности, как библиограф, умеющий создавать хороший фактографический фундамент изучения историко-литературных явлений.¹ Но не собрание сведений о переводах произведений Жорж Санд, бесчисленных упоминаний ее имени в России составило пафос обсуждаемого труда. После прежних, ценных, но все-таки лишь частичных исследований истории «русской» Жорж Санд (работы Б. Ф. Егорова, А. Гранжара, В. Д. Комаровой-Стасовой, Е. Н. Купреяновой, М. Г. Ладария, Б. Г. Реизова, М. С. Трескунова и др.) была наконец создана целостная и очень подробная, написанная легким и ясным слогом, в полном смысле слова *монографическая* картина восприятия романов и рассказов французской писательницы и общественной деятельницы несколькими поколениями русских литераторов и читателей, начиная с упоминания в «Северной пчеле» в октябре 1832 года первого романа «госпожина Занда» «Индиана» и до отражения типичной жоржсандовской психологической коллизии в пьесе Л. Толстого «Живой труп» на рубеже XIX и XX веков (несмотря на то что О. Б. Кафанова сосредоточила внимание лишь на «срединном» сорокалетии XIX века).

Материал книги распределяется по временному принципу, или вернее — соответственно периодизации, принятой в истории русской литературы: каждая из трех частей монографии посвящена соответственно тридцатым, сороковым и шестидесятым годам. Но уже в первой части О. Б. Кафанова выходит за намеченные рамки, давая сжатый очерк творчества Жорж Санд. Это помогает читателю в дальнейшем ориентироваться в материале и избавляет автора от повторений.

«Фронт» восприятия произведений и самого, как выражается автор, «мифообраза» писательницы (созданного ею самой, а также поборниками и противниками женской эмансипа-

ции, за которую Жорж Санд боролась упорно и самоотверженно) был в России очень широким и совпадал едва ли не со всем слоем пишущих. Поэтому в книге отмечено множество литературных фактов второстепенной значимости, достойных внимания историка литературы, но в художественном отношении не очень интересных (произведения А. В. Тимофеева, Н. Н. Веревкина, А. Я. Панаевой, других беллетристов). Зато крупно и ярко выделяются на этом фоне очерк отношения М. Лермонтова к Жорж Санд (гл. V первой части), изменчивое, но глубоко заинтересованное и страстное восприятие ее идей В. Белинским (гл. II второй части) и его поколением, пытавшимся претворить в жизнь идеальные отношения между мужчиной и женщиной, за которые ратовала великая французка (интереснейшая гл. VI второй части — «Жорж Санд и любовный быт эпохи»). Особенно впечатляет третья часть книги, включающая в себя главы об отношении к Жорж Санд Л. Толстого (гл. II), Н. Чернышевского и «шестидесятников» (гл. III), главу о полемике, разгоревшейся между И. Тургеневым и Ф. Достоевским в год смерти писательницы (гл. IV). Не новая тема о Достоевском и Жорж Санд повернута к читателю книги О. Б. Кафановой своей полемической стороной.

Именно полемике, а не только заложенный В. Белинским и его единомышленниками «культ» Жорж Санд убеждает в глубоком влиянии творчества писательницы на русское общество середины XIX века. Это хорошо показано в книге на примере отношения Н. Гоголя к Жорж Санд (с. 197—207). Резкое неприятие Гоголем проповеди женской свободы было вызвано, как доказывает О. Б. Кафанова, крайними модной «эмансипации», а не женоненавистничеством писателя. Оба, Жорж Санд и Гоголь, «верили в преобразование общественного устройства на основах гуманности и, пусть в разных формах, обратились к соотечественникам с проповедью любви к ближнему» (с. 206—207). Это же самое можно сказать и о Л. Толстом, и о Достоевском. Тургенев же, по словам автора, «не без влияния дискуссии о женском вопросе едва ли не первым в русской литературе дал представление о женщине как о наиболее чуткой выразительнице эпохи» (с. 384).

Страницы работы О. Б. Кафановой, посвященные Тургеневу, дают повод отметить одну черту ее книги, которая нередко встречается в подобного рода монографических исследованиях. Герой увлеченного автора по временам заслоняет от него историко-литературный горизонт, хотя автор в нашем случае, конечно, знает, что русский жоржсандизм вливался в живую среду национальных и международных литературных традиций. Думается, что женские образы, созданные еще до Жорж Санд, например Карамзиным и Пушкиным, также «вы-

* Кафанова О. Б. Жорж Санд и русская литература XIX века: (Мифы и реальность). 1830—1860 гг. / Отв. ред. Ю. Д. Левин. Томск, 1998. 410 с.

¹ См.: Кафанова О. Б. Библиография переводов Н. М. Карамзина в «Вестнике Европы» (1802—1803 гг.) // XVIII век. Л., 1989. Сб. 16. С. 319—337; СПб., 1991. Сб. 17. С. 249—281.

ражали» свою эпоху, что, впрочем, никак не умаляет заслуг Тургенева и Жорж Санд перед женской темой в русской литературе.

Недостает, как нам представляется, в книге О. Б. Кафановой и другой части историко-литературного фона. Хотелось бы найти там более подробное сравнение русского жоржсандизма с такими типологически сходными явлениями, как русский байронизм и вообще романтизм в его поведенческом, «бытовом» выражении, русское шиллеррианство или более поздние проявления литературной «моды», выводящей словесное искусство за его пределы, делая литературных героев и идеи писателей идеалом и правилами стиля жизни. Тогда стали бы, может быть, понятнее причины довольно быстрого ослабления «культы» Жорж Санд в русском обществе (даже уже в 1850-х годах!), несмотря на ее «эпохальное значение в истории европейской и русской культуры» (с. 303), несмотря на все благородство ее общественных идеалов и близость их к социалистическим идеям, которые как раз только набирали силу в XIX веке.

Угасание восторгов русских читателей французской романистки тщательно прослеживается О. Б. Кафановой в первой главе третьей части книги, но причины этого не раскрыты. Нельзя все же не признать, что создания Шекспира, Гете или Пушкина не утратили притягательности до сих пор, тогда как едва ли кто-нибудь читает сегодня Жорж Санд, кроме историков литературы. Дело здесь, может быть, в том, что и было отражено в сделанном как бы мимоходом авторском замечании: «Положительным героям Санд не хватало жизни...» (с. 122). Повидимому, слишком силен был рациональный и, как сказали бы мы теперь, идеологический элемент в творчестве Жорж Санд. Пока эти качества были нужны русской публике, Жорж Санд читали, вскоре затем пришли Бальзак, Флобер, Золя, и ее звезда закатилась.

Это сказано, впрочем, не в упрек исследованию О. Б. Кафановой, так как, не будь ее фунда-

ментального труда о Жорж Санд, невозможно было бы представить себе во всей полноте роль этой писательницы в русской литературе и — что не менее важно — представить себе значение ее образа для русской общественности. Мы не ставим жоржсандизм полностью в один ряд с поверхностными проявлениями литературной «моды», но, повторяем, исследователя не может оставить равнодушным факт воздействия литературы на общество. Подчас литературные творения начинают выделять из себя, по выражению Д. С. Лихачева, «энергию почти лазерной силы и лазерной сосредоточенности»,² словно бы возмещающая какой-то недостаток или невозможность активности общества, подталкивая людей к действию, заражая их новыми идеями. Потом увлеченность одними авторами проходит, другие почему-то продолжают действовать на наше сознание. Материала для дальнейших размышлений на эту тему более чем достаточно в монографии О. Б. Кафановой, причем материал этот первоклассный и совершенно достоверный.

В своей методике исследовательница опиралась на лучшие достижения русского и международного литературоведения, культурологии, на опыт рецептивной эстетики и изучение функций так называемого «коллективного мифа». Основой ее метода являются представления, выработанные ленинградской (петербургской) и томской школами сравнительного литературоведения, предпочитающими всякому умозрению неопровержимость литературного факта. Независимо от частных спорных положений, от мелких стилистических недочетов, подобные работы ложатся надежными, прочными блоками в стены здания истории русской литературы и ее международных связей.

² См.: Лихачев Д. С. Строение литературы (к постановке вопроса) // Русская литература. 1986. № 3. С. 28.

ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПУШКИН И ПУШКИНИСТИКА НА ПОРОГЕ XXI ВЕКА»

29 мая — 2 июня 1999 года состоялась юбилейная международная конференция «Пушкин и пушкинистика на пороге XXI века», организованная Санкт-Петербургским государственным университетом, Российским государственным гуманитарным университетом, Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова, Всероссийским музеем А. С. Пушкина (С.-Петербург) и Государственным музеем А. С. Пушкина (Москва) при участии культурно-просветительского общества «Пушкинский проект».¹ Конференция началась в стенах Санкт-Петербургского университета, а затем продолжила свою работу в Москве, в Российском государственном гуманитарном университете.

На пленарных и секционных заседаниях прозвучало в общей сложности 65 докладов ученых из разных стран мира и разных городов России. Все они, каждый по-своему, стремились подвести итоги, достигнутые в тех или иных областях пушкиноведения к концу XX века, и наметить перспективы, открывающиеся перед наукой о Пушкине в XXI веке.

В рамках конференции работали три секции, самая большая из которых называлась «*Вопросы биографии и творчества Пушкина*».

Доклад одного из патриархов американской славистики В. Эрлиха (Хамден, США) «Поэзия и реальность: „Я помню чудное мгновенье...“» был посвящен проблемам, неизбежно возникающим при анализе биографических аспектов лирики. Несмотря на то что традиционное как для романтиков, так и для позитивистов XIX века убеждение в биографической основе поэтического творчества подверглось в XX веке беспощадной критике, докладчик солидаризовался с более умеренным и взвешенным подходом к этой проблеме, представленным прежде всего в работах Р. О. Якобсона периода Пражского лингвистического кружка. Вместо того чтобы отрицать наличие связей между поэзией и действительностью, было бы, по мнению В. Эрлиха, гораздо плодотворнее всякий раз подчеркивать опосредованный, неоднозначный характер этих связей. Это справедливо и для анализа пушкинского шедевра «Я помню чудное мгновенье...» в соотнесенности с извест-

ными диничными отзывами Пушкина об А. П. Керн в переписке с приятелями. Процесс лирической сублимации способен одухотворить земную встречу и таким образом видоизменить ее вплоть до неузнаваемости. Но из этого еще отнюдь не вытекает, что если поэзия трансформирует реальность, то такой документ, как письмо приятелю, способен точно ее воспроизвести. Любое речевое явление подвергает описываемое событие определенной стилизации и модификации. Конечно, «идеализирующее» любовное стихотворение — это более сложная словесная структура, чем письмо одного повесы другому. Но и последнее представляет особый «бытовой» жанр с легко определяемыми свойствами, зависящими в том числе и от ожиданий адресата.

С. Н. Бройтман (Москва) в докладе «„Я“ и „другой“ и проблема инвариантной ситуации в лирике Пушкина» подчеркнул, что у Пушкина стиль — это не только сам человек (по Бюффону), но и человек, к которому он обращается (по Бахтину и Лакану), поэтому при попытке выявить в пушкинской поэзии инвариантную ситуацию необходимо учитывать субъектную организацию анализируемых произведений (отношения между лирическими субъектами — автором и героем). Так, например, стиль стихотворения «Я вас любил: любовь еще, быть может...» обусловлен не только «его», но косвенно и «ее» интенцией, перенесенной внутрь сознания лирического «я» и ставшей для него «своей». По мнению докладчика, *инвариантной ситуацией* в лирике Пушкина является именно пересечение границы между «я» и «другим». Способность поэта стать на точку зрения «другого» оказывается простейшей моделью такого основополагающего свойства пушкинского творчества, как «протеизм» (или, иначе, «всемирная отзывчивость»).

В. Шмид (Гамбург, Германия) в докладе «Немцы в прозе Пушкина» стремился показать, что Пушкин, который в своей обрисовке немцев во многом следует национальным стереотипам и нередко иронизирует над немецкой любовью к теориям, некоторой оторванностью от жизни и т. д., тем не менее отводит немецким персонажам особую сюжетную роль: их действия, будь то неблагоприятное поведение (вспомним немецкого врача в «Станционном смотрителе»), пренебрежение своими обязанностями (землемер Шмит в «Метели»), излишняя осмотрительность (оренбургский комендант в «Капитанской дочке») или же просто безобидная реак-

¹ Содействие в проведении конференции оказали Администрация Санкт-Петербурга, Администрация Москвы и гуманитарно-культурный центр «Пилигрим».

ция (смех немцев в «Гробовщике»), в конечном итоге оказываются причиной далеко идущих позитивных последствий, которые, однако, не предусматривались инициаторами и, конечно, вообще не были предусмотрены. Таким образом, Пушкин вновь демонстрирует те важные последствия ничтожных причин, о которых он писал в заметке о «Графе Нулине». Что же касается «Пиковой дамы», то в ней стереотип расчетливого немца подтачивается (но не взрывается) посредством того, что характер Германа оказывается несводим к какой-то одной черте — он, с одной стороны, колеблется между прозаической алчностью и склонностью к чудесному, а с другой стороны, *осциллирует* между двумя структурными возможностями: (1) противоречивый, раздвоенный характер, (2) одномерный характер. Суждение Томского, на которое ссылаются столь многие и которое в значительной степени определило образ немца в последующей русской литературе XIX века, — «Герман немец: он расчетлив, вот и все!» — принадлежит Томскому, а не Пушкину, и является ловушкой автора для опрочетчивого читателя. К тому же слова Томского мотивированы совершенно безобидным и прагматическим образом. Ему хочется как можно скорее рассказать свой анекдот о бабушке, которая не играет в карты, и тем самым перецеголять оба прозвучавших ранее парадокса: (1) о неудачливости Сурина при всей его осторожности и (2) о Германе как неиграющем игроке.

Доклад В. И. Тюпы (Москва) «Двуязычие „Повестей Белкина“: между притчей и анекдотом» был посвящен анализу сложного взаимодействия двух жанровых стратегий — притчи и анекдота — в поэтике пушкинского прозаического цикла. Притча творит *императивную* картину мира, где герой является субъектом этического выбора перед лицом некоего нравственного закона. Анекдотом же создается *оппозиционная* картина мира как арены столкновения и взаимодействия субъективных воль, где герой — субъект свободного самоопределения в непредсказуемой игре случайностей. В «Повестях Белкина» то герой притчи становится героем анекдота (Владимир, разрабатывающий план побега и покаянного возвращения по схеме «блудных детей»), а вместо того вступающий в анекдотический диалог с мужиком в затерянной деревушке), то герой анекдота о случайном венчании (Бурмин) — героем притчи о том, что «суженого конем не обедешь». Типично притчевые герои (Сильвио, Самсон Вырин, со всей серьезностью осуществляющие императивный подход к жизни) сталкиваются с типичными героями анекдота (граф Б. с его черешнями, мнимый больной Минский) и т. д. В конечном счете жанровая стратегия притчевого мышления позволяет Пушкину сопрягать историческую действительность с универсальными общечеловеческими ценностями, тогда как жанровая стратегия анекдотичности сопрягает «большое» время общенародного, исторического бытия с «малым» временем индивидуально-интимного быта.

Э. И. Худошина (Новосибирск) в докладе «„История Пугачева“: итоги и проблемы изучения» подробно остановилась на вопросе о специфике художественности жанра истории у Пушкина. В жанровой системе Пушкина «История Пугачева» — крайняя точка на оси координат «поэзия — проза». Сама эта оппозиция присутствует во всех эпических произведениях Пушкина, все более семантизируясь в процессе развития жанровой системы. Свообразной художественной рефлексией этой семантики являются «лица жанров»: лирические герои в поэмах, рассказчики в повестях, автор в «Евгении Онегине». Образ историка, сложившийся поначалу в прозаических примечаниях к стихотворным текстам, а затем и жанр истории знаменуют устремления к некоему абсолютному минусу «поэзии». Специфика парадоксальной художественности этого жанра у Пушкина такова, что поиск «художественных элементов» в тексте «Истории» (таких, как сюжет, образ главного героя, картинность изображения) не ведет к выявлению творческой воли автора и поэтому представляется методологической ошибкой. Стилевая задача автора «Истории» сугубо негативна: он должен исключить саму возможность «поэтического» прочтения, не поступаясь при этом «ясностью» и «верностью» в передаче событий. «История Пугачева» как эстетический факт существует настолько, насколько Пушкину удалось воплотить в ней принципы «минус-поэзии».

М. Г. Альтшуллер (Питтсбург, США) в докладе «Между двух царей. (Заметки о гражданской лирике Пушкина 1826—1836 гг.)» обратил внимание на то, что отношение Пушкина к Александру I, резко отрицательное в 1820-е годы, становится более амбивалентным в 1830-е годы. Это касается прежде всего произведений второй болдинской осени 1833 года: Александр I в «Медном всаднике» похож на слабого, но милосердного Дука из поэмы «Анджело», а Петр (как известно, служивший постоянным образцом для Николая I) в некоторых отношениях может быть сопоставлен с жестоким Анджело, мотивирующим свои решения государственной необходимостью. Вполне амбивалентная оппозиция двух царствований сформулирована Пушкиным в стихотворении «Была пора: наш праздник молодой...» (1836).

Одна из постоянных тем Пушкина — власть и мораль — стала предметом доклада Г. В. Краснова (Коломна) «„Владыки мира“ в художественном сознании Пушкина».

Сходной темы коснулась Ю. Сугино (Осака, Япония) в докладе «К изучению поэмы Пушкина „Медный всадник“». Исследовательница предложила новый аргумент в пользу старой догадки о том, что Медный Всадник символизировал для Пушкина не только Петра, но и Николая I. По ее мнению, наводнение соотносилось в сознании Пушкина с Пугачевским бунтом, а также с холерными бунтами 1830-х годов, жестоким усмирителем которых выступил Николай. Наряду со старым предположением, что бунт Евгения должен был олицетворять восстание декабристов, эти исторические параллели дают основание видеть в поэме сложный худо-

жественный синтез разных исторических эпох (1770-е годы, восстание декабристов, 1830-е годы).

«Медному всаднику» был посвящен и доклад Т. Сасаки (Токио, Япония) «„Строитель чудотворный“ и „безумец бедный“ в „петербургской повести“ Пушкина». Исследование смысловой динамики пушкинской «повести» докладчик стремился сочетать с анализом эвфонии ее стиха. Если во «Вступлении», разрывяющемуся «на берегу пустынных волн», Пустоте противостоит сильная «воля» человека (что подчеркивается рифмой «волн — полн», обнаруживающей контраст пустоты волн с полнотой дум Петра), то в конце фигурирует христианское понятие «воскресения» на «пустынном острове». «Петербургская повесть» начинается с «рыболова» и кончается «рыбаком».

История рыбака, святого Петра-Симона, присутствует в ее начале и конце, создавая смысловое рондо. Симон-рыболов превращается в Петра, символически соотносимого с камнем («гранит»), чтобы затем опять стать бедным «рыбаком».

В докладе И. Л. Альми (Владимир) «Рок в мирозерцании Пушкина и его героев» речь шла о том, как сосуществовали и противоборствовали в пушкинском творчестве два взаимоисключающих начала — языческий вызов року и христианское смирение перед божественным промыслом. В противовес мнению многих других исследователей, обращавшихся к сходной проблематике, докладчица подчеркнула, что конфликт этих двух начал оставался неразрешимым для Пушкина вплоть до самого конца его жизни.

А. А. Белый (Москва) в докладе «„Памятник“ — завещание или манифест?» проанализировал соприкосновение и расхождение Пушкина с традицией европейских «памятников», восходящей к латинской поэзии в ее *ренессансном восприятии*. Возрожденческими элементами являются в пушкинском «Памятнике» и антропоморфность скульптурного образа («главою непокорной»), и тема славы как приобщения к бессмертию, и переход от утверждения «Я» к его отрицанию (пример Петrarки, сложившего лавровый венок к алтарю). В то же время для Пушкина оказалась важна модель, заданная апостолом Павлом в Посланиях к коринфянам. Именно эта модель позволяет увидеть цельность пушкинского «Памятника», органичность связи последней строфы (мотива «обиды») с предыдущими. Подобно апостолу Павлу, Пушкин был «принужден» к «самохвалству», отстаивая не личную славу, а право «апостольства» ради утверждения «истины». За «Памятником» действительно стоит традиция. В ее истоке — свободная личность древнего Рима, наследниками которой были и Гораций, и апостол Павел. Можно думать, что для Пушкина основой культурной парадигмы была личность, способная к «самостоятью» под знаком высших истин. В этом смысле «Памятник» можно рассматривать как последний манифест Пушкина в преддверии смены культурной парадигмы.

Е. Н. Григорьева (С.-Петербург) в докладе «К проблеме временной организации текста в лирике Пушкина», полемически отталкиваясь от методов структурального анализа, пытающегося описать мир пушкинской лирики исключительно с позиции синхронии, подчеркнула, что лирика Пушкина может быть описана лишь с учетом эволюционного начала, которое во многом определяется изменением одной из основных категорий художественного мира — категории времени. В докладе были выявлены варианты «самостояния человека» в лирике и прослежена их зависимость от временной организации текста. Основную тенденцию, обнаруживающуюся при анализе изменений временных категорий, можно охарактеризовать как движение от определенного к множественному, от условного, жанрового времени (циклического, ориентированного на античный миф — в раннем дружеском послании; векторного — в элгии) к смещению в одном тексте прошедшего, настоящего и будущего, времени личности, природы, истории и вечности. Лирическое «я» поздней лирики («Каменноостровский цикл») находится и внутри мифологического времени (подобно лирическому герою посланий и антологических пьес раннего Пушкина), и вне его, во времени собственном, биографическом. При этом лирическое «я» оказывается прикосновенно и к «времени вечности» евангельского мифа, которое входит в земное, «реальное» время как нечто ему сопresentствующее. Только личность, живущая в определенном историческом времени, становится той точкой пересечения, в которой сходятся время личности, природного цикла, истории и вечности. Это последнее способно ввести ощущение гармонической осмысленности во время биографическое, и им же, временем вечным, оценивается исторический момент.

В докладе О. Г. Лазареску (Петрозаводск) «Пространство и время в „Пире во время чумы“ А. С. Пушкина» речь шла о том, что художественное пространство «маленькой трагедии» становится ареной встречи двух ценностных ориентаций, которые восходят к двум культурно-мировоззренческим типам — эллинскому и библейскому. Эллинский тип воспроизводит круговой вид движения, фиксирующий мир в его статичных формах и состояниях. В пьесе Пушкина он совпадает с сознанием пирующих. Библейский тип воспроизводит линейный тип движения, фиксирующий мир в его динамике, изменчивости. В пьесе он совпадает с сознанием Священника и его спутников. Эллинскому типу свойственно переживание действительности в категориях пространственности, библейскому — во временных категориях. Пространственное и временное видения, соответствующие двум культурно-мировоззренческим типам, присутствуют в пьесе на равных. «Язык» пространства и «язык» времени одинаково оправданы в мире, так как обусловлены самим бытием. Выбирая тот или иной «язык» в своем «разговоре» с «небесами», герои остаются в сфере свободы.

О. Меерсон (Вашингтон, США) в докладе «Псевдослучайные рифмы в „Моцарте и Сальери“: обличение „злодейской“ напыщенности стиля» обратила внимание на то, что в «маленьких трагедиях», сам жанр и стих которых, казалось бы, исключает рифму, она все же иногда слышится читателю. Рифмы не только даны, но и заданы как некие псевдогаллюцинации читателя/зрителя/слушателя. Пушкин разными способами «прячет» их: то они композиционно случайны и неожиданны («малыш негодный — филигр презренный»), то слишком приближены к основным («послан — Моцарт»), то банальны («Рафаэля — Алигьери — Сальери»). Эти псевдослучайные рифмы появляются в одном и том же семантическом контексте: либо высокое рифмуется с низким, либо темой зарифмованного отрывка оказывается профанация высокого. Кульминацией и обнажением такого приема «запрятывания» рифмы в слуховую галлюцинацию является последняя рифма: «прекрасного жрецов — я нынче нездоров». Моцарт говорит здесь на языке Сальери (ведь это лексикону последнего принадлежат «жрецы прекрасного»). Однако здесь, пожалуй, обнажается все-таки не прием (что достигается, по Шкловскому, нулевой мотивировкой), а мотивировка поведения самого Сальери. Где ведутся разговоры на тему «единого прекрасного жрецов», там, как выясняется, один из «жрецов» вполне может оказаться «нездоров». Итак, гений и злодейство, возможно, несовместны, но высокопарность и злодейство идут рука об руку и рифма в рифму. Пушкин — без единого авторского слова, одним приемом рифм-галлюцинаций — умел сообщить это подознанию читателя/зрителя/слушателя.

С. А. Мартынова (Владимир) выступила с докладом «Татьяна Ларина в контексте пушкинской лирики (VIII глава „Евгения Онегина“), в котором она задалась целью представить по возможности полное и систематическое описание «лирического аспекта романного образа». «Тихое», «простое» поведение Татьяны окружено множеством лирических ассоциаций: пушкинские смиренницы с их скромной грацией и «неотмирной» красотой («Ее глаза», «Красавица»); «блистающая смиренно» красота поздней осени («Осень»). «Сокровенная» красота Татьяны сопоставлена в романе с «ослепительной», «мраморной» красотой Клеопатры Невы, напоминающая о значимом для поздней лирики Пушкина архетипе «гордая Клеопатра — кроткая Богоматерь» (стихотворения «Клеопатра» и «Мадонна»).

О. В. Астафьева (С.-Петербург) в докладе «Из комментария к театральным строфам „Евгения Онегина“» предложила отказаться от традиционного истолкования финальных строк XVII строфы первой главы романа. До сих пор усилия комментаторов были направлены на то, чтобы найти в репертуаре петербургских театров 1818—1820 годов такие спектакли, героинями которых были бы Федра и Клеопатра. Однако, по мнению докладчицы, замысел поэта едва ли подразумевал отсылки к конкретным

театральным постановкам: вводя в текст XVII строфы имя озеровской героини Моины, Пушкин стремился противопоставить героиню французской и русской трагедий как таковых.

Нетрадиционный подход к анализу пушкинской трагедии продемонстрировал Л. Бретт Кук (Колледж Стейшн, США) в докладе «„Борис Годунов“ А. С. Пушкина с точки зрения социобиологии», в котором был подробно проанализирован основной, с точки зрения американского исследователя, мотив трагедии — детоубийство, означающее смерть генетического будущего родителей, и ряд других «биопозитических» мотивов.

Новый подход к изучению пушкинских эпиграмм предложила Н. Е. Мясоедова (С.-Петербург) в докладе «Эпиграмматистика А. С. Пушкина 1820-х гг. в свете концепции З. Фрейда». Докладчица подчеркнула, что в эпиграммах поэта учтена каждая строка — учтена, но не изучена. Работа З. Фрейда «Остроумие и его отношение к бессознательному» позволяет внести коррективы в определение жанровых особенностей пушкинских эпиграмм 20-х годов XIX века и объяснить следующие аспекты: какая именно краткость проявляется в их структуре, как взаимодействуют категории «сгущение» и «бессмыслица», из чего проистекает удовольствие, получаемое автором и читателем эпиграммы, и как рождается эпиграмма в сознании поэта.

В докладе О. Н. Гринбаума (С.-Петербург) «„Онегинская строфа“ и русский сонет: контрасты ритмики» был представлен новый метод изучения гармонии строфического ритма, базирующийся на принципе «золотого сечения». Детальное исследование ритмических характеристик «онегинской строфы» и русского сонета (362 полные строфы романа «Евгений Онегин» и 277 текстов русских сонетов), а также их сопоставление с формальными величинами отношений для чисел — членов ряда Фибоначчи позволило: 1) привнести в понятие «строфы как ритмического целого» (Г. Шенгели) математическую точность и строгость ритмико-эстетического качества; 2) установить ритмико-архитектонические закономерности строфы Пушкина и русского сонета; 3) выявить в строфе Пушкина пять основных видов строфического ритма, а именно «идеальный», «золотой», «сверхлегкий», «сверхтяжелый» и «сонетный»; 4) наметить главные направления дальнейших исследований.

В основе доклада В. С. Баевского (Смоленск) «Творческая биография и поэтика Пушкина: лингвистические, математические, компьютерные модели» лежало убеждение в том, что нет такой сложной и важной проблемы в истории и теории литературы, которую невозможно решить или в решении которой невозможно далеко продвинуться путем совместного применения лингвистических, математических и компьютерных моделей (прежде всего теории текста, математической статистики, теории вероятностей, теории групп и логики). В докладе было рассказано об исследованиях,

которые ведет автор с группой коллег, по периодизации творческого пути Пушкина с помощью кластерного анализа и по изучению структуры онегинской строфы с применением теории текста, теории групп и компьютерного моделирования.

В докладе С. В. Сысоева (Москва) «К поэтике заглавий лирики А. С. Пушкина в связи с коммуникативной организацией стихотворения» была предпринята попытка проанализировать лирическое произведение как высказывание, состоящее из «того, кто говорит, того, что говорится, и того, кому говорится» (Аристотель. Риторика, 1, 3). Подобный «риторический» анализ выявляет в стихотворении как едином произведении два высказывания: собственно лирическое высказывание (основная часть произведения) и «заголовочный комплекс», состоящий из надписей и подписей к основному тексту. Согласно предположению докладчика, представляется возможным не включать фрагменты текста, стоящие в позиции надписи или подписи, в лирическое высказывание и считать надпись и подпись служебными жанрами на основании их функции в произведении (регламентация читательского восприятия и легитимизация произведения как продукта культуры).

Отправной точкой доклада М. Н. Дарвина (Новосибирск) «Сборник стихотворений как форма творчества Пушкина» стала констатация того, что современные литературоведческие представления о «прижизненном сборнике» не всегда согласуются с реконструируемой картиной прошлого. Докладчик предложил новый подход к этой проблеме, основывающийся на понимании поэтического сборника как системы отношений автора, составителя и издателя. Предпринятый на основе этой теоретической посылки анализ прижизненных сборников Пушкина приводит к заключению, что Пушкин не создал какого-то одного-единственного типа поэтического сборника, представляющего устойчивую художественную систему. Исследование сборников Пушкина 1826—1835 годов показывает, что поэт выступает в них прежде всего как активный субъект творчества, стремящийся к выстраиванию художественно значимых контекстов. Одним из проявлений творчества Пушкина в этом аспекте можно считать возникновение стихотворных циклов («Подражания Корану»). В целом Пушкин стремился к такому способу организации стихотворного сборника, который мог бы в максимальной степени способствовать проявлению свободы читателя.

А. Н. Иезуитов (С.-Петербург) в докладе «Пушкин: наука будущего и будущее науки» подчеркнул, что пушкинское творчество явилось принципиально новым явлением в отечественной и мировой культуре, и потому оно требует к себе концептуально нового подхода. Попытку предложить такой подход как раз и предпринял автор доклада, руководствуясь созданной им «философией взаимодействия», делающей возможным изучение того, каким обра-

зом сосуществуют и взаимодействуют различные начала и элементы пушкинского художественного мира.

Отчасти сходной проблематики коснулся в своем докладе «Пушкинское произведение как поэтическое бытие-общение» М. М. Гиршман (Донецк, Украина), остановившийся на особом характере создаваемой Пушкиным поэтической реальности, которая не только не требует признания себя за действительность, но внутренне противостоит такому рода отождествлениям, не допускает их, заботливо выстраивая границы поэтического целого. В этих границах гармонический идеал и земная реальность оказываются в общении, но нигде и никогда полностью не переходят друг в друга. Объединяющая связь между действительностью «земли» и идеальностью «неба», их общение друг с другом — вот что становится реальностью в поэтическом бытии, осуществляемом в поэзии Пушкина.

Доклад С. Б. Адоньевой (С.-Петербург) «Дух Пушкина» был посвящен концепту «Пушкин» в культурно-ритуальной практике, складывавшейся в советское и постсоветское время. В качестве материала рассматривались идеологические традиции 30-х годов, в контексте которых формировался образ метафизического адресата по имени Пушкин.

По-новому проанализировать одну из традиционных тем, связанных с биографией Пушкина, попытался К. Касама (Токио, Япония) в докладе «Пушкин и Ф. Глинка». В отличие от прежних исследователей этой проблемы, он стремился рассмотреть отношения поэта с «великодушным гражданином» не в идейном, а в психологическом плане. В центре внимания докладчика оказалось влияние Глинки на Пушкина-человека, на его духовный рост и формирование характера. В заключение японский пушкинист высказал неожиданную гипотезу о том, что между Пушкиным и Ф. Глинкой существовали гомосексуальные отношения.

В докладе С. О. Шмидта (Москва) «Пушкин среди дипломатов» были суммированы сведения о родственных и биографических связях Пушкина с русскими дипломатами, а также о светском общении поэта с посланниками разных европейских стран в Петербурге.

С докладом «„Бахчисарайский фонтан“ в балете» выступил В. М. Гаевский (Москва), проанализировавший длительную историю хореографических воплощений пушкинской поэмы.

С итогами и перспективами многолетней работы над уникальным изданием — «Онегинской энциклопедией» познакомила участников конференции Н. И. Михайлова, заместитель директора Государственного музея А. С. Пушкина (Москва).

На заседаниях той же секции прозвучал доклад Н. Д. Тамарченко (Москва) «„Вещий сон“ и художественная реальность у Пушкина („Капитанская дочка“» и доклад Ю. Л. Троицкого (Москва) «Эпистолярная дуэль А. С. Пушкина».

Чрезвычайно интересной и разнообразной была также секция «Пушкин и мировая культура».

Исходной точкой доклада В. Гольштейна (Нью-Хейвен, США) «„Пиковая дама“ и притчи от Матфея» послужила отсылка к 25-й главе Евангелия от Матфея, содержащаяся в пятой главе пушкинской повести. Герои всех притч в 25-й главе (разумные и неразумные девы; овцы и козлища; использующие свой талант и зарывающие его) реализуют как бы два сюжета, две возможности. Причем притча, как и пушкинский текст, вполне категорична, ибо один выбор подразумевает приобретение и спасение, другой — потери и ад крошечный (таковы туз и дама, дверь к Лизе и дверь к графине). В результате выбора Германна сюжет в пушкинской повести сворачивается, вместо того чтобы развиваться. Германн стремится переписать литературный текст, так же как он стремится «переписать» Божественное провидение. Все — от жанра до эпиграфов, от подтекстов до журнала — толкает Германна к браку и любви, но он выбирает карты, деньги и наполеоновские победы. Германн пытается убедить из своего жанра, из текста, в котором он находится. Он нарушает естественный порядок жизни. Он идет к старухе вместо молодой девушки, подавляя свою сексуальность. Ошибка Германна — дама, выбранная вместо туза, является следствием вышедшего на поверхность подсознания, которое герой повести упорно подавляет. Подобные неестественные решения раньше или позже оказываются наказанными. Порядок восстанавливается.

Л. И. Вольперт (Тарту, Эстония) в докладе «„Гавриилиада“ и поэмы Парни» осветила новаторские черты таких произведений французского поэта, как «Война богов», «Галантность Библии», «Потерянный рай», а также проанализировала процесс усвоения этих черт Пушкиным в «Гавриилиаде». Используя такие приемы Парни, как «масочный» образ автора и лирические отступления, Пушкин вводит ряд новаций (постоянное обманывание читательских ожиданий; иной, чем у Парни, характер неомифологизма, позволяющий сплести в единое целое различные культурно-временные пласты). Констатация того, что в «Гавриилиаде» наличествуют приемы романтической иронии, позволяет ощутить ее родство с романтическими поэмами Пушкина, а это, по мнению докладчицы, заставляет пересмотреть и вопрос о датировке поэмы (не март 1821 года, как полагал Б. В. Томашевский, а март 1822 года, как считали многие его предшественники).

Н. Жекулин (Калгари, Канада) в докладе «Пушкин и Моцарт. Два „Дон-Жуана“» остановился на сходствах и различиях между оперой Моцарта — да Понте и «Каменным гостем». Как показал докладчик, с самой первой сцены Дон Гуан нарушает донжуановскую традицию, блюстителем которой выступает Лепорелло. В третьей сцене Пушкин в наибольшей степени приближается к тексту оперы, чтобы подготовить то полное разрушение традиции, которое ведет к трагической развязке пьесы. Есть осно-

вания полагать, что Дон Гуан действительно влюбляется в Дону Анну, а следовательно, в последней сцене Каменный гость становится блюстителем традиции и Дон Гуан наказан за нарушение ее правил. Таким образом, в «Каменном госте» Пушкин вновь обращается к теме, которая волновала его и в других произведениях, созданных болдинской осенью 1830 года, — к вопросу о том смысле, который может придать человеческой жизни любовь.

В докладе С. Евдокимовой (Провиденс, США) «Отношение к истории: Пушкин, Шекспир, Шиллер» было высказано предположение, что модель трагедии о самозванчестве и гражданской войне Пушкин в процессе работы над «Борисом Годуновым» мог заимствовать не только у Шекспира, но и у Шиллера с его собственным осмыслением шекспиризма. Особое внимание докладчица уделила рассмотрению массовых сцен и методу изображения главных героев у трех перечисленных драматургов. В шекспировских хрониках и политических пьесах ход истории не зависел от роли народа ни прямо, ни косвенно. Между тем у Пушкина возникает парадокс: и сила самозванца, и уязвимость Бориса основаны на том, что является чистой фикцией, т. е. на мнении народа, который не способен иметь мнения. Нечто похожее есть у Шиллера, который показывает, как власть жидется на репутации, но именно поэтому оказывается ненадежной. Сходство художественного метода, а отчасти и идеологической структуры «Валленштейна» и «Бориса Годунова» объясняется тем, что оба писателя пытались окинуть историю «взглядом Шекспира». Но события Французской революции обострили их интерес к проблеме легитимности власти и взаимоотношений политики и морали. В результате у Шиллера и Пушкина еще острее, чем у Шекспира, ощущается кризис провиденциального исторического сознания.

Доклад Дж. Д. Клейтона (Оттава, Канада) «В поисках нового театра: „Борис Годунов“ Пушкина и „Кромвель“ В. Гюго» был посвящен многочисленным параллелям между реформаторскими устремлениями Пушкина, руководившими им при создании «Бориса Годунова», и французской полемикой вокруг нового жанра романтической трагедии. Уже письмо Пушкина Н. Н. Раевскому от второй половины июля 1825 года является его первым опытом на поприще «французского театрального манифеста». Новым и мощным стимулом попробовать свои силы в жанре предисловия к пьесе, или теоретической апологии, стало для Пушкина предисловие В. Гюго к драме «Кромвель», напечатанное в декабре 1827 года. Докладчик обстоятельно проанализировал переключки между этим манифестом французской романтической драматургии и набросками предисловия к «Борису Годунову», относящимися к 1828—1830 годам, а также остановился на вопросе о том, почему пушкинское предисловие так и осталось незавершенным.

В докладе В. Е. Хализева (Москва) рассматривались взаимоотношения власти и народа в

«Борисе Годунове» Пушкина и в «Государе» Н. Макиавелли. Несомненные переключки между автором ренессансного трактата и героями пушкинской трагедии, считающими, что правителю подобает поступаться нормами нравственности ради достижения своих политических целей. Но позиция самого Пушкина отнюдь не является «макиавеллистской»: вне нравственный утилитаризм Годунова, Шуйского, Басманова, Отрепьева предстает не в качестве предпосылки государственной стабильности, а напротив, как путь к хаосу, смятению, кровопролитиям. При этом неправедные пушкинские герои лишены той внутренней уверенности, которую Макиавелли считал необходимой для государя: они тяготеют собственным небрежением законами нравственности. Это свидетельствует о критичности автора «Бориса Годунова» по отношению к правителям ренессансного типа и вообще к ренессансной личности, объемно и ярко охарактеризованной Я. Буркхардтом. Вместе с тем налицо и схождения между Макиавелли и Пушкиным: сознание и поведение народа мыслится ими как имеющие устойчивую нравственную ориентацию. По мнению докладчика, правомерным представляется вывод о многозначительных типологических схождениях и, главное, расхождениях между трактатом «Государь» и «Борисом Годуновым».

В докладе А. Жолковского (Лос-Анджелес, США) речь шла о «живучести одной пушкинской парадигмы», а именно — мотива «очных ставок с властителем», ярко представленного в «Капитанской дочке» контактами Гринева с Пугачевым и Маши с Екатериной. Слово «пушкинский» докладчик взял в кавычки: он показал, что эта зрительная парадигма восходила у Пушкина к Вальтеру Скотту. «Живучесть» же состояла в том, что этот мотив был использован также в «Войне и мире» Л. Толстого, где, впрочем, он был подвергнут радикальному преобразованию в связи с толстовским взглядом на несвободу и невласть властных исторических фигур. В заключении докладчиком были рассмотрены вариации той же парадигмы в рассказе Ф. Искандера «Пыры Валтасара», в котором заостряется толстовский подрыв пушкинской парадигмы, но в то же время обнаруживаются многочисленные сходства с «Капитанской дочкой» в ряде других отношений.

В докладе Е. Непомнящей (Нью-Йорк, США) «Пушкин и В. Ирвинг: Неизвестный источник „Медного всадника“» было высказано предположение, что на Пушкина мог оказать влияние рассказ В. Ирвинга «Легенда Спящей долины». Комический рассказ американского писателя и торжественно-мрачная поэма Пушкина строятся на аналогичных сюжетных ситуациях: мелкий чиновник мечтает о будущем семейном счастье; движение событий развивает эти мечты; сюжетной кульминацией в обоих случаях оказывается сцена, в которой герой сталкивается со своим антагонистом, выступающим в облике сверхъестественного всадника (причем и у Пушкина, и у Ирвинга столкновение между

главным героем и всадником являет собой схватку исторически враждебных сил).

А. А. Смирнов (Москва) в докладе «Das Ewig-Weibliche в поэзии Пушкина и Гете» рассмотрел основные идеологические постулаты Пушкина в его понимании прекрасного. Лирические интенции русского поэта были сопоставлены с итоговым гетевским пониманием «вечного-женственного» во II части «Фауста».

В совместных докладах Л. Ф. Кациса и М. П. Одесского (Москва) «Пушкин и Коллар», «Пушкин и Коллар в полемике А. Блок—футуристы» был поставлен вопрос о рецепции русскими писателями пушкинской эпохи и «серебряного века» той идеологии и поэтики «славянской взаимности», которая была сформулирована Яном Колларом в поэме «Дочь Славы». В первом докладе было показано, что непосредственным источником пушкинских строк «Славянские ль ручки сольются в Русском море? / Оно ль иссякнет? вот вопрос» («Клеветникам России») послужил реферат 20-го сонета поэмы Коллара «Дочь Славы» в журнале «Телескоп» (1831. № 11). В условиях польского восстания 1830—1831 годов мотивная переключка с произведением чешско-словацкого поэта перерастала в идеологическую конструкцию. «Дружественный» России славянин Коллар противопоставлялся враждебным России «ляхам». А значит, назло западным «клеветникам», подавление польского восстания толковалось не как имперская агрессия России против польского народа, а как «семейная вражда». Адекватно восприняв эту идеологическую конструкцию, А. Мидкевич ответил Пушкину в своих парижских лекциях о славянских литературах. Анализируя «Дочь Славы», польский изгнанник дал понять, что единение славян возможно, но произойдет оно не в границах Российской империи (что, по его мнению, утверждал Пушкин, апеллируя к Коллару), а в эсхатологическом пространстве.

Во втором докладе доказывалось (на основе анализа статьи-манифеста В. Маяковского «Россия. Искусство. Мы», стихотворений В. Хлебникова 1914—1915 годов, а также стихотворения А. Блока «День проходил, как всегда...»), что полемика Блок—футуристы этого времени была основана на идеологии и топике «славянской взаимности». Давно отмеченные Р. Якобсоном и Н. Харджиевым связи поэзии русского футуризма с поэмой «Дочь Славы» (отрицаемые современными исследователями Хлебникова) находят свое исследовательное обоснование при учете пушкинского контекста, важного и для Блока, и для футуристов. Докладчиками был сделан также вывод о том, что правомерно говорить о специфическом «колларовском тексте» в русской культуре и о специфической «поэтике славянского единства», восходящей к пушкинской рецепции поэмы Коллара.

Л. Сальмон-Коварски (Генуя, Италия) в докладе «О теоретических предпосылках и стратегиях перевода „культовой поэзии“» предложила вниманию собравшихся не анализ тех или

иных уже существующих переводов, но теоретическую систему размышлений, необходимых для построения любого метода перевода. Взамен прескриптивного подходу строгой лингвистики или дескриптивному подходу «Translation Studies» был предложен «ремесленный» подход, основывающийся на учете достижений герменевтики и семиотики. Только такой деонтологический подход позволит, по мнению докладчицы, взвесить реальные возможности воспроизведения на другом языке хотя бы некоторых элементов сложнейшей художественной ткани пушкинских текстов.

В докладе Т. Йокота-Мураками (Осака, Япония) «Проблема перевода произведений Пушкина на японский язык в конце XIX века» был проанализирован первый японский перевод «Капитанской дочки», изданный в 1883 году. Это был вольный перевод, в котором многие стилистические черты и содержательные аспекты оригинала подверглись существенной трансформации. Несмотря на то что внесение подобных изменений при переводе, как правило, расценивается отрицательно, автор доклада настаивал на возможности позитивного восприятия первой японской попытки перевести «Капитанскую дочку». Дело в том, что в начале периода Мэйдзи точное соответствие между переводом и оригиналом не было обязательным условием, равно как и стремление к передаче эстетической ценности исходного художественного текста. В ту пору в Японии еще не существовало той абсолютизации оригинала, которая запретит вольное и открытое его чтение после появления в конце XIX века таких понятий, как «литература» и «изящное искусство».

Д. Секе (Будапешт, Венгрия) в докладе «Проблема понимания и перевода „Евгения Онегина“» рассказал о венгерских переводах пушкинского романа. Докладчик стремился акцентировать не отдельные лексико-стилистические расхождения переводов с подлинником, а проблемы, вызванные самим восприятием оригинала переводчиком. В этой связи особо интересны те различные решения, которые представлены в венгерских переводах начальных стихов письма Татьяны к Онегину и которые передают разное понимание изображенной ситуации и разное отношение переводчиков к пушкинской героине. Любопытные колебания наблюдаются и в восприятии переводчиками образа Онегина. Особое внимание докладчик обратил на проблему художественного воспроизведения русского колорита начала XIX века и на связанный с этой проблемой вопрос о соотношении конкретно-исторического и общечеловеческого в оригинале и в переводах.

К. Юладд (Нью-Йорк, США) выступила с докладом «Пушкинские торжества в Китае в 1937 г.», в котором рассказала о том, как отмечалось столетие со дня смерти Пушкина в Шанхае, к 1937 году сменившем оккупированный японцами Харбин в качестве культурной цитадели русской эмиграции. Особо остановилась докладчица на судьбе памятника Пушкину, открытого в Шанхае 11 февраля 1937 года. Он

был украден с постаментов зимой 1944 года, восстановлен в феврале 1947 года, а затем пал жертвой культурной революции. Памятник был воссоздан скульпторами Гау Юньлуном и Ли Чжигуном в начале 1980-х годов (копия варианта 1947 года).

Большое количество фактов, касающихся рецепции пушкинского творчества в среде русской эмиграции, было изложено также в докладе К. Савада (Урава, Япония) «100-летие со дня смерти А. С. Пушкина. Торжества русских эмигрантов в Токио». Докладчик подробно осветил те связи, которые установили организаторы торжеств с пушкинскими комитетами в Белграде, Париже, Берлине, Харбине, Шанхае и других городах, и в заключение особо остановился на своеобразном продолжении пушкинских дней в Японии, каким явился организованный в марте 1937 года «Русский кружок любителей литературы и искусства».

С. Г. Исаков (Тарту, Эстония) в докладе «Рецепция Пушкина в странах Балтии» наметил и охарактеризовал основные этапы истории восприятия Пушкина в бывшем Остзейском крае. На первом этапе (до 1870-х годов) знакомство с Пушкиным осуществлялось в основном по немецким переводам. В конце XIX века на смену немецкому пришли латышский и эстонский языки. Затем, в начале XX века, латыши и эстонцы знакомы с произведениями Пушкина в оригинале, в основном через русифицированную школу. Далее докладчик проанализировал специфику рецепции пушкинского творчества в период независимых Латвийской и Эстонской республик (1918—1940), в советский период, а также на современном этапе, после провозглашения странами Балтии национальной независимости.

Разнообразием тем и подходов характеризовалась работа небольшой, но чрезвычайно насыщенной секции «Пушкин и русская культура».

Ю. Н. Чумаков (Новосибирск) в докладе «Из размышлений о культурном мифе Пушкина» сосредоточил внимание на особом статусе Пушкина среди других русских писателей, связанном прежде всего с «ритуальным» отношением к поэту. Жизнь и творчество Пушкина соединились в эстетический универсум, созданный на пике национальной культуры. Свидетель и участник стремительного ускорения русской истории, Пушкин сбалансировал ее порыв с традиционной малоподвижностью патриархально-родовых оснований, не изжитых до сих пор. Эта мысль звучала у А. А. Григорьева, для которого Пушкин — «законитель и властелин многообразных стихий». В условиях постоянного столкновения между русским космоизмом и историчностью Пушкина, по мнению докладчика, генерирует и настраивает национальное художественное начало, столь необходимое для освобождения от пут имперсонализма.

В докладе Ю. В. Шатина (Новосибирск) «„Пушкинский текст“ как объект культурной

коммуникации» была предпринята попытка вычленил и охарактеризовать основные этапы в истории функционирования «пушкинского текста». Прижизненный миф о Пушкине определяется, по мнению докладчика, тремя главными чертами: *редукционизм* (прятие одних и неприятие других произведений Пушкина), *биографизм* и *идеологизм*. Изменение кода культурной коммуникации вокруг «пушкинского текста» во второй половине XIX века было связано прежде всего с преодолением редукционизма и заменой его *универсализмом*, а также с частичным угасанием биографического интереса. Первые десятилетия XX века характеризуются заменой универсализма *феноменологием*. Альтернативной тезису «Пушкин — наше все» становится тезис: «Мой Пушкин». Новый этап культурной коммуникации связан с теорией и практикой постмодернизма, постулирующими *игровой характер* «пушкинского текста» и основывающимися на понимании его как текста с *высокой степенью коммуникативной неопределенности*, а тем самым на его тотальной *деидеологизации*.

Интересный анализ одного литературного мотива, немаловажного для восприятия и понимания «Повестей Белкина», предложил А. А. Карпов (С.-Петербург) в докладе «Повести Белкина» и мотив восприятия жизни сквозь литературу в русской литературе конца XVIII — первой трети XIX века». Докладчиком была выделена группа разножанровых произведений русских авторов, объединенных особым образом героя, мироощущение и поведение которого в заметной степени определяется его читательскими впечатлениями. Как показал А. А. Карпов, пушкинский сборник тесно связан с этой литературной традицией, причем введение его в данный контекст позволяет уточнить существующие трактовки «Повестей», в новом ракурсе увидеть их уже отмечавшиеся особенности.

П. Е. Бухаркин (С.-Петербург) в докладе «Об одном отзвуке письма Татьяны («Евгений Онегин» — «Демон» М. Ю. Лермонтова)» указал некоторые реминисценции из письма пушкинской героини в речах лермонтовского Демона, обращенных к Тамаре. По мнению докладчика, посттекст в данном случае высвечивает в претексте тот неясственный смысловой план, который соответствует глубинным авторским интенциям самого Пушкина. Судьба поддавшейся искусению Тамары, будучи спроецирована на сюжет пушкинского романа, помогает яснее увидеть те опасности, которых сумела избежать Татьяна, в финале романа отвергшая демонический соблазн сексуальной любви.

Целый ряд докладов, прозвучавших на конференции, был посвящен теме «Пушкин и Гоголь». Ю. В. Манн (Москва) в докладе «Эпизод литературного общения Гоголя и Пушкина», заново проанализировав сохранившиеся свидетельства о контактах между двумя писателями в период, непосредственно предшествующий отъезду Гоголя за границу, пришел к выводу, что нет никаких оснований говорить о

разрыве, якобы происшедшем между ним и Пушкиным. Напротив, то обстоятельство, что Гоголь сообщил о начатых им «Мертвых душах» только Пушкину, Жуковскому и Плетневу, сохранив это в тайне от своих московских знакомых, свидетельствует о добрых отношениях, связывавших его с Пушкиным в то время. Гораздо более позитивной, чем это обычно трактуется, выглядит и реакция Пушкина на литературные «похищения» Гоголя в изложении П. В. Анненкова. Что же касается расхождений Пушкина с Гоголем в вопросах журнальной тактики, связанных со статьей «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», то и они, по-видимому, не были свидетельством серьезного конфликта. «Письмо к издателю», подписанное «А. Б.» и принадлежавшее Пушкину, было задумано как тонкая и многозначная игра с читателем, в итоге которой программа журнала предстала *открытой*. Пушкин снимал точки над «i», излишне категорично расставленные Гоголем.

К несколько иным выводам относительно литературных отношений двух писателей пришла Е. Н. Дрыжакова (Питтсбург, США) в докладе «Пушкин — редактор Гоголя». Проанализировав включенную в «Арабески» статью «Несколько слов о Пушкине», докладчица высказала предположение, что Пушкин внес в текст несколько сокращений и добавил примечание о приписываемых ему «нелепых стихах». Что же касается статьи Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», то докладчица, рассмотрев черновые тексты и ряд фактов, имеющих отношение к данной проблеме, реконструировала ситуацию следующим образом. Вероятно, Пушкин пригласил Гоголя написать для первого номера «Современника» критический обзор в традиционном анонимном виде. Гоголь предпочел форму «письма к редактору», что дало ему возможность упомянуть не только Пушкина, но и себя самого. Пушкин не принял такую форму. По его указанию из текста были исключены не только эти упоминания, но и лингвистические знаки «личного» участия. Кроме того, по желанию Пушкина из текста были исключены типично гоголевские «зоологические» и бытовые сравнения. Существенные изменения внес Пушкин и в рецензию Гоголя на книгу М. П. Погодина «Афоризмы» (в частности, им была исключена антифранцузская тирада). Пушкин не был удовлетворен критическими статьями Гоголя и высказал это в «Письме к издателю» из Твери и в статье «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной». Ни одна из уже написанных рецензий Гоголя больше не появилась в журнале Пушкина.

М. Вайскопф (Иерусалим, Израиль) в докладе «„Зачем так звучно он поет?“ (Гоголь и Белинский в борьбе с Пушкиным)» проанализировал сквозное — и стилистическое, и концептуальное — воздействие, оказанное Белинским в 1840-х годах на многочисленные суждения позднего Гоголя о Пушкине. Прежде всего это сходство обнаруживается в трактовке обоими

критиками высказанной еще Гнедичем мысли о «протеизме» Пушкина, которая через несколько лет после смерти последнего была «подтянута» Шевыревым к популярной идеологеме о всемирной перемичности русского человека.² В николаевскую эпоху эта национальная способность трактуется как необходимая стадия пассивного ученичества, стадия подражательного усвоения чужих культурных форм, за которой неминуемо следует интеллектуальное становление народа, постигающего собственную «мысль» и свою коллективную личность. Отвергая офицерно-националистическую подоплеку этого общерусского «протеизма», спродигированного Шевыревым на Пушкина, Белинский в серии «пушкинских» статей 1843—1846 годов обращается, однако, к той же стабильной схеме, но придает ей негативное осмысление. И для позднего Белинского, и вслед за ним для Гоголя в «Выбранных местах» (нач. 1847) свойство текучей восприимчивости Пушкина сопряжено с *отсутствием* у него личности, застилаемой переливающим маревом спонтанных впечатлений; причем Белинский вдвоабok уличает Пушкина и в роковом отсутствии «мысли». У обоих авторов Пушкин — поэт пассивно-зеркальный, запечатлевший природу и душевные движения с одинаковой силой беззаботного лирического любования. И Белинский, и затем Гоголь единодушно порицают Пушкина за роковую неспособность выйти «из заколдованного круга» самодовлеющего искусства, чтобы «дать ответ на вопросы времени». В зальцбургском письме 1847 года Белинский, в свою очередь, подпал под встречное влияние автора «Выбранных мест»: оба говорят о моральной ответственности русской литературы, ссылаясь именно на пушкинский прецедент. Разница лишь в том, что если у Гоголя Пушкин изображен авторитетным носителем нравственной нормы, то у Белинского он выведен столь же репрезентативным ее нарушителем. В свете этого симптоматического консенсуса пресловутое базарное двуединство «Белинского и Гоголя» приобретает, по мнению докладчика, достаточно точный и зловещий смысл.

В докладе О. О. Рогинской (Москва) «Гоголь и И. Киреевский о Пушкине» было отмечено, что указанные критики, первыми предпринявшие попытку рассмотреть творчество Пушкина как единое целое и выявить его «главную мысль», приходят к поразительно сходным выводам о «характере» пушкинского творчества. Интересна и однонаправленность динамики развития их взглядов: значительная и принципиальная переоценка пушкинской поэзии в их более поздних работах, утрата Пушкиным ключевого места в их эстетических построениях. Переход поэта от байронизма к «поэзии действительности» осознается ими как выход на новый уровень освоения реальности; однако доведение принципа объективизма до абсолюта

приводит, по их мнению, к отрыву художественного творчества от проблем «текущей минуты», к созданию «искусства для искусства», к полной безыдейности и пустоте. Именно поэтому Гоголь так активно и принципиально противопоставляет теперь свою эстетическую позицию пушкинской, во многом способствуя появлению в истории русской литературы противопоставления пушкинского и гоголевского направлений.

Г. Е. Потапова (С.-Петербург) в докладе «Пушкинский „протеизм“ в движении эпох: *pro et contra*» подчеркнул, что привычное уподобление «Пушкин-Протей» в разные эпохи получало разные обоснования и, более того, могло подаваться не только с положительным, но и с отрицательным знаком. В частности, попытка проследить истоки национально-имперского обоснования пушкинского протеизма приводит к выводу, что зачатки этой идеи можно обнаружить еще в критике 1820-х годов, когда обращение Пушкина к этнически чуждому материалу воспринималось с точки зрения мифологемы империи, гармонически включающей в себя разные культурно-исторические миры (впрочем, это единство оставалось только единством «предмета»; вопроса о том, что в душевном складе автора делает возможным адекватное воспроизведение этнически чуждого, еще не возникало). Позже, когда в критике утвердилось представление о единстве авторской личности, пресловутый протеизм зрелого Пушкина поначалу плохо вписывался в концепцию эволюции поэта к периоду самобытной, национальной поэзии. Эту неувязку снял Белинский, для которого и способность Пушкина воспроизводить дух чужих народов, и «национальность» его поэзии в равной степени были производными от основного свойства пушкинского таланта — от художественной объективности. Другое решение было представлено у Шевырева, который первым — до Гоголя и Достоевского — уявлял понятие протеизма с концепцией Пушкина как национального поэта, объявив сам дар «всемирной отзывчивости» национальной русской чертой. В докладе были кратко затронуты немецкие источники идей Шевырева, а также предпринята попытка кратко очертить метаморфозы Пушкина-Протей в представлении его позднейших критиков и исследователей.

В докладе М. Каневской (Миссула, США) «Романистическая основа Пушкинской речи Достоевского» был развернут и аргументирован выдвинутый еще А. С. Долининым тезис о том, что знаменитая речь Достоевского 1880 года представляет собой роман, сжатый в схему. И сам Пушкин, и его персонажи становятся при таком прочтении романными персонажами Достоевского. Идея духовного восхождения «русского скитальца» до уровня национального самосознания образует основную сюжетную линию Пушкинской речи. Полвека спустя, когда социально-политические аспекты речи Достоевского утратили свою злободневность, созданная писателем модель «романа о Пушкине» выступила на первый план и послужила

² См.: *Вайскопф М. Сюжет Гоголя. М., 1993. С. 178—179, 395.*

прецедентом и образцом для многих пушкиноведческих опытов (Гершензон, Брюсов, Цветаева, Ахматова и др.).

И. В. Столярова (С.-Петербург) в докладе «Отзвуки пушкинского романа „Евгений Онегин“ в творчестве Н. С. Лескова» обратилась к малоизученной теме «Лесков и Пушкин». Воспринимая образ Татьяны Лариной как высшее художественное воплощение национального женского типа в русской литературе («Специалисты по женской части», 1867), Лесков строит характеры своих героинь в хронике «Старые годы в селе Плодомасове» (1868), а также в романах «Обойденные» (1865) и «Островитяне» (1865—1866) с оглядкой на пушкинский образ. В сюжете этих произведений отчетливо просматриваются ситуации, восходящие к «Евгению Онегину» и повести «Дубровский». В разработке этих ситуаций Лесков порой прямо следует Пушкину («Старые годы...»), акцентируя при этом органическую связь нравственного выбора, который совершает его героиня, с традициями народной нравственности, порой же открыто полемизирует с ним («Островитяне»), противопоставляя идее долга и самоотречения идею внутренней свободы.

В докладе С. Греньер (Вашингтон, США) «Толстой читает Пушкина: отражение „Ликовой дамы“ в „Войне и мире“ и „Анне Карениной“» была предпринята попытка проследить эволюцию отношений Толстого к прозе Пушкина в сопоставлении с эволюцией поэтики толстовских романов. Отправным пунктом для анализа послужил мотив воспитанницы, восходящий к «Ликовой даме» и присутствующий в обоих романах Толстого (ср. образы Сони и Вареньки). В 1853 году Толстой отвергает прозу Пушкина как устарелую и противопоставляет «голым» повестям Пушкина «интерес подробностей чувства». Толстой, по-видимому, не обращает внимания на то, что пушкинский лаконизм создает запланированный эффект «незавершенности» (Бахтия), незамкнутости персонажей. В «Войне и мире» Толстой использует свой психологический метод, с тем чтобы полностью объяснить и завершить пушкинский незамкнутый образ воспитанницы. В 1873 году Толстой, напротив, восхищается Пушкиным-прозаиком и говорит о своей учеве у него. Этому новому отношению к Пушкину соответствует тенденция к большему лаконизму и большей незавершенности персонажей, которая проявляется, в частности, в трактовке образа Вареньки в «Анне Карениной».

Доклад Г. Л. Гуменной (Нижний Новгород) «Пушкинская традиция в поэзии В. С. Соловьева» был посвящен шутливым поэмам Пушкина «Граф Нулин» и «Домик в Коломне», являющимся, на ее взгляд, наиболее продуктивными среди пушкинских поэм с точки зрения жанровой традиции. К жанрообразующим признакам этой разновидности поэм докладчица отнесла не только интерес к обыкновенному герою, художественное освоение нового жизненного материала, пародийно-полемическую заостренность по отношению к современным литератур-

ным явлениям, но и диалог с читателем, принцип иронической мистификации, неограниченную непредсказуемость сюжетного развития, многонаправленное пародирование, сочетание комического начала с лирическим. Как продолжение этой традиции была проанализирована поэма Соловьева «Три свидания», в которой сложнейшие софийные умозрения даны в форме шутливой поэмы.

Место Пушкина в творческом самосознании поэтов и писателей XX века стало центральной темой еще нескольких докладов, прозвучавших на этой секции. И. С. Приходько (Владимир) в докладе «Пушкин и блоковская мифология Поэта» отметила, что значение Пушкина в творческом сознании Блока было связано в первую очередь не с теми или иными «влияниями» и реминисценциями, но прежде всего с идеальным образом Поэта, с мифом о нем. Многоразличные другие составляющие блоковского мифа о поэте (Давид-псалмопевец, Орфей, Данте и т. д.) «перекрываются» именем Пушкина, которое само выступает в качестве своего рода мифа, ибо вбирает в себя черты пушкинских образов поэта или художника, в свою очередь опирающихся на многие образы мировой культуры. В заключение докладчица подробно остановилась на роли Пушкина как имени-мифа в знаменитой речи Блока «О назначении поэта».

В докладе Н. Г. Полтавцевой (Москва), посвященном месту и функции «пушкинского текста» в художественном мире А. Платонова, была предпринята попытка на материале платоновских статей о Пушкине 1937 года рассмотреть проблему «пушкинского текста» как «экспертного текста» и «экспертного сознания». Именно они, наряду с «детским текстом» и «детским сознанием», с 1930-х годов служили для Платонова средством проверки на жизненность просветительского «проекта модерна» (Ю. Хабермас) в его версии русского большевизма. Артикулирование в «пушкинском тексте» таких мотивов, как мотив свободы, любви, счастья, «природности» в широком смысле слова, послужило Платонову действенным средством деструкции и деканонизации «властного дискурса модерна» (М. Фуко) и способствовало отказу от «большого нарратива истории» в пользу «маленького рассказа о частной жизни» как нового типа эпоса.

Совместный доклад С. Сендеровича и Е. Шварц (Итака, США) «Пушкин и Чернышевский — встреча в XX веке» был посвящен роману В. Набокова «Дар», и прежде всего объяснению используемого здесь неожиданного сюжетного хода: Федор Годунов-Чердынцев переполнен Пушкиным, однако его поиски завершаются книгой о Чернышевском. По-видимому, разгадка этого странного хода кроется в том, что Набоков был одержим мыслями о Пушкине-человеке, но при этом, подобно М. Гершензону и В. Ходасевичу, считал всякий «человеческий документ» фарсом (этому посвящена его парижская речь «Пушкин, или Правда и правдоподобие»). В жизни Чернышевского он нашел кри-

вое зеркало, фарсовое изображение жизни Пушкина — в этом суть книги Федора о Чернышевском, которая целиком растет из мыслей о Пушкине. В романе есть и другие искаженные рефлексы Пушкина, а также прямое фарсовое появление его в псевдомемуарном эпизоде, когда неизвестного старика выдают за неумершего Пушкина. Самый характер Чернышевского Набоков «разыграл» по программе вычеркнутой XXXVIII строфы шестой главы «Евгения Онегина» (на то, что тут он увидел пророчество о Чернышевском, Набоков указал в своем комментарии к «Евгению Онегину»).

В. М. Маркович (С.-Петербург) в докладе «Пушкинский миф о поэте в поэзии „ленинградского андеграунда“ 1960—1980-х годов» стремился показать, что осуществлявшаяся поэтами андеграунда (Е. Шварц, О. Охупкин, В. Эрль, Т. Буковская, В. Кривулин и др.) травестия пушкинского мифа означала не отвер-

жение традиции, а скорее, ее ревизию, переосмысление и оживление. Лишь расщепившись на составляющие и преобразовавшись, пушкинские мотивы приобретали возможность войти в многослойно кризисное сознание современного поэта, в поле его речевых способностей. Именно *преобразованный* пушкинский миф включался ленинградскими поэтами в новые контекстные связи, придавая современному контексту метафизическое измерение, заданное литературной традицией. Таким образом, постмодернистское смешение различных культурных языков в поэзии «ленинградского андеграунда» не означало потерю ценностей иерархии — связь с классической традицией все равно сохранилась, несмотря на трансформацию этой традиции и во многом благодаря такой трансформации.

© Г. Е. Потанова

ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА

24 и 25 сентября 1999 года в Институте русской литературы РАН (Пушкинский Дом) проходила Юбилейная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Андрея Платонова.

Конференцию открыл зав. отделом новейшей литературы Пушкинского Дома В. П. Муромский. Подчеркнув значимость юбилея Платонова, он отметил, что по отношению к творчеству этого писателя трудно настроиться на «юбилейный» лад. Первые отклики на знаменательную дату подтверждают, что современные российские общественные силы и органы печати пытаются использовать ее в своих целях. В одних статьях писатель предстает как злой провидец, сатирик, разрушитель советской системы, для которой созданный им «котлован» обернулся могилой. В других он выглядит как сын своей эпохи, всю жизнь лелеявший коммунистическую мечту, которому, однако, было «за революцию обидно», за то, что выхолостили из нее саму идею и душу. Третьи делают упор на христианских, точнее, православных корнях творчества Платонова, причем иногда в такой форме и степени, что возникает соблазн превращения его из светского в религиозного писателя.

Попытки развести Платонова по разным идеологическим квартирам, по словам В. П. Муромского, в лучшем случае лишь обостряют вопрос о том, где же истинный Платонов. В то время как насущной необходимостью является действительное приближение к нему, проникновение в его уникальный, сложный, во многом противоречивый художественный мир. Это тем более важно, что Платонов, по общему признанию, является не только одним из крупнейших, но и одним из «труднейших» писателей XX ве-

ка. Поддержав основные идеи статьи Н. В. Корниенко под полемическим названием «Невозвращение Платонова» (Лит. газ. 1999. 1—7 сент.), где речь идет о давно наболевших и все еще не решенных проблемах публикации его наследия, В. П. Муромский уточнил, что возвращение Платонова в нашу литературу и литературную науку все-таки состоялось. Это исторический факт, и даже не предолженные до сих пор серьезные текстологические проблемы не в состоянии его отменить. Более того, многие платоновские тексты были «возвращены», т. е. введены в читательский и научный обиход, самой Н. В. Корниенко. В качестве трудной, но одной из основных задач В. П. Муромский выделил подготовку научного собрания сочинений писателя, а также в заключение рассказал о выходе в издательстве «Наука» второй книги серийного издания «Творчество А. Платонова. Исследования и материалы», о работе по подготовке научных изданий «Котлована» и «Чевенгура».

Н. М. Малыгина (Москва) выступила с докладом «Диалог Платонова с Достоевским». На протяжении всей жизни, отметила Н. М. Малыгина, А. Платонов испытывал к творчеству Достоевского неизменный интерес. В творчестве Платонова выделяется тип персонажей, восходящих к идеалу Христа, в характере изображения которых сказывается опыт Достоевского. Платонова сближала с Достоевским сосредоточенность на идее бессмертия человека, традиционное для православия убеждение в том, что важнейшим условием духовности человека является целомудрие. Платонов (вслед за футуристами) дополнил представления о необходимости целомудрия «энергетическим» обоснова-

нием: человек, направляющий энергию любви в мозг, становится интеллектуально всемогущим. Платонову удалось мастерски высветить проблему раздвоенности человеческой психики, довести до совершенства созданную в его произведениях систему образов персонажей-«двойников». А. Платонов, продолжила Н. М. Малыгина, пересматривает образ человека, используя приемы аналитического искусства, создает серию образов на основе синтеза черт «сверхчеловека» и качеств, присущих личности Спасителя. В результате этого становится трудно различимой граница между типами Спасителя и сверхчеловека, предлагающего себя человечеству «взамен Христа». При соотношении со сверхчеловеком Достоевского проясняется двойственная природа образов платоновских ученых и инженеров.

Одним из центральных в творчестве Платонова, сказала Н. М. Малыгина, переходя к обсуждению других параллелей между творчеством двух писателей, является мотив гармонического мироустройства. Платоновский «общепролетарский» дом («Котлован») восходит к «кристальному дворцу» («Зимние заметки о летних впечатлениях»), «зданию будущего общества» («Преступление и наказание»), «зданию всеобщей гармонии» («Братья Карамазовы»). Образы «хрустального дворца всеобщей гармонии» Достоевского и «общепролетарского дома» Платонова имели общий библейский источник: легенду о Вавилонской башне. Опасность человеческих притязаний на переустройство божьего мира раскрыта Ф. М. Достоевским в «Записках из подполья», «Бесах» и легенде о «Великом инквизиторе». В споре с Христом Великий инквизитор предсказал: «На месте храма Твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня». Соседство башен и храмов в описании Чевенгура указывает на постоянство попыток людей строить рядом с храмами башни «против Бога».

У Достоевского в романе «Братья Карамазовы» поставлен вопрос об ответственности взрослых за страдания детей и цене «всемирной гармонии». Содержание основного конфликта «Котлована» соотносится с главным мотивом «бунта» Ивана Карамазова. Героиня «Котлована» пятилетняя Настя «попала в материал» «будущей гармонии». Иван Карамазов отказывается от «высшей гармонии», приобретаемой ценой мучений ребенка. Герои «Чевенгура» и «Котлована» воспринимают гибель ребенка как знак обреченности социалистической утопии. Мотив самоубийства звучал у Платонова в рассказах «Потомки солнца», «Лунная бомба», романе «Чевенгур» и повести «Котлован». Причины настойчивости этого мотива оставались непроясненными. Между тем они раскрываются в романе Достоевского «Бесы», герой которого, Кириллов, надеялся, что самоубийство поможет ему «переступить» через смерть, подобно Христу. Платонов унаследовал характерное для Достоевского понимание несостоятельности «умственных» теорий и убеждений, что силь-

на только та идея, которая запечатлена в сердце. В творчестве Платонова мотив любви к человечеству в целом — «любви к дальнему» — вступает в диалог с евангельской заповедью «любви к ближнему». Именно в таком звучании он был обозначен в романе Достоевского «Братья Карамазовы». В беседе с братом Алексеем Иван Карамазов признался: «...я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних. Именно ближних-то, по-моему, и невозможно любить, а разве лишь дальних». Эта мысль цитируется в автобиографическом рассказе Платонова «Маркун» (1919), воспроизводится в «Котловане» и «Фро».

Осознание человеком единства мира и человечества, ощущение себя частью целого в творчестве Платонова генетически связано с философией «всеединства» Ф. Достоевского и Вл. Соловьева. Достоевский верил в особое предназначение русского человека стать «все-человеком», «братом всех людей». Религиозная природа чувств, которые испытывают герои Платонова, соединяясь с миром, выявляется при их сопоставлении с рассказом о новой форме религии во «Сне смешного человека» Ф. М. Достоевского. Прозрения старца Зосимы поразительно напоминают мироощущение платоновских персонажей. В романе «Бесы» Шатов высказывает мысль о том, что «Бог — синтетическая личность всего народа»; «Народ — это тело Божие». Платонову были хорошо знакомы монологи Кириллова. На вопрос, есть ли Бог, Кириллов отвечал: «Его нет, но он есть». Эта фраза цитируется в платоновских записках о Боге 1926 года: «Бог есть и Бога нету: Он рассеялся в людях, потому что он Бог, и исчез в них, и нельзя быть, чтобы его не было, и он не может быть вечно в рассеянности, в людях, вне себя...» (Платонов А. Ноев ковчег // Новый мир. 1993. № 9. С. 132, 135).

Соединяясь с народом, герои Платонова, подобно героям Достоевского, обретают Бога. Общим источником религиозных представлений Достоевского и Платонова является Откровение Иоанна. Творчество Платонова наполнено явными реминисценциями из Апокалипсиса. Устойчивым общим знаком Апокалипсиса у Достоевского и Платонова был образ гаснущего солнца. О том, что солнце скоро потухнет говорит в романе «Бесы» Шатов. У Платонова строки о погасшем солнце постоянно повторяются в стихах. Ожидает «светопредставления» герой повести «Эфирный тракт» ученый Попов. Здесь изображены явления Апокалипсиса, вызванные экспериментами ученого Матиссена. В романе «Чевенгур» готовы к тому, что после расстрела в городе «буржуев» солнце наутро может не взойти. Чевенгурцы живут в постоянном «тайном ожидании» «второго пришествия» Христа. Символика финала повести «Котлован» раскрывается при соотношении смысла происходящих событий со словами из Нового Завета, которые являются эпиграфом к роману Достоевского «Братья Карамазовы»: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется

одно; а если умрет, то принесет много плода» (Иоан. 12 : 24). Этот фрагмент текста Нового Завета многократно повторен в романе и создает лейтмотив произведения. Истоки представлений Достоевского — в мифологии земли и мистике почвы, характерных для русского самосознания. Мистическое обожествление почвы ощущимо и у Платонова. Религиозное отношение к коммунизму определялось верой героев Платонова в то, что новое общественное устройство обеспечит людям бессмертие. Сложность платоновского символа гармонического мироустройства — образа «общепролетарского дома» — в диалогичности его содержания, соединившего два противоположных значения. Двойственность образа «вечного дома», который пытались построить в «Чевенгуре» и «Котловане», состоит в том, что в нем заключены одновременно и представление о постоянстве попыток человечества вернуться в утерянный райский сад, обрести утраченное бессмертие, и понимание трагической обреченности намерений построить «башню, высотой до небес».

Ю. П. Иванов (Брянск) в докладе «Твардовский и Платонов (творческие параллели)» проследил творческие сближения Твардовского и Платонова в 30-е, военные и послевоенные годы. Оба писателя, сказал Ю. П. Иванов, формировались в сложную послереволюционную эпоху, оба были погружены в решение одних и тех же социально-политических проблем — в то, что исследователи Платонова называют его «народоведением» (Н. Корниенко). Т. е. и Платонова, и Твардовского всецело волновали судьбы многомиллионных масс, их порыв к идеалу счастливого жизнеустройства, их мечты и утопические заблуждения. Захваченность коммунистической мечтой, с одной стороны, здравый смысл и сомнение, осуществима ли она — с другой, такая особенность психологии характерна как для героев Платонова, так и для героев Твардовского. В качестве доказательства этого тезиса докладчик привлек результаты сопоставительного анализа произведений молодого Твардовского и сходные по смыслу эпизоды из «Чевенгура» и «Впрок» Платонова.

Ироническая двусмысленность, притчевая многозначность в художественной реализации утопического идеала, свойственная Платонову, находит свое продолжение в «Стране Муравьи» Твардовского. Тема сомнений, трудного выбора пути мужиками, которые, по выражению автора «Впрок», «мучились душой», — главная в «Стране Муравьи». Показателен для Платонова и Твардовского сам выбор героя, обозревающего народную жизнь в годы ее «слома». Герой этот, по словам Платонова, «бредущий созерцатель... не прямой участник дела, создающего коммунизм». Сюжетная организация такого обозрения — многогеройная хроника, представляющая в повествовании разные срезы действительности. Странник к тому же наделен у обоих писателей чертами фольклорного персонажа, идущего «туда, не знаю куда» в поисках чудесного края. Чевенгур у Платонова не столько социально-политическая реальность, сколько

мифологема, как и «муравская страна» для героев Твардовского. Важно, что оба писателя-современника, раздумывающие о путях к народному счастью, оставляют ищущим героям свободный выбор. Как сказано в концовке повести Платонова «Джан», «самим людям виднее, как им лучше быть».

В годы Великой Отечественной войны направление писательской работы Платонова и Твардовского также во многом сходное. Оба они в своих произведениях запечатлевают «броню человеческой души» — это, по словам Платонова, «самое прочное вещество, оберегающее Россию от смерти» («Броня»). Рисуя в целом ряде рассказов портрет воина, Платонов близко подходит к тому образу «человека-народа», который сумел блистательно воплотить Твардовский в «Василии Теркине» (очерк «О советском солдате» и др.). В недавно опубликованных записях А. Платонова, сказал далее Ю. П. Иванов, есть одна, послевоенная, демонстрирующая знаменательную творческую перекличку писателей: здесь в диалоге живых, уцелевших и убитых на войне по существу намечены мотивы и сюжетные положения самых значительных послевоенных стихов Твардовского («В тот день, когда окончилась война», «Я убит подо Ржевом»). К «ответу погибших» примыкает также запись «Не зря ли все было?», соотносящаяся с общим смыслом сатиры Твардовского «Теркин на том свете». «Воевал пролетарий, а победил чиновник» — фраза, которую в свое время А. Платонову не удалось провести через партийную цензуру в сатирической повести «Город Градов». «Философия» бюрократизма, представленная в этом раннем произведении Платонова, как и победоносиковщина в «Бане» Маяковского, была не только сатирической фантазией-утопией, но и указанием на реальное перерождение свободного по замыслу общества трудящихся в бюрократически-номенклатурный строй государственного социализма. Являясь по существу антинародным, враждебным личности, строй этот окончательно оформился в последние годы авторитарного сталинского руководства. И уже на этом новом этапе эволюции советской государственности «градовщина» становится предметом пристального изучения под увеличительным стеклом сатиры в поэме Твардовского «Теркин на том свете». Автор ее не посягал на советскую государственность как таковую, но все же выступил против ее превращения в антинародную «систему». Конечно, «Город Градов», «Баня», «Теркин на том свете» — произведения оригинальные, творчески самобытные. Однако их авторы, завершил свое выступление докладчик, черпают из общего фонда сатирических приемов и положений, разработанных еще русской классикой. Поэтому образные переклички между разными по жанру и форме сатирическими фантазиями достаточно очевидны.

Доклад В. Н. Запелалова (Санкт-Петербург) назывался «А. Платонов и М. Шолохов: „Судьба человека“ и „Возвращение“». Жизненные и творческие судьбы А. Платонова и

М. Шолохова, сказал В. Н. Запелов, писателем трагического мироощущения, по возрасту почти ровесников уходящего века, неоднократно пересекались. Автор «Тихого Дона» навещал Платоновых начиная с конца 20-х годов, обсуждал с Андреем Платоновичем отдельные главы своего романа. В 1941 году, благодаря ходатайству М. Шолохова, был вызволен из лагеря осужденный пятнадцатилетним подростком в 1938 году по 58-й статье единственный сын А. Платонова. В трудные годы опалы, последовавшей сразу после публикации рассказа «Семья Иванова» (другое название — «Возвращение»), Шолохов содействовал изданию сборников русских народных сказок «Финист — Ясный Сокол» (1947) и «Волшебное кольцо» (1949), а также «Башкирских сказок» (1947) в обработке А. Платонова.

А. Платонов и М. Шолохов стояли у истоков важнейшей темы в послевоенной прозе, — темы возвращения с войны к мирной жизни. Рассказ «Семья Иванова» появился в двойном (10—11) номере «Нового мира» за 1946 год. Есть основания полагать, что он изначально носил название «Возвращение», под которым и выходил в последующих публикациях. Официальная критика, объявившая рассказ «клеветническим», не приняла во внимание основной идейный смысл этого произведения, затрагивавший субстанциальные начала жизни. Замысел рассказа «Возвращение» несет на себе печать эпопеичности. Именно это обстоятельство дает основание для широких типологических сопоставлений, в том числе и с творчеством М. Шолохова. Несомненно, сходный мотив — судьба страны, опершейся в годы лихолетья на хрупкие плечи женщин и детей, — звучит и в «Судьбе человека». Война изломала судьбы платоновских и шолоховских героев. В трудных судьбах героев «Возвращения» и «Судьбы человека» больше черт сходства, чем различия. Сюжетная ситуация «возвращения» героев с войны обнажает глубину трагического состояния послевоенной действительности, побуждая читателя искать пути преодоления трагизма жизни. Обращает на себя внимание способ типизации. Платонов и Шолохов делают упор на судьбы самых обыкновенных людей, с самыми простыми, распространенными русскими фамилиями. Мэру человечности своих героев писатели выявляют через отношение их к семье, женщине, детям. Исповедь героев берется как условие обнаженной правды о судьбе человека на переходе от войны к миру.

Л. В. Червякова (Саратов) прочитала доклад «Экзистенциальная концепция времени в романе А. Платонова „Чевенгур“». Категория времени, отметила Л. В. Червякова, — одна из важнейших в «философии существования» А. Платонова. Центром этической системы писателя является «идея жизни», мысль о необходимости победы над смертью, а значит, преодоление власти времени. Художественный поиск путей решения этой проблемы осуществляется А. Платоновым и в романе «Чевенгур». Категория времени в художественном мире Платонова

представлена как сложная, многоуровневая структура, в которой можно выделить время природное, время человеческое и время онтологическое. Каждый из обозначенных уровней обладает «своим», качественно отличным от других характером. Их сопоставление позволяет выявить основные свойства экзистенции, понятие о которой заложено, по мнению Л. В. Червяковой, в самой природе платоновского времени. Для времени природного характерно равномерное течение; не имея ограничений, оно растекается в дурную бесконечность повторений, тогда как существование человека имеет временный характер в силу того, что человек осознает свою смертность. Именно понимание конечности собственного бытия заставляет его искать пути осуществления своих экзистенциальных возможностей. Именно в человеке время обретает энергичный характер, и все существенные характеристики времени (конечность, жизненность) проявляются только благодаря соотношению с человеческой жизнью. Экзистенциальная природа времени особенно ярко проявляется на уровне времени онтологического, времени существования человека в единстве с мировой историей. Платоновским героям свойственно стремление прорваться к онтологической вечности, что обнаруживается в стремлении соотносить собственную жизнь с бытием общим, осознать причастность к нему. Попытка выхода к онтологической вечности, преодоления времени предпринята героями романа «Чевенгур».

В сообщении А. А. Дырдина (Ульяновск) «Ум и сердце в образе человека у А. Платонова: параллели с православной аскетикой» были рассмотрены некоторые аспекты художественной антропологии Платонова. Для писателя жизнь души и духа есть необходимая сторона изображения человека. Несмотря на тесную связь с предметно-вещным миром и чувственной сферой, образ сердца основан на духовных актах. Сосредоточенность Платонова на деятельности сердца, отмеченная многими исследователями, сказал А. А. Дырдин, перерастает в ведущее свойство творческого метода. Душевные движения платоновских персонажей согласуются с ритмами сердца и дыхания. Ум и сердце выступают у Платонова не только в психофизическом качестве. Сердце — объективная данность и средоточие нравственных и деятельных начал личности. Показывая сердце в борьбе противоречивых внутренних сил, а также в конфликте с холодным рассудком, писатель выступает на почву христианских идей. Эта особенность психологизма может быть соотнесена с «внутренним делом» отцов-подвижников. Рефлексия сердца в произведениях Платонова смыкается с традицией «сердечного созерцания», на которой основана антропологическая модель восточного христианства, его метафизика человека.

Сопоставляя «философию сердца» Платонова с пониманием сердца подвижниками веры, А. А. Дырдин отметил ряд совпадений и различий. Так, общее состоит в том, что у героев Платонова ум подчиняется сердцу как центрально-

му человеческому органу — нисходит в душу. Как и у автора «Добролюбия», сознание может быть вытеснено наружу, как это происходит в эпизоде из «Чевенгура», когда оно сравнивается с ангелом-хранителем. Платонов сближается с аскетическими сочинениями своим символично-реалистическим подходом к жизни сердца. Пример подвижников тут весьма уместен, поскольку автор «Чевенгура» и «Котлована» идет как бы вослед аскетам, познавая человека «в молчании ума». Однако в его прозе образ сердца развернут не в богословско-догматическом значении. Писатель лишь прибегает к сходным словесным оборотам и приемам передачи смысла. Концентрация бытийного содержания достигается посредством подвижнического по сути «зрения сердцем», характерного для мистического опыта священного безмолвия (паламитской традиции). Образные иллюстрации душевных состояний заменены показом механизмов работы сердца и потаенных связей между душой и телом. Понятно, что Платонов не во всем следует святоотеческим рекомендациям. Но в самой схеме взаимообусловленной работы сердца и ума есть поразительное созвучие. Близки цели: через внимание к человеческому сердцу, центрирование в нем духовных сил понять сокровенную сущность человека, определяемую как *чистота сердца*. Об этом сердечном ведении замечательно сказал св. Исаак Сирианин: «Сердце милосердствующее есть горение сердца о всякой твари, и о людях, и о птицах, и о животных...» При всех смысловых сдвигах у Платонова философско-обобщающая сила этого главного элемента его эстетики и символики остается неизменной. Сердце — категория объяснения и оценки, но и живая первоначальная реальность, соединяющая человека с историей.

В основу доклада В. В. Перхина «А. Платонов и А. Фадеев. Из истории взаимоотношений во второй половине 1940-х годов» был положен анализ писем Платонова генеральному секретарю Союза советских писателей (10 и 27 декабря 1946 года, 6 февраля, 4 марта, 25 мая и 30 декабря 1947 года, 17 мая 1949 года). Все они появились как результат стремления опубликовать сборники рассказов — сначала «Вся жизнь», потом «У человеческого сердца». Их рассмотрение в контексте литературно-политической и эстетической борьбы тех лет показало, что Фадеев руководствовался в отношениях с Платоновым указаниями политических руководителей. Платонов же стремился побудить его принять личное решение, независимое от политических установок, но смог добиться только незначительной финансовой поддержки, которая не могла изменить его бедственное материальное положение и течение болезни. Все удары Платонов встречал кротостью, духовным упорством и трудом, напоминающими героев его военных очерков и рассказов. Поведение Платонова поучительно: вопреки политическому давлению печатной и устной пропаганды, материальной нужде, он сохранял этические принципы и духовную порядочность.

Выступление А. Г. Лысова (Вильнюс, Литва) называлось «Леонов и Платонов. Опыт анализа творческих взаимодействий». Докладчик отметил, что, несмотря на очевидную возможность сопоставления и духовных биографий, и художественных миров двух авторов, избранная им тема практически не затрагивалась ни в науке о творчестве Платонова, ни в леоноведческих исследованиях. А между тем оба художника являют собой, перефразируя слова Леонова, как бы «два сектора национальной души», концептуально выражают «двухвариантный путь России». Их творческие судьбы, сам образ нравственно-философских исканий едины и взаимодополняемы. Оба начинают как поэты, оба — творцы философского эпоса XX века, тяготеют к универсальным способам постижений, к всеединству знания о человеке и мире. В самом образе «жизнедействия», в психологическом облике обоих сквозит духовный универсализм: поэты, ученые, владеющие ремеслами, тяготеющие к точным наукам, наделенные провиденциальным даром (предсказание Леоновым радара, изобретательство Платонова, общая для обоих писателей гипотеза о передаче энергии без проводов и др.). Для Платонова и Леонова характерна единая система отсчета духовного поиска: оба — выразители религиозного кризиса в России, художники, тесно связанные с «воздухом древнерусской книжности», создатели целой галереи народных чудак, «самостоятельных мыслителей», выразители самого духа народного правдоискательства, формул народно-религиозных реформаций. Докладчик подчеркнул, что как Платонов, так и Леонов прошли в поиске идеала тот цикл идей, который был присущ западноевропейской мысли после Реформации: разум и вера, красота, «которой мир спасется», формы утопического сознания, включающие и сферы религиозного утопизма. Роднит обоих классиков отношение к природе, к космическим целям человека, ощущение культуры как целостного образа всех «человеческих существований». Особый ракурс исследования и «сводности» художественных миров Платонова и Леонова — сфера научно-технических открытий XX века, поиск единого мирового кольца, соединяющего микро- и макромир, проходящего через «третью бездну» — душу человека.

Основную мысль доклада К. А. Баршта «Вещество мира в романе А. Платонова „Котлован“» можно было бы выразить словами самого писателя: «Человек с землей живут без облучения». По мнению исследователя, в основании художественной формы романа лежит мысль о том, что смысл космического бытия человека находится непосредственно в земном веществе, которое можно обнаружить повсюду, а ближе всего — прямо под ногами. Тесное слияние или соприкосновение с «веществом мира» — путь человека в преодолении трагического отчуждения от Мироздания. На этом пути необходимо «проникать жизнью» сквозь «толщу действительности» и одновременно «обрастать ею», как сформулировал в своих «записных книжках»

писатель. Согласно этой логике, в «Котловане» особым образом поставлен «вековечный» вопрос о соотношении мертвого и живого в «веществе мироздания» в отношении к нему человека. Привычную схему резкого противопоставления живое—мертвое Платонов перевернул кардинально, показав, что в мире нет ничего до конца мертвого, как и нет ничего абсолютно живого. Граница между ними неопределенна, процессы взаимопереходов принципиально обратимы и составляют основу бытия Вселенной и человека. Отсюда процесс копания осмыслен в «Котловане» как деятельное, творческое участие человека в формировании новых свойств окружающего мира, восстановления его искаженных суетной «производственной» цивилизацией физических свойств и физической (биолого-физической) определенности.

Решение вопроса о Вечности, спасительной для временного (умирающего) человека, связано у Платонова с вопросом об освоении и(или) усвоении им бесконечного вещественного пространства, которое ограничено возможностью человека воспринять его, повернуто к нему лишь одной своей стороной и потому требует переделки. Лопата в «Котловане» становится инструментом философа, проводящего свои теоретико-практические изыскания в изучении и преобразовании основания мира — Земли, а это позволит затем преобразить временного и пространственно ограниченного человека в существо всемирное и вечное. Изменения в структуре Земли, которые производят строители котлована, сродни постройке Интеграла в романе Замятина «Мы»: в обоих случаях идет речь о создании конструкции, способной изменить отношение человека к Космосу. Структурно-семантический анализ текста «Котлована» в рамках представленной задачи позволил выявить новые черты художественной структуры романа, представляющего собой грандиозную философско-религиозную утопию, сокрытую за слоем значений антикоммунистической, антиутопической парадигматики.

В. Ю. Вьюгин в докладе «„Общее дело“ А. Платонова: мотив воскрешения в рассказах 30—40-х годов» вернулся к одной из самых давних проблем, связанных с изучением творчества писателя. Обилие литературы, посвященной влиянию Н. Федорова на А. Платонова, сказал В. Ю. Вьюгин, вряд ли позволяет усомниться в его реальности. Однако характер взаимодействия взглядов двух мыслителей все же требует дальнейшего осмысления. Цель своего выступления В. Ю. Вьюгин выразил следующим образом: с одной стороны, она состоит в том, чтобы еще раз обратить внимание на ряд поздних, относящихся к сороковым и тридцатым годам, произведений писателя, где важнейшая проблема «Общего дела» — воскрешение и победа над смертью — играет не меньшую роль, чем в произведениях более раннего периода; с другой — в попытке охарактеризовать хотя бы некоторые приемы, при помощи которых Платонов включает эту тему в повествование.

Анализируя цикл «детских» рассказов Платонова, докладчик приходит к выводу о том, что тема воскрешения, довольно явно заявляющая о себе в них, не может быть соотнесена напрямую с христианской идеей воскрешения, но близка пафосу федоровского учения. При этом важно, что с идеями подобного рода Платонов обращается к читателю-ребенку, совершенно сознательно пытаясь направить его еще во многом свободное внимание на проблему предельно утопического характера — проблему бессмертия. С одной стороны, рассказы Платонова представляют собой своеобразную проповедь для нового поколения, попытку определить его ценностные ориентиры; с другой — использование для реализации утопической темы жанра рассказа для детей переводит ее в план игры, сказки, т. е. в сферу желаемого и поэтому окрашиваемого сомнением. Эта двойственность детского цикла очень точно передает жанровое определение, данное рассказу «Неизвестный цветок», — сказка-быль. Детские рассказы (и переложения сказок для детей) заставляют совершенно по-новому взглянуть на представление о Платонове как о писателе-утописте или писателе-антиутописте. Использование этих понятий для характеристики творчества писателя второй половины 20-х — начала 30-х годов вызывает множество возражений. Даже ранние произведения писателя и его публицистика с трудом укладываются в очерченные ими рамки: художественный поиск истины и идеала не равен ни отрицанию, ни утверждению их в форме худо- жественного произведения. Однако, если говорить о произведениях позднего Платонова, то мысль об их утопичности оказывается более приемлемой.

Е. А. Рожнецва (Москва) посвятила свое выступление проблеме датировки и реализма, нашедшим отражение в одном из очерков писателя. Ее доклад назывался «Контексты очерка А. Платонова „Товарищ пролетариата“». По мнению Е. А. Рожнецвой, опираясь на некоторые реалии текста, можно предположить, что он был создан не ранее весны 1929 года. Об окончании восстановительного периода и о начале периода реконструкции народного хозяйства было объявлено И. В. Сталиным на апрельском пленуме ЦК ВКП(б) 1929 года. В день празднования двенадцатой годовщины Октября Сталин назвет 1929 год — годом «великого перелома»: «Перелом этот выразился в развертывании творческой инициативы и могучего трудового подъема миллионных масс рабочего класса...» «Развертыванию творческой инициативы» рабочих как раз и посвящен очерк А. Платонова. Очерк точно фиксирует хроникой и идеологию подготовки «кадров социалистического строительства» 20-х годов. В августе 1925 года, напоминала Е. А. Рожнецва, вышло особое постановление ЦК РКП(б) «О специалистах». Значение рабочего изобретательства и роль спецов в реконструкции промышленности постоянно обсуждались на страницах журналов и газет. Но в 1928 году этот вопрос снова стал особенно актуальным в связи с «шахтинским» делом о вредни-

тельстве в угледобывающей отрасли. Долгим эхом шахтинского процесса стали в 1929 году статьи в периодической печати, посвященные «спецам», «классовым врагам».

Сложные отношения инженеров и власти, рабочих и власти, с одной стороны, инженеров и рабочих-изобретателей, с другой — тема давняя и личная для А. Платонова. Вторая половина 20-х годов — это время повышенного массового интереса к достижениям техники и науки. Наибольший интерес представляли тогда на рубеже 20—30-х годов достижения физики, связанные с проблемой энергетического кризиса. В журналах 1928—1929 годов можно найти информацию о самых различных изобретениях. Интересен очерк П. Лопатина «Наследники умирающего топлива», где приводится описание двигателя, работающего от солнечного света, и рисунок «будущей электрической станции, питающейся солнечными лучами», напоминающие краткую характеристику новой машины в очерке А. Платонова. Отношение к технике как к «классовому элементу», обнаруживаемое у Платонова, также имеет свою «жизненную» параллель: обсуждение классовой принадлежности техники на страницах журналов (Д. Лебедев «Техника угнетения», А. Лопатин «Когда машина за нас?»). Особое значение имеет выбор А. Платоновым жанра своего произведения. Рукопись сохранила свидетельства о колебаниях между очерком и рассказом: Платонов начинал разрабатывать, а затем оставил личную тему инженера Всуева. Очерк «Товарищ пролетариата» построен нетрадиционно: не названо реальное место действия, нет бытовых подробностей, цифровых показателей. В статье «Фабрика литературы» А. Платонов писал: «...я не сторонник, а противник „картинок с натуры“, протоколов жизни и прочего, — я за запах автора в его произведениях и, одновременно, за живые лица людей в этом же произведении». Он строго следует этому правилу.

О. Ю. Шилина (Санкт-Петербург) в докладе «„Преодоление душевной чужбины“» (К проблеме родственных связей с миром) сосредоточила внимание на военных рассказах А. Платонова. По ее мнению, в произведениях этого периода наиболее ярко проявился интерес писателя к существованию, гибели и сохранению живых человеческих единств — именно поэтому мысль о всеобщей взаимосвязанности и взаимозависимости звучит в них наиболее остро. О. Ю. Шилина отметила, что «живое человеческое единство» для А. Платонова определяется прежде всего такими понятиями, как *память* и *совесть* — «прирожденная правда, в различной степени развития» (В. И. Даль). Стремление выразить общую для всех правду, объединить в себе всех хотя бы посредством памяти, выдвинуть альтернативу силам зла отличает героев военных рассказов писателя. Война для Платонова не только «зона между... жизнью и смертью, где жизнь добывается в тяжелом труде через смерть врага», это прежде всего «место, где надолго решается судьба человечества» (А. Платонов), где поступки людей дикту-

ются *этосом* — общечеловеческой совестью, которая, как известно, проявляет себя «в особых исторических ситуациях, когда под угрозой оказываются важнейшие гуманистические принципы бытия человека» (Е. Анчел), т. е. именно те «живые человеческие единства», которыми так дорожит человек, и о потере которых с такой болью писал А. Платонов в своих произведениях. Память для его героев — признак жизни, ибо все, что связано с ее сохранением, связано и с сохранением самой жизни. И главная задача самого искусства виделась писателю в «создании незабвенного из того, что проходяще, забвенно, что погибло или может погибнуть, но чему мы, живые, обязаны жизнью и спасением...». Таким образом, в военных рассказах А. Платонова отразился объективный процесс единения под воздействием внешней разрушающей силы: обретение человеком внутреннего единства, единение человека с человеком, человека с природой и, наконец, человека и мира. Так в творчестве Андрея Платонова воплотилась его «долгая упорная детская мечта»: «стать самому таким человеком, от мысли и руки которого волнуется и работает весь мир... и из всех людей — я каждого знаю, с каждым спяно мое сердце».

И. А. Спиридонова (Петрозаводск) выступила с докладом «Платонов и историко-литературная ситуация 1937 года». Год 1937-й, напомнила И. А. Спиридонова, — один из узловых моментов истории страны и духовной биографии Платонова. В 1937 году общество продолжает жить важнейшим событием 1937 года, когда на VIII Чрезвычайном съезде Советов было объявлено о победе социализма и принята новая — сталинская — конституция. Страна готовится к 20-летию юбилею революции. Это праздничная сторона жизни. Но 1937 год — это и пик репрессий. Год открывается процессом «антисоветского троцкистского центра» (19—30 января 1937). В газетах и журналах появляются рубрики «Бдительность и еще раз бдительность». По всей стране проходят митинги и собрания, где требуют высшей меры наказания для «врагов народа». В 1937 году в современном литературный, — шире — культурный процесс входят две исторические даты: 100 лет со дня смерти Пушкина и годовщина смерти Горького. Первая годовщина смерти «буревестника революции» проживается буквально как красный день календаря, день битвы и победы.

К 1937 году у Платонова скопилось огромное количество неизданных произведений («Мусорный ветер», «14 Красных избушек», «Котлован», «Счастливая Москва» и т. д.), однако Платонов много, в сравнении с предшествующими годами, публикуется. Выходит книга «Река Потудань», объединившая рассказы 30-х годов, и более десятка литературно-критических статей. Ряд публикаций в «Литературном обозрении» подписан псевдонимом Ф. Человеков, и это в то время, когда от художника требовалось писать от лица коллектива, «а не от стиснутого и сжатого одиночеством маленького своего „я“» (М. Шагинян). В 30-е годы важное

место в произведениях Платонова займет тема кроткого подвига любви («Джан», «Фро», «Река Потудань», «Счастливая Москва»). Платонов продолжает пушкинскую традицию, однако, очень по-своему. Имя Пушкина в 1937 году не сходит со страниц рукописей писателя. Пример тому статья «Пушкин и Горький» в журнале «Литературный критик» № 6, целиком посвященном Горькому. В номере Платонов окажется единственным, у кого имя Горького будет поставлено вслед за Пушкиным. Пушкин становится для Платонова высшим авторитетом не только в эстетике, но и в этике, и в истории — образцом исторической этики художника. Платонов вступит в полемику со своим временем, советской версией творчества поэта. Тон задает центральный печатный орган страны — газета «Правда». Свое слово заставят прибавить таких ученых, как В. Нечкина («Пушкин и декабристы», «Ленин и Пушкин»), и таких художников, как Ю. Тынянов, который сократит «Личность Пушкина» (название статьи) до одной строки: «... в мой жестокий век восславил я свободу...». Новая версия: Пушкин — ученик Радищева и борец с самодержавием. Она расходится восьмью млн. экземпляров «избранного» массового издания произведений Пушкина.

Немногие нашли мужество возражать. Среди них — Е. Тарле («Заметки читателя») и Н. Устряев («Гений веков»). У Платонова свой ряд ключевых пушкинских текстов. Писатель проходит «мимо» «Послания декабристам», но уделяет много внимания «Памятнику» и «Пророку» (в последнем он отказывается от цитирования религиозного начала и финала стихотворения, но указывает на них многоточием). Исключительное место Платонов отводит «Медному всаднику». Вслед за «Медным всадником» идет поэма «Тазит». Такой подбор текстов свидетельствует, что Платонову важна пушкинская формула «примирения с действительностью» (Н. Корниенко). Платоновское примирение с действительностью через Пушкина, как представляется, не имеет ничего общего с идеей Э. Наймана, по мнению которого Платонов в 30-е годы ищет компромисс со сталинским режимом («Из истины не существует выхода»). В понимании Платонова Пушкин — «образ высшего творческого деятеля, образ художника, творящего душу народа». Вслед за Достоевским он говорит об Учителстве Пушкина как необходимом моменте не узко литературного или культурного, а исторического развития.

В 1937 году Платонов поставит Пушкина выше революционного юбилея и других событий исторической и личной жизни. Это не презрение ко времени и не игнорирование жизни. Для Платонова уже ясно, что социализм и народ надо спасать. Спасать Пушкиным. Пушкин, по убеждению писателя, «есть необходимая, а не только желательная сила коммунизма». Время возмущенно отвергнет эту формулировку. Платонов продолжает настаивать: человек будущего времени должен быть, не может не быть

«пушкинским человеком». Как выйти из трагического конфликта человека и государства — ответ на этот вопрос Платонов ищет, читая «Медного всадника». В духе его центральных образов — Петр I и Евгений — Платонов видит развитие «одного пушкинского начала». Для него важно, что этим исторически не сопоставимым характерам (дарь-реформатор и обыватель) в произведении придана равная поэтическая и нравственная ценность. Для гармонизации жизни необходимо породнить Петра I и Евгения, но в истории «они — незнакомые братья». Где выход? — спрашивает Платонов и указывает на автора. Выход — «в образе самого Пушкина, в существе его поэзии, объединяющей в этой своей „петербургской повести“ оба главных направления для великой исторической работы, обе нужды человеческой души». Там, где время не давало Пушкину сюжетно реализовать «объединение Петра и Евгения», не отступив от правды времени, пишет Платонов, Пушкин решает его не логическим, сюжетным образом, а «способом второго смысла», где решение достигается всей поэтической силой произведения. Платонову дорог исторический оптимизм Пушкина, его умение открыть и поэтически совершенно выразить одухотворенность человека и мира (свою версию «одухотворенного человека и мира» Платонов даст в военных рассказах). Универсальное творческое сознание Пушкина в отечественной литературе, по убеждению Платонова, не унаследовал никто. Последующая русская литература в лице лучших представителей от Лермонтова до Горького реализовала лишь «отдельные элементы» его духовного наследия. Однако каждый из них, сознавая себя русским художником, в меру сил и таланта добровольно нес «пушкинскую службу». «Пушкинскую службу» нес в свой «железный век» и Андрей Платонов — 1937 год подтверждает это.

М. В. Никулина (Петрозаводск) прочитала доклад «Драма сознания в повести А. Платонова „Котлован“». Проблема сознания, сказала М. В. Никулина, — сквозная в творчестве А. Платонова. Под «драмой сознания» понимается в том числе и конфликт между научным и религиозным подходами к миру. Этот конфликт пытаются разрешить герои повести. Исключительно важен он и для автора. В повести понятие «сознание» имеет два значения: «сознание-ум»; «сознание-душа». В Воцеве «сознание-ум» и «сознание-душа» находятся в единстве. Он ощущает пустоту внутри себя, которая, по определению М. А. Дмитриевской, является онтологической характеристикой человеческой души. Синонимом души в повести выступает сердце — слово также выступающее в двух значениях: «физический источник жизни» и «свидетель духовной жизни героя, его совесть». Прямая взаимосвязь сердца и сознания существует в христианской традиции. Главная цель пути Воцева — постичь истину. Истина в повести, с одной стороны, равна знанию устройства всего мира, с другой — знанию того, «куда надо стремиться». Мысль об истине без действия

невозможна. Строители обретают истину через осознание своего бытия в ней. В русском слове «истина» заключен элемент телесности, реальности («истина-естина». П. Флоренский). В 22 году Платонов писал: «Истины хочет все тело» («Культура пролетариата»). В «Котловане» это качество становится характеристикой многих героев (Вощев, Жачев, Чиклин и др.). Процесс познания истины на социалистической стройке превращается в ритуал. При ослаблении традиционного религиозного сознания оживает мифологическая природа мышления. Котлован представляет собой нерожденное здание, «маточное место». Находясь на пограничной стадии не-сотворения, он обретает ритуальное значение для своих создателей. В связи с тем, что земля играет в повести огромную роль, в действиях героев преобладает «горизонтальное» ощущение жизни, а в вертикальных связях «низ» господствует над «верхом». «Общепролетарский» дом мыслится как «залог вечности и бессмертия» для «будущего счастья и для детства». Но котлован вместо ожидаемой истины несет смерть. В статье «Культура пролетариата» Платонов говорил, что нужно открыть нечто большее, чем наука и религия, и нашел — память. Но и память у героев тоже стремится к вещественному закреплению. В сцене погребения Насти происходит «деметафоризация» процесса памяти: девочку хоронят, как сохраняя в памяти. Христианскую концепцию жизни, смерти и воскресения герои атеистического общества принять не могут, но приближаются к ней. Главный герой не находит ответа на мучившие его вопросы и решает, что истина откроется только после смерти, когда вещество его тела объединится с веществом мира.

Выступление Е. И. Колесниковой (Санкт-Петербург) называлось «Аполлоническо-дионисийское начало в контексте творчества А. Платонова второй половины 30-х годов. (К вопросу об эволюции поэтики)». Е. И. Колесникова рассмотрела жанрово-стилистическую динамику прозы А. Платонова второй половины 30-х годов через категории аполлонического и дionисийского начал. Основы методики подобного подхода были разработаны на основе статьи Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» русскими символистами и К. Юнгом. Общеизвестно, что стилистика Платонова второй половины 30-х годов глубоко отличается от предшествующей ей «котлованно-чевенгурской» и столь же сильно отстоит от стилистики военно-послевоенной. Для выявления векторов движения платоновской поэтики необходимо, считает Е. И. Колесникова, тщательное обследование произведений названного периода. Анализ романа «Счастливая Москва», рассказов «Григорий Хромов. (Великий человек)», «Московский скрипка» и «Любовь к родине, или Путешествие воробья» позволяет зафиксировать переломный момент в развитии платоновской поэтики. Рассказ «Любовь к родине, или Путешествие воробья» стал эстетическим изводом комплекса проблематики творчества

А. Платонова 30-х годов, а рассказ «Григорий Хромов» — морально-этическим, под знаками которых будет развиваться военное и послевоенное творчество художника.

Сообщение А. Ливингстоун (Великобритания) «О переводе прозы Платонова в английские стихи» было посвящено ее собственному опыту стихотворного переложения ряда эпизодов повести «Чевенгур». Оправдывая столь необычный подход к творчеству писателя, А. Ливингстоун сказала: «Что же есть такого в Платонове, что провоцирует исследователя на подобную эксцентричность? Платоновская проза поэтична совершенно по-новому. Во-первых, она непреднамеренно такова. Во-вторых, она не приносит успокоения или какого-то особо интенсивного удовольствия; она, скорее, бросает вызов, обязывает идти на некий экзистенциальный риск. Эта самая будоражащая и самая трогательная проза во всей известной мне русской литературе. Я думаю, что каждое стихотворение у меня возникало из ощущения, что Платонов здесь что-то ценное скрыл, недоговорил или (почти вовсе) выбросил. Конечно, тут снова возникает опасение: может быть, этим он как раз и говорит, что ценное должно оставаться спрятанным, невыявленным («сокровенным»). В оправдание себе я могла бы сказать, что литературная критика — занятие всеми признанное и дозволенное — заключается в постоянном выявлении, высвечивании, выделении, т. е. нарушении формы рассматриваемого, обобщаемого и судимого произведения. В моих стихах происходит то же самое, и в не большей степени, чем в литературной критике...»

М. А. Дмитриевская (Калининград) представила стендовый доклад «Концепты места и пространства у А. Платонова». В докладе рассматривались колебания между полюсами конкретного и абстрактного на примере взаимодействия категорий места и пространства. Если пространство тяготеет к бесконечности и пустоте, то место всегда ограничено и конкретно. Однако у Платонова употребление слов *пространство* и *место* часто пересекается, что говорит о концептуальной связи соответствующих категорий друг с другом. Употребление слова *место* у Платонова часто носит избыточный характер, например, в атрибутивных словосочетаниях (*дворовое место, гуртовое место*). Эти сочетания совпадают с архаичными употреблениями. Архаическому сознанию свойственно воспринимать пространственные объекты как имеющие четкие пространственные границы, т. е. как места. По этому же пути идет и Платонов. Еще в начале XVIII века слова *пространство* и *место* могли выступать как общезыковые синонимы. Это же мы встречаем и у Платонова. Происходит флуктуация значений: место, сохраняя значения границы, стремится стать изоморфным пространству, а пространство приравнивается к месту. Сопряженность понятий пространства и места проявляется в целом ряде конструкций. Платоновское пространство, тяготея к бесконечности, не может окончательно отрываться от конкретности и ограниченности.

Этому во многом препятствует специфика употребления писателем слова *место*.

И. И. Долгов (Санкт-Петербург) выступил с докладом «Хронотип „Котлована“». Докладчик обратил внимание на то, что главную роль в формировании хронотипа повести играют перемещения Вощева. В их основе лежит некая «утрата», «недостача», связывающая мир платоновского произведения с мифом.

Г. П. Медведев (Санкт-Петербург) выступил с сообщением «Платонов и Набоков как знаковые фигуры современного общественного сознания». Он указал на внутреннюю близость Платонова и Набокова, несомненно существующую, несмотря на полярность занимаемых ими мировоззренческих позиций; отметил необходимость сопоставления методов данных писателей ввиду того, что современные литературные тенденции во многом выводятся из их творчества. Докладчик подчеркнул значимость данных авторов в ситуации переоценки ценностей и перестановок в литературной иерархии, а также упомянул о необходимости взвешенного подхода к их реальным творческим достижениям.

В заключение конференции выступил В. П. Муромский, выделив главную ее особенность: творческий опыт Платонова был рас-

смотрен в широких связях и сопоставлениях с опытом его предшественников и современников — Пушкина, Достоевского, Леонова, Шолохова, Твардовского и т. д. Как выясняется, художественная уникальность Платонова не изолирует, а напротив, сближает его со многими крупными творческими индивидуальностями, с разными и даже, казалось бы, далекими от него эстетическими взглядами и системами. Более того, по мнению В. П. Муромского, контекст творчества Платонова мог бы быть и расширен, если иметь в виду взаимодействие его художественного опыта с последующим поколением русских писателей, с современной отечественной и зарубежной литературой.

Десять лет назад, когда отмечалось 90-летие А. Платонова, один из исследователей его творчества писал: «Сегодня нерешенных проблем в платоноведении куда больше, чем решенных». То же самое можно повторить и теперь, при всех несомненных достижениях последних лет в этой области. Впрочем, это не удивительно: творчество Платонова — богатейший духовный источник, целый интеллектуальный материк, где всегда найдется место пылкому исследователю, где есть что изучать и есть над чем работать.

© В. Ю. Вьюгин

ВАДИМ ЭРАЗМОВИЧ ВАЦУРО

Очень трудно написать необходимую фразу: умер Вадим Эразмович Вацуру. Странно, что так трудно; кажется, уже было время это горе осознать. Мы живем, как и прежде: работаем, нервничаем, обсуждаем новости, шутим. Но вот в Виноградовский кабинет вошла сотрудница другого отдела и растерянно спросила: «Почему у вас все так изменилось? Мебель переставили?» Ничего мы не переставили. Просто со стола Вадима Эразмовича убрали вековые завалы его книг и рукописей; стол перестал быть его столом, а комната стала комнатой, где его больше нет... И мы живем, на самом деле, совсем не так, как прежде. Наша жизнь стала бедней и безрадостней.

Я признавалась Вадиму Эразмовичу, что все мои доклады и выступления делятся для меня на те, где он присутствует, и те, которых он не слышит. Вацуру был критиком взыскательным и строгим, но в то же время предельно доброжелательным. В нем была редкая и поистине драгоценная человеческая черта: личная заинтересованность в успехе другого. Каждый, кто обращался к нему за советом, чувствовал это кожей и потому с готовностью выслушивал из его уст самую неприятную критику. Вадим Эразмович вежливо, но беспощадно указывал вам на слабости вашей работы, но он же безошибочно находил в ней самые сильные стороны. Не могу сказать, что всегда было очень легко признавать справедливость его замечаний. Но какая же была радость — получить его одобрение! Вадим Эразмович не просто оценивал ваши гипотезы и наблюдения, он возвращал их вам уже уточненными, включенными в новые контексты, обогащенными неожиданными ассоциациями. В. Э. Вацуру был, что называется, эрудитом; причем знания его были равно обширны, как и точны, что бывает довольно редко. Еще реже бывает другое: его огромные знания были им реально освоены, ибо он был человеком не просто эрудированным, но и необычайно умным. На свете много неглупых людей, они рассуждают здраво и разумно, но, по большому счету, тривиально. И очень мало людей, способных видеть вещи в необычных ракурсах и рождать неожиданные идеи. Вадим Эразмович принадлежал к их числу, и потому с ним было необыкновенно интересно разговаривать на любые темы.

В. Э. Вацуру придерживался совершенно определенных научных взглядов. Классический историк литературы, в своем научном творчестве он развил и продолжил лучшие традиции русской академической школы. Однако его

научный и интеллектуальный кругозор был гораздо шире этих традиций. Вадим Эразмович умел принимать иной, чем у него самого, стиль мышления, оценить исследователей, работающих в ином, чем он, направлении. Лишь иногда казалось, что у него вызывали раздражение свободные интерпретации художественных текстов, оттого, возможно, что он сам мог сделать то же самое гораздо лучше, но не считал нужным. Мне всегда было очень обидно, что Вадим Эразмович не допускает в свои печатные работы те свободные и блестящие рассуждения, на которые он был так щедр в устных беседах. Между тем художественная литература никогда не являлась для него лишь материалом для изучения, она определяла содержание его жизни. В его отношении к Пушкину, безусловно, присутствовали глубоко личные, интимные моменты. Не исключено, что именно это обстоятельство (помимо чисто научных принципов) приводило Вадима Эразмовича к своеобразному филологическому аскетизму и самоограничению. Возможно, он не хотел раскрывать перед всеми свой внутренний мир, и только те, кто очень хорошо знал Вадима Эразмовича, угадывали черты его личности в его предельно сдержанных и строгих научных исследованиях.

Но ближайших своих учеников и друзей он учил далеко не только одной филологии. Например, он научил меня любить сложных людей, и я бесконечно благодарна ему за эту науку. Он сам был человеком сложным и нервным, а значит, неровным и порой трудным в общении. Обычно любезный, остроумный, утонченно-вежливый, он бывал и раздражительным, пристрастным и несправедливым. Общение с ним — не поверхностное, а подлинное доверительное человеческое общение — требовало немалых душевных затрат. Но они окупались стократ, ибо ты получал от него гораздо больше, чем тратил. И эта, конечно, не равноценная, но все же взаимная внутренняя работа создавала такую прочную человеческую связь, которая не возникает с иными легкими и ровными людьми. На него можно было обижаться, сердиться. С ним можно было резко поспорить и даже поссориться. Но все это никак не влияло на важность роли, которую он играл в вашей жизни. Так относятся только к близкому и горячо любимому человеку, но Вадим Эразмович и был таким человеком для очень многих и самых разных людей.

Нелепая история — он так и не стал доктором наук и профессором, хотя был достоин высших степеней и званий. Его нежелание прило-

жить хоть какие-то усилия, чтобы их получить, воспринималось окружающими как чудачество, упрямство или полное равнодушие к служебной карьере. Между тем, я думаю, он был достаточно честолюбивым человеком и не отказался бы от официального признания своих заслуг. Но почему, в самом деле, он должен был тратить силы и время, доказывая то, что было давно уже очевидно филологам всего мира? Хорошо еще, что он успел получить Пушкинскую премию Академии наук, которую заслужил более, чем любой из ныне живущих пушкинистов.

Время от времени я задавала Вадиму Эразмовичу идиотский вопрос: «В какой статье Вы писали то-то и то-то?» Дело в том, что, работая над какой-то своей темой, я неизменно опиралась на идеи, которые могла почерпнуть только в его трудах, но не всегда помнила, где именно. Мы шутили тогда, что проще делать сноски прямо к заглавию статьи: «См. у Вацуро», и дело с концом. Разумеется, таких сносок не бывает, но по сути это было бы справедливо. Статьи его многочисленных учеников (в том числе и заочных) стоят на прочном фундаменте

научного творчества, а теперь — увы — наследия В. Э. Вацуро.

Научные труды В. Э. Вацуро ценны в очень многих отношениях, сейчас не время их анализировать, хотелось бы отметить лишь одну их особенность. Вацуро исключительно точно ставил смысловые акценты в пояснении художественных текстов и умел в нескольких скупых фразах исчерпывающе описать историко-литературную ситуацию. Избегая непроверенных гипотез и необязательных с позиций традиционного литературоведения рассуждений, он очертил контекст, который неизбежно корректирует любые гипотезы и рассуждения, претендующие на достоверность. В этом смысле Вадим Эразмович навсегда останется тем взыскательным и мудрым критиком наших работ, каким он был при жизни.

Но разве может все это послужить утешением для тех, кто потерял дорогого и необходимого человека... Наша любовь к нему превратилась в боль, и остается лишь принять ее достойно, как справедливую плату за выпавшее счастье — долгие годы жить и работать рядом с Вадимом Эразмовичем Вацуро.

© О. С. Муравьева

Министерство печати и информации РФ
Рег. № 0110194 от 4.02.93

Технический редактор *Е. В. Траскевич*
Корректоры *О. И. Буркова, Ф. Я. Петрова и Н. А. Тюрина*
Компьютерная верстка *Т. Н. Поповой*

Лицензия № 020297 от 23 июня 1997 г. Подписано к печати 17.08.2000.
Формат 70×100¹/₁₆. Гарнитура школьная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 20.8.
Уч.-изд. л. 26.4. Тираж 1238 экз. Тип. зак. № 411. С 190

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1

Санкт-Петербургская типография «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12